

Александр Константинович Шеллер- Михайлов

Чужие грехи

ШЕЛЛЕР, Александр Константинович, псевдоним — А. Михайлов (30.VII(11.VIII).1838, Петербург — 21.XI(4.XII).1900, там же) — прозаик, поэт. Отец — родом из эстонских крестьян, был театральным оркестрантом, затем придворным служителем. Мать — из обедневшего аристократического рода.

Ш. вошел в историю русской литературы как достаточно скромный в своих идейно-эстетических возможностях труженик-литератор, подвижник-публицист, пользовавшийся тем не менее горячей симпатией и признательностью современного ему массового демократического читателя России. Декларативность, книжность, схематизм, откровенное морализаторство предопределили резкое снижение интереса к романам и повестям Ш. в XX в.

Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ МАТЬ И ОТЕЦЪ	0005
I	0005
II	0040
III	0072
IV	0101
V	0146
КНИГА ВТОРАЯ ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ .	0177
I	0177
II	0207
III	0229
IV	0266
V	0302
VI	0323
VII	0351
VIII	0373
КНИГА ТРЕТЬЯ НА ПОРОГЪ КЪ ЖИЗНИ	0420
I	0420
II	0447
III	0470
IV	0494
V	0516
VI	0537
VII	0556
VIII	0577
IX	0616

**А. МИХАЙЛОВЪ
ЧУЖІЕ ГРѢХИ**

КНИГА ПЕРВАЯ МАТЬ И ОТЕЦЪ

I

Стояла теплая, чудесная весна...
Евгенія Александровна Хрюмина, пригрѣтая теплыми лучами солнца, удобно утѣздилась на мягкомъ креслѣ въ своемъ красиво обставленномъ, похожемъ на парижскую игрушку, будуарѣ и не то мечтала, не то пробѣгала глазами страницы лежавшей у нея на колѣняхъ книги. Это была женщина лѣтъ двадцати семи, очень моложавая, съ хорошенькимъ личикомъ, съ густыми, затѣйливо причесанными бѣлокурыми волосами, съ выхоленнымъ тѣломъ, съ нѣкоторыми задатками къ излишней полнотѣ. Въ выраженіи ея лица было что-то дѣтское, неосмысленное, что-то говорившее, что она любитъ и понѣжиться, и покапризничать, и утѣшаться разными милыми побрякушками и изящными ненужностями. Этихъ побрякушекъ и ненужностей была цѣлая масса и на ней са-

мой, и въ ея будуарѣ: красивыя кольца на розовыхъ пальчикахъ, затѣйливыя банты въ вьющихся волосахъ, причудливый воротничекъ около полуоткрытой спереди, точно выточенной шеи, десятки фарфоровыхъ и хрустальныхъ куколокъ и флаконовъ на столикахъ и этажеркахъ; все это сразу обличало вкусы хозяйки. Всѣ эти ненужныя тряпочки и дешевыя статуэткы придавали и ей, и ея будуару изысканный видъ и если не говорили о богатствѣ, то все таки намекали на стремленіе къ щегольству, къ внѣшнему лоску.

Въ комнатѣ было тепло, уютно; яркіе лучи весенняго солнца играли на полу, на стѣнахъ; изъ открытаго окна долетали звуки чириканья воробьевъ, воркованія голубей; неподалеку слышалась монотонная, тоскливая пѣсня штукатура. Отрывки какихъ то смутныхъ думъ пролетали въ головѣ молодой женщины. Вотъ скоро начнется и знойное лѣто; въ городѣ станетъ пыльно и душно; всѣ разъѣдутся по дачамъ. Удастся ли ей ѣхать на дачу? Мужъ опять начнетъ толковать о недостаточности ихъ средствъ, о необходимости

экономіи. Какая это несносная пѣсня! А жить лѣтомъ въ городѣ такъ скучно, такъ тоскливо! Когда же кончится, когда измѣнится эта монотонная жизнь съ вѣчными заботами о грошахъ, съ вѣчными толками объ экономіи, съ вѣчными мелкими семейными дразгами, попреками, наставленіями? Все это такъ надоѣло, такъ надоѣло!

Грустныя думы Евгеніи Александровны были внезапно нарушены топотомъ дѣтскихъ ногъ. Въ ея комнату быстро вошли дѣти — мальчикъ и дѣвочка, ухватившіеся за руки молодого, невысокаго ростомъ, очень красиваго брюнета, съ яркими, полными губами, съ тонкими, подвижными ноздрями, съ глубокими сѣрыми глазами, съ мягкой улыбкой, съ необычайно легкой, какъ бы осторожной поступью.

— А, это вы, Мишель! лѣниво пѣвучимъ голосомъ проговорила Евгенія Александровна и ея лицо озарилось привѣтливою улыбкой.

Дѣти, между тѣмъ, наперебой говорили историю о картинкахъ, о книжкахъ, объ игрушкахъ, не выпуская его рукъ изъ своихъ рученокъ. Они были прелестны въ своемъ

дѣтскомъ оживленіи.

— Хорошо, хорошо, привезу! отвѣчалъ имъ молодой человѣкъ, стараясь отдѣлаться отъ нихъ, и въ его голосъ слышалась не то торопливость, не то досада.

— Ты мнѣ, Миша, сдѣлай трехугольную шляпу съ перомъ, чтобы я былъ генераломъ, пристава къ нему мальчуганъ.

— А мнѣ нарисуй и вырѣжи куклу, твердила дѣвочка.

— Да, да, послѣ! отвѣтилъ еще поспѣшнѣе молодой человѣкъ и обратился къ хозяйкѣ, понизивъ голосъ и говоря по французски: Удали ихъ!

Евгенія Александровна лѣниво подняла на него недоумѣвающій, вопросительный взглядъ и сказала дѣтямъ:

— Ступайте къ нянѣ! Вамъ пора завтракать.

— А Миша? спросили дѣти.

— Миша посидитъ здѣсь, покуда вы завтракаете. Идите! отвѣтила мать.

— Мама, ты его не отпускай! Пусть онъ мнѣ шляпу дѣлаетъ, пристава къ мальчикъ.

— А мнѣ куклу! настаивала дѣвочка.

— Хорошо, хорошо, идите! проговорилъ молодой человекъ, кусая отъ нетерпѣнія губы.

Его волненіе, его блѣдность, его тревожный тонъ не ускользнули отъ вниманія Евгеніи Александровны и, какъ только удалились дѣти, она спросила его:

— Что случилось?

— Я сейчасъ видѣлъ твоего мужа!

Онъ произнесъ эти слова какимъ то торопливымъ, тревожнымъ шопотомъ. Евгенія Александровна съ испугомъ подняла на гостя свои широко раскрывшіеся голубые глаза и съ ея красиваго лица вдругъ сбѣжалъ румянецъ.

— Мужа?.. Владиміра? почти вскрикнула она. — Нѣтъ, не можетъ быть! Ты ошибся... ошибся... Владиміръ пріѣдетъ еще черезъ мѣсяць... онъ писалъ... Евгенія Александровна съ усиліемъ перевела духъ. — Ахъ, какъ ты напугалъ меня, Мишель... И какъ это тебѣ пришло въ голову! проговорила она со вздохомъ.

Она быстро поднялась съ мѣста, уронивъ на коверъ книгу, и провела рукой по лбу, точ-

но ей что-то сдавливало голову.

— Да я же тебѣ говорю, что я его видѣлъ, настойчивымъ тономъ возразилъ молодой человѣкъ. — Онъ пріѣхалъ на пароходѣ... теперь онъ въ таможи... я примчался предупредить тебя... еще полчаса, часъ — и онъ будетъ здѣсь...

Она уже ходила въ волненіи по комнатѣ, сжимая болѣзненно свои руки. Ея подвижное лицо приняло выраженіе беспомощности и отчаянья. Сомнѣваться въ томъ, что мужъ дѣйствительно пріѣхалъ, было уже невозможно.

— Боже мой, что же я буду дѣлать? Что дѣлать? торопливо говорила она и въ ея мягкомъ, нѣскольکو дѣтскомъ, похожемъ на щебетаніе птички голосѣ слышались слезы. — Я не могу, я не хочу съ нимъ жить... Нѣтъ, я уйду, сейчасъ уйду...

— Но паспортъ? У тебя нѣтъ паспорта. Надо подождать, объясниться, совѣтовалъ молодой человѣкъ, волнуясь не менѣе, чѣмъ она.

— Объясниться! Не могу, не могу!.. Ты знаешь его! Насмѣшки, сарказмы, презрѣніе! О, я готова бѣжать, куда угодно, только бы не ви-

дать этого ядовито улыбающагося лица, не слышать этого высокомернаго тона, этого шипящаго голоса! Возьми меня къ себѣ, увези, дѣлай, что хочешь, но спаси меня! уже со слезами говорила она и съ дѣтской мольбой сжала свои руки.

— Но безъ паспорта же нельзя! Не можешь же ты бросить дочь и сына, не объяснившись съ мужемъ! торопливо говорилъ молодой человѣкъ, стараясь убѣдить ее.

— Онъ меня убьетъ, онъ меня опозоритъ! восклицала она, рыдая. — И какъ это все случилось?.. Писаль, что пріѣдетъ не скоро, и вдругъ...

— Другъ мой, успокойся!.. проговорилъ молодой человѣкъ. — Соберись съ силами! Объясненія не миновать... Этого нужно было ожидать!..

Онъ горячо убѣждалъ ее, но по тону его голоса было слышно, что онъ не менѣе ея боялся предстоящихъ объясненій, сценъ и непріятностей. Казалось, что и самъ онъ тотъ-въ бы былъ убѣжать отсюда, провалиться на время сквозь землю.

— О, если бы не это проклятое положеніе...

если бы не этот несчастный ребенок! шептала она, ломая руки. — И зачѣмъ я не уѣхала раньше за границу... въ деревню... куда ни-будь, чтобы все скрыть... а теперь? Онъ сразу увидитъ, въ какомъ я положеніи... вѣдь это уже всѣ видятъ... Но, Мишель, Мишель, вѣдь ты не бросишь меня?.. Вѣдь ты меня любишь?..

Она бросилась къ нему и припала головой на его плечо. Въ ея голосѣ, въ выраженіи ея лица было опять что то дѣтски беспомощное и дѣтски капризное.

— Женья, что за вопросы! воскликнулъ онъ, цѣлуя ее въ голову. — Но теперь надо спѣшить! Онъ сейчасъ будетъ здѣсь... Ты должна объясниться безъ меня... Онъ не долженъ знать, куда ты уѣдешь... Хотя лучше бы остаться, не уѣзжать... Но если ты рѣшилась, то нечего дѣлать... Я сейчасъ уйду... Если онъ застанетъ меня здѣсь, онъ вызоветъ меня на дуэль и что бы ни случилось тогда — ты погибнешь... Убьетъ онъ меня или я его — тебѣ придется все равно перенести тяжелую долю... Этого надо избѣжать не для меня, а для тебя...

Онъ говорилъ это довольно твердо, стремясь казаться не трусомъ, а только разсчитливымъ и предусмотрительнымъ человекомъ, старающимся вразумить свое-нравное и неопытное дитя. Но это плохо удавалось ему; ему казалось, что онъ стоитъ на раскаленныхъ угольяхъ, ощущая только одно желаніе — скорѣе, скорѣе убѣжать отсюда. Этотъ прїездъ соперника засталъ его такъ же врасплохъ, какъ и ее.

— Господи, Господи, что за мука! восклицала она, закрывая лицо руками. — И за что это все, за что!

— Ну полно, полно! Что дѣлать! прерывающимся голосомъ говорилъ онъ. — Мы сами виноваты, много виноваты! Мы увлеклись... мы дѣйствовали, очертя голову... вотъ и плоды... Я тогда еще говорилъ тебѣ, что надо подождать!..

У него начиналось что то въ родѣ лихорадки.

— Ахъ, что ты мнѣ толкуешь! Ждать, когда любишь! раздражительно воскликнула она.

— Ну, а не ждали, вотъ теперь и придется пережить все это, почти съ упрекомъ сказалъ

одъ и тотчасъ же снова началъ ее утѣшать:— Ну, не плачь, все пройдетъ... все пройдетъ и мы будемъ счастливы...

Онѣ торопливо обнялъ ее, быстро поцѣловалъ и проворно направился въ выходу, проговоривъ еще разъ на ходу:

— Будь тверда, соберись съ силами!

Она, кажется, не слышала послѣднихъ его словъ; она опустилась снова въ изнеможеніи на кресло и залилась слезами.

— О, проклятое, проклятое положеніе! шептала она, стискивая руки. — Если бы можно было на время уснуть, чтобы все объяснилось, окончилось само собою! Кажется, бѣжала бы далеко, далеко, чтобы только не видать Владиміра... И за что это испытаніе? Мишель говоритъ, что мы дѣйствовали, очертя голову... Но развѣ страсть рассчитываетъ?.. развѣ она взвѣшиваетъ?.. О, какъ я люблю Мишеля, какъ я ненавижу Владиміра! И за какой грѣхъ онѣ посланъ мнѣ въ мужья? Мишель твердитъ, что и это наказаніе за то же, что я вышла замужъ, очертя голову... Вѣчно все одна и та-же скучная пѣсня!.. Хорошо ему толковать, а развѣ я тогда понимала что ни-

будь!..

Въ ея воображеніи вдругъ промелькнуло все прошлое: ея жизнь въ родной семьѣ, ея замужество, ея жизнь съ Владиміромъ Аркадьевичемъ Хрюминымъ. Она выросла въ чиновнической, выльзавшей «въ люди» семьѣ, гдѣ всѣ мечтали стать выше своего положенія, пустить пыль въ глаза ближнимъ, добиться чина дѣйствительнаго статскаго совѣтника и получить право говорить: «у насъ въ высшемъ кругу». Покуда завѣтныя цѣли еще не были достигнуты, въ семьѣ царилъ какой-то сумбуръ во всемъ: семья плохо ѣла, чтобы наряжаться получше, и носила грубое, штопанное и перештопанное бѣлье, чтобы имѣть возможность закупать шелковыхъ тканей и кружевъ; дѣти не получали никакого основательнаго образованія, такъ какъ все стремленіе сводилось къ одному желанію научить ихъ говорить по-французски; но такъ какъ хорошія француженки-гувернантки дороги, то къ дѣтямъ и была нанята дешевая француженка сомнительной репутаціи, что-то въ родѣ комисіонерши или устарѣвшей кукотки, умѣвшая научить дѣтей болтать по-

французски, но неумѣвшая научить ихъ правильно написать хотя нѣсколько строкъ на этомъ языкѣ; такъ какъ средства еще не позволяли принимать у себя гостей «изъ своего круга», то семью влекла клубная жизнь и семьѣ казалось, что именно въ клубѣ-то и собирается цвѣтъ «высшаго общества». Въ манерахъ, въ разговорахъ, въ нарядахъ этихъ людей была какая-то невообразимая смѣсь мѣщанства и претензій на хорошій тонъ, полнѣйшаго ничтожества какъ въ умственномъ, такъ и въ нравственномъ отношеніяхъ, и стремленія показать чувство собственнаго достоинства. Отецъ семьи гордился, что играетъ въ карты съ «ихъ превосходительствами», мать гордилась, что ее приглашала къ себѣ въ гости какая-то «баронесса» изъ Риги, дочь гордилась, что съ нею танцуютъ все «гвардейцы». Гдѣ и какъ встрѣтилась Евгенія Александровна съ Владиміромъ Аркадьевичемъ Хрюминымъ, камеръ-юнкеромъ, секретаремъ очень высокопоставленнаго лица, членомъ хорошей, хотя и разорившейся фамиліи, — этого не знали или не помнили ни она, ни онъ. Но помнили

и она, и онъ одно то, что они завязали интрижку, онъ отъ скуки, она потому, что очень любила романы. Интрижка быстро перешла въ серьезное событіе. «Если онъ не женится на Евгеніи, я буду жаловаться, я въ судъ подамъ!» говорилъ узнавшій о событіи отецъ Евгеніи Александровны, грозно сдвигая брови. «Если эта канцелярская крыса подастъ на меня жалобу, моя карьера пропала!» думалъ Владиміръ Аркадьевичъ, узнавъ намѣреніе строгаго родителя. Онъ попался въ сѣти, которыя самъ разставилъ себѣ. Когда онъ долженъ былъ вѣнчаться съ нею, у него разлилась желчь; когда она стояла съ нимъ подъ вѣнцомъ, ей только представлялось одно то, какъ будутъ ей завидовать и Зина Иванова, и Маня Федорова, и Аня Данилова, узнавъ, что она, Женя Трифонова, вышла замужъ за камеръ-юнкера, у котораго всѣ, всѣ родные «князья» и «графы». Потомъ роли измѣнились: онъ ядовито, беспощадно, раздражительно мстилъ ей за то, что онъ женился на ней; она ежедневно плакала, волновалась, краснѣла, сознавая, что она попала не въ свой кругъ. Въ сущности, и онъ, и она бы-

ли парой, ровнями и въ нравственномъ, и въ умственномъ, и въ матеріальномъ отношеніяхъ, но на его сторонѣ былъ одинъ перевѣсъ: онъ могъ упрекать ее ея происхожденіемъ, ея мѣщанствомъ, ея незнаніемъ приличій. Каждый бантъ на ея платьѣ казался ему свидѣтельствомъ ея мѣщанства, каждая ея фраза была доказательствомъ ея безтактности, ея вульгарности, ея невоспитанности. Онъ раздражался при видѣ ея, потому что она была его жена, тогда какъ онъ могъ бы жениться на княжнѣ Золотовской, имѣвшей до трехсотъ тысячъ приданого. Ничто не могло его утѣшить за потерю свободы, но она скоро нашла утѣшеніе, всѣ его колкости, упреки и насмѣшки, волновавшіе ее сначала, стали ей надоѣдать... «Ахъ, какъ это скучно!» говорила она въ этихъ случаяхъ и стала искать веселья въ мелкихъ романахъ. Мужское общество знакомыхъ ея мужа было ею очень довольно; съ ней можно было сальничать, какъ съ кокоткой, и заигрывать, какъ съ вдовушкой легкаго поведенія, не особенно боясь послѣдствій. «Не достаетъ только того, чтобы вы меня опозорили!» говорилъ мужъ,

но она умѣла во время истерически разры-
даться и скрыть концы. Скрыть концы не уда-
лось ей только теперь, когда мужъ уѣхалъ на
годъ за-границу, сопровождая своего высоко-
поставленнаго патрона. Она обрадовалась его
отъѣзду и вздохнула свободно. А тутъ, какъ
на зло, подвернулся подъ руку ея троюрод-
ный братъ, Михаилъ Егоровичъ Олейниковъ,
скромный юноша, съ лицомъ вербнаго херу-
вима, пробивавшійся въ люди по пути при-
сяжнаго повѣреннаго. Они катались на трой-
кахъ на какіе-то пикники, онъ возилъ ее изъ
оперы въ какіе-то рестораны, онъ сопровож-
далъ ее въ маскарады. Она ему рассказывала
про тиранію своего мужа, она передъ нимъ
плакала дѣтскими слезами, онъ ее утѣшалъ.
Онъ никогда не чувствовалъ себя такимъ
счастливымъ, какъ въ это время, когда каж-
дая ея слеза высыхала подъ его поцѣлуемъ,
когда въ концѣ cadaго драматическаго
повѣствованія о своихъ страданіяхъ она пада-
ла на его грудь, склоняя головку на его плечо.
Онъ не испытывалъ ничего слаще этихъ
утѣшеній и, наконецъ, утѣшилъ ее на столь-
ко, что она въ послѣднее время старалась не

выѣзжать въ знакомымъ, чтобы скрыть свое положеніе: она готовилась быть матерью.

— О, если бы не это положеніе! воскликнула она съ ужасомъ, вспомнивъ объ этой несчастной, непредвидѣнной случайности.

Въ эту минуту кто-то позвонилъ. Она вздрогнула, разомъ поднялась съ мѣста, прижалась въ стѣнѣ, затаила дыханіе. Вся ея фигура, каждая черта ея лица выражали смертельный страхъ и опять вся она напонила провинившагося ребенка, боящагося наказанія. Въ передней горничная громко сказала: «барыни нѣтъ дома».

— Не онъ! проговорила молодая женщина, вздыхая широкимъ вздохомъ. — Но все таки онъ сейчасъ пріѣдетъ, сейчасъ!.. Увидитъ меня... «А, вотъ новость!» скажетъ, сощутивъ глаза и мѣрзя взглядомъ мою фигуру!..

Она опять вздрогнула и заходила по комнатѣ, потирая лобъ рукою.

— Нѣтъ, нѣтъ! Нужно бѣжать! Бѣжать, куда глаза глядятъ! Къ Бетси развѣ?.. проговорила она, вспомнивъ о своей бывшей гувернанткѣ, и начала торопливо одѣваться, прежде чѣмъ планъ бѣгства окончательно

выяснился въ ея головѣ: она всегда поступала именно такъ. — Да, Бетси приметъ... она такъ любитъ меня... она любитъ всѣ эти таинственные приключенія... у нея можно прожить... Напишу ему... Да, да, это лучше всего... И чего я боялась, чего прежде думала....Ахъ, какъ это просто! Но надо скорѣе, скорѣе... съ чернаго хода... я не могу терпѣть болѣе этого гнета...

Она совсѣмъ оживилась, она торопливо одѣвалась, брала какія-то вещи, прятала свои золотыя мелочи, отсчитывала деньги, разбрасывая разныя принадлежности туалета. Она была теперь неузнаваема. Ея за минуту передъ тѣмъ печальное лицо сдѣлалось теперь не только оживленнымъ, но почти веселымъ. Мрачныя мысли въ ея головѣ внезапно смѣнились радужными надеждами, какими-то шаловливыми соображеніями. Такіе переходы отъ слезъ къ радости, отъ отчаянья къ надеждѣ встрѣчаются только у дѣтей да у людей, мало думающихъ, легко смотрящихъ на жизнь. Въ ея головѣ теперь носились даже смѣшившія ея мысли о томъ, какъ вытянется у мужа лицо, когда онъ узнаетъ о ея бѣгствѣ, о

томъ, какъ она будетъ скрыватья отъ него и тайно видѣться со своимъ Мишелемъ, о томъ, какъ будетъ рада Бетси, эта старая грѣховодница-француженка, возможности принять дѣятельное участіе въ любовномъ романѣ, въ скрытіи жены отъ мужа.

— *C'est drôle!* воскликнетъ она съ свойственною ей развязностью рыночной торговки.

Только мысль о томъ, какъ бы не опоздать, тревожила теперь молодую женщину и потому она торопилась, какъ никогда. Ни разу въ жизни ей еще не приходилось одѣваться такъ быстро, безъ помощи горничной, не сидя у зеркала, не капризничая ради плохо припиленного горничною бантика. Но даже въ этой поспѣшности была для нея своего рода прелесть; эта необходимость скорѣе одѣться отвлекла ее отъ болѣе серьезныхъ думъ о своемъ положеніи, о мужѣ, о дѣтяхъ. Мысль о послѣднихъ даже мелькомъ не проскользнула въ ея головѣ, такъ какъ они не играли никакой роли во всей этой исторіи. Черезъ четверть часа она была одѣта; она выходила по черному ходу изъ дома съ изящнымъ сакъво-

яжемъ въ рукахъ, спустивъ вуаль на глаза. Пройдя дворъ и выходя изъ воротъ, она услышала шумъ подѣзжающаго въ подѣзду экипажа и пугливо остановилась подъ воротами, прижавшись въ стѣнѣ.

— Возьмите вещи и отнесите ихъ на верхъ! слышался ей знакомый голосъ.

Это былъ голосъ ея мужа. Она какъ-бы замерла на мѣстѣ и ждала, когда унесутъ вещи, когда отѣдетъ наемная карета, когда можно будетъ выйдти изъ подъ воротъ. Ей было и жутко, и хорошо, какъ шалуньѣ-дѣвочкѣ, спрятавшейся отъ строгой гувернантки. Она знала, что мужу не придетъ въ голову заглянуть подъ ворота, и въ тоже время чего-то боялась, даже преувеличивала въ себѣ ни на чемъ не основанный страхъ, какъ будто тѣшась этимъ жуткимъ ощущеніемъ. Въ ея головѣ промелькнула даже мысль, что этотъ случай нужно будетъ рассказать и Бетси, и Мишелю, — рассказать, какъ она напугалась, какъ она была на волосокъ отъ опасности, какъ она совсѣмъ прижалась къ стѣнѣ, боясь упасть въ обморокъ. Прошло нѣсколько мучительныхъ и сладкихъ минутъ, наконецъ,

все утихло, экипажъ отъѣхалъ и она рѣшилась, озираясь, украдкою выйдти изъ за-сады. Она пошла быстро, дошла до перваго из-возчика, торопливо наняла его и поѣхала. И вдругъ ей стало и легко, и весело, точно она уже кончила всѣ объясненія, точно впереди не предстояло никакихъ тревогъ, точно она порвала всѣ связи съ прошлымъ.

Въ это время у парадной двери ея кварти-ры раздался рѣзкій звонокъ. Горничная отво-рила дверь.

— Владиміръ Аркадьевичъ! Вотъ-то не ждали! Здравствуйте, сударь! говорила она, встрѣчая барина.

— Примите вещи, Даша! проговорилъ ба-ринъ, сбрасывая на стулъ пальто.

Это былъ высокій и стройный блондинъ, съ худощавымъ, блѣднымъ и холоднымъ ли-цомъ; его приличныя манеры, приличная одежда, приличный тонъ сразу бросались въ глаза. Взглянувъ на него, можно было, не ошибаясь, сказать, что это челоуѣкъ, выросшій въ хорошемъ кругу, занимавшій почетное положеніе въ обществѣ, придававшій большое значеніе внѣшности и

брезгливо сторонившійся отъ всѣхъ, кто былъ ниже его. Ему было лѣтъ тридцать пять, но онъ былъ моложавъ, его походка была легка. Его красиво подстриженныя бакенбарды, его англійскій проборъ, его гладко выбритый подбородокъ дѣлали его лицо какимъ-то чистенькимъ, офиціальнымъ, нѣсколько сухимъ и похожимъ на модную картинку. Вслѣдъ за нимъ въ переднюю швейцаръ внесъ багажъ.

— Папа, папа! кричали дѣти, выбѣжавъ изъ дѣтской и бросаясь къ отцу. — Пріѣхалъ! пріѣхалъ! Мама, мама, папа пріѣхалъ! кричали они, поцѣловавъ отца и потомъ бросившись въ залъ искать мать.

— Барыня сейчасъ только ушли! сказала горничная, обращаясь къ барину.

— Гдѣ же мама? Мамы нѣтъ? спрашивали съ недоумѣніемъ вернувшіяся дѣти и снова бросились въ отцу съ дѣтскими ласками.

Отецъ приласкалъ ихъ довольно холодно и сдержанно. Онъ ихъ вообще не особенно любилъ, такъ какъ это были дѣти женщины, «испортившей его жизнь».

— Не знаете, куда ушла барыня? спросилъ

онъ у горничной.

— Не знаю-сь! По черной лѣстницѣ сейчасъ ушли, отвѣтила горничная.

— Что за фантазія! проговорилъ баринъ, пожимая плечами. — Давайте завтракать, я голоденъ. Ну, а вы не шалили? Умниками были безъ меня? небрежно спросилъ онъ у дѣтей,

— Умниками! отвѣтили дѣти, ласкаясь къ отцу. — Ты игрушекъ привезъ?

— Привезъ, привезъ всего! небрежно отвѣтилъ отецъ. — Сперва позавтракаемъ, а потомъ разберемъ все.

Онъ прошелъ въ свой кабинетъ умыться и переодѣться, потомъ прошелъ въ комнату жены, находившуюся рядомъ съ его кабинетомъ. Тамъ все было въ беспорядкѣ. Утренняя блуза жены лежала на полу, ящички туалета были открыты, около кушетки на коврѣ лежала оброненная его женою книга. Это поразило его. Онъ не зналъ, чему приписать этотъ беспорядокъ. Въ его домѣ этого не допускалось.

— Вы, Даша, еще не убирали комнату барыни? спросилъ онъ горничную, выходя въ столовую.

— Нѣтъ-съ, убирала, Владиміръ Аркадьевичъ, отвѣтила горничная.

— Тамъ все разбросано, сказалъ онъ. — Что за безпорядокъ!

Горничная съ недоумѣніемъ взглянула на него и проговорила:

— Не знаю-съ!

— Ну, давайте завтракать! сказалъ онъ, сядя съ дѣтьми за столъ.

Дѣти болтали безъ умолку, но отецъ слушалъ ихъ уже разсѣянно. Его какъ-то помимо его воли тревожили вопросы, зачѣмъ его жена ушла по черной лѣстницѣ, почему у нея въ комнатѣ такой безпорядокъ, куда она могла уйдти до завтрака, не приказавъ нанять себѣ экипажа, пѣшкомъ? Онъ столько разъ твердилъ ей, что порядочныя женщины не ходятъ пѣшкомъ однѣ. Завтракъ былъ конченъ, началось развязыванье и разсматриванье багажа. Черезъ нѣсколько минутъ привезли еще нѣсколько чемодановъ. Дѣти суетились, прыгали и смѣялись около этихъ бауловъ, саковъ и ящиковъ, но отецъ уже былъ хмуръ и неразговорчивъ.

— А мнѣ платье привезъ? говорила

дѣвочка, роясь въ привезенныхъ вещахъ.

— Рано еще о нарядахъ думать! сухо замѣтилъ ей отецъ.

— Это мнѣ? Мнѣ? закричала она, вытаскивая какую-то яркую ткань и накинувъ ее себѣ на плечи передъ зеркаломъ.

— Отъ земли еще не выросла, а кокетничать учишься! еще болѣе рѣзко проговорилъ онъ.

Онъ начиналъ сердиться на дочь, находя въ ней сходство съ женою, на которую онъ почему-то уже серьезно негодовалъ теперь. Переходы отъ обычнаго холоднаго тона къ раздражительности были у него вообще очень быстры и онъ не считалъ нужнымъ сдерживать себя въ своей семьѣ.

— Папа, а мнѣ Миша подарилъ саблю, вдругъ сказалъ сынишка, разсматривая какую-то привезенную отцомъ вещь.

— Какой Миша? спросилъ отецъ.

— Да развѣ ты не знаешь?.. Миша... Михайль Егоровичъ, пояснилъ сынъ.

— Никакого я Михаила Егоровича не знаю, сказалъ отецъ.

— Да Олейниковъ, Михайль Егоровичъ,

продолжалъ пояснять сынъ. — Помнишь Олейникова?

— Олейниковъ? Онъ бывалъ здѣсь? спросилъ отецъ, сдвигая брови.

Онъ не любилъ этого Олейникова, какъ одного изъ родственниковъ и старыхъ друзей своей жены. Олейникову было отказано отъ дома съ первыхъ же дней женитьбы Владиміра Аркадьевича.

— Какъ же! бы-валъ! произнесъ протяжно сынъ. — Онъ мнѣ новыя игрушки привезъ! Я его очень, очень люблю, папа! Онъ мнѣ обѣщаль пистолеть подарить.

— Попрошайка! Тѣхъ только и любишь, кто дарить! гнѣвно проговорилъ отецъ. — Пошелъ прочь!

Онъ поднялся отъ чемодановъ и прошелся по комнатѣ. Въ его головѣ проносились очень невеселыя мысли, какія-то тяжелыя воспоминанія.

— Ступайте въ дѣтскую, вы тутъ только мѣшаете! проговорилъ онъ дѣтямъ. — Сведи ихъ къ нянькѣ, обратился онъ къ лакею и, когда дѣти вышли, спросилъ горничную: — Михаилъ Егоровичъ Олейниковъ сегодня былъ?

— Были-съ, передъ вами только-что были, отвѣтила горничная.

— Часто навѣщаль насъ? спросилъ баринъ.

— Какъ-же-съ, каждый день бывали, отвѣтила горничная. — Ужь очень ихъ дѣти любятъ наши, такъ любятъ...

— Ахъ, что вы тутъ роетесь! раздражительно перебилъ ее баринъ. — Безъ васъ все это развернуть и развяжутъ. Ступайте!

Горничная сконфуженно поднялась съ пола и вышла.

— На барина, ужь извѣстно, ничѣмъ не угодишь, проворчала она.

Владиміръ Аркадьевичъ заходилъ по комнатамъ. Отрывки какихъ-то смутныхъ подозрѣній, какихъ-то тревожныхъ опасеній носились въ его головѣ. Онъ вспомнилъ, что онъ, кажется, видѣлъ Олейникова, когда проходилъ съ парохода между двумя рѣшетками въ зданіе таможи. Да, точно, это была пряничная мордочка Олейникова, смотрѣвшая на него у рѣшетки съ такими широко раскрытыми, изумленными глазами. Олейниковъ даже, кажется, намѣревался поклониться ему,

Владиміру Аркадьевичу, и съ какой-то глупой улыбкой поднялъ руку къ шляпѣ. Да, это былъ онъ. Потомъ Олейниковъ, вѣроятно, заѣхалъ извѣстить его жену объ его прїѣздѣ и она ушла. Зачѣмъ? Куда? Къ нему, къ этой тряпкѣ, къ этому Молчалину, къ этой мѣщанской душонкѣ? Что же онъ ея любовникъ? Отчего же и нѣтъ? Смазливая рожица, угодливый характеръ, безбородая юность! Отчего и не взять его въ любовники? Первый-ли это ея любовникъ? Онъ, Владиміръ Аркадьевичъ, сомнѣвался въ этомъ. Онъ даже сомнѣвался теперь, что его дѣти дѣйствительно его дѣти. Это сомнѣніе не разъ приходило ему въ голову и прежде. Ревнивыя подозрѣнія вызывали не мало семейныхъ сценъ, не мало слезъ и истерикъ его жены. Эти сцены снова возникали передъ нимъ и онъ кусалъ себѣ губы, барабанилъ пальцами по стеклу окна, смотря безцѣльно на улицу. Чѣмъ сдержаннѣе старался онъ быть всегда въ своемъ кругу, на службѣ, тѣмъ тяжелѣе переживалъ онъ разныя внутреннія тревоги и бури. Эти тревоги и бури поднимались въ немъ при каждой мелочной непрїятности.

Внутреннее волненіе охватывало его и теперь и онъ не зналъ, что дѣлать. Не пройди-ли опять къ ней въ будуаръ, можетъ быть, тамъ есть письмо къ нему, какое-нибудь объясненіе. Онъ быстрыми шагами вошелъ въ комнату жены. Тамъ царилъ прежній безпорядокъ. Владиміръ Аркадьевичъ началъ рыться въ письменномъ столѣ, въ туалетныхъ ящикахъ жены. Ему попадались подъ руку какія-то мелочи: бантики, засохшіе цвѣты, медальоны, визитныя карточки, ордена, раздаваемые танцующимъ кавалерамъ. «Все сувениры! промелькнуло въ его головѣ. — Мелкія сокровища мелкой душонки!» Наконецъ, онъ напалъ на клочекъ какой-то бумажки и сталъ читать: «Женя, сегодня я не могу быть у тебя вечеромъ. Цѣлую тебя», читалъ онъ. Подъ этими строчками, набросанными карандашѣмъ, не было подписи, онъ не зналъ этого почерка, но онъ видѣлъ ясно, что это мужской почеркъ, что это адресовано къ его женѣ. «Ну, да, чего же еще больше!» пробормоталъ онъ, комкая клочекъ бумажки. «Нѣтъ ли еще писемъ?» Онъ началъ было снова рыться въ ящикахъ, но тотчасъ же съ презри-

тельной усмѣшкой, исказившей его лицо, задвинулъ ихъ. «Впрочемъ, на что они мнѣ! Довольно и одного этого!» проговорилъ онъ, вставая. По его лицу продолжала блуждать все таже не хорошая, саркастическая усмѣшка. Вѣроятно, именно этой усмѣшки и боялась его жена. «Ну да, любить другого, бѣжала, бросила!.. Что стануть говорить?.. промелькнуло въ его головѣ и онъ сжалъ себѣ виски концами тонкихъ пальцевъ. — Сдѣлаться сказкой города — этого только не доставало!»

— Папа, папа, можно намъ гулять? послышался крикъ дѣтей, вбѣжавшихъ въ комнату и бросившихся къ отцу.

— Идите, идите, куда хотите! оттолкнулъ онъ ихъ.

Дѣти смутились и тихо пошли прочь изъ комнаты. Ихъ испугала грубость отца. Они уже нѣсколько успѣли отвыкнуть отъ его желчнаго, капризнаго тона.

— Папа! Какой я имъ отецъ! проговорилъ онъ съ саркастической улыбкой. — Я теперь увѣренъ, что они не мои! Да, да, это все идетъ не со вчерашняго дня... Но что же дѣлать, что

дѣлать?

Онъ задумался и зашагалъ по комнатѣ.

— Придетъ еще, пожалуй, просить прощенья? думалъ онъ. — Чуть не до старости дожила, а все еще дѣвчонка... блудливость и слезы... слезы и блудливость... Ну, нѣтъ, довольно! Надо все теперь кончить... порвать разъ и навсегда... А дѣти?

Онъ началъ раздумывать, какъ бы устроить дѣтей. Они были для него тяжелой обузой: онъ никогда не любилъ ихъ и его не печалила разлука съ ними, но онъ не имѣлъ такихъ средствъ, чтобы отдать ихъ куда-нибудь на полный пансіонъ въ хорошую семью. Правда, ихъ можно бы сунуть куда-нибудь за дешевую плату, но «свѣтъ»... что скажутъ въ «свѣтъ», если узнаютъ, что онъ почти бросилъ своихъ «законныхъ» дѣтей. Онъ горько усмѣхнулся, вспомнивъ о «законности» своихъ дѣтей. Но не могъ же онъ заявить теперь, что онъ ихъ считаетъ незаконными. Наконецъ, хорошъ бы онъ былъ въ роли мужа-рогоносца! Что можетъ быть смѣшнѣе. Если бы у него были средства, онъ отправилъ бы ихъ за границу, куда-нибудь съ глазъ долой, но...

Онъ сжалъ бользненно свои руки при воспоминаніи о своей бѣдности. Да, онъ былъ бѣденъ, потому-что онъ привыкъ мѣнять каждый день перчатки, а при его средствахъ нужно было носить перчатки по мѣсяцу; онъ былъ бѣденъ, потому-что онъ привыкъ завтракать гдѣ-нибудь у Дюссо или у Бореля, а при его средствахъ приходилось ѣсть дома за завтракомъ яйца въ смятку; онъ былъ бѣденъ, потому-что онъ привыкъ жить въ хорошей обстановкѣ, а у него... Онъ презрительно улыбнулся, взглянувъ на украшавшія комнату его жены поддѣлки подъ саксонскій фарфоръ, подъ старую бронзу, подъ черное дерево. «Прикрытая мишурою нищета!» промелькнуло въ его головѣ и какое-то злобное чувство противъ жены, противъ дѣтей, снова поднялось въ его душѣ: они были виновниками его нуждъ и лишеній.

— Отправлю ихъ къ теткѣ, Олимпіадѣ Платоновнѣ. Она возьметъ ихъ... Да, права была она, когда не совѣтовала мнѣ жениться! Влюбился... Сумасбродничаль... вотъ и плоды увлеченія этой буржуазной!.. Мѣщанская натура сказала! Не могла прямо и честно объ-

ясниться, бѣжала, какъ воровка, укравшая мою честь, произвела скандалъ. Впрочемъ, что ей за дѣло до скандала, до толковъ, ей нечего терять, нечѣмъ дорожить... А моя честь, мое имя?.. Да развѣ она понимаетъ это!.. Развѣ у господъ Трифоновыхъ и Федотовыхъ есть фамильная честь, развѣ у нихъ есть имя!.. Нѣтъ, надо сейчасъ же ѣхать въ деревню къ теткѣ... Скандалъ еще можно предупредить... Скажу прислугѣ, что у жены умираетъ мать, что она потому уѣхала, заберу дѣтей, свезу ихъ къ теткѣ въ деревню, а потомъ... Чтожъ! потомъ явлюсь въ свѣтъ, скажу, что жена лечится на водахъ, что дѣти у тетки живутъ покуда, а тамъ привыкнутъ всѣ, поймутъ понемногу истину, не станутъ болтать...

Онъ долго ходилъ по комнатѣ, глядя куда-то вдаль сощуренными глазами, потирая отъ времени до времени рукою лобъ, обдумывая, что дѣлать, какъ избѣжать скандала, огласки. Въ передней слышался звонокъ. Лакей черезъ минуту принесъ письмо.

— Отъ кого? спросилъ баринъ.

— Не знаю-съ, дворникъ какой-то принесъ и ушелъ, отвѣтилъ лакей.

— Хорошо, ступай! проговорилъ Владиміръ Аркадьевичъ, узнавъ почеркъ жены. Онъ сорвалъ конвертъ, развернулъ письмо, пробѣжалъ глазами торопливо написанныя строки. Евгенія Александровна извѣщала мужа, что она не можетъ болѣе жить съ нимъ, чтобы онъ приготовилъ ей видъ на житье, что она пришлетъ за нимъ, что, вѣроятно, мужъ не станетъ ее принуждать переѣхать къ нему. Тонъ письма билъ холоденъ, фразы отрывисты, содержаніе изобличало всю внутреннюю пустоту, всю малодушную трусость писавшей. Владиміръ Аркадьевичъ смялъ это письмо и зашагалъ снова по комнатѣ. Ворочать! Зачѣмъ? На что она ему? Онъ ее презираетъ! Его голова пылала, сердце билось сильно отъ душившей его злобы. Наконецъ, онъ быстро вышелъ изъ комнаты и позвонилъ. Явились разомъ и лакей, и горничная.

— Даша, Иванъ, проговорилъ Владиміръ Аркадьевичъ, стараясь казаться спокойнымъ, — не развязывайте чемодановъ и укладывайтесь! У барыни матушка захворала... при смерти... Я получилъ письмо... Мнѣ тоже надо

будеть ъхать... Вотъ не ждалъ-то... Надолго, вѣроятно, уѣду... Дѣтей тоже приготовьте... Все соберите... Вамъ придется искать мѣста... Квартиру тоже сдать надо... на что она мнѣ...

Онъ хотѣлъ что-то еще сказать, но не могъ, круто оборвалъ рѣчь, махнулъ рукой и ушелъ въ кабинетъ. Ему гадко было объясняться и лгать передъ прислугой, а между тѣмъ ее нужно было обмануть, чтобы избѣжать толковъ.

Слуги въ изумленіи переглянулись между собою, недоумѣвая, что случилось.

— Папа, папа! Вотъ и мы! кричали дѣти, возвращаясь съ прогулки.

— Тише, тише, дѣтки! проговорила Даша. — Папаша отдыхаетъ въ кабинетѣ.

— А мама пришла? спросила дѣвочка.

— Мамаша уѣхала, и папаша, и вы тоже уѣдете, отвѣтила Даша.

— Куда поѣдемъ? спросили дѣти.

— Не знаю, не знаю, а вотъ все собирать вельно!

— Да что ты болтаешь? вмѣшалась въ разговоръ старуха-нянька. — Что стряслось такое?

— А и Господь вѣдаетъ, только вельно укладывать все и квартиру сдавать, и намъ мѣста искать...

Нянька въ испугъ присѣла на стуль и перекрестилась.

— Господи! Бѣда какая-нибудь! Барыня-то гдѣ? проговорила она.

— Къ маменькѣ, говорятъ, уѣхала; маменька ея, видите, больна, пояснила горничная.

— Ну, такъ я и повѣрю! сказала нянька, задумчиво качая головой. — Недоброе тутъ творится, недоброе... Всегда-я говорила, что догугляются до бѣды. Ну, вотъ и стряслось... Тоже не ждала, не гадала, а теперь ищи мѣста на старости лѣтъ... И что съ вами-то, ангелы божіе, будетъ... что съ вами-то будетъ!..

Нянька притянула къ себѣ въ приливъ нѣжности дѣтскія головки.

— Няня, что ты плачешь? тревожно приставали дѣти.

— Объ васъ, сиротки мои, объ васъ, ангелы божіе! заунывно причитала нянька.

Смущенные и испуганные дѣти, ничего не понимая, стояли передъ нянькой съ опущенными рученками и широко открытыми глаз-

ками. Ихъ маленькія сердчишки охватилъ какой-то неопредѣленный страхъ, какое-то новое чувство болѣзненной тоски.

А прислуга, нисколько не стѣсняясь ихъ присутствіемъ, уже судачила про господь.

II

Старая дѣва, «городская» фрейлина былыхъ временъ, княжна Олимпіада Платоновна Дикаго только что успѣла «откушать» свой утренній чай и присѣсть къ туалету, чтобы горничная причесала ей волосы и одѣла ее, когда къ подъѣзду ея деревенскаго жилища подкатилъ экипажъ. Такой ранній визитъ былъ здѣсь явленіемъ необыкновеннымъ. Олимпіада Платоновна уже не первое лѣто проводила въ Сансуси, въ подмосковномъ имѣніи своего брата, и всѣ мѣстные аристократы, начиная съ предводителя дворянства и кончая архіереемъ, давно успѣли привыкнуть къ ея неизмѣннымъ обычаямъ, привычкамъ и правиламъ: съ визитомъ къ ней они не смѣли являться ранѣе второго часа, безъ приглашенія они не являлись къ ней къ обѣду или на вечеръ. Ея образъ жизни и ея

правила были опредѣлены разъ и навсегда точно и акуратно и она не измѣняла ихъ ни для кого. Дѣлать исключенія для кого бы то ни было было не въ ея характеръ. Вслѣдствіе этого ее крайне удивилъ прїѣздъ гостей въ неурочный утренній часъ.

— Софья, кто тамъ, спроси! обратилась она къ своей «камерюнгферъ», услыхавъ шумъ подѣхавшаго экипажа.

«Камерюнгфера», такая же старая дѣва, какъ и барыня, поспѣшно вышла изъ будуара и черезъ нѣсколько минутъ возвратилась снова:

— Владиміръ Аркадьевичъ съ дѣтьми прїѣхалъ, доложила она.

— Сумасшедшій, право, сумасшедшій! проговорила Олимпіада Платоновна недовольнымъ тономъ. — Не написалъ, не извѣстилъ и, какъ снѣгъ на голову, изволилъ явиться... И съ супругой? уже съ ядовитой ироніей спросила она.

— Помилуйте, развѣ онъ смѣлъ бы! возразила горничная.

— А — а, матушка, нынче люди все смѣютъ! Ворвутся къ тебѣ въ домъ, незван-

ные, непрощенные, да еще хотятъ, чтобы имъ глазки дѣлали, сердито проговорила Олимпіада Платоновна. — Нынче вѣдь одиннадцатую заповѣдь люди придумали «будь нахаломъ и преуспѣвать будешь!»

Горничная засмѣялась тихимъ смѣхомъ.

— Бросила, вѣрно, супруга то, такъ и пріѣхаль къ тетушкѣ, продолжала ворчливо Олимпіада Платоновна.

— Ну, ужъ и бросила! усумнилась горничная.

— Да ужъ ты помяни мое слово, что бросила! настойчиво утверждала Олимпіада Платоновна. — А то зачѣмъ бы ему дѣтей ко мнѣ тащить? Помнишь, какъ князя Петра Андреевича Дикаго жена бросила, тоже ко мнѣ дочь притащилъ. Они всѣ таковы: женятся — не спросятъ, разойдутся — дѣтей везутъ. «Вы, chère tante, такъ добры, такъ добры!» Голубчики вы мои, доброта-то моя вотъ гдѣ у меня сидитъ! Олимпіада Платоновна показала костлявымъ пальцемъ на затылокъ. — Изъ за доброты-то своей я не гдѣ нибудъ по заграницамъ наслаждаюсь, а въ подмосковномъ Сансуси схимничаю, себя во всемъ урѣзаю...

Горничная сочувственно вздохнула.

— Да ужь что говорить, вы себѣ въ послѣдніе два года платья лишняго не сдѣлали, проговорила она.

— Не лишняго, а никакого не сдѣлала, рѣзко сказала барыня. — Хорошо еще, что Олимпіада Платоновна и въ старыхъ тряпкахъ всегда будетъ Олимпіадой Платоновной! А то вѣдь, пожалуй, скоро за черносалопницу считать бы начали... Право!..

Наступило короткое молчаніе. Горничная продолжала причесывать волосы госпожи.

— А что, если и въ самомъ дѣлѣ Владиміръ Аркадьевичъ разошелся со своею супругой и привезъ къ намъ дѣтей жить? спросила горничная.

— Что? проговорила Олимпіада Платоновна. — Разбраню, раскричуся, окажу, чтобы и не знали меня...

— А потомъ дѣтей у себя оставите? закончила горничная вопросительнымъ тономъ.

— Дура, дура ты, Софья! проворчала старуха-барыня.

— Да ужь это вѣрно! утверждала горничная.

— Ну, а что жь ты то сдѣлала бы? Ну, научи, что надо сдѣлать, скажи, какъ бы ты поступила? настойчиво проговорила Олимпіада Платоновна, поднимая полусѣдую голову и смотря прямо въ лицо горничной своими пронизательными глазами.

Горничная добродушно улыбнулась:

— Стала бы ихъ воспитывать, отвѣтила она добродушно.

— Дура, дура ты, Сонька! Вотъ думала, умный совѣтъ подасть, а она... старуха-барыня засмѣялась привѣтливымъ смѣхомъ и заторопилась:— Ну, одѣвай скорѣе, одѣвай скорѣе! Силь моихъ нѣтъ ждать, поскорѣй накричатся хочется, разбранить его, высказать все... Въдь ты пойми, нахальство то какое: не предупредилъ, не написалъ и — вотъ-съ принимайте гостя!

Одѣванье пошло быстрѣе...

Отравное впечатлѣніе производили эти двѣ женщины, эти два обломка старины. Низенькая, горбатая, сморщенная, какъ печеное яблоко, княжна Олимпіада Платоновна Дикаго производила съ перваго взгляда самое непріятное, отталкивающее впечатлѣніе. Гор-

батая фигура, длинная, костлявыя руки, несоразмѣрная съ туловищемъ большая голова, заплетавшіяся на коду ноги, пестрые отъ неравномѣрно пробивавшейся съдины волосы, рѣзко смотрѣвшіе изъ глубокихъ впадинъ глаза, сморщенная и потемнѣвшая, какъ старый пергаментъ, кожа, неровный, то грубый, то визгливый голосъ, напоминавшій голосъ молодого пѣтуха, все это сразу отталкивало человѣка отъ старой отставной фрейлины. Но были люди, любившіе и это обиженное природой существо, и среди этихъ людей первое мѣсто безспорно принадлежало Софѣ, повѣренной, домоправительницѣ, горничной, молочной сестрѣ, если хотите, подругѣ Олимпіады Платоновны. Софья была ровесницей барышнѣ, она была съ дѣтства взята въ барскій домъ, она съ барышней научилась читать и писать, она знала немного по-французски, она ѣздила съ болѣзненной барышней когда-то за-границу, она знала какой-то печальный романъ въ жизни барышни, она не скрыла отъ барышни и того, что въ ея жизни былъ тоже невеселый романъ. Высокая, высохшая, некрасивая, рябоватая, она тоже

производила впечатлѣніе отталкивающее, неприятное, какъ многія старыя дѣвы. Но Олимпіада Платоновна любила ее болѣе всѣхъ своихъ знакомыхъ и родныхъ. Между барышней и служанкой была полная откровенность, была извѣстнаго рода фамиллярность, служанка даже сильно вліяла на барышню, но въ тоже время никогда Софья не смѣла сама сѣсть при Олимпіадѣ Платоновнѣ, никогда не смѣла дать ей какой-нибудь совѣтъ при постороннихъ, можно даже сказать, что служанка боялась барышню и сильно мучилась каждый разъ, сдѣлавъ какую-нибудь оплошность и видя необходимость признаться въ этой оплошности, хотя, повидимому, она давно бы должна была привыкнуть, что Олимпіада Платоновна очень мало обращаетъ вниманія на разныя оплошности людей и еще менѣе на оплошности своей Софьи. Олимпіада Платоновна и Софья слыли каждая въ своемъ кругу «старыми дѣвками», «злючками», «полоумными чудачками», но и вокругъ Олимпіады Платоновны группировались въ минуты жизни трудныя разныя племянницы и племянники, крестницы и

крестники, гонимые родителями или преслѣдуемые кредиторами, и вокругъ Софьи сгруппировалась цѣлая шайка ея родныхъ, служившихъ у Олимпіады Платоновны поварями, прачками, кучерами и лакеями. Олимпіада Платоновна была не богата, но и далеко не бѣдна: у нея былъ небольшой капиталъ, крошечное имѣніе и пенсія въ шесть тысячъ рублей; этихъ доходовъ, конечно, было бы вполне достаточно для нея, но она постоянно нуждалась, сидѣла безъ гроша, такъ какъ ее обирали всѣ, кому было не лѣнь; а такихъ людей среди «захудалыхъ» родственниковъ Олимпіады Платоновны было не мало. Софья въ свою очередь могла бы кое-что скопить, живя на всемъ готовомъ и получая хорошее жалованье и подарки, но у нея никогда не было денегъ: если ее не обирали разные крестники и крестницы, племянники и племянницы, то ее обирала сама Олимпіада Платоновна, вѣчно сидѣвшая безъ денегъ и занимавшая ихъ у Софьи. Но каковы бы ни были внутреннія качества этой пары — языки двухъ старыхъ дѣвъ были иногда невыносимы: критиковать и бранить всѣхъ и все, на-

чиная съ самихъ себя, вошло, кажется, въ плоть и кровь этихъ женщинъ. Когда онъ удалялись въ Сансуси, онъ рѣже встрѣчались съ людьми, у нихъ меньше являлось поводовъ кого-нибудь осуждать, имъ меньше бросалось въ глаза, какъ живетъ тотъ-то и тотъ-то, но Олимпіада Платоновна получала газеты и между барышней и служанкой ежедневно происходили разговоры въ родѣ слѣдующаго:

— Ты помнишь, Софья, Валеріана Ржевскаго? спрашивала Олимпіада Платоновна.

— Еще бы! отвѣчала Софья. — Головорѣзь, какъ есть головорѣзь былъ! Въ вѣкъ не забуду, какъ покойная его матушка къ намъ пріѣзжала въ слезахъ, когда его въ долговое хотѣли посадить за долги! Мы же выручали!

— Ну, да, да! И можешь представить, этого-то мота, этого-то головорѣза на директорское мѣсто въ акціонерную компанію посадили! сообщала Олимпіада Платоновна. — Его подъ опекой держать надо, а его директоромъ дѣлають!

— Да что вы! удивлялась Софья. — Да ужъ это не другой-ли Ржевскій? Вѣдь этотъ и не въ чинахъ, и виду надлежащаго не имѣеть.

Такъ себѣ, шаркуномъ выгладить!

— Да нѣтъ, вотъ тутъ напечатано: Валеріанъ Ивановичъ Ржевскій, указывала на газету Олимпіада Платоновна. — Другого Валеріана Ивановича Ржевскаго нѣтъ! Хорошо дѣла то компаніи пойдутъ! А? Это я бы нашего Митрошку-пьяницу въ домоправители произвела, что бы было? И вѣдь все такъ, все такъ у насъ дѣлается! А потомъ и жалуются: «ахъ, компанія у насъ лопается!.. ахъ, дѣла дурно идутъ! ахъ, людей у насъ нѣтъ!» А! людей нѣтъ! Дѣль некому вести! Скажите, пожалуйста, какая несчастная страна, что и людей не сыщешь!.. Да они бы ко мнѣ пришли спросить, что за человекъ Валеріанъ Ржевскій, такъ я бы имъ, голубчикамъ моимъ, его атестацію дала! Не поздоровилась бы ему, родному!

— Да помилуйте, кто же его не знаетъ! говорила возмущенная Софья. — Я думаю, каждый извощикъ въ Петербургъ скажетъ, какъ онъ куролесиль!.. Въ трубу все дѣло пустить, всю компанію разорить въ разоръ! Ужъ своего имѣнія не уберегъ, наслѣдственное все промоталь, такъ гдѣ уже ему чужія-то деньги бе-

речь!

— И по-дѣломъ имъ, по-дѣломъ! волновалась Олимпіада Платоновна. — Вора на вора сажаютъ, негодяя за негодяемъ къ дѣламъ приставляютъ, ну, все и развинчивается, все и расползается. Нѣтъ, вы людей умѣйте выбирать, вы волковъ въ овчарни не пускайте, тогда у васъ всѣ эти компаніи и пойдутъ хорошо!.. А они Ржевскихъ въ денежнымъ сундукамъ приставляютъ!.. Господи, и когда это кончится, когда кончится, — просто и ума не приложишь!

Иногда бесѣды касались и политическихъ вопросовъ.

— Ты вѣдь знавала короля Фердинанда Второго? спрашивала Олимпіада Платоновна такимъ тономъ, какъ будто Софья была близко знакома со всѣми европейскими вѣнценосцами.

— Какъ-же! тѣмъ же тономъ отвѣчала Софья. — Онъ къ намъ, когда мы въ Неаполѣ жили, съ визитомъ пріѣзжалъ, молодой еще совсѣмъ былъ...

— Ну да, да! Тогда еще столько надеждъ на него возлагали, говорила Олимпіада Плато-

новна. — Вотъ, говорили, финансы неаполитанскіе поправить, подниметь силу государства. Ужь газеты трубили, трубили о его доблестяхъ! А теперъ не сегодня, такъ завтра воевать со своими собственными подданными придется.

— Да что вы? удивлялась Софья. — И съ чего это?

— А продолжай идти тѣмъ путемъ, которымъ разъ пошелъ, говорила Олимпіада Платоновна. — А то онъ ошибку за ошибкой творить, свое-же дѣло портить, а въ Римѣ тѣмъ временемъ новый папа, — тамъ вѣдь теперъ Пій IX папой назначень, — реформы разныя дѣлаеть, ну, неаполитанцамъ и завидно, народъ живой, горячій. И какъ вѣдь не понять, что безъ уступокъ съ такимъ народомъ ничего не подѣлать, что головой своей только рискуеть! Да впрочемъ, всѣ они, Бурбоны, упрямы, это ужъ, вѣрно, фамильное: большіе носы, толщина да упрямство, вотъ и все, что имъ по наслѣдству достается. И помяни ты мое слово, когда нибудь кромѣ этого у нихъ ничего и не останется.

— Ну, за такимъ наслѣдствомъ, пожалуй,

что и гнаться не стоитъ, смѣялась Софья.

Въ такихъ разговорахъ о директорахъ, губернаторахъ, министрахъ и короляхъ проводилось время, покуда приходилось пробавляться только газетными извѣстіями и бранить министровъ и королей, не имѣя причины журить знакомыхъ и родныхъ. Но, не щадя никого, осмѣивая и браня всѣхъ, эти двѣ женщины не щадили и самихъ себя. По крайней мѣрѣ, Олимпіада Платоновна стала извѣстна въ свѣтѣ именно съ того дня, когда она зло подшутила надъ собой. Ее въ давно былые дни ея молодости назначили фрейлиной къ одному изъ малыхъ дворовъ тѣхъ временъ; она представилась одной изъ высочайшихъ особъ и эта особа ласково замѣтила ей:

— Я надѣюсь теперь видѣть васъ чаще?

— А развѣ, ваше высочество, желаете въ своемъ дворцѣ устроить кунсткамеру? наивнымъ тономъ спросила тогда еще молодая Олимпіада Платоновна.

Это вызвало на лицахъ присутствующихъ невольныя улыбки.

— Я вотъ очень жалѣю, что меня, какъ дѣвушку, нельзя послать на конгресъ отъ ли-

ца Россіи, такъ же серьезно продолжала Олимпіада Платоновна.

— Для чего? спросили ее.

— Все бы хоть какое нибудь пугало было, а то теперь нашихъ уполномоченныхъ вовсе не боятся тамъ, замѣтила горбунья.

Этотъ разговоръ разнесся быстро по городу и за Олимпіадой Платоновной сразу утвердилось слава остроумной и смѣлой дѣвушки. Сперва ее знали съ этой стороны только въ ея тѣсномъ кружкѣ, теперь эти качества стали извѣстны всему большому свѣту. Къ Олимпіадѣ Платоновнѣ стали заглядывать все чаще и чаще высокопоставленныя лица, находя не только удовольствіе, но и поученіе въ ея меткихъ, ѣдкихъ и смѣлыхъ бесѣдахъ. Салонъ ея вдоваго отца, занимавшаго очень видный постъ въ администраціи государства, или, вѣрнѣе сказать, ея салонъ сталъ извѣстенъ въ Петербургѣ, а потомъ и за границей, гдѣ довольно долго прожилъ старикъ, какъ одинъ изъ лучшихъ аристократическихъ салоновъ, гдѣ общество подъ вліяніемъ хозяйки смѣло и рѣзко обсуждало политическіе и общественные вопросы.

Безпощаднѣ всего относилась Олимпіада Платоновна къ своей «глупости», какъ она называла свою «доброту».

— Вѣдь всѣ знаютъ, что я зла, что я старая, сумасбродная дѣвка, говорила она своей наперсницѣ, — и все таки лѣзутъ ко мнѣ за помощью. А почему? Потому, что всѣ знаютъ, какая я эгоистка: мнѣ непріятно волновать себя отказами, потому я и исполняю всякія просьбы.

— Ну, ужъ это вы клеплете на себя, вступалась Софья за свою госпожу. — Просто потому добро дѣлаете, что сердце у васъ доброе.

— И врешь, и врешь, Сонька! сердилась Олимпіада Платоновна. — Если бы у меня было сердце доброе — я ходила; бы отыскивать бѣдняковъ и раздавала бы имъ все. А я вотъ сижу и не подумаю помочь людямъ, если они сами не придутъ ко мнѣ за помощью.

— Да зачѣмъ же вамъ еще искать бѣдняковъ, если ихъ и такъ безъ числа лѣзетъ? возражала Софья. — И этимъ то всѣмъ средствъ нѣтъ помочь, себя урѣзаете во всемъ...

— А все же, если бы я добрая была, такъ хо-

дила бы отыскивать самыхъ бѣдныхъ, спорила Олимпіада Платоновна. — А то я готова первому мошеннику помочь, только бы онъ отсталъ отъ меня и не беспокоилъ меня. Нѣтъ, помогаю я, чтобы только меня не беспокоили, чтобы себя отъ непріятности избавить, а то мнѣ и дѣла нѣтъ, что тамъ гдѣ то какойнибудь Сидоръ или Иванъ голодаетъ.

И каждый разъ, когда родные, знакомые или чужіе люди опустошали карманы Олимпіады Платоновны, она ворчала долго, по цѣлымъ недѣлямъ, браня себя за свою глупость, пророча себѣ въ будущемъ разоренье и долговое отдѣленіе, и какъ только являлись новые просители, отдавала опять все, что еще находилось въ ея карманѣ или въ карманѣ Софьи. Тѣмъ не менѣе сердилась на это она очень серьезно, такъ же серьезно, какъ и теперь, когда незванный и непрошенный явился къ ней сынъ ея покойной сестры Владиміръ Аркадьевичъ Хрюминъ.

— Ну, ну, одѣла? Все? Пойду браниться! говорила она, направляясь въ залъ изъ будуара. — Еще сейчасъ дѣти разревутся, увидавъ пугало! Тоже очень пріятно слышать ревъ

при своемъ появленіи! Хоть бы предупредилъ ихъ, что ли, чтобы не боялись, а то, я думаю, и на это ума не хватило! ворчала она на ходу, ковыляя и путаясь въ своемъ шелковомъ платьѣ темнаго цвѣта съ пелеринкой, прикрывавшей горбъ.

— Ma tante! слышался при ея появленіи въ гостиной голосъ Владиміра Аркадьевича, уже уставшаго ждать выхода тетки.

— Здравствуй, здравствуй! скороговоркой проговорила она, подставляя ему къ губамъ сморщенную, длинную и крупную руку. — Не писалъ, не предупредилъ и пріѣхалъ! Очень, очень умно! Это твои дѣти?

— Да... Ольга, Евгеній, подойдите! обратился Владиміръ Аркадьевичъ къ дѣтямъ, застѣнчиво и пугливо пятившимся отъ уродливой старухи. — Поцѣлуйте у тетушки руку!

Дѣти не двигались съ мѣста. Неожиданныя событія послѣднихъ дней, желчныя выходки раздраженнаго отца и безъ того уже успѣли смутить и сбить ихъ съ толку, а тутъ еще къ довершенію всего они очутились лицомъ къ лицу съ невиданнымъ страшилищемъ. Они готовы были заплакать и пятились назадъ

отъ тетки. Это не ускользнуло отъ вниманія Олимпіады Платоновны.

— Послѣ, послѣ! поспѣшно замахала она рукой. — Они, я думаю, голодны, такъ имъ не до цѣлованія рукъ!

Она позвонила. Вошелъ лакей.

— Сведи дѣтей въ столовую, скажи Софѣ, чтобы дали имъ завтракать, сладкаго чегонибудь, сказала хозяйка. — Вели имъ идти! обратилась она къ племяннику.

— Ступайте, тамъ завтракъ готовъ вамъ, сказалъ Владиміръ Аркадьевичъ.

— А потомъ побѣгайте по саду, цвѣты тамъ есть, проговорила Олимпіада. Платоновна, стараясь какънибудь ободрить дѣтей.

Дѣти быстро пошли изъ комнаты: они были рады скрыться отъ страшной старухи, которую уже дѣвочка шопотомъ успѣла назвать брату: «бабой-ягой.» Первое впечатлѣніе, произведенное на нихъ теткой, было не въ ея пользу. Олимпіада Платоновна сознавала это и взволновалась еще болѣе.

— И что это ты, милый, не предупредилъ, ихъ, что они не должны бояться людей, какими бы пугалами гороховыми ни выглядѣли

люди, раздражительно произнесла старуха, когда дѣти вышли. — Вѣдь теперь они ночью спать не будутъ отъ страха послѣ нашей пріятной встрѣчи. Родимчики еще, пожалуй, сдѣлаются!

— Ma tante, вы ошибаетесь, дѣтямъ вовсе нечего было пугаться, началъ любезнымъ тономъ Хрюминъ, но тетка перебила его.

— Пожалуйста, не старайся быть любезнымъ! Я, милый, шестьдесятъ лѣтъ не могу отучиться отъ страха, когда себя въ полутемной комнатѣ въ зеркаль увижу, такъ ужъ они то и подавно съ непривычки должны испугаться. И что это тебѣ вздумалось ихъ привезти ко мнѣ? На показъ, что-ли? Такъ ты знаешь, что я пискуновъ не жалею.

Хрюминъ чувствовалъ себя не совсѣмъ ловко. Онъ хорошо зналъ придирчивый и неровный характеръ сумасбродничавшей чудачки-старухи и ждалъ не особенно пріятнаго объясненія. Племянникъ и тетка сѣли, но разговоръ начался не сразу.

— Я, ma tante, очень несчастливъ, началъ онъ, наконецъ, дѣлая печальное лицо.

— Это я знаю, сухо замѣтила тетка.

— Знаете? спросилъ онъ съ недоумѣніемъ.

— Ну да, если-бы былъ счастливъ, такъ зачѣмъ бы тебѣ было ко мнѣ то пріѣзжать? искусственно простодушнымъ тономъ отвѣтила она.

Онъ вздохнулъ, чувствуя себя еще болѣе неловко и не зная, какъ приступить къ довольно щекотливому объясненію съ капризной старухой. Объясненія съ нею иногда напоминали что то въ родѣ стремленія поймать ежа, не уколовъ рукъ.

— Вамъ, конечно, неизвѣстно еще, что случилось со мною, такъ какъ этого еще вообще никто не знаетъ. Моя жена оказалась мелкой и ничтожной личностью; она гнусно обманывала меня, проговорилъ онъ, не зная, какъ приступить къ дѣлу.

— Ну, а потомъ? равнодушно спросила старуха, прямо смотря на его смущенную физиономію.

— Она бросила меня, окончилъ онъ коротко.

— Въ чемъ же несчастье то твое?

— Какъ въ чемъ? Развѣ этого мало? удивился племянникъ. — Вы поймите...

Старуха-тетка не дала ему кончить.

— Да вѣдь это только все то, чего ты желалъ самъ, проговорила она ироническимъ тономъ.

— Я? съ изумленіемъ переспросилъ племянникъ.

— А то кто же? Ужь не я ли? засмѣялась сухо старуха-тетка и ея старческой смѣхъ непріятно отдался въ ушахъ племянника. — Вѣдь все это я тебѣ предсказывала, ну, а ты и слушать не хотѣлъ, женился, значитъ, все это испытать желалъ, — вотъ и испыталъ. Теперь радоваться долженъ, что однимъ опытомъ въ жизни больше. Просто смѣшно смотрѣть: доживуть чуть ли не до сѣдыхъ волосъ, а все какими то мальчиками остаются: «*ma tante*, меня обидѣли!» Ахъ, батюшка, слава Богу, самъ великовозрастный, самъ обидѣть другихъ можешь, такъ тутъ хныкать нечего!

Владиміръ Аркадьевичъ даже обидѣлся.

— *Ma tante*, я не въ такомъ теперь положеніи, чтобы издѣваться надо мною, меня жалѣть нужно, проговорилъ онъ нѣсколько драматично, стараясь не раздражаться.

— Ахъ, батюшка, зачѣмъ же ты ко мнѣ то ѣхаль? воскликнула старуха. — Ты бы лучше къ кузинѣ Дарьѣ Петровнѣ направилъ: она вонъ послѣ смерти своего мужа двадцать лѣтъ на утѣшеніе брошенныхъ мужей посвятила. Ну, а мнѣ, ужъ извини, не приходится плакать, когда передо мной этакій большой мужикъ, какъ ты, плачетъ, что его баба обидѣла! Ты ужъ и въ обществѣ гдѣ нибудь не прослезился ли? Вѣдь, пожалуй, посмѣшищемъ сдѣлаешься, пальцами указывать будутъ: «вонъ мужъ, котораго жена обидѣла.»

Старуха сдѣлала презрительную, очень некрасивую гримасу и захохотала.

— А я тебѣ вотъ что скажу, начала она снова, не давъ ему времени отвѣтить. — Когда ты началъ дурить, воображая, что ты влюбленъ, я тебѣ говорила, что это дочь писаря какого-то, воспитанная какой то французской торговкой не у дѣлъ, ѣздящая для ловли жениховъ въ клубы, — не пара тебѣ. Ты вѣдь въ кружевныхъ пеленкахъ выросъ, въ высшемъ кругу на паркетѣ избаловался, среди знати высшіе вкусы развилъ, а батюшка твой по-

койный, не тѣмъ онъ будь помянутъ, оставилъ тебѣ только долги неоплатные въ наслѣдство, такъ въ такомъ положеніи не о любви, не о сантиментахъ нужно было думать, а о томъ, чтобы хотя на женины деньги свои вкусы удовлетворять, если отъ нихъ, отъ этихъ вкусовъ то, ужь отдѣлаться никакъ невозможно было. Деньги, связи, протекція тебѣ были нужны, а не смазливое личико какой то вертушки, которую и въ нашъ кругъ-то ввести не могъ...

— Ma tante, вы никогда не допускаете увлеченій молодости, перебилъ старуху племянникъ.

— Не перебивай, пожалуйста! сухо сказала она. — Это не увлеченія молодости, потому что ты и молодъ то никогда не былъ, а просто вѣтрогонство, вертопрашество. Встрѣтился, завелъ интрижку, сошелся, а тамъ и отступить уже было поздно. Вѣдь ты самъ съ перваго дня свадьбы очень хорошо понималъ свое положеніе. Не совсѣмъ же ты дуракъ. Помнишь, ты пріѣхалъ ко мнѣ при tante Barbe. «Что это, говоритъ она, рассказываютъ, что нашего повѣсу женили». — «Нѣтъ, ma tante,

кричу я ей, вы не дослышали: онъ не женился, а желчь у него разлилась.» А ты, милый мой, и точно не на новобрачнаго похожь былъ, а на лимонъ. Очень хорошъ былъ: и желтъ, и кисель, все, должно быть, отъ счастья первыхъ дней супружеской жизни.

Старуха засмѣялась дребезжащимъ смѣхомъ.

— Теперь не время смѣяться, когда я опозоренъ, когда мои дѣти брошены матерью! уже совсѣмъ раздражительно произнесъ Владиміръ Аркадьевичъ. — Я пріѣхалъ просить васъ пріютить у себя на время моихъ дѣтей.

Старуха совсѣмъ разсердилась.

— Да что же это у меня воспитательный домъ, что-ли? воскликнула она. — Князя Петра Андреевича жена бросила — дочь ко мнѣ привезъ. Твоя благовѣрная бѣжала — ты своихъ ребятишекъ ко мнѣ тащишь. Нѣтъ ли тамъ у васъ въ Петербургѣ еще когонибудь на очереди къ разводу, кто бы еще привезъ мнѣ дѣтей. Вѣдь такихъ то, какъ ты, тамъ непочатой уголь, такъ ты, милый, посовѣтуй имъ, что вотъ такъ и такъ есть на свѣтѣ старая ду-

ра, княжной Олимпіадою Платоновной Дикаго зовуть, къ которой всѣхъ брошенныхъ дѣтей въ домъ подкидывать можно. Тебѣ спасибо скажутъ! Право!

Старуха встала и заковыляла заплетающимися ногами по гостиной, продолжая въ волненіи что то ворчать. Владиміръ Аркадьевичъ постарался сдержать свое раздраженіе, свой гнѣвъ, чтобы не разсердить еще болѣе неговорчивую старуху. Безъ ея помощи онъ не зналъ куда свалить съ своихъ рукъ дѣтей, эту тяжелую обузу, навязанную ему судьбой.

— *Ma tante*, я умоляю васъ, помогите мнѣ выпутаться изъ этой исторіи, мягко заговорилъ онъ. — Я хочу избѣжать скандала, я хочу все устроить семейнымъ образомъ, мнѣ дорога моя фамиліная честь и мнѣ нужно куда нибудь пріютить дѣтей на время, на самое короткое время... Ради нашей семейной чести не бросьте, не оттолкните ихъ... Я знаю, какъ вы добры...

— Ну, пошла старая пѣсня! сердито проговорила старуха, махнувъ безнадежно рукою. — Ну, добра, добра я! Да что жъ изъ этого? Мнѣ покой нуженъ, милый мой! Стара я

стала, не въ пору мнѣ съ дѣтьми нянчить-ся...

— Но вы все таки не бросите ихъ? проговорилъ Владиміръ Аркадьевичъ, заглядывая заискивающимъ взглядомъ въ ея глаза и взявъ ея руку.

Она отдернула руку и проворчала:

— Безъ нѣжностей, пожалуйста! Знаю я все это очень хорошо: когда нужна, тогда и ласки, и слезы, и жалкія слова, все у васъ найдется... На это кого не станеть!

— *Ma tante*, вы знаете, что я никогда не лгу, что я всегда былъ преданъ вамъ всею душою, тихо сказалъ онъ.

— Это ужъ не тогда ли ты любовь свою ко мнѣ доказывалъ, когда и слушать меня не хотѣлъ, толкуя о своей женитьбѣ? спросила старуха.

— Ну, браните меня, браните, какъ послѣдняго школьника, только не бросайте дѣтей, проговорилъ онъ, снова взявъ ея руку и поднося ее къ губамъ. — Они несчастныя, брошенныя дѣти!

— Оставь, пожалуйста, тонъ плачущаго Іереміи, перебила его, старуха. — Безъ тебя я

знаю, что у такихъ людей, какъ ты и твоя супруга, дѣти только и могутъ быть несчастными. Чувствъ то у васъ даже родительскихъ нѣтъ. Мать бросаетъ дѣтей, отецъ тоже тащитъ ихъ Богъ вѣсть куда! Эхъ вы, родители! Именнымъ бы указомъ запретить такимъ то жениться!

Владиміръ Аркадьевичъ вздохнулъ.

— Ma tante, есть вопросы, которыхъ вовсе лучше не касаться, произнесъ онъ грустнымъ тономъ. — Я вамъ говорилъ, что жена обманывала меня, что она играла моею честью. Этотъ позоръ шель не со вчерашняго дня. Я игралъ въ домѣ только жалкую роль ширмы для этой ничтожной женщины. Гдѣ же тутъ говорить о любви къ ней, о любви къ ея дѣтямъ, когда нѣтъ даже увѣренности, что ея дѣти — мои дѣти.

Онъ проговорилъ послѣднюю фразу очень драматическимъ тономъ.

Старуха пристально смотрѣла на него и уже внимательно слушала его рѣчи, не перебывая его и сдвинувъ брови. Онъ, кажется, обрадовался возможности излиться и высказаться вполнѣ и продолжалъ, увлекаясь и го-

рячась все болѣе и болѣе:

— Да, я никогда въ этомъ не былъ увѣренъ и, можетъ быть, потому никогда не чувствовалъ особенно сильной привязанности къ нимъ. Какой то тайный инстинктъ уже и прежде, когда я ничего еще не зналъ навѣрное, подсказывалъ мнѣ, что это не мои дѣти, что это только живыя свидѣтельства моего позора. Кромѣ того визнаете, что у меня есть служебныя обязанности, занятія я не могъ слѣдить за воспитаніемъ этихъ дѣтей; и каждый день мнѣ приходилось подмѣчать въ нихъ несимпатичныя мнѣ черты, привитыя къ нимъ ихъ матерью. Я видѣлъ, что изъ нихъ дѣлають не людей нашего круга, а какихъ то маленькихъ мѣщанъ съ дурными вкусами, съ дурными привычками, съ дурными наклонностями. Нечего и говорить, что дѣти были не виноваты, но вы знаете, что я раздражителенъ, что мой характеръ неровенъ, и потому поймете, что ихъ недостатки еще болѣе отталкивали меня отъ нихъ, разрывали между нами цѣлую пропасть.

По мѣрѣ того, какъ говорилъ племянникъ, голова старухи опускалась все ниже и ниже,

выраженіе ея лица сдѣлалось необыкновенно грустнымъ, изъ ея груди вылетѣлъ чуть слышный вздохъ. Племянникъ предсталъ теперь передъ нею въ какомъ то новомъ свѣтѣ. Владиміръ Аркадьевичъ смутно угадывалъ, что онъ начинаетъ размягчать сердце старухи, что она начинаетъ склоняться на его сторону.

— Да, ma tante, я пережилъ страшные годы, продолжалъ онъ, все болѣе и болѣе увлекаясь своей Іереміадой. — Я жилъ въ семьѣ и не имѣлъ семьи, я имѣлъ дѣтей и не могъ называть себя въ душѣ ихъ отцомъ. Можетъ быть, въ то время, когда я называлъ ихъ своими дѣтьми, кто нибудь другой смѣялся надо мною въ душѣ презрительнымъ смѣхомъ. Я, наконецъ, былъ брошенъ женою и у меня на рукахъ остались эти дѣти, отцомъ которыхъ я не могу считать себя, которыхъ я не могу искренно любить, которыя вѣчно — вѣчно будутъ мнѣ напоминать только о прошлыхъ неудачахъ, о моемъ дозорѣ, о втоптанной въ грязь фамильной чести, о моей погубленной молодости.

Старуха угрюмо отвернулась: на ея глазахъ

были слезы.

— Бѣдныя, бѣдныя дѣти! прошептала она едва слышно, качая головой.

Владиміръ Аркадьевичъ нѣсколько изумился этому тихому, какъ вздохъ, восклицанію. Но въ то же время онъ былъ радъ возможности словить тетку на словѣ.

— Вы ихъ оставите у себя? сказалъ онъ мягко.

— Да, да, разсѣянно отвѣтила она, что-то соображая.

Въ эту минуту въ комнату вбѣжали совсѣмъ раскраснѣвшіяся дѣти. Они успѣли позавтракать и побѣгать въ саду и нѣсколько отдохнули отъ тяжелыхъ впечатлѣній, утѣшились на свободѣ, среди природы, среди цвѣтовъ. Ихъ лица разгорѣлись и были веселы. Вслѣдъ за ними на порогъ гостиной появилась худощавая фигура Софьи и сухое лицо этой старой дѣвы улыбалось простой, добродушной улыбкой. Было видно, что она уже вполне завоевала расположеніе маленькихъ гостей.

— Папа, папа, смотри какихъ мы цвѣтовъ нарвали! закричали они, показывая отцу нар-

ванные ими въ саду цвѣты.

— Кто вамъ позволилъ? сказалъ строго отецъ. — Цвѣты посажены вовсе не для того, чтобы ихъ обрывали. И на что вы похожи: что за глупыя украшенія? обратился онъ къ дочери, натывавшей себѣ въ волосы цвѣтовъ. — А ты грязнѣе уличнаго мальчишки! крикнулъ онъ на сына, успѣвшаго выпачкать свои панталончики. — Если вы будете и здѣсь вести себя такъ, то...

Олимпіада Платоновна во весь ростъ поднялась съ мѣста:

— Соня, погуляй еще съ дѣтьми! обратилась она къ своей горничной и прибавила ласково дѣтямъ:— Играйте, играйте тамъ!

Испуганныя окрикомъ отца дѣти обрадовались возможности снова скрыться отъ него и попятились къ добродушной служанкѣ, взявшей ихъ за руки. Скоро они исчезли за дверью. Олимпіада Платоновна смотрѣла, какъ они удалялись и не трогалась съ мѣста, не произносила ни слова. Наконецъ, когда она снова осталась съ глазу на глазъ съ племянникомъ, она обратила къ нему совсѣмъ суровое, холодное лицо.

— Я надѣюсь, что ты, по крайней мѣрѣ, поторопишься уѣхать, сухо произнесла она.

Онъ съ недоумѣніемъ посмотрѣлъ на нее.

— Я думаю, что съ нихъ довольно несчастія быть твоими дѣтьми и не для чего дѣлать ихъ еще несчастнѣе, заставляя ихъ оставаться съ тобою, рѣзко сказала она.

— Ma tante! воскликнулъ Владиміръ Аркадьевичъ и въ его голосѣ слышались рѣзкія ноты гнѣва.

Она окинула его глазами и холодно перебила его:

— Я прежде считала тебя, по крайней мѣрѣ, настолько порядочнымъ человѣкомъ, что не предполагала въ тебѣ способности мстить дѣтямъ за мать...

Онъ закусилъ губы отъ безсильнаго бѣшенства и хотѣлъ что то сказать, но старуха сдѣлала уже шагъ, чтобы удалиться, и на ходу съ холоднымъ презрѣніемъ сказала ему:

— Я ихъ оставляю — чего же тебѣ еще нужно?

Не прощаясь, не протягивая ему руки, не взглянувъ на него, она медленно, переваливаясь съ боку на бокъ, заплетая ногами и пута-

ясь въ платьѣ, ворча что-то себѣ подъ носъ, направилась вонъ изъ гостиной, сопровождаемая яростными взглядами уничтоженнаго и оскорбленнаго Хрюмина.

III

Въ одной изъ комнатъ въ Сансуси давно уже постоянно были спущены толстыя шелковыя занавѣси у оконъ. Въ этой комнатѣ царствовала по цѣломъ днямъ полнѣйшая тишина. Если кто и проходилъ въ ней, то его шаги были неслышны на мягкомъ коврѣ, застилавшемъ весь полъ. У одной изъ стѣнъ стояла большая старинная кровать съ бѣлыми кисейными занавѣсями. На этой постели лежалъ маленькій больной ребенокъ. Наступала ночь, не онъ еще не слалъ. Въ полумракѣ, озаренномъ только небольшою лампою съ синимъ абажуромъ, едва можно было разглядѣть его исхудалое, блѣдное личико. Это былъ Евгеній Хрюминъ, едва начинавшій оправляться послѣ тяжелой простуды.

Около постели противъ ребенка сидѣла Софья, тихимъ голосомъ рассказывавшая ему сказку, какъ гуси-лебеди похитили одного

мальчика. Съ того дня, какъ онъ сталъ немного поправляться, она каждый вечеръ рассказывала ему сказки и онъ засыпалъ подъ звуки ея мѣрной, тихой рѣчи. Она растягивала слова, удлиняла рассказъ, стараясь усыпить ребенка этимъ рассказомъ. Это была сегодня уже не первая сказка, рассказанная ею, но ребенокъ все таки не засыпалъ.

— Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жили старичокъ со старушкою, протяжно рассказывала Софья. — У нихъ были дочка да сынокъ, маленькій-маленькій таковой...

— Они, Софочка, любили дѣтей? спросилъ больной ребенокъ.

— Любили, отвѣтила Софья. — Вотъ и говоритъ мать: «Дочка, дочка, пойдѣмъ мы на работу, принесемъ тебѣ булочку, сошьемъ сарафанчикъ, купимъ платочекъ; будь же умна, береги братца, не ходи со двора.» Старики ушли, а дочка и забыла, что ей приказывали, посадила братца на травкѣ подъ окошкомъ, а сама побѣжала на улицу, загулялась, заигралась съ другими дѣтками. Налетѣли гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на кры-

лушкахъ...

— А старички и не знали? спросилъ мальчикъ.

— Не знали, не знали, на работѣ въ ту пору были, отвѣтила Софья. — Вотъ пришла дѣвочка, глядитъ — брата нѣтъ! Ахнула она, кинулась туда-сюда, нигдѣ нѣтъ! Кликала она его, кликала, плакала она, плакала, — братецъ не откликнулся. Выбѣжала она въ чистое поле, на широкой просторъ, мелькнули вдалекѣ гуси-лебеди и пропали за темнымъ лѣсомъ. Давно гуси-лебеди славу дурную нажили, давно маленькихъ дѣточекъ крадывали...

— А гдѣ мой папа? вдругъ спросилъ ребенокъ, повернувъ на подушкѣ свою головку и смотря прямо въ лицо рассказчицы. — Зачѣмъ онъ уѣхалъ?

— Папаша вашъ на службѣ! У него дѣла, отвѣтила Софья.

— А мама гдѣ? спросилъ ребенокъ.

— Мамаша къ бабушкѣ уѣхала, отвѣтила Софья.

— Зачѣмъ же она не простилась съ нами? Взяла и уѣхала, такъ и уѣхала, грустно гово-

рилъ ребенокъ, какъ бы впадая въ раздумье.

— Бабушка очень захворала, потому она и торопилась уѣхать, объясняла Софья.

— И насъ не взяла къ бабушкѣ, шепталъ какъ бы въ забытѣи ребенокъ.

— Нельзя къ больной было взять. Вы бы шумѣть тамъ стали, а бабушкѣ спокойствіе нужно, поясняла Софья.

— Я бы не шумѣлъ. Тихо, тихо ходилъ бы на цыпочкахъ, вотъ какъ ты ходишь, сказалъ ребенокъ.

Онъ сильно смущалъ своимъ жалобнымъ тономъ, своими неожиданными вопросами добродушную женщину.

— Не говорите много, голубчикъ; докторъ не велѣлъ. Вотъ слушайте, что я буду рассказывать, тихо сказала она.

Она продолжала сказку:

— Угадала дѣвочка, что гуси-лебеди унесли ея братца, бросилась ихъ догонять. Бѣжала, бѣжала, стоитъ печка: «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетѣли?» — «Сѣшь моего ржаного пирожка, скажу» — «О, у моего батюшки пшеничные не ѣдятся!»

Но мальчикъ уже не слушалъ сказки; ему

не было никакого дѣла до этихъ гусей-лебедей, до этого унесеннаго ими мальчика; его мысль занималь теперь другой мальчикъ, котораго никто не уносилъ изъ дома и котораго бросили сами родители; этотъ мальчикъ былъ онъ самъ; его дѣтская головка работала въ одномъ и томъ же направленіи, стараясь найдти отвѣты на свои собственные личные вопросы.

— А нашъ папа насъ любить? спросилъ онъ Софью.

— Какъ же ему не любить васъ, у него только вы съ Олей и есть, отвѣтила Софья, прерывая рассказъ.

— А ma tante тоже насъ любить? продолжалъ распрашивать мальчикъ.

— Да, сами видите, какъ заботится о васъ, отвѣтила Софья.

— Пала любить и все бранился, ma tante любить и все ласкаетъ? въ глубокомъ раздумьи проговорилъ мальчикъ вопросительнымъ тономъ. — Какъ же это? спросилъ онъ уже совсѣмъ печально.

— Вы, вѣрно, шалили, вотъ онъ и бранилъ васъ, отвѣтила Софья, снова смущенная во-

просомъ больного ребенка. — Кто шалить, того всегда бранять, хоть и любятъ. Кто шалить, тотъ дурной, а надо хорошимъ быть... Да вы не говорите, а то и я браниться стану, шутливо закончила она.

— А ты меня тоже любишь, Софочка? спросилъ онъ ласково.

— Очень люблю и потешу хочу, чтобы вы были здоровы. А здоровы вы будете, если не будете много говорить. Докторъ не велѣлъ говорить много. Вотъ и меня бранить станетъ, если узнаетъ, что вы много говорили... Слушайте лучше сказку.

Она опять продолжала прерванный рассказъ про гусей-лебедей, про то, какъ нашла ихъ дѣвочка, какъ отняла у нихъ братца, какъ привела его домой и какъ рады были старичокъ со старушкой, что ихъ сынокъ живъ и здоровъ остался. Мальчикъ стихъ и ей показалось, что онъ, отвернувшись отъ свѣта, начинаетъ дремать. Но вдругъ она услышала тихія, сдержанныя слезы. Быстро поднялась она съ кресла и подошла къ постели больного.

— Голубчикъ, что съ вами? тревожно спра-

шивала она, наклоняясь надъ нимъ.

— Ни папа, ни мама не любятъ, тихо шепталь мальчикъ въ отвѣтъ ей.

Софья совсѣмъ растерялась и не знала, что дѣлать. Она и унимала его, и гладила его по головкѣ, и цѣловала, а въ душѣ ея были какіе то суевѣрные страхи, ей такъ и казалось, что ребенокъ сейчасъ умретъ, что онъ не жилецъ на этомъ свѣтѣ, такъ какъ на него «нашло просвѣтленіе». Съ давнихъ поръ бѣдная простая женщина наслышалась въ своемъ кругу о томъ, что люди передъ смертью прозрѣваютъ многое, чего они не понимали во всю жизнь, и теперь ей вспомнились всѣ эти рассказы. Не мало стоило ей труда унять слезы мальчика.

— Софочка, расскажи мнѣ опять про лягушку-царевну, тихо сказалъ ребенокъ, нѣсколько успокоенный ласками своей доброй сидѣлки.

Онъ больше всего любилъ эту сказку, слышанную имъ уже не разъ отъ Софьи. Въ этомъ рассказѣ онъ находилъ какую то особенную прелесть, что всегда удивляло Софью, не понимавшую, почему именно эту сказку за-

ставляетъ ее повторять мальчикъ. Она присѣла къ нему на постель и, продолжая его ласкать, начала разсказъ:

— Жиль былъ въ старые годы одинъ царь, а у него было три сына — всѣ на возрастъ. Царь и говоритъ: «дѣти, сдѣлайте себѣ по самострѣлу и стрѣляйте: кто принесетъ стрѣлу, та и невѣста». Большой сынъ выстрѣлилъ — принесла стрѣлу княжеская дочь; средній выстрѣлилъ — принесла стрѣлу генеральская дочь; младшему же Ивану царевичу принесла стрѣлу изъ болота лягуша...

— Гадкая лягуша, Софочка? спросилъ мальчикъ.

— Гадкая, голубчикъ, гадкая, отвѣтила Софья. — Ну, вотъ тѣ братья и веселы и радостны стали, а Иванъ царевичъ призадумался, заплакалъ: «какъ я стану жить съ лягушой? Вѣкъ жить — не рѣку переплыть, не поле перейдти!»! Поплакалъ, поплакалъ да нечего дѣлать — взялъ въ жены лягушу.

По лицу мальчика начала бродить какая то свѣтлая улыбка, точно ее вызывало сознание, что, не смотря на трагическое положеніе Ивана-царевича, все окончится

счастливо и благополучно.

— Вотъ живутъ они, продолжала Софья, — царь захотѣлъ однажды посмотрѣть отъ невѣстокъ дары, которая изъ нихъ лучше мастерица. Отдалъ приказъ. Иванъ-царевичъ опять призадумался, плачетъ: «что у меня лягуша сдѣлаетъ! Всѣ смѣяться станутъ!»! Лягуша же ползаетъ по полу, только квакаетъ: «ква-ква»! Какъ уснулъ Иванъ-царевичъ, она вышла на улицу, сбросила кожу, сдѣлалась красной дѣвицей и крикнула: «няньки-мамки, сдѣлайте то-то»! Няньки-мамки тотчасъ принесли рубашку самой лучшей работы. Она взяла ее, свернула и положила возлѣ Ивана-царевича, а сама опять обернулась лягушой, ползаетъ да квакаетъ: «ква-ква»! Понесъ Иванъ-царевичъ рубашку къ царю, царь принялъ ее, посмотрѣлъ: «Ну, вотъ это рубашка — въ Христовъ день надѣвать»! Средній братъ принесъ рубашку, царь сказалъ: «Только въ баню въ ней ходить»!

— А теперъ, Софочка, есть лягушки-царевны? спросилъ полусоннымъ голосомъ ребенокъ.

Повидимому, онъ снова не слушалъ сказку

и былъ поглощенъ своими думами.

— Нѣтъ, голубчикъ, теперь нѣтъ, отвѣтила Софья.

— А та tante не лягушка-царевна? спросилъ мальчикъ.

— И что это вы, голубчикъ! проговорила Софья не безъ смущенія.

Мальчикъ улыбнулся кроткой дремотной улыбкой.

— Нѣтъ, пусть она будетъ лягушкой-царевной, проговорилъ онъ. — Та добрая, добрая...

Софья ровно ничего не понимала изъ того, что происходило въ дѣтской головкѣ.

— Ну, слушайте же, прервала его она и продолжала:

— Взялъ царь у большого сына рубашку и сказалъ: «Въ черной избѣ ее носить!» Разошлись царскія дѣти; двое то и судятъ между собою...

Софья взглянула на лицо мальчика: онъ закрылъ глазки и лежалъ неподвижно съ мягкою улыбкою на лицѣ.

— Судятъ между собою, продолжала она, понижая голосъ:- «Нѣтъ, видно, мы напрасно смѣялись надъ женой Ивана-царевича, она не

лягушка, должно быть», уже совсѣмъ тихо и протяжно закончила Софья и смолкла.

Больной спаль...

Она поднялась съ мѣста и на цыпочкахъ пошла къ лампѣ, чтобы еще убавить огонь. Въ эту минуту неслышно отворилась дверь и на порогѣ появилась неуклюжая фигура Олимпіады Платоновны.

— Тссъ! прошептала Софья, дѣлая знакъ рукою.

— Ну, что? шопотомъ спросила старуха-барыня.

— Уснуль! также шопотомъ отвѣтила служанка. — Плакаль сейчасъ!

— О чемъ? Хуже стало? тревожно спросила барыня.

— Богъ его знаетъ! Мысли у него такія! проговорила Софья.

— Какія мысли? спросила Олимпіада Платоновна.

— Говорить: «И папа, и мама не любятъ. Только та tante да ты любите»...

Въ голосѣ Софьи слышались слезы. Старуха-барыня слушала молча, въ глубокомъ раздумья опустившись въ кресло.

— Папа, говорить, все бранился, мама уѣхала, не простившись. Никто, говорить, не приходилъ къ постелькѣ во время болѣзни, только та tante да ты, Софочка, по ночамъ сидѣли. А самъ плачетъ, плачетъ, тихо такъ; жалобно, точно вся его душенька изнываетъ. И откуда у него эти мысли? Нашепталь ктонибудь развѣ?.. Или... Господи, спаси его... ангелочка!.. передъ кончиной это просвѣтленіе бываетъ, станетъ человѣку все ясно, и кто его любилъ, и кто его обидѣлъ, и кто ему добра или зла желалъ...

Обѣ женщины были уже у постели больно-го: старуха тетка сидѣла на креслѣ, Софья стояла около нея, склонивъ къ ея уху свое лицо, чтобы имѣть возможность быть услышанной, даже говоря шопотомъ. Все ихъ вниманіе сосредоточено было на ребенкѣ, всѣ ихъ мысли вертѣлись около вопроса: «откуда у него явились такія мысли? Кто ихъ пробудилъ въ его головѣ? Когда онѣ зародились»? И ни та, ни другая не знали, что эти мысли зародили въ его головѣ онѣ сами, проводя у его постели, какъ и теперь, безсонныя ночи, почти боясь пошевелинуться, прислушиваясь къ его

дыханію, всматриваясь въ его исхудалое личико.

Эти двѣ женщины даже и не подозрѣвали, что пережилъ этотъ ребенокъ за послѣднее время, когда въ его жизни совершился такой рѣзкій переломъ и произошли такія крупныя событія, пробудившія впервые его дѣтскій мозгъ. Когда онъ жилъ въ домѣ своего отца и своей матери, онъ, повидимому, ни о чемъ не думалъ серьезно. По цѣлымъ днямъ отсутствовала его мать, часто онъ не видалъ ее и пяти минутъ въ день, иногда она тономъ капризной дѣвочки говорила дѣтямъ, что «они ей надоѣли,» чтобы они ей не мѣшали, чтобы они шли въ дѣтскую, но ему и въ голову не приходилъ вопросъ: «любитъ ли его мать?» Другихъ отношеній матери къ дѣтямъ онъ не видалъ и не зналъ и потому эти отношенія, существовавшія въ ихъ семьѣ, онъ считалъ естественными. Отецъ, когда онъ не былъ въ разъѣздахъ по службѣ за границей, раздражался, кричалъ, сердился на дѣтей, придирался къ нимъ за каждую мелочь, почти никогда не ласкалъ ихъ, но это было тоже такимъ будничнымъ, такимъ постояннымъ

явленіемъ, что дѣти почти привыкли къ этому и нисколько не огорчались обращеніемъ съ ними отца. Правда, иногда дѣти мелькомъ слышали неосторожные разговоры прислуги о томъ, что господа на ножахъ между собою, о томъ, что баринъ только шпыняетъ дѣтей, о томъ, что барыня только по баламъ да по театрамъ рыщетъ, о томъ, что инымъ дѣтямъ у мачихи да у отчима слаще живется. Но это были отдѣльныя фразы, пролетавшія мимо дѣтскихъ ушей почти безслѣдно, рядомъ съ этими фразами шли прописныя наставленія той же прислуги на счетъ того, что папашу и мамашу слушаться надо, что ихъ любить надо, что имъ досаждать не слѣдуетъ. Сама эта прислуга, жалѣвшая дѣтей въ тѣ минуты, когда ей нужно было «посудачить» между собою о господахъ, при первой шалости дѣтей не упускала случая пригрозить имъ: «а вотъ я папашѣ пожалуюсь,» «а вотъ я мамашѣ все расскажу,» и въ минуты раздраженія срывала злобу на этихъ же дѣтяхъ. Другой жизни, другихъ отношеній дѣти не знали, не видѣли, по подозрѣвали. Они въ этомъ отношеніи походили на слѣпорожденныхъ, которымъ трудно

составить себѣ представленіе о свѣтѣ и тьмѣ. Имѣ жилось даже недурно въ послѣднее время, когда отецъ надолго уѣхалъ за границу, когда мать кутила ежедневно внѣ дома съ Олейниковымъ, когда прислуга стала менѣе взыскательна, менѣе раздражительна, живя на свободѣ въ отсутствіи господъ, пируя въ своемъ кругу, наводя въ домъ гостей или отсутствуя гдѣ то по цѣлымъ вечерамъ и ночамъ. Но вдругъ совершенно неожиданно все измѣнилось: пріѣхалъ отецъ, раздраженный, злой, придирчивый; скрылась неизвѣстно куда мать; дѣтей вдругъ снарядили въ дорогу, привезли въ незнакомый домъ и бросили у какой то старой, уродливой тетки. Дѣти недоумѣвали, почему это все случилось, куда скрылись отецъ и мать, почему имѣ, дѣтямъ, приходится жить у тетки. На дѣтей сразу пахнуло здѣсь новымъ вѣяньемъ, новой жизнью. Большой барскій домъ, утонувшій въ зелени и цвѣтахъ, деревенскій просторъ и свѣжій воздухъ, невозмутимая тишина въ домѣ, вполнѣ правильный образъ жизни и полное отсутствіе какихъ бы то ни было дразгъ и ссоръ, сплетень и перебранокъ, все это было

такъ не похоже на ихъ жизнь въ ихъ родительскомъ домѣ. У старухи-тетки гостили разные родственницы, къ ней пріѣзжали гости, но никогда и ни при комъ не гнала она отъ себя ихъ, дѣтей; ни разу не сдѣлала она имъ замѣчанія при комънибудь постороннемъ; давая имъ какіянибудь наставленія, она всегда замѣчала: «такъ нельзя дѣлать, тебя никто любить не будетъ.» Мальчикъ самъ не замѣчалъ, какъ онъ все болѣе и болѣе привязывался къ старухѣ. Любила ее и его сестренка, но ея любовь не сосредоточивалась на одной Олимпіадѣ Платоновнѣ. Какъ дѣвочка, она проводила больше времени съ гостившими въ домѣ родственницами хозяйки: она спала съ ними въ одной спальнѣ, она ходила съ ними купаться, она вертѣлась около нихъ, когда онѣ вышивали или вязали, и училась у нихъ. Евгенийъ же былъ болѣе одинокимъ и находился почти неотлучно при теткѣ, которую онъ начиналъ съ каждымъ днемъ любить все болѣе и болѣе. Особенно хорошо чувствовалъ онъ себя, когда онъ стаивалъ или сиживалъ около ея большого кресла, а она, разговаривая съ какимънибудь важнымъ

посѣтителемъ, опускала машинально сморщенную, широкую руку на плечо мальчугана или такъ-же машинально гладила эту рукою его волосы. Въ эти минуты ребенокъ старался не шевелиться и прижимался къ ней, чувствуя, что ему такъ хорошо, такъ тепло. Что то въ родѣ гордости пробуждалось въ немъ, когда тетка давала ему какія нибудь порученія и говорила ласковымъ, шутливымъ тономъ: «это мой вѣрный пажъ.» Онъ считалъ величайшимъ счастіемъ возможность услужить ей и въ его дѣтскомъ умѣ сложилось представленіе, что выше, умнѣе и лучше его тетки нѣтъ никого на свѣтѣ; не даромъ же онъ ежедневно видѣлъ и слышалъ, какъ и старые, и важные люди пріѣзжали въ ней на поклонъ, за совѣтами, съ просьбами, съ вопросами. Въ его дѣтской головкѣ сложилось о теткѣ такое представленіе, что она самая важная барыня, что важнѣе ее никого нѣтъ. На эти мысли наводили его и портреты, важныхъ сановниковъ, висѣвшіе въ портретной галереѣ, и богатая обстановка стариннаго дома, и серьезный видъ старыхъ слугъ, важно и неспѣшно исполнявшихъ свои обязанности, и

старые сановные посѣтители, заглядывавшіе въ этотъ домъ. Что то въ родъ гордости ощущалъ въ себѣ мальчикъ, сознавая, что онъ племянникъ этой важной барыни, нерѣдко толковавшей о царяхъ, о дворѣ, какъ о чемъ то очень близкомъ ей. Это чувство еще болѣе укрѣплялось въ немъ, когда во время его шалостей ему замѣчалъ старый лакей, приставленный къ нему: «Развѣ можно вамъ такъ вести себя? Слава Богу, не какой нибудь крестьянскій вы сынъ! Что ея сіятельство скажетъ, если узнаетъ, какъ вы повѣсничаете.» Мальчикъ въ этихъ случаяхъ сразу утихалъ и принималъ какой то не дѣтски степенный и чопорный видъ потомка всѣхъ этихъ украшенныхъ звѣздами и лентами сановниковъ, смотрѣвшихъ на него со стѣнъ портретной галереи. Отъ его наблюдательности не ускользнуло и то, что эта старуха ежедневно заглядывала въ его дѣтскую и осматривала хорошо постлана его постель, освѣженъ ли въ его комнатѣ, воздухъ, плотно ли закрыты окна. Нырнувъ въ свою постельку, онъ ждалъ, когда подойдетъ тетка, погладить его по головѣ и скажетъ: «ну, спи!» Онъ въ эти минуты ло-

вилъ ея руку и цѣловаль ея въ ладонь, зная, что тетка, имѣвшая слабость бояться, когда ей цѣловали ладони рукъ, непременно скажетъ съ улыбкой: «опять, шалунъ!» Потомъ она тихо удалится изъ комнаты, а онъ начнетъ умолять «Софочку» рассказать ему сказку. Ахъ, какія сказки знала Софочка! И про Ивана-царевича, и про Кащея-Безсмертнаго, и про Бабу-Ягу она знала. Но глубже этихъ сказокъ залегли въ памяти мальчика тѣ сказки, гдѣ говорилось про любимаго и про нелюбимаго сына, про злую мачиху и про гонимую падчерицу, про родного батюшку да про родную матушку, про ту любовь, которой онъ не видалъ до сихъ поръ и которая вдругъ озарила, согрѣла его. Въ ребенкѣ начало пробуждаться смутное сознаніе, что его не любили отецъ и мать, что онъ и есть тотъ нелюбимый дурачокъ-сынъ, котораго гонять и осмѣиваютъ дома и который послѣ отплачиваетъ любовью за нелюбовь родителей. Но покуда эти мысли были неясны, отрывочны, пробѣгали безслѣдно, какъ лѣтнія облака, въ ясной дѣтской жизни. Но вотъ ребенокъ простудился и слегъ. Болѣзнь была продолжительна и

опасна. Обѣ старыя дѣвы — княжна Олимпіада Платоновна и Софья — сбились съ ногъ, не досыпали ночей, просиживали цѣлые часы у постели больного ребенка. Именно въ это время сказалась вполнѣ та неудовлетворенная жажда привязанности и любви, которая такъ долго таилась, которая скрывалась въ сердцахъ этихъ старыхъ дѣвъ, и именно въ это время понялъ мальчикъ, что значитъ любовь, какъ она можетъ проявляться, до какого самозабвенія она можетъ доходить. Часто онъ не спалъ въ тѣ ночные часы, когда у его постели сидѣли эти женщины, онъ съ любовью смотрѣлъ на эти тихо двигающіяся по его комнатѣ тѣни, онъ видѣлъ хорошіе сны, когда эти женщины съ ласкою склонялись надъ нимъ и, цѣлуя его, шептали ему: «ну, усни, голубчикъ!» А отецъ, а мать, развѣ они такъ относились къ нему, когда годъ тому назадъ онъ былъ такъ же боленъ. Развѣ они когда нибудь сидѣли у изголовья его постели? Да, отецъ и мать не любили его! Но за что-же? Усиленная работа мысли происходила въ дѣтской головкѣ, хотя ребенокъ и не умѣлъ высказать ясно и точно, до

чего онъ додумался, какимъ путемъ и почему онъ додумался до той или другой мысли.

Только теперь, когда Софья подробно передала Олимпіадѣ Платоновнѣ о томъ, что на мальчика «нашло, вѣрно, передъ смертью просвѣтленіе», Олимпіада Платоновна начала припоминать разныя, повидимому, ничтожныя обстоятельства, уяснившія ей тотъ процессъ мысли, который происходилъ въ маленькой головкѣ ребенка. Она вспомнила, что разъ онъ спросилъ у нея: «выздоровѣла ли его бабушка»? Олимпіада Платоновна не сразу сообразила тогда, о какой бабушкѣ онъ говоритъ, и спросила: «а развѣ у тебя есть бабушка»? Но она тотчасъ же спохватилась и замѣтила: «ахъ да, это ты про ту спрашиваешь, къ которой мама твоя поѣхала. Ну, да, она еще нездорова». Ребенокъ лаконически замѣтилъ: «то-то мама и не ѣдетъ». Тогда этотъ разговоръ не имѣлъ никакого значенія для Олимпіады Платоновны; теперь она понимала, что маленькій мозгъ и тогда работалъ въ извѣстномъ направленіи. Потомъ припомнился ей еще одинъ странный вопросъ ребенка: «Что значитъ, ma tante, сиротки»?

спросилъ мальчикъ. «Это дѣти, у которыхъ нѣтъ ни отца, ни матери», отвѣтила она. «Значить, няня не могла насъ называть сиротками»? спросилъ мальчикъ: «Нѣтъ, у васъ есть и отецъ, и мать», отвѣтила Олимпіада Платоновна и спросила мальчика, о какой нянькѣ онъ говоритъ. Онъ отвѣтилъ, что онъ говоритъ о той нянькѣ, которая жила у нихъ въ Петербургѣ. При воспоминаніи о многихъ подобныхъ мелочахъ у Олимпіады Платоновны хмурился теперь лобъ, въ ней зарождался страхъ за болѣзненное настроеніе мальчика, она боялась, что эти мысли повредятъ ему, помѣшаютъ его выздоровленію.

Но дѣла приняли хорошій оборотъ. На слѣдующій день, послѣ ночного разговора больного съ Софьей, Олимпіада Платоновна вошла не безъ страха въ комнату мальчугана. Онъ уже проснулся и смотрѣлъ бодрѣе, чѣмъ наканунѣ; болѣзнь, повидимому, приняла хорошій оборотъ. Дѣтскія силы восторжествовали надъ недугомъ. Когда Олимпіада Платоновна подошла къ мальчику и спросила, хорошо ли онъ спалъ, онъ весело и бодро отвѣтилъ, что хорошо. Онъ заговорилъ съ

нею довольно оживленно о томъ, что онъ скоро встанетъ, что онъ скажетъ доктору, что у него ничего не болитъ, ни головка, ни ножки. Олимпиада Платоновна ласково улыбнулась и сказала ему:

— Ну, а теперь молчи, болтунъ, до доктора!

Она провела рукой по его волосамъ. Онъ быстро словилъ ея руку и покрылъ ее поцѣлуями.

— Ma tante, я васъ очень, очень люблю... и всегда, всегда буду любить! проговорилъ онъ нервно, порывисто и весь зарумянился, крѣпко стиснувъ ея руку.

Она какъ будто испугалась этого порыва, видя въ немъ нѣчто болѣзненное, не вполне нормальное.

Она тихо наклонилась къ нему, поцѣловала его въ лобъ и шопотомъ сказала:

— Я знаю!

Потомъ она поспѣшила перемѣнить разговоръ; начала говорить, что надо спросить доктора, нельзя ли мальчику встать, что его можно посадить въ большое кресло и перевезти въ гостиную, что сестра давно соскучилась безъ него, такъ какъ ей играть не съ

къмъ. Что то суетливое появилось и въ манерахъ, и въ рѣчахъ Олимпіады Платоновны, желавшей отвлечь вниманіе мальчика на другіе предметы. Ей казалось, что онъ никогда не оправится, не окрѣпнетъ, если его мысли будутъ заняты болѣзненнымъ настроеніемъ, мучительными вопросами объ отцѣ и матери. Но этотъ порывъ мальчика, выразившійся въ горячей ласкѣ, былъ послѣднимъ проявленіемъ растроенныхъ нервовъ и болѣзненности. Явившійся докторъ нашелъ паціента въ отличномъ положеніи и позволилъ вывезти его въ креслѣ въ гостиную. Съ этого дня выздоровленіе пошло быстро и, повидимому, вмѣстѣ съ болѣзнью прошли и тревожные вопросы, тяжелыя думы. Олимпіада Платоновна радовалась и успокоивалась насчетъ своего любимца: онъ сталъ опять обыкновеннымъ ребенкомъ съ дѣтскими шалостями, съ дѣтскими играми. Но если бы она присмотрѣлась или, лучше сказать, могла присмотрѣться къ нему попристальнѣе, то она могла бы замѣтить двѣ особенности въ его характерѣ. Во первыхъ, настроеніе его ду-

ха было крайне неровно: онъ то былъ бурно шаловливъ, то вдругъ совсѣмъ притихалъ и смотрѣлъ какъ-то степенно и чинно, совсѣмъ не по дѣтски. Во вторыхъ, его любовь къ Олимпіадѣ Платоновнѣ перешла въ какой то культъ, въ какое то обожаніе: онъ могъ по цѣлымъ часамъ слушать ея разговоръ, какъ какую то музыку, хотя неровный голосъ старухи далеко не могъ ласкать слуха; онъ любовался Олимпіадой Платоновной, хотя въ ней не было ни одной привлекательной черты; онъ набиралъ теткѣ букеты цвѣтовъ и тихо улыбался блаженною улыбкою, когда она наклоняла къ нимъ голову и вдыхала ароматъ цвѣтовъ. Но этого никто не замѣчалъ, никто не придавалъ этому особеннаго значенія; всѣ были успокоены тѣмъ, что мальчикъ здоровъ, что онъ не задаетъ болѣе никакихъ тревожныхъ вопросовъ. Какія мысли роились въ дѣтской головкѣ — этого никто не зналъ. Испугалъ онъ на минуту еще только разъ и Олимпіаду Платоновну, и Софью: это было въ концѣ октября, когда надо было подумывать объ отъѣздѣ изъ Сансуси. Какъ то вечеромъ у Олимпіады Платоновны собрались гости; всѣ

сидѣли за чайнымъ столомъ въ столовой, начиная тяготиться деревенской скукой, подумывая о городскихъ развлеченіяхъ. Разговоръ вертѣлся на петербургской жизни, на петербургскихъ знакомыхъ.

— И вы скоро уѣзжаете? спросила одна изъ знакомыхъ барынь у Олимпіады Платоновны, заявивъ о своемъ близкомъ отъѣздѣ изъ деревни.

— Да, недѣли черезъ двѣ, сказала Олимпіада Платоновна. — Пора!

— Разумѣется! Но и въ Петербургѣ въ первое время такъ скучно. Зимній сезонъ начинается поздно, не знаешь, что дѣлать осенью, говорила гостья.

— Да нынче и вообще петербургская жизнь становится все скучнѣе и скучнѣе, замѣтилъ какой то старикъ-гость. — Число семейныхъ домовъ, семейныхъ собраній уменьшается; начинается какое то трактирное существованіе, какая то клубная вакханалія.

— Всѣ на безденежье жалуются, потому и скучаютъ, замѣтила гостья.

— Безденежье! воскликнулъ желчно ста-

рикь. — Что за пустяки! На кутежи-же, на оргіи находятся деньги!

— Ахъ, да вѣдь всѣ эти кутилы — кандидаты въ долговое отдѣленіе, возразила гостья.

Маленькое общество, сидѣвшее за чайнымъ столомъ, заспорило о петербургской жизни и въ разговорахъ не обращало никакого вниманія на мальчугана, забывшаго про чай и слушавшаго съ широко раскрытыми глазами разговоры о Петербургѣ, объ отъѣздѣ туда.

— Вамъ-то и для дѣтей нужно въ Петербургъ, обратилась гостья, къ хозяйкѣ — я думаю, ихъ учить начнете?

— Вѣроятно, неохотно отвѣтила Олимпиада Платоновна, почти не принимая участія въ разговорѣ.

— Они у васъ будутъ жить и въ Петербургъ? спросила гостья.

— Не знаю! Это будетъ зависѣть не отъ меня. У нихъ свой домъ.

— Да, конечно! согласилась съ нею гостья. — Вамъ и неудобно возиться съ дѣтьми. Это вѣдь утомительно для васъ. Наконецъ, я думаю, и ихъ родители соскучились о нихъ...

Гостья мелькомъ взглянула на дѣтей и

вдругъ испуганно проговорила:

— Ахъ, что съ нимъ?

Олимпіада Платоновна быстро взглянула на мальчика и проворно поднялась съ мѣста, чтобы поддержать ребенка, который, казалось, былъ готовъ упасть со стула. Блѣдный, какъ полотно, съ померкшими, почти закрывшимися глазами, съ трудомъ переводя сдавившееся въ груди дыханіе, весь похолодѣвшій, онъ, казалось, совсѣмъ лишился чувствъ. Гости встревожились, стали толковать, что, вѣрно, мальчикъ все еще не совсѣмъ оправился послѣ болѣзни, что онъ вообще смотритъ слабымъ ребенкомъ и мало поправился въ деревнѣ. Олимпіада Платоновна между тѣмъ послала лакея за Софьей. Софья явилась тотчасъ же, начались хлопоты, ребенка положили на диванъ, привели кое какъ въ чувство и поспѣшно уложили въ постель. Это маленькое событіе напомнило гостямъ, что пора разъѣзжаться по домамъ, и скоро Олимпіада Платоновна осталась одна. Она провела тревожную ночь, беспокоясь о здоровья мальчика. Обморокъ однако кончился благополучно, безъ всякихъ видимыхъ

послѣдствій.

На слѣдующій день мальчикъ явился въ столовую къ чаю блѣдный, грустный, но не сказалъ ни слова объ отъѣздѣ, о томъ, что онъ боится опять попасть въ домъ отца. Цѣлый день онъ смотрѣлъ какъ то странно, былъ какъ то сосредоточенъ, въ его дѣтской головѣ роились какія то болѣзненные и недѣтскія мысли. «Я не скажу ma tante, чтобы она меня не отдавала... Надоѣлъ я ей, если отдастъ... Отвезутъ къ папѣ и мамѣ, я сейчасъ умру... Ma tante придетъ и увидитъ меня мертвымъ и скажетъ: зачѣмъ я его отдала!.. И потомъ будетъ плакать, все будетъ плакать, что отдала»... думалъ онъ и на его глаза навертывались крупныя слезы, — слезы о теткѣ, плачущей о томъ, что она его отдала и что онъ умеръ.

— Но я не скажу ей... ничего не скажу... Не надо! шепталъ онъ съ какой то покорностью челоѣка, который сознаетъ, что онъ никому не нуженъ, что его не любятъ и что просить о любви нельзя.

IV

Петербургскій зимній сезонъ того года, когда происходили описанныя событія, начался для извѣстныхъ кружковъ столичнаго общества довольно весело: онъ начался толками о крупномъ скандалѣ въ семьѣ Владиміра Аркадьевича Хрюмина. Всѣ люди, хотя по-наслышкѣ знавшіе эту семью, уже знали, что Евгенія Александровна бросила мужа, всѣ говорили о томъ, что онъ бросилъ своихъ дѣтей на попеченіе княжны Олимпіады Платоновны Дикаго, всѣ сплетничали о томъ, что, кажется, у Евгеніи Александровны родился еще ребенокъ и что этого ребенка не признаетъ ея мужъ своимъ, всѣ сожалѣли юнаго Михаила Егоровича Олейникова, попавшагося въ руки этой вѣтренной женщины, всѣ разсуждали, будетъ ли утверждень формальный разводъ Хрюминыхъ и на какихъ основаніяхъ могутъ они хлопотать объ этомъ разводѣ. Эта исторія съ каждымъ днемъ дѣлалась все болѣе и болѣе пикантною и обѣщала обществу въ близкомъ будущемъ не мало интересныхъ подробностей и

перепетій. Скандаль въ чужой семьѣ — это такъ занимательно! Сами Хрюмины, сдѣлавшись сказкой города, дѣлали всевозможные ошибки и промахи, способные раздуть этотъ скандаль, — Евгенія Александровна по свойственной ей безтактности, Владиміръ Аркадьевичъ по свойственнымъ ему горячности и жолчности.

Евгенія Александровна, пріютившаяся у своей старой грѣховодницы-гувернантки Бетси, довольно долго по неволѣ не появлялась нигдѣ въ обществѣ. Ей нужно было скрыть свое положеніе, нужно было скрыть своего ребенка, нужно было сдѣлать такъ, чтобы у мужа не было никакихъ уликъ относительно этого обстоятельства. Сдѣлать все это было не особенно трудно: ребенокъ родился, его отдали въ подгородную деревню на грудь, Евгенія Александровна стала поправляться послѣ болѣзни и тотчасъ же ее потянуло къ людямъ, къ обществу, въ развлеченіямъ. Довольствоваться одною идиліею любви было не въ ея характерѣ, не въ ея привычкахъ. Ей жилось теперь также скучно, даже еще скучнѣе, чѣмъ у мужа. Правда, ея Мишель былъ

вѣренъ ей, онъ ежедневно посѣщалъ ее, онъ платилъ за нее старой Бетси, но жить одною любовью — это даже скучнѣе, чѣмъ жить съ нелюбимымъ мужемъ, завязывая тайкомъ непозволительныя интрижки. Кромѣ того Миаиль Егоровичъ, только что пробившійся по пути присяжнаго повѣреннаго въ люди, не могъ много давать, часто говорилъ о необходимости экономіи, порою отказывался исполнить капризные желанія Евгеніи Александровны.

— Мишель, мнѣ нужны платья, у меня шубы нѣтъ, голубчикъ, говорила пѣвучимъ голоскомъ Евгенія Александровна, ласкаясь къ Олейникову. — Не могу же я зимою выѣзжать въ лѣтнихъ платьяхъ и въ легкомъ бархатномъ пальто.

— Погоди, Женя, все, все будетъ, отвѣчалъ Михаилъ Егоровичъ. — Наша жизнь еще впереди. Вотъ навернется какое нибудь крупное дѣло...

— А если не навернется? спрашивала она, перебивая его.

— Ну, на нѣтъ и суда нѣтъ! говорилъ онъ, — Обойдемся и такъ. Да тебѣ некуда и

выѣзжать!

Это начинало раздражать Евгенію Александровну. Она вовсе не думала обречь себя на затворничество.

— Некуда выѣзжать! Что же это ты думаешь, что я все буду сидѣть въ четырехъ стѣнахъ? говорила она, надувая губки.

— Ну да, какъ птичка въ клѣткѣ! шутиль онъ, еще не замѣчая ея раздраженія. — Пока крыльевъ нѣтъ — посидишь, а оперишься — тогда и полетишь на всѣ четыре стороны.

— Ахъ, ты все съ шутками! Какъ это глупо! Это вы тамъ въ судѣ привыкли все хихикать надо всѣмъ. На каторгу упекаете человѣка, а сами острите да посмѣиваетесь. Я тебѣ совсѣмъ серьезно говорю, что безъ платьевъ не могу я ходить!

Тонъ Евгеніи Александровны дѣлался совсѣмъ капризнымъ.

— Да и я совсѣмъ серьезно тебѣ говорю, что покуда нѣтъ денегъ — нѣтъ и платьевъ, отвѣчалъ онъ немного строго и наставительно.

— Это мило! Это любезно! сердилась она не на шутку, кусая губки.

Она отворачивалась отъ него и замолкала. Не хорошія мысли начинали бродить въ ея головѣ. Она сомнѣвалась въ его любви, потому что онъ «все отказываетъ, все отказываетъ, во всемъ, во всемъ!»

— Я вотъ что тебѣ скажу, Женя, серьезно продолжалъ между тѣмъ онъ. — Мы немножко избалованы, немножко привыкли ничего не дѣлать, а отъ этого отвыкать нужно. Нужно нѣсколько серьезнѣе смотрѣть на жизнь. Разъ мы сошлись — мы должны дѣлать и горе, и радость, помогать другъ другу, входить въ нужды другъ друга...

— Ахъ, Боже мой, точно въ судѣ ораторствуетъ! перебивала его Евгенія Александровна. — «Господа присяжные! На жизнь надо смотрѣть серьезнѣе!» Это скучно, скучно, Мишель!

Она въ волненіи начинала ходить по комнатѣ.

— Скучно, но справедливо, настойчиво продолжалъ онъ. — Да, мы должны входить въ нужды другъ друга...

— Входить въ нужды другъ друга! воскликнула остановившаяся передъ нимъ Евгенія

Александровна. — Я ему говорю, что мнѣ нужно платье, что мнѣ нужна шуба, а онъ смѣется... это, по его, значить входить въ нужды другъ друга!

— Да, но ты забыла, что, входя въ мои нужды, ты прежде всего не стала бы даже и требовать нарядовъ, когда у меня нѣтъ денегъ, замѣтилъ Михаилъ Егоровичъ.

— Нарядовъ, нарядовъ! загорячилась Евгенія Александровна. — Что у тебя за понятія! Я не нарядовъ прошу, а необходимой одежды! Что же мнѣ безъ платья ходить, въ рубище завернуться?..

— Женя, ты кажется, начинаешь серьезно сердиться? почти строго произнесъ Михаилъ Егоровичъ.

Въ тонъ его вопроса было нѣчто говорившее, что у этого человѣка, слабохарактернаго, мягкаго и ласковаго на видъ, есть въ душѣ извѣстный запасъ суровости, можетъ быть, даже жестокости, что иногда съ нимъ не особенно удобно шутить. Евгенію Александровну этотъ тонъ раздражилъ еще болѣе. Она вся вспыхнула и въ ея глазахъ сверкнулъ не добрый огонекъ гнѣва.

— Смѣю ли я! съ ироніей произнесла она, тяжело дыша:— Я должна благодарить тебя, должна безмолвно слушать твои наставленія...

— Женя, что за тонъ! проговорилъ онъ сдержанно и сухо.

Она вспылила окончательно.

— Ахъ, ради Бога, не распространяйся о тонѣ! вскричала Евгенія Александровна. — Довольно я наслушалась о тонѣ и отъ Владиміра! И гдѣ это вы, мужчины, научились вѣчно читать нравоученія! Точно мы, женщины, весь вѣкъ должны оставаться дѣтьми, которымъ нужно постоянно говорить: «не говори того-то! не дѣлай этого-то!» Эта вѣчная опека можетъ, наконецъ, надоѣсть!

— Да ты обсуди хладнокровно, началъ Михаилъ Егоровичъ, видя, что раздраженіе Евгеніи Александровны дѣлается слишкомъ сильнымъ.

— Пожалуйста, не говори о хладнокровіи! запальчиво перебила она. — Ты объ этомъ такъ часто толкуешь, что это сдѣлалось общимъ мѣстомъ. Я очень хорошо понимаю, что

можно оставаться хладнокровнымъ на твоемъ мѣстѣ. Ты ничего не потерялъ отъ того, что мы сошлись: ты остался въ томъ же кругу, въ которомъ жилъ и до нашей связи; ты ведешь ту же жизнь, которую велъ и прежде; ты можешь взять шляпу и уйдти отсюда, ни о чемъ не думая. Это такъ легко и удобно!

Его больно кольнули эти слова.

— Что же ты меня подлецомъ считаешь? перебилъ онъ ее.

— Я просто говорю о различіи нашихъ положеній! проговорила она тѣмъ же тономъ. — Да, ты ничего не потерялъ и ничего не потеряешь! А я бросила мужа, дѣтей, свой кругъ, все, все. У меня нѣтъ ни положенія въ обществѣ, ни средствъ, ни возможности существовать безъ твоей помощи. Тутъ, я думаю, трудно сохранять хладнокровіе! Я иногда просто удивляюсь, какъ мало ты задумываешься надъ нашимъ положеніемъ, какъ мало сознаешь, какихъ жертвъ стоитъ мнѣ моя рѣшимость. Если бы ты понималъ это, такъ ты не смотрѣлъ бы на меня, какъ на дѣвочку, и не придирался бы къ такимъ пустякамъ, какъ тотъ или другой тонъ. Впрочемъ, можетъ

быть, эти придирки...

Она вдругъ въ волненіи замолчала и закусила губы.

— Что же ты не договариваешь? спросилъ онъ.

Она закрыла лицо руками.

— Женья, что съ тобой? спросилъ онъ, тревожно наклоняясь къ ней.

Она отстранила его.

— Ахъ, оставь, оставь меня!.. Къ чему эти ласки, когда исчезаетъ любовь! уже плача, говорила она.

— Женья! съ упрекомъ воскликнулъ онъ. — Не грѣхъ ли тебѣ говорить это!

— Да, да! шептала она сквозь слезы. — Прежде я могла говорить какимъ угодно тономъ, потому что я не сидѣла у тебя на шеѣ. Прежде мои капризы и прихоти были для тебя милы, потому что ты радъ былъ всѣмъ, всѣмъ пожертвовать мнѣ...

— Женья! шепталь онъ уже сконфуженнымъ тономъ, точно смутившись, что она дѣйствительно отчасти угадала его настоящія отношенія къ ней.

— Ты, продолжала она, — даже не

замѣчаешь теперь, что если я и прошу о чемъ-нибудь тебя, такъ только потому, что это необходимо; эти просьбы стоятъ мнѣ мучительной внутренней борьбы; я понимаю, что съ каждой новой просьбой я все болѣе и болѣе дѣлаюсь похожей на твою содержанку, на кокотку...

— Женья! еще разъ повторилъ онъ совсѣмъ молящимъ тономъ.

— Кто любитъ, въ томъ чутко чувство деликатности, плакала она, — тотъ не рѣшится грубо отвѣтить отказомъ на просьбу любимого существа, тотъ пойметъ, что просить вообще не легко и еще тяжелѣе въ томъ положеніи, въ которомъ нахожусь я...

Онъ уже цѣловалъ ея руки, онъ стоялъ передъ ней на коленяхъ, какъ школьникъ, уличенный въ неблаговидныхъ проступкахъ, а она все твердила, что она понимаетъ, что это «начало конца».

О, онъ боялся этому вѣрить, хотя — странныхъ противорѣчій полна жизнь! — онъ, можетъ быть, вздохнулъ бы свободно именно только тогда, когда это сбылось бы на дѣлѣ, но сбылось бы безъ объясненій, безъ слезли-

выхъ сценъ, а такъ, само собою, нежданно, негаданно. Онъ привязался къ ней довольно сильно: ея красота, ея мягкія, почти дѣтскія ласки, ея веселое щебетанье, ея ухаживанье за нимъ, за ея «Мишукомъ», за ея «папочкой», ея смѣхъ и слезы, ея пѣніе и музыка, все это очаровывало, завлекало его въ сѣти этой женщины. Но это были чисто животныя, чисто физическія отношенія: она сдѣлалась ему нужна, какъ водка пьяницѣ, и въ глубинѣ души, въ какомъ то далекомъ уголкѣ его мозга, шевелилось у него также, какъ у пьяницы во время отрезвленія, смутное сознаніе, что лучше бы было, если бы ее вовсе не было. Она въ свою очередь не лгала передъ нимъ и по своему любила его, потому что онъ былъ мягокъ и добръ. У нея была странная, чисто дѣтская способность любить всѣхъ, кто былъ ласковъ съ нею. Это нисколько не мѣшало ей капризно упрекать любимаго человѣка за малѣйшій отказъ исполнить ея желаніе и потомъ горько плакать о томъ, что онъ ее мало любитъ. У нея было только одно мѣрило любви: насколько ее ласкаетъ и балуетъ любимый человѣкъ. Не даромъ же она выросла именно

въ томъ кругу, гдѣ положеніе любимыхъ и не любимыхъ дѣтей отличается именно тѣмъ, что первымъ даютъ больше лакомствъ, чѣмъ вторымъ. Михаилъ Егоровичъ, какъ это часто бываетъ съ людьми, пробившими себѣ путь безъ чужой помощи, былъ разсудителенъ и разсчетливъ; его даже считали пролазой и челоѡкомъ себѣ на умъ; про него говорили, что подъ мягкою оболочкою въ немъ много жесткости и эгоистическаго безсердечія; но онъ никогда не могъ устоять передъ слезами и просьбами Евгеніи Александровны. Онъ видѣлъ въ ней женщину, беззавѣтно отдавшуюся ему, свою первую любовь, свой источникъ опохмѣленія, къ которому его тянула какая то неотразимая сила. До сихъ поръ онъ велъ крайне правильную жизнь, былъ однимъ изъ тѣхъ благонамѣренныхъ и благонравныхъ молодыхъ людей, которыхъ матери любятъ ставить въ примѣръ своимъ пошаливающимъ дѣтямъ. Евгенія Александровна первая успѣла расшевелить спавшія въ немъ животныя страсти; ея любовь опьянила его, какъ опьяняетъ воздержаннаго челоѡка первый бокаль шампанскаго. Всегда сдержан-

ный и осторожный, онъ и волновался, и увлекался, и дѣлалъ глупости подѣ ея вліяніемъ. Только въ отношеніяхъ къ ней онъ сознавалъ, что онъ дѣйствительно молодъ, что онъ способенъ сумасбродничать изъ за нея. И то сказать: это была первая женщина, отдавшаяся ему беззавѣтно, всецѣло. И какая была эта женщина! Онъ сознавалъ, что онъ еще ни разу въ жизни не встрѣчалъ ни въ одной женщинѣ столько красоты, граціи, дѣтской веселости, дѣтской ласковости. Самыя неровности ея характера плѣняли его, казались ему чѣмъ то въ родѣ весеннихъ грозъ, быстро смѣняющихся чудной тишиной и солнечнымъ блескомъ. Въ этихъ неровностяхъ характера онъ видѣлъ явный признакъ искренности, правдивости, честности. Послѣ крупнаго объясненія съ нею онъ упрекалъ себя за то, что онъ дѣйствительно мало заботится о ней, что изъ за него она оставила мужа, дѣтей, определенное положеніе, что изъ за него она терпитъ извѣстныя мелкія неудобства, сидитъ дома, когда молодость требуетъ общества, веселья, разнообразія. Онъ усиленно сталъ искать выгодныхъ дѣлъ, чтобы имѣть

возможность доставить ей нѣкоторый комфортъ. И все таки порой, пресытившись этими ласками или не находя возможности удовлетворить всѣхъ этихъ требованій и капризовъ, онъ закусываль губы, потираль лобъ рукою и мучился однимъ вопросомъ: «а что же будетъ далѣе»?

Евгенія Александровна относилась ко всему легко, но и она призадумалась, когда ей впервые пришлось явиться передъ обществомъ: она не принадлежала къ числу тѣхъ выдающихся по уму, по богатству или по положенію въ обществѣ личностей, которыя, будучи брошены мужьями или бросивъ мужей, сохраняютъ за собой все уваженіе своихъ знакомыхъ и своихъ родныхъ. Первая встрѣча съ родителями показала ей, что ее могутъ встрѣтить далеко недружелюбно и подозрительно посторонніе, такъ какъ и ея собственная семья при первомъ свиданіи съ нею надѣлала ей не мало колкостей и непріятныхъ замѣчаній. Супруга дѣйствительнаго статскаго совѣтника, Дарья Павловна Трифонова, мать Евгеніи Александровны, встрѣтила дочь довольно крупною

бранью. Замѣчанія въ родѣ того, что «на какія же это средства ты жить-то будешь? У насъ еще братья твои на шеѣ сидятъ и сестеръ твоихъ съ рукъ сбить не можемъ!» «И вздумала съ кѣмъ бѣжать! Съ Олейниковымъ! Еще и самъ опериться то не успѣлъ, а туда-же чужихъ жонъ сманивать вздумалъ.» «Промѣняла кукушку на ястреба, а теперь и будешь кулаками слезы отирать!» — эти замѣчанія градомъ посыпались изъ устъ матери. Почтенная дама для домашняго обихода, для застрачиванья дѣтей и прислуги всегда имѣла запасъ довольно крупныхъ выраженій, напоминавшихъ, что въ «дѣйствительной статской совѣтницѣ» не умерла еще «писарша».

— Ты, матушка, позоришь насъ! продолжала она бранить дочь. — Что будетъ говорить баронесса фонъ-Шталь? Я бы на мѣстѣ твоего мужа по этапу тебя вернула въ домъ, черезъ полицію вытребовала бы! Хорошій примѣръ подаешь младшимъ сестрамъ! Чѣмъ тебя содержать будетъ Михаилъ Егоровичъ? Ни за нимъ, ни передъ нимъ ничего нѣтъ!

Дѣйствительный статскій совѣтникъ Алек-

сандръ Петровичъ Трифоновъ, отецъ Евгеніи Александровны, сообразно съ своимъ чиномъ говорилъ менѣе и былъ по обыкновенію лакониченъ, замѣтивъ дочери одно:

— Ты и не разсчитывай на моей шеѣ сидѣть!

Сказавъ это, онъ хлопнулъ дверью и удалился въ свой кабинетъ въ «дѣламъ.» Съ дѣтьми и подчиненными онъ всегда объяснялся въ этомъ родѣ сжато и выразительно.

Во второй визитъ пріемъ былъ такой же сухой, хотя Дарья Павловна и была менѣе строга съ дочерью, видя, что та ничего не проситъ и ни въ чемъ не нуждается. Разговоръ матери и дочери сдѣлался даже довольно оживленнымъ, такъ какъ на Евгеніи Александровнѣ было удивительно хорошо сшитое новое платье. Мать не выдержала, начала распросы о цѣнѣ матеріи, объ адресѣ модистки, перешла къ новѣйшимъ модамъ и разговорила окончательно. Есть такіе общіе интересы и вопросы, при которыхъ забываются всѣ мелкія размолвки.

— Ахъ, мамочка, нынче нужно экономничать и я придумала, что лучше всего шить у

себя на дому, щебетала Евгенія Александровна, обрадованная оборотомъ бесѣды, — У меня есть такая швея: уродъ страшный, съ однимъ глазомъ, здѣсь вотъ этакій горбъ, ходитъ, какъ верблюдъ...

Она показала, какой у швеи горбъ и какъ она ходитъ.

— Ну, ну, стрекоза! засмѣялась мать при комическомъ разсказѣ дочери, махая рукой, чтобы дочь перестала ее смѣшить.

— Ахъ, мамочка, мамочка, какая вы душка! вдругъ обрадовалась этому смѣху Евгенія Александровна и начала цѣловать мать.

— Задушишь, задушишь! отбивалась «генеральша», очень любившая, когда ее ласкали ея дѣти.

Въ семьѣ ласки дѣтей и родителей были рѣже, чѣмъ ссоры изъ за лишняго платья или истраченнаго на извозчика двугривеннаго.

— Такъ вотъ, мамочка, этотъ верблюдъ и шьетъ у меня на дому, оживленно продолжала Евгенія Александровна. — Шьетъ она отлично, а вкусу ни капли! Но у меня, вы знаете, вкусу много, я все сама фантазирую, придумаю, укажу и выходитъ прелесть.

— А дорого она беретъ? спросила генеральша.

— Ахъ, мамочка, что вы, что вы! Развѣ это можно. Ее боятся люди и никуда не берутъ, потому что это просто пугало! воскликнула дочь. — Вѣдь на нее взглянуть, такъ просто тошно становится. Миша ее видѣть не можетъ. Кто-же ее возьметъ въ домъ? Она готова чуть не даромъ работать, лишь бы быть сытой и сидѣть въ теплѣ! Я вѣдь ее въ такой труппѣ нашла... Бетси мнѣ ее рекомендовала. Бетси всегда розыщетъ что нибудь подходящее, практичное... Если бы вы видѣли, мамочка, гдѣ она жила: комнатка въ подвалѣ, почти безъ свѣту, сырость, грязь и рядомъ пьяные сапожники, отдѣленные только какой то тряпицей, носящей названіе драпировки. А мужъ содержательницы квартиры какой то юродствующій отставной чиновникъ: иногда рычитъ, какъ собака, а то ругается, какъ извощикъ. Она, мамочка, все это рассказываетъ, а я хохочу, хохочу до слезъ... Конечно, она такой уродъ, что ей не опасно было тамъ жить съ этимъ сбродомъ. Но вѣдь все же она дѣвушка!

— Ты сколько же ей платишь? допрашивала мать, заинтересованная новостью.

— Ахъ, мамочка, я ее пріодѣла, дала уголь, кормлю, пояснила Евгенія Александровна. — Чего же ей еще? Вы, мамочка, отдавайте ей шить для себя и для сестеръ. И дешево будетъ, и хорошо! Я сама все прилажу, присмотрю...

Евгенія Александровна вдругъ засмѣялась.

— Что ты? спросила мать.

— Вотъ вы, мамочка, говорите, чѣмъ я жить буду? сказала Евгенія Александровна. — Да я этого монстра на балаганахъ показывать буду — вотъ и деньги!

— Вѣтрогонка, право, вѣтрогонка! покачала головой мать. — Тебѣ все ни почему!.. Нѣтъ, вотъ пожила бы въ моей шкурѣ, какъ каждый день за каждый фунтъ говядины платить, такъ не то бы запѣла.

Почтенная дама почти завидовала освобожденной отъ всякихъ стѣсненій дочери.

Евгенія Александровна бросилась опять ее обнимать.

— Бѣдная, бѣдная мамочка, все то у тебя заботы да хлопоты! щебетала она, лаская мать. — Вотъ такъ то и мнѣ жилось съ этимъ

противнымъ деспотомъ!.. Ахъ, если бы ты все знала, ты бы не обвиняла меня...

Дарья Павловна была побѣждена окончательно.

— Ну, не мѣсто здѣсь о мужьяхъ говорить, сказала она.

— Я вотъ какъ нибудь заѣду къ тебѣ. Кстати и о швейкѣ поговоримъ; на зиму много придется шить, а отца знаешь — все скупѣе и скупѣе становится... Въ карты сталь много проигрывать, сказала она, совсѣмъ понизивъ тонъ.

Евгенія Александровна вздохнула.

— Въ карты ли, мамочка? проговорила она съ сомнѣніемъ въ голосъ. — Это вѣчная отговорка мужчинъ: въ карты проигралъ, въ карты, а глядишь...

— Ахъ, Женя, Женя, если бы ты все знала! глубоко вздохнула мать и отерла слезу. — Ну, когда нибудь заѣду къ тебѣ, поговоримъ по душѣ.

Мать и дочь сошлись тѣснѣе съ этого дня. Но Евгенія Александровна все таки не сразу вошла въ прежній кружокъ знакомыхъ своей семьи. Она даже побаивалась и недоумѣвала,

какъ встрѣтятъ ее и что скажутъ эти люди, какъ держать съ ними себя и какъ подкупить ихъ въ свою пользу.

Первой женщиной, которую встрѣтила въ родительскомъ домѣ Евгенія Александровна, была баронесса фонъ Шталь. Это была высокая, плотная и румяная женщина лѣтъ сорока пяти, съ широкимъ лбомъ, съ гладко-причесанными черными волосами, съ крупнымъ ртомъ и рѣзко округленнымъ подбородкомъ. Въ ея быстрыхъ глазахъ было что то рѣзкое и жесткое. Она была перновская уроженка, довольно темнаго происхожденія, довольно сомнительной репутаціи, но тѣмъ не менѣе очень извѣстная въ кругу золотой молодежи и жуировавшихъ старичковъ, ведшая широкую жизнь и дававшая вечера, на которыхъ появлялось такъ много новыхъ лицъ, что ихъ даже не считали нужнымъ рекомендовать и представлять другъ другу. Впрочемъ, они и безъ того, не будучи знакомыми, знали хорошо другъ друга и понимали безмолвно, зачѣмъ каждый изъ нихъ являлся въ квартиру баронессы. Госпожа Трифонова довольно наивно для своихъ лѣтъ и для своей опыт-

ности называла баронессу «дамой высшаго круга» и потому нѣсколько сконфузилась, когда она пріѣхала при Евгеніи Александровнѣ: мать боялась, какъ взглянетъ на ея дочь, бѣжавшую отъ мужа, такая «особа». Но добродушная и снисходительная баронесса фонъ Шталь не подала ни малѣйшаго повода думать, что она осуждаетъ или презираетъ бѣглянку. Напротивъ того, она чуть не бросилась въ объятія Евгеціи Александровны, окинувъ ее съ ногъ до головы быстрыми глазами ястреба, завидѣвшаго добычу.

— Да вы стали еще болѣе прелестною, говорила баронесса, осматривая ее глазами знатка. — Что за цвѣтъ лица, что за фигура!

Обрадованная такой высокой оцѣнкой, Евгенія Александровна крѣпко-крѣпко пожала руку баронессы и проговорила:

— Благодарю васъ... я не ожидала такой встрѣчи... Я думала, что меня всѣ забыли...

Ея мягкій, щебечущій голосокъ звучалъ слезами.

— Вы знаете, душа моя, какъ я всегда любила васъ, замѣтила баронесса.

— Да, со вздохомъ проговорила Евгенія

Александровна, — но вы знаете, въ какомъ двусмысленномъ положеніи я стою теперь! Жена, выгнанная мужемъ, мать, лишенная дѣтей! Въдь на это нужны серьезныя причины, такъ людей не выгоняютъ... Можетъ быть, я заслужила все это...

Евгенія Александровна приняла совсѣмъ смиренный видъ скромной овечки.

— Ахъ, дитя мое, что ты говоришь! воскликнула «генеральша» Трифонова, поднимая глаза къ потолку и какъ бы призывая небо въ свидѣтели, что ея дочь чиста и невинна.

— Полноте, развѣ я васъ не знаю! сказала баронесса, пожимая плечами.

— Свѣту нѣтъ дѣла до того, что я перестрадала съ этимъ человѣкомъ, продолжала Евгенія Александровна въ томъ же плачевномъ тонѣ. — Онъ съ первыхъ же дней нашей свадьбы оторвалъ меня отъ моей семьи, отъ моихъ добрыхъ старыхъ друзей, отъ моего круга...

— Да, да, насъ съ дочерью разлучилъ! воскликнула «генеральша», вспомнивъ съ горечью, какими упреками осыпалъ ее когда то

Владиміръ Аркадьевичъ, вымещавшій на всѣхъ родныхъ жены свою злобу, вызванную его женитьбою.

— Это, видите ли, люди не его круга, продолжала Евгенія Александровна.

— Ахъ, французскія кокетки и балетныя танцовщицы — скажите, пожалуйста, какой кругъ! съ негодованіемъ воскликнула баронесса. — Будто я не знала его и прежде! Тоже ъздилъ ко мнѣ!

— Къ несчастью, кромѣ этой среды у него и не осталось никакихъ другихъ связей, продолжала Евгенія Александровна. — Правда, онъ, можетъ быть, надѣялся черезъ меня окружить себя людьми иного сорта, сдѣлать связи, составить себѣ карьеру. По крайней мѣрѣ, мнѣ пришлось не разъ пережить тяжелыя минуты, когда я замыкалась отъ разныхъ престарѣлыхъ ловеласовъ съ громкими титулами и крупными чинами.

— А! И это челоѣкъ высшаго круга! Какова нравственность! волновалась «генеральша».

— Да, вѣдь это у насъ только мѣщанская нравственность, у насъ все предразсудки! съ

горькой ироніей вздохнула Евгенія Александровна. — Но я бы все, все перенесла ради дѣтей, если бы онъ только оставилъ меня въ покоѣ съ ними. Но ему была нужна для его цѣлей свобода, нужно было вытолкнуть меня изъ дому... Но нѣтъ...

Евгенія Александровна провела рукой по лбу.

— Иногда я просто теряюсь отъ тоски, отъ какого то щемящаго отчаянья, проговорила она. — Право, лучше бы не жить!

— Другъ мой, что вы! Полноте! воскликнула баронесса, обнимая ее за талью. — Вы еще такъ молоды, такъ хороши, ваша жизнь впереди! Вамъ нужно разсѣяться, забыться...

Евгенія Александровна, конечно, была очень далека отъ мысли о самоубійствѣ. Въ свою очередь и баронесса также очень хорошо знала, что Евгенія Александровна вовсе не желаетъ «не жить». Тѣмъ не менѣе обѣ собесѣдницы были тронуты и взволнованы.

— Забыться, разсѣяться! Въ четырехъ стѣнахъ? съ ироніей проговорила Евгенія Александровна въ отвѣтъ на совѣтъ баронессы. — Знаете ли вы, что я боюсь показывать-

ся въ общество, что я провела нѣсколько мѣсяцевъ, какъ отшельница? Меня никуда не тянетъ, во мнѣ явилась какая то апатія...

— Нѣтъ, нѣтъ, васъ надо растормошить, расшевелить! говорила баронесса, сочувственно пожимая ей руку. — Я васъ повезу къ себѣ, повезу въ театръ, въ клубъ...

— Ахъ нѣтъ, нѣтъ! защищалась Евгенія Александровна. — Наконецъ, я даже не могу выѣзжать... Стыдно сказать, но у меня приличнаго туалета нѣтъ, ничего нѣтъ...

— Тѣмъ болѣе вы должны подумать о будущемъ, о средствахъ къ жизни, говорила наставительно баронесса. — Такъ же нельзя!

— Гдѣ же взять средства? воскликнула Евгенія Александровна. — Въ гувернантки идти? Кто возьметъ?.. Шить?.. Да развѣ этимъ можно существовать?.. Нѣтъ, представьте себѣ, тапан, что выдумала Бетси. Вы, говорить, mon enfant, столько пережили, почувствовали, перестрадали, что могли бы сдѣлаться хорошей драматической актрисой...

— Ахъ, мой другъ, она, можетъ быть, и права, произнесла баронесса. — На клубныхъ

сценахъ такъ мало красивыхъ женщинъ и вы могли бы быть замѣчены. Теперь любительскія труппы все болѣе и болѣе состояются изъ людей нашего круга. Вы вѣдь знаете старика-полковника Федотова? Помните, дамскій угодникъ такой, сѣденькій ловеласъ и гамэнъ?.. Ну такъ онъ вѣдь совсѣмъ присяжнымъ актеромъ сдѣлался и высокопоставленныхъ особъ, герцоговъ и принцевъ играетъ. Шалунъ онъ немного... Но мило играетъ, очень мило... Потомъ дочь генеральши Щербинской недавно дебютировала да и сама Щербинская тоже на клубную сцену поступаетъ... Il faut gagner la vie... Онѣ вѣдь совсѣмъ раззорены, между нами будь сказано... И не поправиться имъ: дочь вовсе не эффектна...

— Да она просто дурна собою, сказала «генеральша».

— Красота что! Нужна эффектность, пикантное что нибудь нужно, возразила баронесса и обратилась къ Евгеніи Александровнѣ. — Вы, душа моя, одной фигурой затмите на сценѣ десятки Щербинскихъ...

— Нѣтъ, гдѣ же мнѣ играть! вздохнула

Евгенія Александровна.

— Но вѣдь вы же прежде играли... и не безъ успѣха, замѣтила баронесса.

— Да, другія времена были! Тогда я щебетала, какъ дитя, а теперь...

— Драматическія роли возьмите и станете первой! Мы еще плакать будемъ, когда вы играть будете, шутила баронесса.

— Въ «Свѣтскихъ ширмахъ» развѣ! грустно улыбнулась Евгенія Александровна.

— Нѣтъ, я просто не узнаю васъ воскликнула баронесса. — Вы убьете себя этими мрачными думами! Васъ надо насильно растормошить! Такою ли вы были прежде!

Да, Евгенія Александровна была не такою прежде и сама не узнавала теперь себя. Встревоженная неожиданною встрѣчею съ баронессой въ домъ своей матери, она немного смутилась и какъ то невольно впала въ жалобный тонъ и начала распространяться о перенесенныхъ ею страданіяхъ. Этотъ тонъ оказался кстати и ей самой стало очень пріятно разыгрывать роль жертвы и вызывать сочувствіе. Въ концѣ разговора она уже сама искренно вѣрила, что она жертва, что она

много страдала. Эта новая роль ей очень понравилась.

Давъ слово баронессѣ пріѣхать къ ней и отправившись домой, Евгенія Александровна всю дорогу думала о своемъ положеніи и все болѣе и болѣе убѣждалась, что она дѣйствительно несчастна.

— Мишель, я была у тата, встрѣтила баронессу фонъ Шталь, говорила Евгенія Александровна, возвратившись домой послѣ встрѣчи съ баронессой. — Она очень обрадовалась, звала меня къ себѣ, приглашала въ «собраніе». Знаешь, что ей пришло въ голову?

— Нѣтъ, не знаю, отвѣтилъ Михаилъ Егоровичъ.

— Чтобы я поступила въ число любителейницъ на сцену собранія.

— Что за фантазія!

— Отчего же нѣтъ? Я прежде играла. Это, наконецъ, и развлеченіе, и занятіе! Не могу же я всегда сидѣть на твоей шеѣ!

— Ну, клубные спектакли едва-ли не въ убытокъ идутъ любительницамъ. Получаются гроши, а на наряды тратятся рубли.

— Ахъ, Миша, да я и безъ клубной сцены

должна же одѣваться прилично... Впрочемъ, я ничего еще не рѣшила. Я просто хочу начать выѣзжать. Вѣдь ты же бываешь въ собраніи. Что же мнѣ-то сидѣть!

— Развѣ я тебя удерживаю? Ты знаешь, что тебѣ приходилось прятаться отъ общества по необходимости. Наконецъ, было льто, некуда было ѣздить...

— Но я первый разъ поѣду не съ тобой, а съ баронессой! Я не хочу, чтобы о насъ чтонибудь говорили!.. Ахъ, Мишель, я только теперь понимаю, какъ жутко женщинѣ въ моемъ положеніи. Я хотѣла бы всѣмъ, всѣмъ сказать, что ты мой мужъ, а между тѣмъ нужно все скрывать, прятаться, любить украдкой... Конечно, это все предрассудки, но я не могу, не хочу, чтобы до него дошли слухи, что я выѣзжаю съ тобою, что мы открыто сошлись...

— Онъ это и такъ знаетъ.

— А я скажу, что это клевета, что это неправда!

— Кого ты этимъ обманешь?

— Я? Всѣхъ, всѣхъ! О, ты не знаешь, какъ можетъ обмануть женщина! Я и повода не по-

дамъ подумать, что мы близки. Мнѣ нужно, чтобы отъ меня не сторонились на первыхъ порахъ, а тамъ... потомъ исподволь всѣ привыкнутъ видѣть меня съ тобою, поймутъ, что я еще молода и хочу жить...

— Дѣлай, какъ знаешь, согласился Михаилъ Егоровичъ.

На слѣдующій же день Евгенія Александровна была вечеромъ «за просто» у баронессы и хозяйка настойчиво приглашала ее ѣхать на другой день въ собраніе. Евгенія Александровна долго отговаривалась, но, наконецъ, согласилась. Не безъ замиранія въ сердцѣ поѣхала она съ баронессой въ то самое общество, гдѣ многіе нѣсколько лѣтъ тому назадъ хорошо знали ее. Ей было немного жутко при мысли, что на нее устремится не одинъ десятокъ любопытныхъ глазъ, что при ея появленіи начнется шопотъ: «а, это Евгенія Александровна Хрюмина... Она ушла отъ мужа!.. Нѣтъ, онъ бросилъ ее!.. Говорятъ, она сошлась съ Олейниковымъ?» Она медленно поднималась по ярко освѣщенной лѣстницѣ съ скромно опущенными глазами. Вся въ черномъ, съ парой китайскихъ блѣдныхъ розъ

въ волосахъ и на груди, съ роскошными бѣлокурыми локонами, падавшими на шею, съ очень темными, почти черными бровями, съ легкимъ румянцемъ на щекахъ, она была очень эффектна. Когда она проходила по залѣ, кругомъ слышался шопотъ: одни спрашивали, кто эта незнакомка, другіе поясняли ея исторію. Въ собраніи всѣ сколько-нибудь выдающіяся по красотѣ, по эффектности, по туалету женщины были на перечетъ и появленіе новой красавицы не могло пройти незамѣченнымъ здѣсь, куда люди, не имѣющіе ничего общаго между собою, различные по положенію въ обществѣ, по воспитанію, по взглядамъ и убѣжденіямъ, съѣзжаются отъ скуки для картежной игры, для мимолетныхъ интрижекъ, для мимолетнаго развратца, для пошленькихъ связей. Клубъ — это облагороженный «Зимній садъ», «Palais de cristal», «Марцинкевичъ», «Эльдорадо», съ тою только разницею, что здѣсь къ танцамъ, пѣнію, музыкѣ, закускамъ и выпивкамъ прибавлена картежная игра да что тутъ является не одинъ наживающійся антрепренеръ, а нѣсколько заправителей, могущихъ

наживаться, устройвъ дѣло своего выбора. Это своего рода биржа, арена для спекуляцій и сдѣлокъ. Здѣсь часто пробиваются въ «старшины» люди, желающіе поживиться общественными деньгами; здѣсь образуются союзы игроковъ, обдѣлывающихъ «очень чисто» свои нечистыя картежныя продѣлки; сюда вывозятся матерями дочери «на показъ» болѣе или менѣе выгоднымъ женихамъ; тутъ женщины и мужчины легкаго поведенія завязываютъ мимолетные романы, кончающіеся нерѣдко полнымъ паденіемъ женщинъ, полнымъ разореніемъ мужчинъ. Въ этихъ залахъ, гдѣ при началѣ «вечера» свѣжо и прохладно и гдѣ къ концу «вечера» дѣлается нестерпимо душно и жарко, гдѣ ложится въ концѣ концовъ на все какой-то туманъ, пропитанный тяжелыми запахами человѣческаго пота, газа, дымящихся кушаній, табачнаго дыма, запахами, разносимыми повсюду этой движущейся безостановочно пестрой толпой, — здѣсь вы встрѣтите на каждомъ шагѣ какія-то озабоченныя, чего то ищущія фізіономіи, снующія въ поискахъ пары для танцевъ, партнера для картъ, какого-нибудь

пріятеля для бесѣды за ужиномъ, наконецъ, кого-нибудь, кто бы накормилъ ужиномъ. Среди этой толпы вы встрѣтите и чиновныхъ людей, и женщинъ порядочнаго круга, и какого-нибудь придворнаго истопника, и какую-нибудь «изъ этихъ дамъ» на столько низкаго полета, что сами мужчины стыдятся сознаться въ знакомствѣ съ ними. Человѣку, попавшему въ эту пеструю массу случайно, безъ особенныхъ цѣлей, впервые, становится какъ то не по себѣ, тяжело, неловко, точно онъ здѣсь чужой, лишній среди какихъ-то заговорщиковъ, помогающихъ другъ другу устроить «хорошую» партію въ игорной комнатѣ, извѣщающихъ одинъ другого, почему «она не пріѣхала» или что «она сегодня не пріѣдетъ», хлопающихъ единодушно, съ какимъ то особенно дружескимъ и фамиллярнымъ выраженіемъ лицъ, поднимая вверхъ руки, той или другой не умѣющей шагнуть по сценѣ любительницѣ, такъ какъ она «изъ ихъ кружка». И дѣйствительно, здѣсь цѣлая масса лицъ «свои». Ихъ всѣ знаютъ, имъ всѣ кланяются, про нихъ всѣ говорятъ: «Дарья Ивановна устраиваетъ благотворительный вечеръ,

помогите раздать билеты». — «Опять тысьченку положить въ карманъ?» — «А Софья Андреевна опять сошлась съ Грузиновымъ!» — «Ну, значить, Дмитрій Петровичъ только любуется, какъ его супруга преуспѣваетъ». — «Да ему то что: Грузиновъ или Заревичъ, не все ли равно? Да кромѣ того у него теперъ амуры идутъ съ Лилѣевой». — «Нѣтъ, а каковъ Гурьевъ то: опять словили, какъ съ билетами плутовалъ». — «Дуракъ, въ столько лѣтъ не научится концы скрывать». Да, это все знакомые, близкіе люди, дѣйствующіе какимъ-то подавляющимъ образомъ на свѣжаго, на чужого человѣка, не научившагося еще обдѣлывать вмѣстѣ съ ними дѣлишки, пьянствовать въ ихъ кругу, хлопать ихъ кривляющимся на сценѣ любовникамъ, платить хорошія деньги за мѣста во время спектаклей, устраиваемыхъ «въ пользу бѣднаго семейства», «съ благотворительною цѣлью» ихъ гражданскими и законными женами, живущими на содержаніи у чужихъ мужей. Входя снова въ этотъ кругъ, Евгенія Александровна какъ будто робѣла: она нѣсколько отвыкла отъ этого общества. Ка-

кой-то пожилой, плотный и обрюзгшій господинъ, въ просторномъ фракѣ, съ моноклемъ въ глазу, съ холоднымъ и нѣсколько наглымъ взглядомъ, напоминавшимъ отчасти тупой и тусклый взглядъ быка, тяжелою и лѣнливою походкою подошелъ къ баронессѣ и фамильярно пожалъ ей руку, не дѣлая поклона и смотря на нее въ упоръ.

— Евгенія Александровна, если не ошибаюсь? спросилъ онъ баронессу.

— Да, отвѣтила баронесса.

Евгенія Александровна подняла на него скромные глаза.

— Николай Николаевичъ? полувопросительно проговорила она.

— Узнали? А я ужъ думалъ, что совсѣмъ забыли старика, сказалъ онъ, пожимая ее руку. — Давно, давно, не имѣлъ удовольствія васъ видѣть. Совсѣмъ пропали отъ насъ!

— Я почти не выѣзжаю, сказала она.

— Насильно овладѣла я Евгенией Александровной сегодня, сказала баронесса. — Отшельницей сдѣлалась совсѣмъ.

— Да развѣ можно жить въ Петербургъ и не веселиться, сказалъ пожилой господинъ,

пристально вглядываясь въ молодую женщину. — И притомъ съ такимъ хорошенькимъ личикомъ, прибавилъ онъ нагло откровеннымъ тономъ.

Онъ не спускалъ съ нея глазъ и, кажется, какъ оцѣнщикъ, соображалъ ея цѣну на рынкѣ столичной распущенности и столичнаго разврата. Передъ его глазами, черезъ его руки прошло столько этихъ «бабенокъ», что онъ отлично зналъ, чего онѣ стоятъ.

— Не приходитъ по заказу веселье! вздохнула Евгенія Александровна.

— О, да я вижу, что васъ точно нужно насильно развеселить. Въ монастырь, гдѣ много холостыхъ! засмѣялся старый циникъ какимъ то холоднымъ и почти беззвучнымъ смѣхомъ, замѣтнымъ только по вздрагиванію его отвислыхъ щекъ и по колыханію его объемистаго живота. — Ужъ очень что-то смиренномудренными вы, барынька, стали. Статочное ли дѣло: молодость и скука! Да вы взгляните на меня: сѣдые волосы на головѣ, а ничего веселюсь и веселюсь...

— Я могу только позавидовать вамъ, сказала Евгенія Александровна.

— Ну, а я впередъ завидую тѣмъ, кто разве-селить васъ, сказалъ онъ съ довольно нахаль-ной усмѣшкой. — Нашему брату это вѣдь не подѣлѣта.

Къ нему подошелъ въ эту минуту какой-то длинный и сухой молодой человѣкъ съ тусклымъ безкровнымъ лицомъ, съ сощуренными подслѣповатыми глазами, съ рѣдкими рѣсницами на красноватыхъ вѣкахъ и съ ринсе-pez на носу; онъ фамильярно взялъ его подѣ руку. Николай Николаевичъ пожалъ руки дамамъ и пошелъ прочь.

— Кого это ты, Баронинъ, подцѣпилъ? спросилъ молодой человѣкъ, увлекшій пожилого господина.

— Те-те-те, какой пряткѣй баринъ! иронически произнесъ пожилой господинъ, сохраняя неизмѣнно холодное выраженіе лица. — Такъ я тебѣ и сказалъ. Самому нужна.

— Ну, на что тебѣ, старый грѣховодникъ! засмѣялся молодой человѣкъ, — Дѣвушка, вдова?

— Нѣтъ, чужемужняя жена, отвѣтилъ пожилой господинъ.

— Мужъ въ отсутствіи?

— Въ отставку.

— Въ чистой?

— Да, но не въ формальной.

— Значить, законной не могутъ заставить сочетаться!

— Ахъ ты Хлестаковъ, Хлестаковъ! Только увидѣлъ и воображаешь, что дѣло чуть не до законнаго брака довелъ.

Баронинъ говорилъ спокойно, даже флегматично, какъ человекъ, который знаетъ наизусть все, что ему скажутъ, и которому все, что ему говорятъ, давнымъ давно надоѣло.

— Да ты думаешь, что я такую бабенку выпущу изъ рукъ? горячился молодой человекъ.

— А я вотъ генерала Акинѣева, вмѣсто тебя, съ нею познакомлю, сказалъ лѣниво Баронинъ.

— Старый чортъ!.. Нѣтъ, кромѣ шутокъ, представь меня ей. Это вѣдь прелесть, что за женщина!

— Да-съ, не такіе звѣрьки, какъ ты, на эту удочку попадались въ былые дни. Супругъ ея, я думаю, и до сихъ поръ вспоминаетъ, какъ его этимъ крючкомъ подцѣпили, а ужъ на что

ходокъ былъ по женской части.

— Ну да супруга къ чорту! Что въ самомъ дѣлѣ онъ живъ и здоровъ?

— Живъ, и здоровъ, и брошенъ.

— Ну, и помогай ему Аллахъ!

Оба барина исчезли въ толпѣ.

Къ концу вечера за Евгеніей Александровной тащился цѣлый хвостъ молодежи и стариковъ; она вдругъ, при помощи разсказовъ баронессы фонъ-Шталь, толковъ Баронина и его юнаго друга, сдѣлалась героиней вечера, какимъ-то призомъ, на который разсчитывала вся эта ватага праздныхъ шалопаевъ, молодыхъ и старыхъ сластолюбцевъ.

Евгенія Александровна держала себя скромно, точно пугливо; она говорила все больше въ грустномъ тонѣ, этотъ тонъ, какъ ей почему то казалось, дѣлалъ ее болѣе интересной. Баронесса фонъ-Шталь съ своей стороны разсказывала то же всѣмъ, кому могла, о несчастіяхъ молодой женщины, какъ будто упрашивая всѣхъ утѣшить скорбящую; она кстати замѣчала, что молодая женщина «никуда, никуда не хочетъ выѣзжать», что «она бываетъ только у нея, у баронессы фонъ-

Шталь», что «она, баронесса фонъ-Шталь, насильно вывезла ее сегодня въ собраніе» и что, «вѣроятно, теперь долго нельзя будетъ уговорить бѣдняжку снова появиться здѣсь»; словоохотливости баронессы фонъ-Шталь не было предѣловъ, она какъ то особенно подчеркивала нѣкоторыя мѣста въ разсказахъ и слушающіе узнали и поняли очень многое. Къ концу вечера двое какихъ то молодыхъ военныхъ попросили у баронессы фонъ-Шталь позволенія бывать у нея, а тотъ молодой человѣкъ съ рінсе-нез на носу, который говорилъ объ Евгеніи Александровнѣ съ Николаемъ Николаевичемъ Баронинымъ, небрежно замѣтилъ послѣднему во время развѣзда:

— Къ баронессѣ все по прежнему можно на огонекъ пріѣхать?

— А ты думалъ, тебѣ пригласительный билетъ она пришлетъ? спросилъ старый циникъ вмѣсто отвѣта.

— Какіе у нея нынче дни?

— Пятницы со временъ перваго потопа.

— Такъ заѣзжай за мной, поѣдемъ вмѣстѣ.

— Да ты въ самомъ дѣлѣ хочешь пріударить за вакантной женой?

— За вакантной женой!.. Ха, ха, ха! Это очень удачно сказано... Право!

Молодой человекъ надѣлъ пальто, поданное ему услужливымъ лакеемъ и вмѣстѣ съ Баронинымъ, повторяя: «вакантная жена!» вышелъ на подъѣздъ, къ которому на крикъ швейцара: «карету Поливанова», подкатилъ его щегольской экипажъ. Не прошло и полчаса, какъ эти господа уже сидѣли у Бореля въ компаніи нѣсколькихъ молодыхъ кутилъ за ужиномъ и разговоръ ихъ вертѣлся на «вакантной женѣ», сдѣлавшейся предметомъ любопытства для этого кружка. О ней говорили, какъ о какомъ то новомъ гастрономическомъ блюдѣ, появившемся впервые въ продажѣ; всѣ разбирали ея достоинства и недостатки; всѣ обсуждали, кому она можетъ достаться. Кто то въ концѣ концовъ замѣтилъ, что баронесса фонъ-Шталь сдѣлаетъ изъ нея хорошій «гешефтъ».

— Я, впрочемъ, недоволенъ тобою, обратился Поливановъ къ Баронину.

— За что немилость? спросилъ Баронинъ, зѣвая.

— Потерялъ изъ за тебя случай. Надо было

сразу сказать, что она въ распоряженіи баронессы. Я думалъ, что съ нею ты близокъ.

— Однако, господа, еще рано, замѣтилъ кто-то. — Куда бы направиться докончивать вечеръ? У тебя, Баронинъ, играютъ?

— Вѣроятно, равнодушно отвѣтилъ Баронинъ.

— Не знаешь, Платонова тамъ?

— Должно быть тамъ, тѣмъ же тономъ отвѣтилъ Баронинъ, точно его спрашивали совсѣмъ не о его домѣ, не о его гостяхъ. — Въ театрѣ была, заходилъ къ ней въ ложу, сказала, что ѣдетъ ко мнѣ...

Онъ поднялся съ мѣста и сладко потянулся, выпятивъ впередъ широкую грудь.

— Что-жь, ко мнѣ ѣдете? спросилъ онъ тѣмъ тономъ, которымъ говорятъ люди, когда ихъ клонить ко сну и когда ихъ куда-нибудь насильно тянуть.

— Да, куда же больше! отвѣтила ему подгулявшая компанія.

Они всѣ въ этотъ вечеръ были и въ театрахъ, и въ клубѣ, и въ ресторанѣ и всѣхъ ихъ все еще томила скука, всѣ они не знали на что убить время до пяти до шести часовъ

утра, гдѣ напиться до того, чтобы заснуть, или взволновать себя до того, чтобы перестать хотя на часокъ зѣвать отъ скуки. У Баронина всегда можно было достигнуть и того, и другого: вина у него не сходили со стола всю ночь, dokonчивая опьяненіе ночныхъ гостей, а крупная азартная игра нерѣдко встряхивала до того нервы игроковъ, что у этихъ людей вдругъ пропадали и хандра, и скука, и апатія, и являлось только одно, сильно возбуждающее сознаніе, что послѣ этой ночи у нихъ не останется ничего, ни капиталовъ, ни земель, ни богатой обстановки, что послѣ этой ночи измѣнится для нихъ все вдругъ и останутся на выборъ только два пути: нищета или пуля въ лобъ. Эти ночи «не усыпляли» и «не встряхивали» только Баронина. Все такой же холодный, лѣнивый и равнодушный, онъ полусонно бродилъ по комнатамъ или полужалъ на турецкомъ диванѣ въ своей квартирѣ и, когда кто-нибудь изъ пребывавшихъ здѣсь ночью птенцовъ проигрывался въ пухъ и въ прахъ, онъ тѣмъ же сонливымъ тономъ, позѣывая, замѣчалъ ему:

— Что все продуль?

Впрочемъ, онъ такъ привыкъ къ тому, что въ его домѣ «продували все!»

На кладбищѣ живешь — всѣхъ не оплачешь! Кромѣ того въ молодости онъ самъ однажды очутился въ положеніи человѣка, «продувшаго» все. Ему оставалось идти по міру или пустить пулю въ лобъ. Онъ нашель третій исходъ и примкнулъ къ шайкѣ шулеровъ. Но, переставъ быть продуваемымся игрокомъ и сдѣлавшись шулеромъ, онъ не пересталъ быть мотомъ: онъ прокучивалъ на ѣду, на вино, на лошадей и женщинъ сегодня все то, что надѣялся добыть завтра. Его кредиторы вѣрили въ это завтра и ссужали его деньгами сегодня. Правда, когда-нибудь должно было наступить это завтра, приносившее расплату за сегодня. Но кредиторы не боялись остаться въ убыткѣ: онъ всегда равнодушно и лѣниво готовъ былъ подписать и двойной, и тройной вексель на завтра, чтобы только не отказать себѣ ни въ чемъ сегодня, и такимъ образомъ они уже давно получили съ процентами все, что онъ бралъ.

— Вотъ если бы ты не обманулъ меня на счетъ этой Хрюминой, мы бы ее теперь ку-

да-нибудь за городъ и подхватили, замѣтилъ Баронину Поливановъ, выходя отъ Бореля и все еще сердясь, что Баронинъ прямо не сказалъ ему, что Евгенія Александровна «находится въ распоряженіи» баронессы фонъ-Шталь.

— Накатайтесь еще! отвѣтилъ Баронинъ, зѣвая.

Передъ Евгеніей Александровной открылся новый широкій путь...

V

Никогда еще не испытывалъ Владиміръ Аркадьевичъ болѣе скверныхъ ощущеній, чѣмъ теперь. Онъ былъ похожъ на звѣря, пойманнаго въ капканъ и не видящаго средствъ къ спасенію. До него доходили слухи, что его жена ведетъ очень веселую жизнь; онъ слышалъ, что за нею ухаживаетъ нѣсколько челоѣкъ изъ его круга и, можетъ быть, не безуспѣшно; онъ раза два видѣлъ ее въ театрѣ, въ ложѣ, окруженную мужчинами; онъ зналъ, что съ нею устраиваютъ пикники. Каждый разъ при этихъ слухахъ въ немъ закипала злоба, его душило безсильное

бѣшенство. Сплетня о частной жизни людей — это вѣчная язва тѣхъ кружковъ и обществъ, гдѣ почти нѣтъ общественной дѣятельности, гдѣ общественные интересы очень мало развиты, и потому не мудрено, что похождения Евгениі Александровны сдѣлались быстро сказкой города и о нихъ ходили самые преувеличенные слухи, доходившіе и до Владиміра Аркадьевича. «Она таскаетъ въ грязи мое имя!» говорилъ онъ мысленно и въ безсильномъ бѣшенствѣ сжималъ кулаки, скрежеталъ зубами, какъ бы готовясь кого-то растерзать. И дѣйствительно, если даже оставить въ сторонѣ уязвленное самолюбіе, горькое чувство, пробуждаемое слухами о развратѣ женщины, носящей его имя, могъ ли онъ не раздражаться, зная, что она, эта женщина, попортившая его карьеру, опозорившая его имя, веселится, жуируетъ, наслаждается жизнью, тогда какъ онъ, не имѣя большихъ средствъ, долженъ вести относительно очень скромную жизнь и рассчитывать гроши? За нею ухаживали десятки богачей и она могла и умѣла въ извѣстной степени распоряжаться ихъ сред-

ствами, тогда какъ онъ былъ какъ бы забытъ, брошенъ и безпомощенъ. Но этого мало: онъ зналъ, что его жена чернила его, рассказывая о его характерѣ самыя чудовищныя вещи. Ей такъ нравилось создавать въ своемъ воображеніи и импровизировать эти исторіи страдающей героини романа, жены, которую тиранили, матери, которую лишили дѣтей! Онъ, можетъ быть, еще примирился бы кое-какъ съ этими рассказами, но она рассказывала и нѣчто худшее: она говорила, что онъ — «ходячее ничтожество», что онъ бѣсится за «неудавшуюся карьеру», что онъ «мучается стремленіемъ скрыть свою бѣдность». Она очень комично рассказывала, какъ онъ утягивалъ отъ хозяйства гроши, чтобы имѣть свѣжія перчатки, чтобы ѣздить на рыскахъ, чтобы позавтракать у Бореля. Когда въ театрѣ Монаховъ пѣлъ куплетъ:

*А смотришь, гордый сей испанецъ
Въ своемъ углу на чердакъ
На свой сапогъ наводитъ глянецъ
Съ сапожной щеткою въ рукъ,*

она замѣчала: «Ахъ, это точно на Владиміра написано!» И его прозвали «горды-

мъ испанцемъ». Это, быть можетъ, было не остроумно, но это дѣлало его смѣшнымъ. Кто плохо зналъ ее, тотъ могъ бы подумать, что она умышленно дразнила мужа, старалась за- травить его. Но тутъ не было никакихъ пред- взятыхъ цѣлей: она говорила о мужѣ, потому что это былъ для нея самый неистощимый источникъ пикантныхъ разговоровъ; она го- ворила о немъ потому же, почему слуги суда- чать о господахъ, чиновники о своихъ на- чальникахъ, гимназисты объ учителяхъ; дру- гихъ болѣе важныхъ вопросовъ, другихъ болѣе широкихъ интересовъ у нея не было. Не говорить же въ самомъ дѣлѣ о литературѣ, когда не читаешь книгъ; не разсуждать же о политикѣ, когда имя какого-нибудь полити- ческаго дѣятеля, въ родѣ Пальмерстона, толь- ко потому и дошло до слуха, что одно время носились пальто-Пальмерстонъ? Правда, она все преувеличивала, она сгущала краски, но эта черта свойственна всѣмъ слабохарактер- нымъ, не особенно умнымъ, мало вдумываю- щимся и много болтающимъ созданьямъ. Ко- ротко, точно и вѣрно описывать извѣстныя явленія и факты могутъ только серьезные

умы; безпристрастно относиться къ задѣвающимъ за живое вопросамъ могутъ только сильные характеры. Но чѣмъ фантастичнѣе, чѣмъ грандіознѣе были измышленія Евгеніи Александровны о мужѣ, тѣмъ болѣе чувствовалъ онъ себя неловко: онъ даже не могъ отплатить ей тѣмъ же, такъ какъ все, что онъ могъ о ней рассказать — что она не особенно умна, что она женщина легкаго поведенія, что она не умѣетъ серьезно любить, что она жаждетъ тряпокъ, денегъ и развлеченій, — всё это люди знали и безъ него и дорожили именно этими качествами «вакантной жены». Умная кокотка, цѣломудренная любовница, живущая съ монашескою скромностью львица полусвѣта — Боже мой, какъ это было бы глупо и смѣшно! Но она не умѣетъ любить серьезно? Да кто же требуетъ серьезной любви отъ содержанки? Ужь не позволить ли ей ревновать, дѣлать сцены изъ за любви? Это было бы скучно! Нѣтъ, Евгенія Александровна именно потому и могла имѣть успѣхъ, что всѣ сразу признали въ ней всѣ тѣ качества, за которыя могъ бросить въ нее грязью мужъ.

Но если бы заглянуть поглубже въ его душу, то можно бы было увидѣть, что его тревожить не столько «маранье его имени его женою» и ея клеветы на него, сколько сознаніе, что эта ненавистная женщина и теперь, бѣжавъ отъ него, стоитъ у него поперегъ дороги на пути къ богатству.

Въ первые дни послѣ бѣгства жены Владиміръ Аркадьевичъ увлекся мечтами о томъ, что онъ можетъ еще поправить свои денежныя дѣла на счетъ какой-нибудь сердобольной вдовицы съ крупнымъ приданымъ, которая рѣшится утѣшить его и соединиться съ нимъ законнымъ бракомъ. Дальше подобныхъ плановъ полетъ его фантазіи не заходилъ; въ этомъ отношеніи онъ былъ пара со своею женою. Но эти мечты тотчасъ же разсѣялись передъ доводами холоднаго разсудка: разводъ стоилъ дорого и можно ли было вообще развестись съ Евгеніей Александровной? Лично ей разводъ былъ не нуженъ, а безъ ея согласія трудно было исполнить всѣ тѣ формальности, которыми обусловливается разводъ. Конечно, у Владиміра Аркадьевича были права мужа: онъ могъ припугнуть же-

ну, сказавъ ей, что онъ требуетъ, чтобы она жила съ нимъ или развелась формально. Но развѣ это испугаетъ ее? Развѣ она не понимаетъ, что онъ никогда, никогда не потребуеъ ее къ себѣ? Ему вѣдь дешевле жить безъ нея, безъ нея онъ все таки свободнѣе и покойнѣе живетъ. Она была не умна, но въ дѣлѣ житейской прозы она смыслила не меньше его и потому ее было бы трудно увѣрить, что онъ дѣйствительно рѣшится опять «содержать» ее, когда онъ можетъ «не содержать» ее. Она знала и то, что возвративъ ее въ домъ, онъ долженъ возвратитъ и дѣтей, а воспитать ихъ — это тоже чего нибудь да стоитъ.

Всѣ эти соображенія волновали его гораздо сильнѣе, чѣмъ толки о позорной жизни его жены, чѣмъ ея рассказы о немъ.

Онъ не видѣлъ никакого исхода изъ своего положенія: онъ былъ свободенъ и не могъ воспользоваться своею свободою, потому что эта свобода была только кажущеюся. Его душила желчь и онъ иногда доходилъ до того, что начиналъ громко и озлобленно жаловаться на свое положеніе, не замѣчая того, что это постыдно, что это смѣшно. Роль мужа,

плачущаго, что его обижаютъ жена, всегда комична и жалка. Владиміръ Аркадьевичъ былъ до того подавленъ своимъ положеніемъ, что игралъ именно эту роль, не думая о томъ, что скажетъ объ этомъ «свѣтъ».

Съ этими же жалобами явился онъ и къ Олимпіадѣ Платоновнѣ.

Старуха была одна въ своемъ кабинетѣ, когда онъ вошелъ къ ней. Она сильно встревожилась, такъ какъ въ ея головѣ промелькнула мысль, не хочетъ ли онъ взять къ себѣ дѣтей. Она уже боялась разлуки съ ними. Ихъ въ это время не было дома и она была этому рада. Ей хотѣлось переговорить съ нимъ съ глаза на глазъ и во что бы то ни стало отстоять за собой право удержать дѣтей у себя навсегда. Ей казалось, что ей не совсѣмъ легко удастся это сдѣлать; она все еще считала племянника болѣе порядочнымъ человѣкомъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ: въ послѣдніе годы она такъ рѣдко видѣла его, такъ мало знала о его жизни; она все еще полагала, что въ немъ остались хоть кое какіе слѣды рыцарскаго благородства, дворянской чести, аристократической щепетильности, всего то-

го, что прививали съ дѣтства каждому изъ членовъ ихъ фамиліи. Она приняла его въ своемъ кабинетѣ и приказала лакею отказывать всѣмъ, кто бы ни пріѣхалъ.

И племянникъ, и тетка обмѣнялись очень дружескими привѣтствіями при лакеѣ и почувствовали себя неловко въ первую минуту свиданія, оставшись одни. Они не знали, какъ начать разговоръ. Онъ боялся, что она скажетъ: «возьми своихъ дѣтей!» Она опасалась, что онъ заявитъ о необходимости помѣстить ихъ у себя.

— А вы нынче долго зажились въ деревнѣ, ma tante, замѣтилъ Владиміръ Аркадьевичъ, окончивъ долгую возню съ закуриваньемъ папиросы и нарушая неловкое молчаніе, наступившее въ комнатѣ, какъ только вышелъ лакей. — я заѣзжалъ нѣсколько разъ справляться о вашемъ пріѣздѣ...

— Отдохнуть хотѣлось подольше, отвѣтила тетка. — Не по лѣтамъ мнѣ эта столичная суета: визиты да рауты, толки да сплетни, все это чѣмъ дальше отъ насъ, тѣмъ лучше. Я бы, пожалуй, и всю зиму готова прожить въ деревнѣ да нельзя, къ несчастію; тоже разные

обязанности есть; все толчешь здѣсь воду, а кажется, что и дѣло дѣлаешь...

— Да, признаюсь вамъ, и я радъ бы бѣжать, куда глаза глядятъ, изъ этого омута, вздохнулъ племянникъ.

— Ну, тебѣ то еще рано въ анахореты записываться, проговорила старуха, — У тебя служба, общественная дѣятельность...

— Ахъ, ma tante, какво все это достается! сказалъ онъ. — Иногда голова кругомъ идетъ отъ всего того, что видишь, что слышишь.

У него опять не курилась папироса; онъ опять возился съ зажиганіемъ спички. Наконецъ, папироса закурилась и приходилось снова говорить. Онъ вздохнулъ и проговорилъ, понизивъ голосъ:

— Вы, конечно, слышали, въ какомъ положеніи я нахожусь?

— Нѣтъ, я еще никого не видала, отвѣтила тетка и въ ея головѣ промелькнула испугавшая ее мысль: не пришла ли къ нему обратно жена? отъ этой женщины всего можно ждать. — А что? спросила старуха.

Онъ безнадежно махнулъ рукою.

— Тяжело и говорить! сказалъ онъ мрач-

но. — Вся жизнь, все будущее, всѣ мечты, все, все скомкано, растоптано, забрызгано грязью!.. Вы уже знаете, что моя жена ушла, что я остался безъ семьи, безъ домашняго очага, заговорилъ онъ съ пафосомъ. — Но этого мало. Эта женщина потащила по грязи мое имя. Она сдѣлалась — *passez moi le mot* — настоящей кокеткой, падшей женщиной, площадной развратницей. Я слышу скандальезные толки о ней въ каждомъ кружкѣ молодежи, я вижу ее съ отъявленными развратниками въ театрахъ, я стыжусь смотрѣть на когонибудь изъ членовъ нашей *jeunesse dorée*, боясь замѣтить на его лицѣ усмѣшку, говорящую мнѣ: «а я вчера кутилъ съ твоею женою, съ матерью твоихъ дѣтей.»

Онъ всталъ со стула, бросилъ въ каминъ смятую между пальцами папиросу и прошелся по комнатѣ, какъ ходятъ по сценѣ въ минуты душевнаго волненія первые любовники во французскихъ мелодрамахъ.

— Но этого мало, продолжалъ онъ, спустя минуту. — Она не ограничивается тѣмъ, что въ списокъ модныхъ кокетокъ ею внесено имя Хрюминой, нѣтъ, она бравируетъ, она

дразнить меня, рассказывая про меня небылицы. Я деспотъ, я тиранъ, я бѣшенный челоуѣкъ... О, все это еще ничего, все это сносно! Но она во что бы то ни стало хочетъ пригвоздить меня къ позорному столбу и говорить, что я нищій, старающійся скрыть свою нищету подъ мишурою, что я и разошелся съ нею изъ за того, что она не хотѣла продаваться для моихъ выгодъ, что я смѣшонъ и жалокъ въ своемъ стремленіи казаться богатымъ, а не нищимъ... Вѣдь это точно смѣшно, когда говорятъ про челоуѣка нашего круга, что онъ самъ подчищаетъ резинкою свои перчатки, чтобы онѣ казались свѣжими! Какъ не смѣяться надъ челоуѣкомъ, стоящимъ въ моемъ положеніи, когда слышишь, что онъ питается калачами и булками, чтобы имѣть возможность взять кресло въ первомъ ряду въ бенефисный спектакль во французскомъ театрѣ? А какъ взглянуть люди на челоуѣка, про котораго рассказываетъ жена, что онъ оставляетъ жену и дѣтей безъ куска хлѣба, считая необходимымъ проѣхаться на рысакѣ по Невскому проспекту?.. Это все ложь, это все клевета, но это смѣшно, это пикантно и

это повторяютъ всѣ!..

Онъ замолчалъ, подавленный волненіемъ, прошелся еще по комнатѣ и началъ снова:

— Но они говорятъ, а я долженъ молчать. Если бы я сталъ оскорбляться каждымъ обиднымъ намекомъ, каждымъ насмѣшливымъ взглядомъ, то мнѣ пришлось бы стрѣляться со всѣми людьми моего круга, со всей этой шайкой молодыхъ и старыхъ развратниковъ, ставшихъ на сторону этой женщины... Это травля, травля на смерть!.. Конечно, я понимаю, что они имѣютъ право смѣяться надо мной, я самъ на ихъ мѣотѣ первый смѣялся бы, слыша про кого нибудь подобные рассказы. Но правы они или не правы, мнѣ отъ этого не легче, я сдѣлался сказкой города, одни смотрятъ на меня съ сожалѣніемъ, другіе съ злорадствомъ, третьи съ явной насмѣшкой. Вы понимаете, что это невыносимо! Ну да, я, дѣйствительно, бѣденъ, бѣднѣе, можетъ быть, чѣмъ думаютъ, потому что у меня есть долги; я, дѣйствительно, всегда старался скрыть свою бѣдность, старался жить шире, чѣмъ позволяли мои средства. Но развѣ я въ этомъ виноватъ? Я жилъ и живу въ томъ кругу, гдѣ

бѣдность не порокъ, а хуже порока, гдѣ передъ ней просто закрыты двери...

Онъ жаловался малодушно, капризно, плаксиво, какъ обиженный мальчишка, и былъ жалокъ. Искреннее чувство и театральная рисовка, желчная злоба и манерное кривлянье, все это смѣшивалось вмѣстѣ въ его жалобахъ на судьбу. Старуха-тетка слушала его молча, не прерывая его жалобъ, и онъ казался ей все болѣе и болѣе мелочнымъ человѣкомъ, тряпичной душонкой, неспособной даже на самую ничтожную борьбу. Только теперь она видѣла его именно такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, не замаскированнымъ ходячими свѣтскими фразами, приличными манерами, банальною болтовнею о театрахъ, рысакахъ и политикѣ. Онъ говорилъ о своихъ тайныхъ язвахъ и она понимала всю гнусность, всю позорность тѣхъ причинъ, вслѣдствіе которыхъ явились эти язвы. Ей было и больно, и обидно. Вѣдь это былъ сынъ ея сестры; когда-то она горячо любила его, возлагала на него надежды.

— И хуже всего то, что я даже не могу бороться съ этой женщиной, не могу заставить

ее замолчать, продолжалъ онъ. — Замарать ее, очернить въ глазахъ ея знакомыхъ?.. Да развѣ это можно, когда она и безъ того грязнѣе грязи? Добиться полнаго развода съ ней — это тоже у насъ невозможно. У меня на это вообще нѣтъ средствъ. Наконецъ, чтобы развестись съ женщиной, которая вовсе не чувствуетъ въ этомъ необходимости, которая не приметъ во всякомъ случаѣ добровольно вины на себя, — для этого нужно имѣть десятки тысячъ. Правда, у меня есть права мужа, я могу ее потребовать къ себѣ, заставить ее жить со мною и съ дѣтьми. Этимъ средствомъ...

— Полно, полно, какіе вы отецъ и мать своимъ дѣтямъ! горячо перебила его Олимпиада Платоновна. — Вы ихъ только погубить можете, а не воспитать!

Онъ что то хотѣлъ сказать, но она продолжала:

— Нѣтъ, у тебя только одинъ исходъ остался: тебѣ надо порвать со всѣмъ своимъ прошлымъ, тебѣ надо перейти на службу куда нибудь въ провинцію, гдѣ тебя не знаютъ, гдѣ не знаютъ твоей исторіи. Уѣдешь ты отсюда,

здѣсь перестануть говорить о тебѣ, забудутъ тебя. Въ провинціи ты можешь получить приличное мѣсто, жить шире, вращаться въ кругу, гдѣ никто не намекнетъ тебѣ о твоей женѣ, такъ какъ ее тамъ не знаютъ.

— Это невозможно! отрывисто сказалъ онъ, сдвинувъ угрюмо брови.

— Невозможно? съ удивленіемъ переспросила Олимпіада Платоновна, вопросительно взглянувъ на него. — Я думаю, мѣсто въ провинціи достать далеко не такъ трудно. Ты же можешь хлопотать черезъ графа Павла Дмитріевича. Наконецъ, я, если нужно, могу переговорить съ кѣмънибудь, слава Богу, меня, старуху, еще не забыли...

— Не то, *ma tante*, не то! нетерпѣливо перебилъ ее Владиміръ Аркадьевичъ. — Меня не выпустятъ изъ Петербурга. У меня есть долги, есть векселя...

Олимпіада Платоновна нетерпѣливо пожала плечами. Такой уважительной причины къ невыѣзду Владиміра Аркадьевича изъ Петербурга она вовсе не предвидѣла и разсердилась.

— Жалуются, что нечѣмъ жить, и выдаютъ

векселя! проговорила она раздражительно.

— Оттого и выдаютъ, что нечѣмъ жить, тоже не безъ раздраженія отвѣтилъ онъ.

— И нечѣмъ отдать! закончила она въ томъ же тонѣ. — Это точно очень удобно: давать векселя, когда знаешь, что платить все равно не будешь! Толкуешь тоже о благородствѣ! Понятія то у васъ всѣ исковерканы: перчатки подчищаешь для сохраненія фамильной чести и ту же фамильную честь въ грязь топчешь, дѣлая долги съ сознаньемъ, что платить нечѣмъ!

Она уже горячилась и по обыкновенію не взвѣшивала выраженій.

— Я думаю, я имѣлъ право разсчитывать, загорячился также и Владиміръ Аркадьевичъ, задѣтый за живое старухой.

— На что это? рѣзко перебила она его. — На карьеру, женившись на дочери какого-то тамъ Трифонова? На наслѣдство отъ несуществующихъ бездѣтныхъ богачей родныхъ? Или ужъ не на большую ли дорогу собирался идти людей грабить?

Старуха дѣлалась все болѣе и болѣе раздражительною и по обыкновенію рѣзкою, даже

грубой. Владиміръ Аркадьевичъ тоже былъ взбѣшонъ ея рѣзкими словами и готовился дать ей отпоръ. Но прежде, чѣмъ онъ началъ, дверь въ комнату отворилась и на порогъ показались дѣти; розовыя отъ мороза, съ веселыми лицами, они по обыкновенію безъ позволенія вбѣжали въ кабинетъ тетки и, увидавъ отца, сразу остановились у дверей въ недоумѣніи. Отъ глазъ Олимпіады Платоновны не укрылось, какъ мгновенно поблѣднѣлъ мальчикъ при видѣ отца.

— Папа! проговорила дѣвочка и первая побѣжала къ отцу съ широко открытыми объятіями.

Евгеній, какъ бы очнувшись, то же направился къ отцу какой то невѣрной и неловкой походкой. Онъ видимо не зналъ, какъ держать себя съ отцомъ, и, приблизившись къ нему, расшаркался передъ нимъ и съ почти-тельностью, почти со страхомъ поцѣловалъ его руку.

— Выросли, поправились въ деревнѣ, проговорилъ Владиміръ Аркадьевичъ, стараясь придать своему голосу хоть немного мягкости. — Учитесь пора начинать...

— Мы учимся, папа, сказала дѣвочка.

— Ну, надо скоро и серьезно приняться за ученье, проговорилъ отецъ, чувствуя себя неловко и не зная, что сказать. — Вотъ устроюсь, тогда примусь за васъ.

Евгеній, стоявшій около отца съ опущенной головой, снова поблѣднѣлъ и бросилъ испуганный вопросительный взглядъ на Олимпіаду Платоновну.

— Простите, ma tante, что я такъ долго обременяю васъ возней съ дѣтьми, хотя и знаю, что это не-легко и что вы къ этому не привыкли, но покуда я еще не могу взять ихъ къ себѣ, проговорилъ Владиміръ Аркадьевичъ, обращаясь къ теткѣ.

— Они меня вовсе не тяготятъ, торопливо отвѣтила Олимпіада Платоновна.

— Вы очень добры, но повѣрьте, что я при первой возможности возьму ихъ къ себѣ, сказалъ Владиміръ Аркадьевичъ, считая необходимымъ ради приличія дать обѣщаніе, котораго вовсе не думалъ исполнить.

Олимпіада Платоновна тревожно взглянула на Евгенія: онъ былъ блѣлъ, какъ полотно, его плечи слегка вздрагивали, въ широко рас-

крытыхъ глазахъ стояли крупныя слезы. Кажалось, онъ вотъ-вотъ упадетъ безъ чувствъ на коверъ. Она быстро поднялась съ мѣста, взяла его за плечи, заслонила его отъ отца и скороговоркой проговорила, обернувъ голову къ Владиміру Аркадьевичу:

— Я сейчасъ приду, только отведу дѣтей завтракать... Оля, иди за нами! обратилась она на ходу къ дѣвочкѣ.

Съ этими словами она, поспѣшно переплетая ногами, скрылась изъ кабинета, выводя мальчугана. Они молча прошли двѣ-три комнаты и она чувствовала, что плечи ребенка вздрагиваютъ все сильнѣе и сильнѣе подъ ея руками, что онъ тихо всхлипываетъ.

— Я не хочу, не хочу!.. Не надо, не надо, tante! вдругъ разразился онъ рыданіями и скрылъ свою головку около ея груди.

Его рыданія походили на истерическій припадокъ.

— Полно, полно, что ты! шептала старуха, лаская его.

— Онъ не любитъ насъ... не любитъ... не надо къ нему! слышались отрывистыя слова неутѣшно рыдавшаго мальчика. Дѣвочка, гля-

дя на бившагося отъ истерическаго плача брата, тоже расплакалась и бессознательно бормотала сквозь слезы:

— Не надо, не надо!

— Да онъ и не возьметъ васъ... Никто васъ не возьметъ! успокоивала дѣтей тетка. — Софья, останься съ ними... успокой его! обратилась совсѣмъ растерявшаяся Олимпіада Платоновна къ вошедшей въ комнату Софьѣ. — Я пойду туда... онъ ждетъ... Ахъ, Боже мой, Боже мой, что дѣлають люди... что дѣлають! Это надо кончить... они уморять дѣтей...

Она поцѣловала мальчика въ голову и, быстро ковыляя и переваливаясь на ходу, пошла обратно въ кабинетъ. Выраженіе ея блѣднаго лица было серьезно и строго. Она видимо рѣшилась все покончить сейчасъ же, безповоротно, какой бы то ни было цѣной. Къ ея головѣ мелькали даже планы отнять дѣтей, если встрѣтится необходимость, силой, хлопотать объ этомъ черезъ родныхъ и знакомыхъ. Она знала, что съ большими связями все можно сдѣлать. Войдя въ кабинетъ, она прямо приступила къ главному вопросу, котораго боялась она и котораго боялся въ свою

очередь и Владиміръ Аркадьевичъ.

— Ты мнѣ сейчасъ говорилъ о дѣтяхъ, сказала она ему сухо. — Что ты намѣренъ съ ними дальше дѣлать?

— Что я могу съ ними дѣлать: они носятъ мое имя, ихъ бросили на мои руки, моя обязанность волей или неволей воспитать ихъ, не разбирая, чьи они, желчно отвѣтилъ онъ. — Не могу же я выкинуть ихъ на улицу, чтобы дать поводъ взвести на меня еще новое преступленіе.

— Я думала, что ты совсѣмъ оставишь ихъ у меня, сказала Олимпіада Платоновна.

— Если я просилъ васъ на время пріютить ихъ, то это еще не значитъ, что я хочу навсегда навязать вамъ эту обузу, обидчивымъ тономъ проговорилъ Владиміръ Аркадьевичъ, подозрѣвая въ словахъ тетки желаніе упрекнуть его. Онъ на столько самъ тяготился этими дѣтьми, что не могъ никакъ предположить въ комъ нибудь другомъ желанія добровольно навязать ихъ себѣ на шею. — Я очень хорошо понимаю...

— Ничего ты не понимаешь, рѣзко перебила его тетка. — Тутъ нѣтъ и рѣчи ни о какой

обузѣ. Я готова оставить дѣтей у себя. Но я должна быть увѣрена, что они будутъ всегда у меня, что ты не ворвешься ко мнѣ со своими заявленіями о томъ, что не сегодня, такъ завтра ты возьмешь ихъ къ себѣ. Я очень бы желала, чтобы ты вообще забылъ о ихъ существованіи, такъ какъ для тебя они вовсе лишнія и твои отношенія къ нимъ едва ли принесутъ имъ что нибудь, кромѣ вреда.

Эти слова снова оскорбили и раздражили Владиміра Аркадьевича.

— Что вы хотите этимъ сказать? проговорилъ онъ. — Что я не достоинъ быть даже отцомъ?

— Чужихъ дѣтей? сказала съ ироніей старуха. — Да! Ты уже теперь ненавидишь ихъ, а что же будетъ послѣ, когда на нихъ придется тратить деньги, когда они будутъ помѣхой тебѣ?

— Но вы забываете, что я все таки считаюсь ихъ отцомъ и что рано или поздно они могутъ вернуться въ мой домъ, проговорилъ онъ. — Я думаю, мнѣ тогда будетъ не легче, если они войдутъ въ мой домъ моими врагами...

— Врагами? переспросила Олимпиада Платоновна. — Или ты думаешь, что я способна вооружать ихъ противъ тебя? Это ужъ слишкомъ! Если они и могутъ сдѣлаться твоими врагами, такъ только въ такомъ случаѣ, когда ты будешь встрѣчаться съ ними и доказывать имъ на каждомъ шагу, на сколько мало въ тебѣ отцовскихъ чувствъ, любви къ нимъ...

— Ахъ, вы желаете, чтобы я даже не видалъ ихъ! съ горькой ироніей замѣтилъ Владиміръ Аркадьевичъ.

— Да, твердо отвѣтила старуха.

— Я, право, даже и не подозрѣвалъ, какъ вы смотрите на меня, еще болѣе ѣдкимъ тономъ сказалъ онъ.

Онъ всталъ и прошелся по комнатѣ. Въ немъ происходила внутренняя борьба, мелкая, пошлая, но въ то же время тревожная и тяжелая. Ему было обидно, что его заставляютъ отказаться отъ всякихъ отцовскихъ правъ на этихъ дѣтей, что его считаютъ недостойнымъ роли ихъ отца, и въ то же время онъ боялся, что его возраженія, его упрямство могутъ раздражить окончательно тетку и заставить ее отдать ему этихъ дѣтей, которыхъ

онъ не любилъ, которыхъ онъ не считалъ своими, которыхъ онъ желалъ какъ нибудь сбыть съ рукъ. Въ этой исковерканной среди лжи, среди лицемѣрія, среди разврата душонкѣ таилась цѣлая масса противорѣчій.

— Я тебѣ говорила, что тебѣ было бы лучше всего уѣхать въ провинцію, сказала Олимпиада Платоновна. — Ты избавился бы отъ жены и могъ бы оставить дѣтей у меня, не напоминая имъ о своей нелюбви къ нимъ...

— Все это прекрасно совѣтовать, но что же дѣлать, если это невозможно, проговорилъ онъ насмѣшливымъ тономъ.

И вдругъ въ его головѣ промелькнула, какъ молнія, какая то новая мысль, заставившая его невольно усмѣхнуться и пожать плечами; онъ почти не вѣрилъ вдругъ явившейся въ его головѣ надеждѣ и въ то же время она назойливо вертѣлась теперь въ его мозгу.

— Вотъ найдите какого нибудь поручителя по моимъ долгамъ, тогда и явится возможность уѣхать, сказалъ онъ насмѣшливымъ тономъ.

— Ты много долженъ? спросила Олимпиада

Платоновна.

— Тысячъ десять, кажется, небрежно отвѣтилъ онъ.

— Только? полувопросительно, полунасмѣшливо сказала Олимпіада Платоновна, уже читавшая теперь въ его душѣ и угадывавшая его планы, цѣли и мотивы. — Что жь, я готова поручиться за тебя, если этимъ можно спасти твоихъ дѣтей.

— Спаси! спаси! Что за трагическія выраженія! воскликнулъ онъ раздражительно. — Мы точно какую-то бульварную мелодраму разыгрываемъ...

— Ахъ, пожалуйста, не горячись, уже совсѣмъ твердо и рѣшительно произнесла Олимпіада Платоновна, понявшая теперь, что она можетъ купить его рѣшеніе отречься навсегда отъ дѣтей. — Тутъ идетъ вопросъ о томъ, желаешь ли ты за эти деньги продать своихъ дѣтей и купить свою свободу, а не о томъ, какимъ тономъ съ тобой говорятъ...

Она поднялась съ мѣста и остановилась передъ нимъ. Ей очевидно хотѣлось поскорѣе кончить переговоры съ этимъ человѣкомъ. Она начинала относиться къ нему какъ-то

брезгливо.

— Мы договорились до того, что, кажется, отлично понимаемъ другъ друга и знаемъ одинъ другому цѣну, сухо и рѣзко начала она, уже не пытаясь скрывать свои чувства. — Я тебѣ предлагаю эту сдѣлку и жду отвѣта: согласенъ ли ты на нее или нѣтъ? Вотъ и все. Смягчать выраженія тутъ нечего. Я тебѣ говорю прямо, что я даже тебѣ на слово не повѣрю, а потребую письма у тебя, что ты продаешь мнѣ дѣтей за десять тысячъ.

Владиміръ Аркадьевичъ захохоталъ какимъ то злобнымъ, пскуственнымъ смѣхомъ, стараясь скрыть свое бѣшенство.

— Такъ и видно, ma tante, что вы курса законовѣденія не проходили и потому не знаете, что подобныя росписки не дѣйствительны, проговорилъ онъ.

— А я все таки потребую ее отъ тебя, чтобы имѣть хоть право назвать тебя тѣмъ именемъ, которое ты заслужишь, если тебѣ вздумается взять дѣтей обратно, сказала она сухо.

— О, Боже мой, вы и такъ забросали меня грязью, не имѣя еще на это никакого права! Что же вамъ помѣшаетъ сдѣлать это послѣ!

желчнымъ тономъ сказалъ онъ. — Вы, кажется, вообще никогда не отличались особенно склонностью щадить ближнихъ!..

Старуха что то молча соображала въ эту минуту.

— Кромѣ того ты дашь мнѣ вексель въ десять тысячъ, проговорила она, не обращая вниманія на его слова.

— Ахъ, и это нужно? съ усмѣшкой сказалъ онъ.

Но она уже вовсе не обращала вниманія на его усмѣшки и на его саркастическій тонъ.

— Я тебѣ совѣтую подумать объ этомъ и дать мнѣ отвѣтъ, сказала она. — Мнѣ нужно знать впередъ, когда приготовить деньги и кромѣ того, можетъ быть, тебѣ понадобится, чтобы я похлопотала о мѣстѣ для тебя...

— Вы очень добры! насмѣшливо сказалъ Владиміръ Аркадьевичъ.

— Такъ я буду ждать отвѣта завтра или послѣ-завтра, сказала тетка такимъ тономъ, какимъ даютъ знать посѣтителемъ, что имъ пора удалиться.

Онъ холодно раскланялся и вышелъ изъ ея кабинета.

Она, совсѣмъ блѣдная, усталая, какъ бы разбитая, опустилась въ кресло и глубоко задумалась. Впервые въ жизни приходилось ей пережить такую неприглядную сцену, стать лицомъ къ лицу съ такимъ нравственнымъ ничтожествомъ, и опять ей было больно сознавать, что эта ничтожная личность — сынъ ея родной сестры. Невеселыя думы проходили въ ея головѣ: передъ нею проносились какія то картины давно прошедшихъ лѣтъ, вспоминались какія то радужныя надежды, возлагавшіяся на этого самаго человѣка во дни его дѣтства и юности. Теперь она чувствовала, что она навсегда разрываетъ съ нимъ всякую связь и желаетъ только одного, чтобы онъ отдалъ ей своихъ дѣтей и оставилъ ее въ покоѣ. «Ну, а если онъ не согласится? вдругъ промелькнуло въ ея головѣ. — Если онъ захочетъ взять дѣтей ради упрямства, ради уязвленнаго самолюбія? У него вѣдь что ни шагъ, то противорѣчія! И съ чего это я вскипятилась? Не лучше ли было не раздражать его и повести дѣло мягко, съ тактомъ. Да, да, сама своими грубостями, по обыкновенію, подлила масла въ огонь! Можетъ быть, все

дѣло испортила? И какъ все это глупо вышло, поединокъ какой-то словесный устроили»... Эти думы проходили въ ея головѣ и ея лицо принимало все болѣе и болѣе мрачное выраженіе, брови сдвигались плотнѣе, губы сжимались крѣпче. «И всегда то такъ, всегда такъ выходитъ, носилось въ ея умѣ. — Вспыльчивость, раздражительность, грубость и цѣлый рядъ обидъ, когда нужно дѣйствовать съ дипломатическою осторожностью, съ свѣтскою вѣжливостью! Долго ли такимъ образомъ вооружить противъ себя людей, заставить ихъ обидѣться и разсердиться».

Прошло съ полчаса въ этихъ тревожныхъ думмахъ. Старуха какъ будто опустилась и осунулась подъ ихъ гнетомъ, упрекая и браня себя за свою «сумасбродность». Она часто посылала себѣ подобныя упреки, не умѣя никогда подладиться къ обстоятельствамъ, обдумать тотъ или другой планъ дѣйствія въ извѣстныхъ случаяхъ. «Винта у меня какого-то нѣтъ въ головѣ, должно быть, говорила она въ такія минуты, — ну, и не могу сдержаться». Тоже думалось ей и теперь. Наконе-

цъ, она, словно очнувшись, рѣшительно поднялась съ кресла и выпрямилась во весь ростъ.

— Нѣтъ, гдѣ имъ обижаться!.. Людишки, а не люди! пробормотала она вслухъ и направилась изъ кабинета въ дѣтскую.

Она не ошиблась: онъ, отецъ этихъ дѣтей, былъ согласенъ на все, на отдачу ихъ въ арендное содержаніе, на продажу ихъ въ вѣчное владѣніе, лишь бы только освободиться отъ нихъ и получить деньги.

Съ этого дня это были, дѣйствительно, брошенные дѣти, круглыя сироты, не имѣвшія ни отца, ни матери.

Конецъ 1-й книги.

КНИГА ВТОРАЯ ВОСПИТАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ

I

Всѣ родственники, крестники и прихлебатели Олимпіады Платоновны Дикаго и ея «камерюнгферы» Софьи были встревожены страшнымъ для нихъ извѣстіемъ и зашипѣли, забили тревогу. Разнесся слухъ, что княжна Олимпіада Платоновна Дикаго хочетъ на неопредѣленное, болѣе или менѣе продолжительное время совсѣмъ оставить Петербургъ и переселиться въ подмосковное Сансуси.

— Что заставило ее принять такое рѣшеніе?

Этотъ вопросъ въ той или другой формѣ, на изящномъ французскомъ языкѣ или на вульгарномъ жаргонѣ прихожихъ, повторялся на всѣ лады. Также въ различныхъ формахъ, на разныхъ языкахъ, на всѣ лады повторялся одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Это все для этихъ несчастныхъ дѣтей!

Сколько горечи, ненависти и презрѣнія слышалось въ этихъ немногихъ словахъ!

Сама Олимпіада Платоновна не считала нужнымъ скрывать отъ кого бы то ни было, что она дѣйствительно хочетъ уѣхать на продолжительное время изъ Петербурга только для этихъ несчастныхъ дѣтей. Дѣти были довольно хилы и болѣзненны и чистый деревенскій воздухъ могъ укрѣпить ихъ здоровье. Въ деревнѣ жизнь дешевле и потому можно было сдѣлать сбереженія для лучшаго воспитанія образованія дѣтей, покуда они не поступятъ въ учебныя заведенія. Она въ деревнѣ будетъ имѣть болѣе свободнаго времени, чтобы слѣдить лично за развитіемъ этихъ дѣтей. Кромѣ этихъ серьезныхъ соображеній у Олимпіады Платоновны было и еще одно еще болѣе серьезное соображеніе, которое она не высказывала никому, но которое болѣе всего побуждало ее уѣхать на время изъ Петербурга: она не хотѣла, чтобы дѣти какъ нибудь случайно могли услышать что нибудь объ отцѣ или матери, она боялась, что дѣти могутъ здѣсь встрѣтиться со своими родителями. Довольно и того, что она сама слы-

шала объ этихъ личностяхъ, что она сама встрѣчала ихъ случайно въ магазинахъ, на улицахъ, въ театрахъ. Всѣхъ этихъ причинъ было вполне достаточно, чтобы заставить ее покинуть Петербургъ. А какже они, эти родственники, крестники и прихлебатели княжны и ея «камерюнгферы» останутся безъ помощи Олимпіады Платоновны и Софьи? Ихъ была цѣлая орда, какъ это всегда бываетъ въ старыхъ барскихъ домахъ, гдѣ еще выдаются разному нуждающемуся люду и разнымъ попрошайкамъ и единовременныя пособія, и ежемѣсячныя пенсіи. «Изъ глазъ вонъ и изъ ума вонъ» — эту поговорку всѣ они знали отлично. Здѣсь они приходили и къ Олимпіадѣ Платоновнѣ, и къ Софьѣ поздравлять послѣднихъ съ днями своихъ именинъ и рожденій; здѣсь они при каждомъ посѣщеніи къ Олимпіадѣ Платоновнѣ и Софьѣ ныли на счетъ своихъ домашнихъ нуждъ и надѣвали на себя самыя затрапезныя одежды, чтобы получить взамѣнъ этихъ одеждъ немного поношенныя, но еще довольно цѣнныя платья благодѣтельница; здѣсь стоило только принести просфору отъ «Троицы-Сергія» княжнѣ

или ея служанкѣ, чтобы получить подачку, деньги, платочекъ, платице, вообще чтонибудь болѣе цѣнное и практичное, чѣмъ просфора; здѣсь, наконецъ, можно было по недѣлямъ гостить у Олимпіады Платоновны и у Софьи, встрѣчая у этихъ старыхъ дѣвъ «нужныхъ» и «случайныхъ» людей — у Олимпіады Платоновны графовъ и князей, генераловъ и тайныхъ совѣтниковъ, у Софьи — графскихъ и княжескихъ камердинеровъ и камерюнгферъ, оказывавшихъ одинаково сильныя протекціи, какъ и ихъ господа, по дѣламъ опредѣленія дѣтей на казенный счетъ въ учебныя заведенія, стариковъ и старухъ въ богадѣльни и вдовьи дома, людей среднихъ лѣтъ на теплыя мѣста, въ смотрителя какихънибудь складовъ, въ начальницы какихънибудь дѣтскихъ пріютовъ. Княжна Олимпіада Платоновна не даромъ же пользовалась всеобщимъ уваженіемъ! Но что же будетъ, когда уѣдутъ княжна Олимпіада Платоновна и Софья? Имъ нужно будетъ надоѣдать письмами, имъ нужно будетъ только изрѣдка напоминать о своемъ существованіи, ихъ нельзя будетъ ловить въ удобныя минуты, въ

тѣ минуты, когда человекъ «въ духѣ» и когда онъ готовъ исполнить всякую просьбу. Бѣдныя родственницы и черносалопницы отлично знали значеніе такихъ минутъ и иногда выжидали по цѣлымъ днямъ того момента, когда будетъ удобнѣе всего обратиться съ просьбой къ той или другой благодѣтельницѣ. Иногда во время вылетавшій изъ груди вздохъ, или кстати сказанная и вызвавшая улыбку острота, или трогательное лобызаніе руки оплачивались здѣсь десятками рублей. Отъѣздъ этихъ двухъ женщинъ изъ Петербурга являлся дѣйствительнымъ несчастіемъ для всей этой хищнической стаи, алчущей и жаждущей пенсій, пособій, помощи, протекцій и подачекъ. И все это несчастіе стряслось ради этихъ «несчастливыхъ дѣтей». Не одинъ взглядъ, бросавшійся на этихъ дѣтей, былъ исполненъ затаенною злобою. Не одинъ голосъ, обращавшійся съ ласковыми словами къ этимъ дѣтямъ, походилъ на змѣиное шипѣнье. Дѣти, конечно, ничего и не подозрѣвали, ничего и не чувствовали — это было очевидно и, можетъ быть, именно пото-

му люди дѣлали все возможное, чтобы дѣти поняли, наконецъ, какихъ жертвъ они стоятъ.

Впервые уяснила Евгению, какія жертвы приносятся для него и для его сестры, одна изъ его кузинъ, Мари Хрюмина. Объясненіе вышло неожиданно довольно рѣзко и грубо; оно произошло почти помимо воли самой Мари Хрюминой, существа эфирнаго, склоннаго къ сантиментализму и неспособнаго обидѣть даже муху. Какъ то разъ эта кузина, онъ и княжна Олимпіада Платоновна сидѣли вмѣстѣ въ кабинетъ послѣдней.

— Неужели, ma tante, вы дѣйствительно рѣшились совсѣмъ поселиться въ Сансуси? щечечущимъ голоскомъ спросила у Олимпіады Платоновны ея племянница, опустивъ на колѣни книгу, которую она читала вслухъ теткѣ.

Эта дѣвица уже начинала въ глубинѣ души терять надежду на замужество и потому съ отчаяніемъ почти побѣжденнаго бойца доигрывала съ чудовищной утрировкой роль наивной институтки; она жила во вдовьемъ домѣ у своей матери, давно раззорившейся

барыни.

— Не совсѣмъ, но, вѣроятно, долго проживу тамъ, отвѣтила Олимпіада Платоновна, занятая какой то вышивкой.

— Ахъ, это ужасно, это ужасно! воскликнула эфирная отъ худобы ingénue, вздергивая вверхъ костлявыя плечики. — Тамъ вѣдь волки зимою воютъ! Въ деревняхъ всегда волки, какъ мнѣ говорила няня! И потомъ вы все однѣ будете, совсѣмъ однѣ, ma pauvre tante!

— Какъ это одна? улыбнулась Олимпіада Платоновна, поднимая глаза съ вышивки, и взглянувъ на племянницу. — И тамъ люди живутъ. Да кромѣ того я ѣду съ дѣтьми, гувернантка ѣдетъ съ нами, учитель...

— Но общество? Какое же можетъ быть общество въ деревнѣ? волновалась барышня. — Не мужиковъ же приглашать къ себѣ. А въ деревнѣ все мужики и бабы. И ни театровъ, ни баловъ, ничего, ничего нѣтъ! Нѣтъ, ma tante, я просто боюсь за васъ, я знаю, что вы приносите эту жертву для этихъ бѣдныхъ дѣтей, но...

Олимпіада Платоновна раздражилась и отложила въ сторону работу.

— Что это ты, мать моя, грубо перебила

она племянницу, — наивничаете! Жертвы я приношу, что на старости лѣтъ съ глухими ушами въ оперу не стану ъздить да съ хромыми ногами танцовать не буду! Выдумала тоже.

Мари Хрюмина немного обидѣлась.

— Я очень хорошо знаю, что вы такъ добры, что никогда не сознаетесь въ томъ, что приносите комунибудь жертвы, замѣтила она со вздохомъ. — Но я думаю, всѣ очень хорошо понимаютъ, какъ тяжело вамъ жить вдали отъ общества, когда вы такъ интересуетесь всѣмъ, и жизнью, и политикой, и литературой.

Олимпіада Платоновна хотѣла что то возразить, но наивная племянница, какъ мотылекъ, перепорхнула съ своего стула къ ея креслу и схватила ея руку, присѣвъ около нея.

— А меня, тѣточка, та petite tante, вамъ не жаль? защебетала она, поднося широкую, морщинистую руку тетки къ своимъ увядающимъ губамъ. — У кого теперь будетъ веселиться Мари? Съ кѣмъ поѣдетъ въ оперу, во французскій театръ? У кого потанцуетъ на балу? А?

Выщвѣтающіе, но все еще бѣгающіе глазки старѣющейсѣ дѣвы грустно и нѣжно заглядывали въ лицо старухи-тетки.

— Да, я знаю, что тебѣ не весело будетъ безъ меня, проговорила Олимпіада Платоновна довольно ласково. — Но что дѣлать, Мари: нужно думать прежде всего о тѣхъ, чья жизнь еще впереди, кто только еще начинаетъ жить. Дѣтей бросить, оставить на произволь судьбы нельзя; здѣсь воспитывать ихъ — значить, подвергать опасности ихъ хилое здоровье и только на половину заниматься ими. Ну, вотъ и надо ѣхать. Видишь, какой онъ у меня блѣдненькій!

Олимпіада Платонова ласково, коснулася рукой до головки стоявшаго около нея Евгенія.

— У-у! гадкій, гадкій! Тѣтю у меня отнимаетъ! дѣтски шаловливымъ тономъ произнесла Мари Хрюмина, надувая губки и грозя сухимъ пальчикомъ мальчугану.

Въ этомъ шутливо ласковомъ восклицаніи слышалось только напускное наивничанье, но этимъ шутливымъ тономъ прикрывалась самая искренняя ненависть къ этому ребен-

ку. Ради этого ребенка передъ Мари Хрюминой открывался рядъ невеселыхъ дней. Передъ ней проносилась печальная картина этого будущаго: цѣлый рядъ скучныхъ и однообразныхъ дней въ казенной комнатѣ вдовьяго дома у старой, обнищавшей, всѣми забытой матери; праздно скитанье изъ угла въ уголь въ этой комнатѣ или въ точно такихъ же комнатахъ другихъ вдовъ да въ длинныхъ, мертвенно тихихъ коридорахъ; скучное чтеніе старыхъ французскихъ романовъ и такія же скучныя сплетни на французскомъ языкѣ съ престарѣлыми вдовами и дѣвицами. Мари Хрюмина называла вдовій домъ «нашимъ звѣринцемъ,» «нашей кунсткамерой;» она такъ комично умѣла изображать эти «восковыя фигуры», этихъ «мумій»; она такъ шутиливо и остроумно рассказывала о ихъ «чудачествахъ», о ихъ понятіяхъ, о ихъ чопорности; она такъ ѣдко злословила про нихъ. И вотъ теперь ей придется жить снова безвыходно съ ними и только съ ними! Скука и скука — вотъ все, что ждало увядающую дѣвушку впереди. И никакихъ надеждъ, никакихъ грезъ про свѣтлое будущее не могло возникнуть у

нея въ головѣ въ этой богадѣленской обстановкѣ, среди этихъ забытыхъ, медленно доцвѣтающихъ, странныхъ и смѣшныхъ женщинъ. Хоть бы любовный романъ какойнибудь завязался, хоть бы обожатель нашелся, если ужъ нѣтъ надежды найти мужа! Пусть онъ будетъ не гвардеецъ, даже вовсе не военный, а такъ какойнибудь докторъ, учитель, студентъ, наконецъ, — боже мой, не все-ли ей равно, только-бы ожить хоть на время, испытать это неизвѣданное счастье любви, уловить этотъ призракъ, манившій ее такъ долго, лишавшій ее такъ часто сна. Но нѣтъ, тамъ, въ этомъ вдовьемъ домѣ, въ этой казенной комнатѣ у матери, въ этомъ забытомъ молодыми мужчинами мѣрѣ, нечего и ждать интересныхъ встрѣчъ, нечего и мечтать о таинственныхъ свиданіяхъ съ шопотомъ клятвъ и увѣреній. Здѣсь, у тетки Олимпіады Платоновны, все же билось и замирало ея сердце при появленіи блестящихъ посѣтителей старухи, при выѣздахъ со старухою на вечера и въ театры. Прошлою зимою начиналось даже что то такое, что походило на прологъ романа, что давало надежду на возможность про-

должать этотъ романъ въ будущую зиму. Все это такъ живо, такъ образно представилось старѣющейсѣ дѣвѣ, что когда Олимпіада Платоновна поднялась съ мѣста и вышла изъ кабинета, у Мари Хрюминой потекли изъ глазъ слезы. Она смотрѣла такъ жалко, такъ подавленно, что ея видъ тронулъ мальчугана. Онъ тихо и робко приблизился къ ней и ласковымъ голосомъ спросилъ ее:

— Вамъ, *chère cousine*, очень жаль, что *ma tante* уѣзжаетъ?

Эти слова точно обожгли ее.

— Поди прочь, поди прочь, скверный, скверный мальчишка! вскрикнула она, пробужденная отъ тяжелыхъ грезъ его вопросомъ. — Это изъ за тебя все, изъ за тебя! Ради тебя *ma tante* всѣхъ насъ разлюбила, никого не хочетъ знать, уѣзжаетъ! Ты, только ты для нея все! О, противный, противный! Посмотри-мъ, чѣмъ то ты ей отплатишь за все! Мы ее любили, мы заботились о ней, а ты... Что въ тебѣ, что она только о тебѣ и думаетъ? Что?

Взволнованная, забывшая все на свѣтъ, кромѣ своего печальнаго будущаго, дѣвушка схватила Евгенія за плечи и съ силою потряс-

да ихъ. Потомъ съ какимъ то презрѣніемъ она оттолкнула его и разрыдалась неудержимымъ плачемъ. Мальчикъ, испуганно опустивъ головку, какъ преступникъ, уличенный въ преступленіи, стоялъ весь блѣдный и смущенный. Онъ не зналъ, какъ утѣшить ее; онъ не зналъ, какъ оправдать себя, а главное, онъ не зналъ, въ чемъ оправдывать себя.

Эта сцена глубоко запала ему въ память. Но этой сценой не ограничилось дѣло.

Въ комнатѣ Софьи во время медленныхъ приготовленій къ отъѣзду происходило то же нѣчто въ родѣ похоронныхъ причитаній. Особенно убивалась одна родственница Софьи «изъ благородныхъ» — дочь какого-то выслужившагося писаря и вдова какого то офицера изъ гарнизонныхъ, Ольга Матвѣевна Перцова. Это дважды благородное созданье считало самымъ неблагороднымъ въ жизни работу и потому жила буквально на счетъ своей тетушки Софьи и на счетъ своей «крестной» Олимпіады Платоновны. Она чувствовала, что съ отъѣздомъ благодѣтельницъ она лишается всѣхъ мелкихъ подачекъ и останется съ одною пенсіей, выдаваемой ей

ежемѣсячно Олимпіадою Платоновной. Вслѣдствіе этого она не могла не волноваться. Эти волненія высказывались ею въ комнатѣ Софьи довольно рѣзко и желчно:

— Просто дивиться надо, жаловалась она Софьѣ,- какъ это рѣшилась Олимпіада Платоновна взять на себя такую обузу. Не подѣ лѣта ей ужь съ дѣтьми возиться, тоже и покой нуженъ на старости лѣтъ. Тоже хороши и родители: подкинули дѣтей и знать ихъ не хотятъ, точно такъ и слѣдуетъ. И что еще изъ дѣтей выйдетъ. Тоже добра нечего ждать отъ дѣтей такихъ родителей, можетъ быть, изъ за нихъ кулаками слезы отирать благодѣтельница нашей придется.

Софья упорно молчала, перебирая вещи въ шкапу и приготовляясь къ укладкѣ ихъ въ дорожные ящики.

— Да ужь добра то трудно ждать, продолжала пророчествовать «благородная дама.» — Слава Богу, всю семью Владиміра Аркадьевича знаемъ. Хорошъ былъ и покойный Аркадій Дмитріевичъ да и супруга его, покойная Антоніда Платоновна, не мало сумасбродничала. Тоже мнѣ еще матушка покойница рассказы-

вала, какъ Аркадій Дмитриевичъ по заграницамъ то имѣнія въ трубу выпускалъ, а Антониды Платоновны въ Петербургѣ да въ Москвѣ амуры заводила съ кѣмъ ни попало, да куролесила. Только наша благодѣтельница и уродилась не въ свою семью, а то всѣ какъ есть до одного куролесили да самодурствовали. Не даромъ и обнищали хуже насъ грѣшныхъ. Одинъ князь Алексѣй Платоновичъ при богатствѣ остался да и то только потому, что княгиня Марья Всеволодовна его въ рукахъ держитъ да своего имѣнія изъ рукъ не выпускаетъ. А пословица не даромъ говоритъ, что яблочко не далеко укатится отъ яблони; тоже посмотримъ, что изъ этихъ то дѣтокъ выйдетъ, въ родню, можетъ быть, пойдутъ...

Эти разсужденія были прерваны приходомъ въ комнату Софьи Евгенія. Онъ пришелъ звать Софью въ теткѣ.

— Ахъ, ангелочекъ нашъ, здравствуйте, здравствуйте! слащавымъ тономъ проговорила, поднимаясь съ мѣста на встрѣчу мальчику, благородная дама.

Мальчикъ вѣжливо расшаркался.

— Можно вашу милую ручку поцѣловать?

проговорила благородная дама и взяла руку мальчика, чтобы поднести ее къ своимъ губамъ.

Онъ сконфузился и опять расшаркался, не зная, что ему дѣлать. Его всегда немного пугала длинная, величественная фигура этой ханжи и попрошайки. Притомъ онъ хорошо зналъ, что эта особа при каждой встрѣчѣ съ нимъ или произноситъ какія то нравоучительныя изрѣченія, или начинаетъ минорнымъ тономъ изливать жалобы на свои невзгоды, прося въ концѣ концовъ и его похлопотать за нее передъ «тётенькой.» И эти набожныя нравоученія, и эти слезливыя жалобы смущали его одинаково сильно.

— Какой же вы франтикъ! Бархатная курточка, пуговики блестящія! Женишокъ, совсѣмъ женишокъ! говорила благородная дама, съ любовной улыбкой оглядывая его со всѣхъ сторонъ. — А все тётенька добрая сдѣлала, все она! Надо быть благодарнымъ ей за это, надо не огорчать ее, надо заботиться о ней, чтобы она была всегда покойна и весела!

Евгенію стало вдругъ такъ стыдно, такъ стыдно, точно его уличали въ какихъ то

огорченіяхъ, нанесенныхъ имъ любимой теткѣ.

— Я буду стараться! какимъ то растеряннымъ шопотомъ произнесъ онъ, не поднимая головы.

— И надо, и надо стараться! наставительно продолжала благородная дама. — Надо веселенькими быть, чтобы тетенька радовалась на васъ. Она, бѣдная, только о васъ и хлопочетъ. Вотъ въ деревню ѣдетъ, чтобы вы на чистомъ воздухѣ поправились, розовенькимъ стали, потому что вы слабенькій да хиленькій. Охаете все да жалуется. Насъ всѣхъ, сиротъ, оставляетъ, чтобы вы были здоровы. Это цѣнить надо, ангелочекъ мой. Не легко тоже намъ ее, благодѣтельницу, терять, всѣ мы подъ ея крылышкомъ, сиротки, пригрѣлись здѣсь...

Благородная дама говорила все это въ такомъ минорномъ, въ такомъ ноющемъ тонѣ, что Евгенію стало больно и за то, что онъ слабенькій и хиленькій, и за то, что по его милости тетка покидаетъ «сиротъ». И опять ему, какъ виновному, стало стыдно передъ этою плакавшеюся передъ нимъ сиротою, у

которой онъ отнималъ благодѣтельница. Онъ нѣсколько разъ пробовалъ снова произнести: «я буду стараться» и расшаркивался передъ своей собесѣдницей, но она не выпускала его руки и, нагнувъ надъ нимъ свою длинную и величавую фигуру, продолжала проповѣдь о послушаніи, о веселенькомъ видѣ, о покидаемыхъ безъ помощи сиротахъ.

Софья успѣла сходить къ Олимпіадѣ Платоновнѣ и вернуться, а благородная дама все еще ныла надъ мальчуганомъ.

— Женя, идите къ тетушкѣ, она тамъ одна, нетерпѣливо сказала Софья мальчику, входя въ свою комнату.

Онъ точно очнулся отъ тяжелаго сна, быстро расшаркался передъ благородной дамой и пустился бѣжать вонъ изъ комнаты безъ оглядки. Его личико покраснѣлось, точно его выкупали въ горячей ваннѣ.

— Что это ты тутъ ему за проповѣди вздумала читать! накинулась на благородную даму Софья, когда дверь затворилась за мальчуганомъ.

— Что-жь, развѣ дитяти и наставленія не дѣлать? обидчиво проговорила благородная

дама. — Я думаю, не дурное что говорила...
Ему же добра желаю...

— Да не просятъ васъ, не просятъ ни дурного, ни хорошаго говорить! сердито сказала Софья. — Заклевать, право, всѣ ребенки готовы, точно онъ кусокъ хлѣба у кого вырвалъ изо рта!

— Что-жь, и вырвалъ, и вырвалъ! загорячилась въ свою очередь Перцова. — Мы при крестной были какъ у Христа за пазухой, а теперь...

— Что теперь, что теперь! раздражительно перебила ее Софья. — Пенсію у васъ, что ли, отнимаютъ? Въ помощи вамъ развѣ отказываютъ? Слава Богу, довольно давали и даютъ! Такъ нѣтъ, все мало, все мало!

Софья продолжала ворчать и, хлопнувъ дверью, вышла изъ своей комнаты въ гардеробную.

— Погодите, погодите, еще сами отъ него, можетъ быть, наплачетесь! зловѣщимъ шопотомъ проговорила ей вслѣдъ благородная дама. — Отольются еще сиротскія слезы!

И какъ бы желая доказать на дѣлѣ, что сиротскія слезы дѣйствительно проливаются,

она отерла платкомъ свои сухіе глаза.

Такихъ сиротъ, какъ Мари Хрюмина и Ольга Матвѣевна Перцова было не мало и всѣ онѣ, такъ или иначе, съумѣли высказать свои чувства, съумѣли дать понять мальчику, что онъ у нихъ что-то отнимаетъ, что онѣ его за что-то ненавидятъ.

Но сильнѣе всего растрогаль дѣтское сердце старый дворецкій, онъ же и буфетчикъ, Никита Ивановичъ.

Никита Ивановичъ былъ слуга старый, бывалый, знавшій хорошо всѣ порядки въ домѣ княжны Олимпіады Платоновны Дикаго. Степенный, какъ всѣ старые барскіе слуги изъ крѣпостныхъ, онъ держалъ себя важно и чинно въ барскихъ покояхъ. Темные, съ сильною просѣдью бакенбарды, такіе же волосы, взбитые надъ лбомъ въ затѣйливый кокъ, прямая фигура, твердая поступь, всѣ это придавало Никитѣ Ивановичу, всегда облаченному въ черный фракъ и въ бѣлый галстухъ, видъ важнаго государственнаго дѣятеля съ печатью думы на челѣ. Если что отчасти портило производимое имъ внушительное впечатлѣніе, такъ это только его нѣсколько

не въ мѣру красный носъ. Этотъ носъ намекалъ на какіе-то тайные грѣшки, да то, что Никита Ивановичъ далеко не такъ степененъ, какъ онъ смотритъ. И дѣйствительно, Никита Ивановичъ былъ по натурѣ человѣкъ нрава легкаго, человѣкъ легкомысленный: это знали всѣ его столичные знакомые, покучивавшіе съ нимъ въ трактирчикахъ; это знали и разныя барскія горничныя, съ которыми Никита Ивановичъ завязывалъ интрижки. Въ домѣ княжны Олимпіады Платоновны, гдѣ бывало много гостей, онъ катался зимой, какъ сыръ въ маслѣ: его никто не усчитывалъ въ расходѣ винъ, а знакомымъ горничнымъ и камерюнгферамъ, служившимъ у многочисленной родни княжны Олимпіады Платоновны, и числа не было. Но и кабачки, и пивныя, и трактирчики, и горничныя, все это исчезало при переселеніи въ Сансуси и Никита Ивановичъ всегда говаривалъ, что «мы лѣтомъ говѣемъ». Лѣтомъ даже вина нельзя было много тратить, потому что парадныя обѣды для гостей дѣлались рѣдко; въ домѣ бывали въ гостяхъ больше женщины, мужчины же заѣзжали большею частью

съ визитами или на партію виста и эралаша вечеромъ, когда подавался чай и открывался только «сладкій буфетъ» вмѣсто ужиновъ съ винами. Услышавъ вѣсть о переселеніи въ Сансуси на неопредѣленное время, Никита Ивановичъ нахмурился не на шутку и затосковалъ. И «Старый Пекинъ», и «Старый Палкинъ», и «Новый Палкинъ», и «Шухардинъ», и Хрюминская Лизавета Петровна, и Офросимовская Дарья Андреевна и всѣ эти веселыя мѣста и веселыя женщины такъ живо вспоминались ему теперь, а впереди грозило только долгое «говѣнье». Конечно, и въ Сансуси есть кабакъ, есть и бабы, но Никита Ивановичъ хорошо зналъ «мужичье» и давно отвыкъ отъ нравовъ этого «мужичья». «Бока еще наломають», думалъ онъ, размышляя о деревенскихъ кабачкахъ и о деревенскихъ прелестницахъ. «Здѣсь народъ деликатный, съ образованіемъ, рассуждалъ онъ, — каждый понимаетъ, безъ чего жить нельзя, и твоему удовольствію не мѣшаетъ, потому и самъ живетъ въ свое удовольствіе». Подъ вліяніемъ этихъ мрачныхъ думъ, онъ въ послѣднее время сталъ сильнѣе покучивать по вечерамъ и

по ночамъ и сталъ больше бить посуды дне-
мъ, что у него всегда обозначало непріятное
расположеніе духа. Роняя и разбивая барскій
хрусталь, онъ всегда хмурился и ворчалъ:
«Ишь, проклятый, въ рукахъ не держится!» и
со злобою тыкалъ носкомъ сапога въ черепки
этого проклятаго хрусталя, не умѣвшаго удер-
жаться въ его рукахъ. Въ послѣднее время
число такихъ неловкихъ и непокорныхъ ве-
щей возросло до очень внушительной цифры.
Казалось, что Никита Ивановичъ рѣшилъ пе-
ребить всю посуду. Это былъ очень дурной
знакъ, говорившій о крайне тревожномъ
состояніи духа стараго буфетчика.

Однажды, въ минуту прилива душевной
тоски и раздраженія, онъ перебиралъ въ бу-
фетъ посуду, гремя серебряными ножами и
вилками и роняя то ту, то другую вещь на
паркетъ. Въ это время черезъ столовую про-
ходила Софья съ Евгеніемъ.

— Что, Софья Павловна, гнѣздо то совсѣмъ
разорять будемъ или нѣтъ? спросилъ онъ
мрачно Софью.

Вопросъ былъ совершенно неожиданный
и поразилъ Софью.

— Какое гнѣздо разорять? спросила она недовольнымъ тономъ. — Ты, кажется, со вчерашняго вечера еще не проснулся и походя бредишь.

Она хотѣла идти дальше, но онъ настойчиво продолжалъ.

— Да какъ же, вотъ говорятъ, продавать будемъ вещи?

— Ну да, не тащить же всего съ собою и прятать старье ненужное не для чего, отвѣтила Софья. — Что негодно да не нужно, то и продадутъ.

— Это родовое то? съ укоромъ произнесъ онъ.

— Что жь что родовое? сердито проговорила Софья. — Есть вещи, которыя только въ хламъ стоитъ бросить. Не платить же за ихъ сбереженіе или за отправку въ Сансуси. Вернемся назадъ, новыя вещи выгоднѣе купить...

— Эхъ! безнадежно махнулъ Никита Ивановичъ рукою съ тяжелымъ вздохомъ и что то изъ его рукъ звонко ударилось о паркетъ. — Говорю, гнѣздо разоряемъ, по моему и выходитъ. Хламъ, хламъ! Да изъ этого то хлама еще покойный князь Платонъ Львови-

чь... да что я говорю.... покойный Левъ Платоновичъ гнѣздышко для насъ лѣпили!.. А мы: хламъ, хламъ! Теперь то порѣшишь съ хламомъ, а послѣ и жаль будетъ, и плакать будешь, а не воротишь... нѣтъ, не воротишь!..

И такъ это чувствительно, съ такимъ сердечнымъ укоромъ произнесъ Никита Ивановичъ, вообще имѣвшій проповѣдническія и ораторскія способности, что у Евгенія сжалось сердчишко и ему вдругъ стало жаль этого разоряемаго гнѣзда, этого скопленнаго дѣдушкою Платономъ Львовичемъ и прадѣдушкою Львомъ Платоновичемъ хлама.

— Что то ужъ очень ты жалѣть барскія вещи началъ, сказала Софья, у которой тоже, помимо ея воли, вдругъ пробудилось какое то тоскливое чувство. — Жалѣешь, а самъ то и дѣло стукъ да стукъ, въ дребезги хрусталь бьешь.

— Что-жь что бью! Мало ли что изъ рукъ выпадеть! Всего не удержишь! съ чувствомъ вздохнулъ Никита Ивановичъ. — Тоже и не съ веселья изъ рукъ вещи валяются! Ишь онѣ какія! Почитай, десятки лѣтъ въ домѣ то у мѣста стоятъ, денегъ то за нихъ что перепла-

чено... Нѣтъ, это я понимаю все!

Софья нетерпѣливо направилась изъ буфетной.

— А по мнѣ, какъ я теперь взгляну на эти вещи, такъ ровно вотъ вижу, что покойника родного изъ дома выносить хотятъ! Вотъ что! закончилъ Никита Ивановичъ и даже провель рукой около глазъ... — И гнѣздо то насиженное, нагрѣтое...

— Ну, тебя! сердито ироговорила Софья и, торопливо удалившись изъ буфетной съ Евгеніемъ, хлопнула дверью.

Ей тоже стало какъ будто не по себѣ отъ этихъ рѣчей о выносимомъ изъ дома покойникѣ, о насиженномъ и нагрѣтомъ гнѣздѣ. Евгеній же совсѣмъ притихъ и какъ то пугливо озирался кругомъ. А кругомъ стояли покрытые бѣлыми чахлами, какъ саванами, стулья, кресла и диваны; на стѣнахъ виднѣлись темныя четырехугольныя пятна, напоминавшія о висѣвшихъ тутъ еще вчера картинахъ; на столахъ и этажеркахъ была полнѣйшая пустота, такъ какъ всѣ мелкія украшенія уже были сняты; на полу стояли большіе запакованные ящики съ вещами,

точно напоминавшіе слова Никиты Ивановича о покойникахъ, и Евгенийъ раздумывалъ, куда повезутъ этихъ покойниковъ: въ Сансу или на рынокъ. Въ комнатахъ былъ не только хаосъ, напоминавшій о разореніи нагрѣтаго насиженнаго гнѣзда, но и сдѣлался какой то особенно гулкій резонансъ вслѣдствіе снятыхъ гардинъ и занавѣсей, драпировокъ и мелкихъ стѣнныхъ украшеній; этотъ резонансъ напоминалъ о какой то пустотѣ, о чемъ то нежиломъ. Тоска, почти всегда сопровождающая переѣзды съ квартиры на квартиру, была здѣсь еще ощутительнѣе, такъ какъ тутъ дѣло шло не о простомъ переѣздѣ съ квартиры на квартиру, а объ отъѣздѣ изъ давно свитаго гнѣзда совсѣмъ въ иную среду, въ иную обстановку и притомъ этотъ отъѣздъ сопровождался всеобщимъ нытьемъ, недовольствомъ, ропотомъ и слезами.

«И все это ради тебя, скверный, скверный мальчишка!» невольно вспоминались Евгению слова рыдающей кузины Мари Хрюминой.

И онъ ходилъ такой понурный, такой съжившійся, такой робкій, точно онъ былъ

кругомъ виновать, и все ждалъ, что вотъ-вотъ на него опять накинутся съ бранью и съ упреками и кузина Мари Хрюмина, и благородная родственница Софьи, и Никита Ивановичъ, и всѣ эти люди, громыхавшіе посудой, сердито ворочавшіе ящики, разбивавшіе раздражительно какія то стекла, какія то бездѣлушки, собиравшіеся въ дальнюю дорогу, обреченные на скуку деревенской жизни.

Евгенію, впечатлительному и чуткому до болѣзненности, начало казаться, что имъ недовольны не только эти люди, но и сама Олимпіада Платоновна, и Софья. Дѣйствительно, обѣ эти женщины захопотались, имъ было не до нѣжныхъ ласкъ, не до разговоровъ съ ребенкомъ. Кромѣ того ихъ сердили на каждомъ шагу. Софья приходила жаловаться, что какіе то маклаки чуть не даромъ хотятъ взять продающіяся вещи, и раздражительно замѣчала: «Что же это въ самомъ дѣлѣ, неужто такъ все и отдать на разграбленіе?» Олимпіада Платоновна тоже раздражалась, слыша приставанья разныхъ родственницъ и крестницъ: «Ахъ, подарите это намъ на память», и не безъ желчи говори-

ла: «Да что онъ хоронить меня собрались, что-ли?» Все это было не весело, все это не могло содѣйствовать хорошему расположенію духа. Въ такія минуты не до ласкъ, не до нѣжностей. Видя кругомъ себя недовольныя и раздраженныя лица, Евгений притихъ и смотрѣлъ понуро, кисло.

Но, наконецъ, все было уложено, готово къ отъѣзду. Въ дорожныхъ костюмахъ, обмѣнявшись съ кѣмъ-то поцѣлуями и рукопожатіями, пройдя черезъ рядъ почти опустѣвшихъ и некрасиво выглядѣвшихъ теперь комнатъ, всѣ вышли на подѣздъ: княжна Олимпіада Платоновна, Софья, Евгений и Оля усѣлись въ карету и тронулись въ путь къ вокзалу желѣзной дороги. Софья набожно перекрестилась. Ея примѣру послѣдовали дѣти, не сознавая, о чемъ они молятся, но считая нужнымъ подражать своей любимой нянѣ. Въ это же время Олимпіада Платоновна вздохнула какъ то особенно глубоко и проговорила:

— Ну, слава Богу, теперь на долго отдохнемъ отъ этихъ людишекъ!

И тутъ же она весело обратилась къ

дѣтямъ и ласково проговорила имъ:

— Тоже измучились въ эти дни, мордочки? Ну, ничего, скоро всѣ вздохнемъ свободно и отдохнемъ...

— Да, ужъ могу сказать, думала, что и не дождусь, когда уѣдемъ! сказала Софья, вздыхая широкимъ вздохомъ. — Вѣдь просто, какъ на зло, одинъ бѣситъ, другой бѣситъ! Ахъ ты, Господи, что за люди, что за люди!

И вдругъ, перемѣнивъ недовольный тонъ на веселый, она проговорила:

— А вѣдь у меня и часы женевскіе отняли, вотъ тѣ, что князь Алексѣй Платоновичъ подарилъ! Да рада была, чтобы хоть все взяли, только бы въ покоѣ оставили! На память все, на память! Можете представить, Женичка вошелъ какъ то въ гардеробную со своимъ перламутровымъ домино, мнѣ отдать на сбереженіе хотѣлъ, такъ и то Дарья Васильевна для своего сына на память просить стала. Онъ, голубчикъ, и отдаетъ ужъ ей, ну я тутъ и накинулась: «да, говорю, стыда то у васъ въ глазахъ нѣтъ, вы курточку готовы съ ребенка стянуть, грабители, грабители!..» Я ее браню, а онъ милый, смѣшной такой, растерявшійся,

точно виноватый, стоитъ и домино въ рукахъ держитъ, не зная, кому его отдать, а самъ расшаркивается, а самъ расшаркивается передъ нею...

И вдругъ всѣ засмѣялись при этой, бойко переданной, сценкѣ, всѣмъ стало такъ легко и весело. Карета подъѣзжала уже къ дебаркадеру желѣзной дороги...

II

— Ну, вотъ мы и у себя дома!
Какой-то теплотой повѣяло отъ этихъ словъ, сказанныхъ Олимпиадой Платоновной, когда широкая деревенская коляска князя Алексѣя Платоновича Дикаго закачалась на высокихъ ресорахъ, катясь по мягкой песчаной дорогѣ и ныряя среди зеленыхъ холмовъ и пригорковъ по направленію къ Сансуси. Свистки локомотива, снованіе желѣзнодорожной прислуги, суетливость ѣдущихъ по желѣзной дорогѣ насажировъ, говоръ и шумъ этой куда-то спѣшащей, боящейся опоздать толпы, мельканье передъ окнами вагоновъ однообразныхъ видовъ, телеграфныхъ столбовъ, станцій, все это осталось

позади, а впереди разстилались только зеленѣющія поля, покрывающіяся новыми всходами нивы, густой, полный покоя и тѣни лѣсъ да изрѣдка попадались мужики и бабы, низко кланявшіеся господамъ.

— Мы точно отъ потопа въ ковчегъ спасаемся, смѣялась Олимпіада Платоновна.

И точно они набились, какъ въ ковчегъ, въ эту широкую деревенскую коляску всѣ вмѣстѣ, и она, и дѣти, и гувернантка, и учитель, и Софья, и у всѣхъ у нихъ было одно чувство — чувство полного и безмятежнаго спокойствія, сознание, что впереди ихъ ждетъ отдыхъ, что всѣ тревоженія столичной жизни, сплетни, выѣзды, пріемы, шумныя удовольствія и мелкія непріятности — все это осталось гдѣ то тамъ, далеко, смѣнившись полнымъ затишьемъ.

— А хорошо у васъ здѣсь! проговорилъ учитель, всматриваясь куда-то въ даль.

— Тихо здѣсь, отвѣтила Олимпіада Платоновна.

«Тихо здѣсь» — эти слова часто приходили на память учителю потомъ, когда онъ сдѣлался уже вполнѣ своимъ человѣкомъ въ

Сансуси, когда онъ уже вполнѣ освоился съ порядками этой жизни. Эта тишина вліяла такъ успокоительно на наболѣвшіе среди столичной суеты нервы; она пробуждала какое-то благодущіе и словно примиряла людей и съ жизнью, и съ ближними; при ней дни, похожіе одинъ на другой, какъ двѣ капли воды, стали пролетать какъ-то незамѣтно, словно безслѣдно и люди невольно дивились: «Господи, вотъ ужъ и весна прошла!»... «Не успѣли оглянуться, а ужъ и лѣто кончается!» И какъ-то не вѣрится имъ самимъ, что они уже прожили здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, что лѣто дѣйствительно кончается, что наступаетъ глухая осень, съ мелкимъ, зарядившимъ надолго дождемъ, съ темными, длинными вечерами. А между тѣмъ дѣйствительно холодный, рѣзкій вѣтеръ нагоняетъ массы темныхъ, густыхъ тучъ на небо; солнце проглядываетъ изъ-за нихъ все рѣже и рѣже и почти не грѣетъ; садъ и лѣсъ теряютъ свой послѣдній пожелтѣвшій уборъ; въ поляхъ кончаются крестьянскія работы, деревенскіе дома по сосѣдству съ Сансуси пустѣютъ. Да, это осень, глухая осень, отдаляющая еще больше дерев-

ни отъ городовъ, вносящая въ деревенскую жизнь еще болѣе однообразія, окружающая деревенскихъ жителей еще большимъ затишьемъ...

Такое полное затишье наступило осенью и въ Сансуси. Кто гостилъ здѣсь лѣтомъ, тѣ уѣхали, новыхъ гостей въ непогодливую пору ждать нечего; въ домѣ все стихло, какъ будто уснуло. Только мужики да бабы заглядываютъ «къ кормилицѣ-барышнѣ» со своими нуждами, со своими просьбами. Маленькій домашній кружокъ княжны Олимпіады Платоновны сомкнулся еще тѣснѣе, какъ бы сознавая, что именно теперь для него начинается та жизнь, которою ему придется прожить нѣсколько мѣсяцевъ, жизнь тихая, однообразная, немного скучная и легко выносимая только въ томъ случаѣ, если между людьми, заброшенными на долгіе мѣсяцы въ одно гнѣздо, царствуетъ полное согласіе и полный миръ.

Княжна Олимпіада Платоновна, Евгений, Оля, гувернантка и учитель — вотъ тѣ лица, изъ которыхъ составился этотъ семейный кружокъ. Здѣсь, въ глуши, въ деревнѣ, гдѣ

простота отношеній является однимъ изъ естественныхъ условій жизни, нерѣдко являлась въ этомъ кружкѣ и Софья: правда, она не присаживалась къ камину вмѣстѣ съ господами, она не принимала прямого участія въ ихъ разговорахъ, но она нерѣдко шила здѣсь, нерѣдко забавляла дѣтей, нерѣдко говорила о томъ, о чемъ ее спрашивали. Порой присоединялся къ кружку деревенскій священникъ, отецъ Андрей, подчасъ заглядывала сюда и его жена, матушка Прасковья Петровна: обитатели большого дома видимо были рады каждому живому человѣку и старались быть терпимыми, не справляясь о послужныхъ спискахъ, о геральдическихъ особенностяхъ, объ окраскѣ убѣжденій входившаго въ домъ лица. Старая, жившая довольно долго у кого-то изъ родственниковъ Олимпіады Платоновны гувернантка дѣтей, миссъ Ольдкопъ, очень чопорная и очень гордая по натурѣ, говорила, что отношенія Олимпіады Платоновны къ Софѣе ее трогаютъ, напоминая ей ея родину, гдѣ тоже въ истинно аристократическихъ фамиліяхъ относятся съ крайнимъ уваженіемъ къ старымъ слугамъ. Отецъ Ан-

дрей, человекъ довольно консервативныхъ убѣжденій, не особенно довѣрившій новымъ порядкамъ, косившійся на коренныя реформы, совершавшіяся въ то время, недолюбливавшій слишкомъ горячую молодежь, только что окрещенную названіемъ «нигилистовъ», добродушно и снисходительно выслушивалъ разныя молодыя увлеченія юнаго учителя дѣтей, замѣчая вмѣсто всякихъ рѣзкихъ споровъ: «молодыя дрожжи бродятъ, пока не перебродятся». Самъ этотъ юный учитель «изъ семинаровъ», какъ онъ самъ выражался, обыкновенно угловатый и неловкій, иногда безтактный и рѣзкій, и отца Андрея находилъ «мужикомъ со смѣлкойю», и Олимпіаду Платоновну признавалъ «за бабу съ придурью, но сердечную», и въ мисъ Ольдкопъ видѣлъ «основательность», а Софья, которая бранила его и распекала, какъ школьника, при каждомъ удобномъ случаѣ, Софью онъ даже совсѣмъ «полюбилъ», потому что она «душа-человѣкъ». Олимпіада Платоновна еще болѣе снисходительно относилась ко всѣмъ окружавшимъ ее теперь лицамъ, отдыхая отъ всѣхъ тревогъ, дрызгъ и

непріятностей шумной столичной жизни: она, смѣясь, замѣчала, что всѣ они точно спѣлись и что «дисонансовъ не выходитъ даже и тогда, прибавляла она шутливо, обращаясь къ учителю, когда вы продавливаете мои стулья и ругаетесь».

— А матушку-попадью вы, ваше сіятельство, и забыли? Развѣ она не дисонансъ? Ха, ха, ха! смѣялся молодымъ шумнымъ смѣхомъ «семинаръ».

— Она не дисонансъ, а вечернее прибавленіе къ утреннимъ газетамъ, мѣтко замѣчала Олимпіада Платоновна.

И дѣйствительно, матушка-попадья, женщина здоровая, сытая и, повидимому, вполне довольная судьбой, какъ-то не могла слиться съ мирнымъ кружкомъ Олимпіады Платоновны: она вѣчно волновалась, вѣчно откуда-то приносила невообразимыя новости, вѣчно на кого-то жаловалась и кого-то бранила; хотя — что и было характерно въ ея жалобахъ и брани — всѣ, выслушавъ терпѣливо до конца ея желчныя выходки, только переглядывались между собою и какъбы спрашивали въ недоумѣніи другъ у друга: «да за что-же это

она сердится?» При ея появленіи прерывалось чтеніе, смолкали толки по поводу газетныхъ извѣстій, стихали пренія объ отвлеченныхъ вопросахъ, такъ какъ матушкапопадья всегда умѣла каждый разговоръ, каждую тему свести на какой-нибудь частный и чисто личный примѣръ. Читался-ли какой-нибудь романъ, матушка-попадья прерывала чтеніе восклицаніемъ:

— Да вотъ у помѣщика Поликарпова сынокъ-то ни дать, ни взять такой-же былъ!

И затѣмъ слѣдовала цѣлая исторія про сына помѣщика Поликарпова съ такими подробностями, которыя, вѣроятно, никогда не снились даже ни самому помѣщику Поликарпову, ни его сыну. Начинались-ли толки о пользѣ грамотности для народа, матушка-попадья тотчасъ же прерывала отвлеченныя разсужденія восклицаніемъ, обращеннымъ къ мужу:

— А помнишь, отецъ, какъ насъ Иванъ Безухій обвороваль, тоже грамотей былъ!

И затѣмъ слѣдовала исторія продѣлокъ Ивана Безухаго, бывшаго грамотеемъ, и исторія еще большихъ мошенничествъ его

отца, Петра Безухаго, который грамотеемъ однако же не былъ.

Сначала матушка-попадья нѣсколько ошеломляла присутствующихъ доказательствомъ своей неистощимой наблюдательности и сердила ихъ, прекращая своими исторіями про помѣщиковъ Поликарповыхъ и про Ивановъ Безухихъ интересные чтенія и разговоры. Но мало помалу общество убѣдилось, что у него впереди предстоитъ такъ много вечеровъ, что ихъ хватить и на чтенія, и на дебаты, и на слушаніе исторій матушки-попады, и къ матушкѣ-попадѣ, къ этому «вечернему прибавленію къ утреннимъ газетамъ», стали относиться безъ раздраженія, а напротивъ того старались даже втягивать ее въ рассказы. Въ этомъ случаѣ юный учитель отличался особенною способностью заставлятъ матушку-попадью рассказывать именно то, что ему или кому нибудь изъ ихъ кружка хотѣлось услышать въ данную минуту. И что это были за рассказы! Если бы человѣкъ прожилъ года Мафусаила, то и тогда онъ едва ли бы увидѣлъ, слышалъ и испыталъ все то, что видѣла, слышала и испытала матушка-по-

падья въ сорокъ пять лѣтъ своего земного странствованія. Она видѣла «своими глазами» чуть не сотню привидѣній, при ней заснуло чуть не полсотни лицъ летаргическимъ сномъ, ей пришлось десятки разъ спасаться отъ убійць и разбойниковъ «съ такой бородищей», «вотъ съ такими усищами», она не знала числа различнымъ чудесамъ, въ родѣ внезапнаго прозрѣнія слѣпцовъ и изгнанія бѣсовъ изъ кликушъ, — чудесамъ, совершавшимся «на ея глазахъ».

— Если бы она была писательницей, то она написала бы больше романовъ, чѣмъ всѣ настоящіе и будущіе Дюма, вмѣстѣ взятые, говорилъ про нее учитель.

Въ собраніяхъ маленькаго деревенскаго кружка принимали участіе и дѣти: они или прислушивались къ чтенію и разговорамъ взрослыхъ или находились около Софьи, играя и слушая ея сказки и рассказы. Имъ жилось теперь хорошо, покойно, уютно и они смотрѣли такими счастливыми, довольными среди ласкъ и заботъ близкихъ людей, дворни, мужиковъ и бабъ, привѣтливо смотрѣвшихъ на барчатъ.

Особенно полюбилъ тишину и правильность этой жизни Евгеній, въ характерѣ котораго все болѣе и болѣе развивались сосредоточенность, стремленіе уединяться, читать и задумываться. Болѣе всего полюбилъ онъ уходить по вечерамъ въ большую старинную залу библіотеки, всю заставленную массивными шкапами съ книгами и отдѣленную отъ кабинета Олимпіады Платоновны небольшою аркою. Здѣсь у большаго круглаго стола съ кипсэками, альбомами и иллюстрированными изданіями, почти утонувъ въ большомъ вольтеровскомъ креслѣ, обтянутомъ потемнѣвшей отъ времени зеленой кожею, съ книгою въ рукахъ, при свѣтѣ одинокой висячей лампы, мальчикъ готовъ былъ просиживать неподвижно цѣлые часы, читая и прислушиваясь къ долетавшимъ до него звукамъ разговоровъ въ кабинетѣ. Ему нравилось это затишье, это уединеніе, эта полудремота подъ звуки не совсѣмъ ясно слышныхъ голосовъ близкихъ людей. Ему нравилась сама эта комната, просторная, величавая, строгая, если можно такъ выразиться, съ ея тяжелымъ лѣпнымъ потолкомъ, съ ея темными

дубовыми шкапами, какъ бы приросшими къ полу, съ ея огромнымъ круглымъ столомъ изъ темнаго же дуба съ крупной рѣзбой, съ ея мелкими и крупными, тоненькими и распухнувшими книгами въ кожѣ, въ цвѣтной бумагѣ, въ бѣловато-желтомъ пергаментѣ, съ золотыми, красными и пестрыми обрѣзами, съ ея висячею лампою, походившею на старинное, почернѣвшее отъ времени паникадило. Любимою его книгою, послѣ походовъ Гулливера, сдѣлалась «Исторія Донъ-Кихота». Онъ еще не понималъ ея глубокаго смысла, но она его всегда трогала; онъ жалѣлъ бѣднаго рыцаря печальнаго образа и никогда не смѣялся, какъ бы ни были комичны походы этого человѣка: комизмъ извѣстныхъ положеній какъ бы ускользалъ отъ его вниманія и въ его представленіи было только одно сознаніе, какъ печально было въ тотъ или другой моментъ положеніе этого бѣдняка-авантюриста. Походы Гулливера увлекли его, какъ увлекаетъ вообще сказка; въ исторіи Донъ-Кихота онъ увидалъ дѣйствительную жизнь и вполнѣ вѣрилъ, что все описанное въ этой книгѣ дѣйствительно

случилось, что Донъ-Кихоть не выдуманый герой, а лицо живое, существовавшее на свѣтѣ. Любилъ онъ также, когда слабые лучи солнца проникали въ комнаты и играли на зановѣсахъ, портьерахъ и стѣнахъ, бродить по портретной галереѣ, заложивъ за спину руки, какъ дѣлаютъ иногда взрослые, и всматриваться въ лица важныхъ старухъ и стариковъ въ напудренныхъ парикахъ, въ шитыхъ кафтанахъ, въ огромныхъ фижмахъ, въ орденахъ и звѣздахъ. Это были розовыя, широкія, мясистыя и улыбающіяся лица; но несмотря на сытость, на розовыя щеки, на улыбки, всѣ они внушали уваженіе, всѣ они какъ будто бы говорили, что они сознаютъ свое значеніе. Сотни разъ слышалъ уже мальчикъ біографіи этихъ предковъ и отъ Софьи, и отъ Олимпіады Платоновны, и даже отъ самого Никиты Ивановича, терявшаго всю свою напускную суровость и неразговорчивость, когда заходила рѣчь о «покойныхъ господахъ»: Никита Ивановичъ гордился «своими господами» и ихъ предками и оживлялся, говоря объ этихъ князьяхъ, фельдмаршалахъ, канцлерахъ и посланникахъ. Всѣ рассказы

Никиты Ивановича о «старыхъ господахъ» оканчивались однимъ и тѣмъ же изрѣченіемъ: «не такъ жили, какъ нынѣшніе господа живутъ». И сколько ироніи выражалось въ эти минуты и въ голосѣ Никиты Ивановича, и въ его сжатыхъ презрительно губахъ!

— Крупный народъ тогда былъ! говорили въ эти минуты Никита Ивановичъ.

И мальчикъ, всматриваясь въ эти портреты, невольно задумывался надъ вопросомъ, почему прежде народъ былъ крупный.

Эти склонности мальчика, зачитывавшагося рыцарскими похождениями Донъ-Кихота и заучивавшаго чуть не наизусть всѣ мелочныя подробности жизни своихъ отдаленныхъ родственниковъ и предковъ, не только не могли беспокоить никого, но даже не могли показаться никому чѣмъ-то ненормальнымъ. Сама Олимпіада Платоновна въ годы дѣтства просиживала въ этой самой библіотекѣ, плача надъ Клариссой Гарловъ или надъ Элоизой, и въ этой же портретной галереѣ впервые сознала, что ея предки прошли житейскій путь не какими нибудь тем-

ными личностями, Иванами, непомятыми родства, а были всѣмъ извѣстными слугами своей родины, и потому ей было пріятно видѣть, что въ мальчикѣ развивается тоже сознание и что съ этимъ сознаниемъ онъ не уронитъ фамильной чести. Мисъ Ольдкопъ тоже не могла протестовать противъ вкусовъ мальчика, какъ какъ чтеніе класическихъ произведеній она считала самымъ благороднымъ занятіемъ, а фамильную гордость ставила на степень долга cadaго благороднаго чловѣка, говоря, что Англія потому и сильна, что въ ней есть родовая и фамильная честь у руководителей общества. Конечно, ужъ не Софья же, не Никита Ивановичъ могли сказать мальчику, что ему вовсе нечего думать о предкахъ, такъ какъ рассказы о жизни этихъ предковъ и были любимыми толками этихъ старыхъ слугъ.

Читая о геройскихъ походахъ Донъ-Кихота, слушая рассказы тетки о своихъ знаменитыхъ предкахъ, вспоминая порой о богатырскихъ подвигахъ сказочныхъ героевъ, о которыхъ такъ много рассказывала ему Софья, Евгенийъ задумывался о жизни и нерѣдко,

какъ-то невольнo, вспоминалъ восклицаніе тетки: «Ну, теперъ хоть отдохнемъ отъ этихъ людишекъ!» Отдохнемъ отъ людишекъ! Что хотѣла этимъ сказать тетка? Почему съ этими людишками тяжело жить? Мальчикъ задумывался надъ этими вопросами и передъ нимъ проходилъ цѣлый рядъ образовъ: мелочно-капризная мать, злобно-придирчивый отецъ, вѣчно сплетничавшая наемная прислуга въ домѣ родителей, «злючка» кузина Мари, поющая и причитающая «благородная дама» Перцова, всѣ тѣ мелкія и жалкія личности, отъ которыхъ такъ или иначе страдалъ онъ, Евгеній. Да, это-то и есть людишки, не похожіе ни на Донъ-Кихота, ни на его сильныхъ предковъ, ни на твердую по характеру, внушающую уваженіе Олимпіаду Платоновну, ни на преданную Софью, ни на миссъ Ольдкопъ, которая держится такъ прямо и смотритъ такъ гордо, ни на появляющихся въ домѣ бабъ и мужиковъ, грубыхъ на видъ, но ласковыхъ и привѣтливыхъ на дѣлѣ. Если кто здѣсь и былъ похожъ на этихъ людишекъ, такъ это матушка-попадья. Но почему-же она похожа на нихъ? «Это мелочная личность»,

«она вышла изъ того круга, гдѣ часто вырабатываются такія личности», «она не воспитана и потому немудрено, что она такъ вульгарна», «мелочныя заботы и мелочные интересы хоть кого заставятъ измельчать», — эти фразы онъ сотни разъ слышалъ въ своемъ кружкѣ про матушку-попадью и сталъ приходить къ заключенію, что жизнь въ домѣ тет-ки сложилась именно такъ, чтобы въ ней не вырабатывались «людишки».

Что-же это была за жизнь? Чѣмъ отличалась она отъ жизни въ домѣ его родителей?

О, развѣ можно было сравнивать эти широкія, высокія, какъ бы величавыя комнаты съ маленькими комнатками квартиры его отца, гдѣ черезъ тоненькія стѣны было слышно каждое слово въ сосѣдней комнатѣ, такъ что слуги знали, что говорятъ господа, и потому сплетничали объ этомъ; гдѣ постоянно передъ обѣдомъ разносился повсюду запахъ изъ кухни, что всегда приводило въ бѣшенство его отца и причиняло головныя боли его матери, гдѣ не смолкали грохотъ отъ проѣзжающихъ экипажей, звуки разбитаго фортепьяно сосѣднихъ жильцовъ, топотъ

чьихъ-то ногъ надъ потолокомъ и слышались поминутно звонки въ прихожей, споры въ кухнѣ, стукъ падающихъ со спины дворника на полъ дровъ, что опять-таки раздражало его отца, говорившаго, что въ домѣ нѣтъ ни днемъ, ни ночью покоя. Мальчикъ вспоминалъ, какъ въ ихъ петербургской квартирѣ нерѣдко начинались сцены изъ-за того, что во время обѣда въ столовой слышался звонъ разбитой въ кухнѣ посуды, или изъ-за того, что отецъ слышалъ въ кухнѣ громкіе, пронзительные голоса пришедшихъ къ кухаркѣ гостей и начиналъ кричать, что его домъ превращаютъ въ кабакъ. Сотни подобныхъ сценъ проходили въ головѣ мальчика и онъ понималъ, какая пропасть лежитъ между тою жизнью и его теперешнею жизнью: здѣсь было такъ тихо, такъ покойно, такъ чинно. Можетъ быть, въ кухнѣ и пахло гарью, но этого никто не зналъ; можетъ быть, въ кухнѣ и били посуду, но этого никто не слышалъ; можетъ быть, въ кухнѣ и шумѣли гости повара, но ихъ никто не видѣлъ. Здѣсь слуги тоже, вѣроятно, говорили про господъ, но они не смѣли говорить этого при господскихъ

дѣтяхъ; господа же здѣсь не вмѣшивались во все въ дѣла, въ бытъ, въ разговоры слугъ и не придирались къ нимъ за мелочи, за разбитый стаканъ, за какую-нибудь неловкость; наконецъ, и этихъ разбитыхъ стакановъ здѣсь было какъ-будто меньше и эти неловкости какъ-будто совершались рѣже. Дѣло въ томъ, что здѣсь у каждаго было свое дѣло, для каждаго дѣла былъ опредѣленъ часъ, для каждаго дѣла были свои правила: буфетчикъ, поварь, кучеръ, лакей, прачка, всѣ, всѣ здѣсь дѣлали только свое дѣло и знали, что прачкѣ не придется стирать пять разъ въ мѣсяцъ, когда стирка производилась только дважды въ мѣсяцъ, что повару не придется готовить завтракъ къ двѣнадцати часамъ, когда завтракали только въ часъ, что буфетчика никуда не ушлютъ во время обѣда, когда онъ долженъ служить за столомъ. Эта точность исключала всякую суетливость, всякія замѣшательства. Люди, привыкшіе къ своему дѣлу, исполняли его, какъ машины, точно, ровно, спокойно.

Мальчикъ въ домѣ тетки очень часто слышалъ одну фразу: «воспитаніе — это все для человѣка». Къ этой фразѣ миссъ Ольдкопъ

глубокомысленно прибавляла: «и оно только тогда прочно, когда оно не просто благопріобрѣтенный капиталъ, а родовое наслѣдіе». Но что-же такое значитъ воспитаніе? Не то-ли, что люди привыкають жить такъ, какъ живутъ здѣсь? Всѣ помнятъ свое дѣло, всѣ знаютъ время для каждаго дѣла, всѣ спокойно исполняютъ свое дѣло. И на немъ, и на его сестрѣ не отразилось-ли это воспитаніе: они теперь меньше капризничаютъ, они ни съ кѣмъ не бранятся, ихъ никто не распекаетъ, они бодро просыпаются въ извѣстный часъ, они быстро засыпають въ определенное время, они не просятъ поминутно ѣсть и — странное дѣло — они такъ много выучиваютъ, а между тѣмъ у нихъ какъ-будто столько-же остается времени для игры, какъ и прежде. Но прежде они по получасу не могли докликаться няньки, чтобы та ихъ умыла, одѣла и причесала; прежде они по цѣлому часу бродили въ столовой, поджидая обѣда или завтрака и таская куски сухого хлѣба съ тарелки. Теперь этого ничего нѣтъ: они встають и въ пять минутъ кончается ихъ туалетъ; они идутъ въ столовую и въ столо-

вой все уже готово; они приходятъ учиться и урокъ сразу начинается, тогда какъ дома мать гнала ихъ отъ себя, когда они приходили къ ней съ азбукой, и иногда не занималась съ ними по цѣлымъ недѣлямъ. Да, именно это-то и называется воспитаніемъ, думалось мальчику, и изъ рассказовъ тетки и Софьи онъ узнавалъ, что также воспитывалась и тетка, также воспитывались и его дяди, и его кузены и кузины. Мало-помалу, съ словомъ «воспитаніе», «благовоспитанность» въ умѣ мальчика начало соединяться представленіе о чемъ-то очень хорошемъ, въ чему надо стремиться. Когда при немъ говорили о хорошо воспитанныхъ людяхъ, онъ тотчасъ-же думалъ, что эти люди являются контрастомъ «людишекъ», и ему хотѣлось вырасти именно такимъ благовоспитаннымъ человѣкомъ, выдержаннымъ, спокойнымъ, далекимъ отъ мелочныхъ дразгъ, придиричivosti и раздражительности.

Темнымъ пятномъ въ этой свѣтлой жизни мальчика было только воспоминаніе объ отцѣ и матери, неотступно преслѣдовавшее его. Начинались-ли разговоры объ отцахъ и

матеряхъ, читалась-ли книга объ отношеніяхъ дѣтей и родителей, встрѣчалась-ли крестьянка-мать съ младенцемъ на рукахъ, — въ головѣ Евгенія тотчасъ-же возникали мучительные, неразрѣшимые вопросы: «а гдѣ мои отецъ и мать? почему они бросили насъ? почему они не любили насъ?» Въ эти минуты его лицо дѣлалось печальнымъ и въ его мозгу начиналась усиленная работа: онъ думалъ, что будетъ, если онъ когда-нибудь встрѣтится съ отцемъ и матерью, что они скажутъ ему, какъ онъ поглядитъ на нихъ. Цѣлый рядъ фантастическихъ сценъ создавался его юнымъ воображеніемъ и почему-то ему всегда казалось, что онъ встрѣтитъ отца и мать несчастными и спасетъ ихъ, оплатитъ имъ любовью за ихъ грѣхи. Иногда онъ рѣшался спрашивать объ отцѣ и матери у Софьи, у тетки. «Они уѣхали далеко и потому не могли васъ взять съ собою, отвѣчали ему. — Они очень заняты и потому не могутъ писать къ вамъ». Эти отвѣты не удовлетворяли мальчика, но онъ не рѣшался спрашивать дальше, видя, что на его вопросы отвѣчаютъ неохотно, коротко, неясно. «Ma tante боится,

что я не буду ихъ любить, если она скажетъ, что они меня не любятъ, и потому она не говоритъ о нихъ дурно!» рѣшилъ онъ наконецъ и сталъ все рѣже и рѣже задавать вопросы о нихъ. Окруженный сдержанными людьми, онъ самъ привыкъ быть сдержаннымъ.

Среди всѣхъ этихъ наученныхъ долгимъ опытомъ жизни, такъ сказать «уходившихся» и «выработавшихся» лицъ, окружавшихъ ребенка, была только одна личность совсѣмъ иного склада, — это былъ учитель, Петръ Ивановичъ Рябушкинъ.

III

Что Петръ Ивановичъ Рябушкинъ былъ человѣкъ плохо воспитанный — это былъ несомнѣнный фактъ. Сама Олимпиада Платоновна разъ сказала про него: «это плохо воспитанный, но добрый, прямодушный и очень знающій человѣкъ». Мисъ Ольдкопъ, говоря объ немъ, замѣчала: «о, семинаріи даютъ все, кромѣ воспитанія». Такимъ образомъ, сомнѣній на счетъ того, что Рябушкину дано или не дано воспитаніе, не могло быть никакихъ: онъ былъ не воспитанъ — это понима-

ли всѣ,- понимали при первой встрѣчѣ съ нимъ. Отсутствіе какого-бы то ни было лоска, какой-бы то ни было житейской дресировки сразу бросалось въ глаза каждому при первомъ взглядѣ на Петра Ивановича: онъ былъ немного дикарь, немного грубіанъ, вовсе не умѣлъ смягчать выраженій; неловкость-же его вошла въ поговорку: «неловокъ, какъ Рябушкинъ».

Его рекомендовалъ Олимпіадѣ Платоновнѣ архимандритъ Арсеній, какъ человѣка, отлично и очень рано окончившаго курсъ духовной академіи, и потому она, желая основательно подготовить дѣтей, взяла его въ учителя. Съ первой же встрѣчи они остались довольны другъ другомъ, хотя объясненіе ихъ и было нѣсколько странно и своеобразно. Впрочемъ, можетъ быть, именно вслѣдствіе этого они и понравились другъ другу.

— Я учить согласенъ дѣтей, только ужъ гувернерствовать я не буду, замѣтилъ Петръ Ивановичъ довольно рѣшительно, желая отстоять свою свободу. — Во-первыхъ я и не умѣю, а во-вторыхъ вовсе не люблю таскаться съ этими хвостами, ходящими по пятамъ.

— Да я бы и не согласилась взять васъ въ гувернеры, такъ-же откровенно отвѣтила Олимпіада Платоновна, — а то дѣти ходили-бы и немытыми, и нечесанными.

— Это вы справедливо изволили заявить: я въ туалетномъ дѣлѣ плохой знатокъ, проговорилъ Петръ Ивановичъ. — У насъ этому не обучали.

— А дѣтямъ это необходимо, сказала Олимпіада Платоновна.

— Конечно, нужно-же приличными выглядѣть, не безъ нѣкоторой ироніи замѣтилъ Петръ Ивановичъ.

— Нѣтъ, здоровыми нужно быть, серьезно сказала Олимпіада Платоновна. — Неряшливость не особенно хорошо вліяетъ на здоровье.

— Такъ-съ! согласился Петръ Ивановичъ, какъ будто немного озадаченный такой постановкой вопроса. — Значить, гувернерствованіе по боку, ну, а въ остальномъ я согласенъ принять ваше предложеніе?

На немъ былъ довольно потертый сюртукъ; архимандритъ Арсеній говорилъ, что онъ со своею матерью, обремененною

малолѣтними дѣтьми, страшно бѣдствуетъ, но Рябушкинъ велъ переговоры такимъ тономъ, который не допускалъ и мысли о томъ, что учитель пойдетъ на всѣ сдѣлки изъ-за куска хлѣба. Это понравилось Олимпіадѣ Платоновнѣ такъ же, какъ понравилась ей и откровенная, полная молодого здоровья физіономія этого «косматаго дикаря», — какъ мысленно назвала его Олимпіада Платоновна при первомъ взглядѣ на него.

— О мелкихъ подробностяхъ мы переговоримъ послѣ, замѣтила она, выслушавъ его отвѣтъ. — Но я впередъ вамъ должна сказать, какъ я смотрю на дѣло, за которое вы беретесь. При домашнемъ воспитаніи дѣтей, особенно нынче, очень часто ученье обращается въ забавную и легкую игру: вздумалось учиться дѣтямъ — учатся, захотѣлось полѣниться — обходится и безъ уроковъ; вздумалъ учитель начать въ часъ занятія — въ часъ и начинается, а пришла охота съ десяти часовъ сѣсть за уроки — ну, съ десяти и учить. Говорятъ, принуждать не слѣдуетъ дѣтей, свободу нужно имъ давать, ну, а я думаю, что прежде всего надо пріучить дѣтей

къ правильной работѣ.

— Безъ порядка нельзя же жить, закончилъ Петръ Ивановичъ съ улыбкой.

Онъ ужасно почему-то не любилъ «порядочныхъ» и «акуратныхъ» людей и выражался про нихъ: «нѣмцы съ циркулемъ».

— Нѣтъ, безъ серьезнаго взгляда на дѣло нельзя жить, коротко сказала Олимпіада Платоновна. — У насъ и безъ того въ натурѣ относиться ко всему халатно, спустя рукава, и говорить, что дѣло не волкъ — въ лѣсъ не убѣжить. Опо, пожалуй, и вѣрно, что дѣло не убѣжить, но оно и не сдѣлается, если его не дѣлать. Воспитывать этотъ духъ въ дѣтяхъ, значить, развивать изъ нихъ шалопаевъ. Ну, а ихъ и безъ того у насъ непочатой уголь. Я вообще не знаю худшаго зла, чѣмъ халатность и распущенность въ какомъ-бы то ни было дѣлѣ. Мы вѣдь, главнымъ образомъ, всѣ только тѣмъ и страдаемъ, что лежимъ на боку, бьемъ баклуши да все на кого-то жалуемся...

Петру Ивановичу показалось, что Олимпіада Платоновна подозрѣваетъ его въ этихъ русскихъ грѣхахъ и онъ обидѣлся и

вскипятился. Онъ былъ убѣжденъ, что это «барыня» въ душѣ его презираетъ, вовсе еще не зная его, — презираетъ «по принципу», приписывая ему желаніе и кое-какъ дѣлать дѣло, и даромъ получать деньги.

— Вы, вѣроятно, не хотите этимъ сказать, что я именно такъ отнесусь къ дѣлу, замѣтилъ онъ рѣзко и задорно, — такъ какъ не имѣете еще для этого подозрѣнія никакихъ основаній!

— Нѣтъ! Я просто высказываю вамъ свой взглядъ на дѣло, отвѣтила Олимпіада Платоновна съ улыбкой, понявъ причину его задора. — Впрочемъ, высказываю я его вамъ прямо и рѣзко не безъ основанія. Вамъ, кажется, показалось нѣсколько смѣшно, что я придаю большое значеніе внѣшней чистоплотности дѣтей, въ которой я вижу одинъ изъ залоговъ здоровья, и потому я сочла нужнымъ на первыхъ-же порахъ сказать, что я придаю еще болѣе значенія нравственной чистоплотности, зная, что нравственная неряшливость и разгильдяйство не особенно способствуютъ выработкѣ честныхъ людей.

Оборотъ вопроса вышелъ опять нѣсколько

неожиданный для Петра Ивановича и онъ не нашелся, что возражать.

Съ минуту продолжалось натянутое молчаніе. Олимпіада Платоновна прервала его первая.

— Вообще, сказала она тономъ откровенности, — я не знаю впередъ, поладимъ-ли мы, уживемъ-ли мы, такъ какъ мы, вѣрно, на многое смотримъ — я сверху, вы снизу. Но впередъ вамъ скажу: грубите мнѣ, какъ угодно, но говорите правду, — она улыбнулась ласковой улыбкой, всегда совершенно преображавшей ея некрасивое лицо, — ну, и я въ долгу не останусь, тоже грубить буду...

— И говорить правду? спросилъ Петръ Ивановичъ, добродушно разсмѣявшись.

— Ахъ, у меня-то это даже и не добродѣтель, съ нѣскольکو грустной улыбкой замѣтила она. — Я говорю правду, потому что не хочу дѣлать надъ собой усилій для лжи. Когда можешь идти большой дорогой, проселками колесить не зачѣмъ.

— Что правда, то правда! сказалъ онъ.

— Ну, значитъ, мы покончили договоръ, а тамъ: поладимъ — поживемъ, не поладимъ —

разъѣдемся, закончила она.

Онъ поднялся съ мѣста, чтобы откланяться.

— Да, мы забыли одинъ важный пунктъ, остановила его Олимпіада Платоновна. — Какъ вамъ угодно будетъ получать жалованье: помѣсячно или по третямъ?..

Петръ Ивановичъ вдругъ покраснѣлъ, какъ піонъ, и, комкая въ рукахъ шапку, пробормоталъ съ напускною небрежностью, которая ему вовсе не удалась:

— Это... это... рѣшительно все равно!

— Мнѣ удобнѣе дѣлать рѣже счеты и потому будемте считаться по третямъ, сказала Олимпіада Платоновна.

Онъ все продолжалъ вертѣть шапку и какъ-то глухо, точно что-то сдавило ему горло, проговорилъ:

— Зачѣмъ-же... помѣсячно-бы...

Олимпіада Платоновна подняла на него ласковые, проницательные глаза.

— Ну, эту уступку ужъ сдѣлайте мнѣ, не люблю я копѣчныхъ счетовъ и чѣмъ рѣже съ ними возиться, тѣмъ лучше для меня, старухи, проговорила она и вынула изъ портфеля

деньги. — Вотъ вамъ за первую треть, а тамъ...

Онъ быстро протянулъ руку и вдругъ остановился.

— Нѣтъ, какъ-же... пробормоталъ онъ въ нерѣшительности.

— Да вѣдь мы-же ѣдемъ послѣ завтра и, вѣроятно, до отъѣзда не увидимся, такъ должна-же я вамъ заплатить, сказала она, подавая ему деньги и поднимаясь съ мѣста. — Времени у меня мало осталось, такъ ужъ не взыщайте, что короче ознакомимся не здѣсь, а въ дорогѣ да тамъ, на мѣстѣ...

Она протянула ему свою широкую, почти мужскую руку и удалилась, ковыляя, изъ комнаты.

Петръ Ивановичъ вышелъ отъ нее въ какомъ-то туманѣ: у него были въ рукахъ деньги, большія деньги, за четыре мѣсяца впередъ, а еще часъ тому назадъ онъ все думалъ и раздумывалъ, какъ перебьется втеченіи мѣсяца его мать «съ ребятишками» до полученія имъ жалованья, гдѣ онъ прикупить въ деревнѣ хоть пару сорочекъ, какъ онъ поѣдетъ въ своемъ легкомъ пальто въ до-

рогу. Онъ вспомнилъ, какъ онъ испугался, когда Олимпіада Платоновна сказала, что будетъ разсчитываться по третямъ, и ему представилась вся комичность его фигуры въ эту минуту, когда онъ готовъ былъ или выторговать плату помѣсячно или отказаться отъ мѣста, такъ какъ въ четыре мѣсяца до полученія жалованья могла-бы умереть съ голоду его мать да и съ него могла-бы свалиться послѣдняя рубашка. «И туда-же хорохорился: мнѣ все равно, какъ получать, помѣсячно или по третямъ!» думалъ онъ и самъ хохоталъ надъ собою, называя себя мысленно «голью перекатной».

— Ну, что, голубчикъ, какъ? спросила его робко старуха-мать, встрѣчая его дома.

— Ничего, поладили! весело проговорилъ онъ. — Баба добрая, прямая! Уродъ она, а славная баба! И деньжищъ вонъ сколько отвалила!

Онъ вывалилъ на столъ пачку кредитныхъ билетовъ, вытащивъ ихъ изъ кармана панталонъ. Мать набожно перекрестилась.

— Спаси ее, Господи! проговорила старушка.

— Ну, что ты въ самомъ дѣлѣ, мать, какъ за благодарѣтельница, ужь и молиться за нее начала! засмѣялся онъ. — За работу тоже дала, а не даромъ... Еще, можетъ быть, такъ насядетъ за эти деньги, что и небо съ овчинку покажется!

— Голубчикъ ты мой, другіе и насядутъ, и не дадутъ ничего, проговорила мать.

— И то правда! согласился онъ и, вдругъ встряхнувъ головою, любовно взглянулъ на старушку. — Ну, теперь, мать, полно голодать и тебѣ съ ребятами! Поскучаешь безъ меня, ну, да что дѣлать! Поживу тамъ, скопимъ что-нибудь, а тамъ — живы будемъ — увидимъ!

Онъ обнялъ любимую старуху, посвятившую всю жизнь на воспитаніе своихъ дѣтей.

Олимпіада Платоновна была тоже очень довольна имъ.

— Какъ вамъ показался учитель-то? спрашивала у нея вечеромъ Софья.

— Совсѣмъ еще молодымъ пѣтушкомъ на скакиваетъ, а ничего, душа на ладони, отвѣтила Олимпіада Платоновна.

Она разсмѣялась и начала шутливо расска-

зывать о своихъ переговорахъ съ Рябушкинымъ. Отъ ея наблюдательнаго взгляда не ускользнула ни одна мелочь. Она очень комично передала и его фразу о томъ, что ему все равно, какъ получать жалованье, и его страхъ, когда она рѣшила давать ему жалованье по третямъ, не прибавивъ при этомъ слова: «впередъ». Софья смѣялась.

— Совсѣмъ еще зеленый, закончила княжна. — Только бурсы на немъ много налипло. Ты его, Сонька, возьми въ руки и отмой, непременно отмой!

И дѣйствительно, Софья занялась «отмываньемъ» его. Съ нею онъ сошелся сразу, безъ церемоній, безъ недомолвокъ, какъ съ равною себѣ. Она тоже не стѣснялась съ нимъ и относилась къ нему съ фамиллярностью старой няньки или старой ключницы, наставляющей молодого человѣка. Много она уже видѣла на своемъ вѣку такихъ-го «поповичей неотесанныхъ», какъ она выражалась, и особенно церемониться съ ними не видѣла надобности. «Тоже не въ барскихъ покояхъ, а у насъ въ людскихъ да въ дѣвичьихъ пороги обивали», говорила она про людей этого сор-

та.

Какъ-то онъ, осматривая комнатныя украшенія въ Сансуси, замѣтилъ Софья:

— И деньжищъ-же, должно быть, много даромъ ухлопаль князь на эти затѣи, благо деньги-то дешево отъ мужиковъ доставались!

— Ну да, батюшка, и у васъ, вѣрно, ихъ много, что вы ихъ зря разбрасывать научились, сказала Софья.

— Я? Съ чего это вы взяли? удивился озадаченный Петръ Ивановичъ.

— А если-бы мало было, такъ берегли-бы ихъ на дѣло, сказала Софья. — А то такъ изводите!

— Что вы городите чепуху! воскликнулъ Петръ Ивановичъ.

— Не чепуху, а правду говорю, сказала Софья. — Вонъ у васъ бѣлье-то прохудилось...

— А! Это вы изволите подтрунивать надъ бѣдностью моего туалета, сказалъ Петръ Ивановичъ, смѣясь.

— Нѣтъ, не подтруниваю, а сержусь на васъ! сказала Софья. — Если-бы вы деньги-то берегли да цѣну имъ знали, вы-бы и сказали: «Софья Ивановна, пересмотрите мое бѣлье да

зашейте маленькія дырочки, чтобы изъ нихъ большихъ не сдѣлалось, а то мнѣ новыя сорочки покупать придется, капиталовъ-же на это лишнихъ не припасено». Такъ нѣтъ, рвете себѣ сорочки; изорву, молъ, не велика важность, новыя куплю, намъ деньги ни почемъ.

— Ну, это не оттого, что деньгами я сорить привыкъ, а отъ несообразительности, улыбнулся Петръ Ивановичъ.

— А простыню вчера тоже, поди, отъ несообразительности сожгли папиросой? спросила Софья.

— А это отъ неосторожности, съ комической внушительностью пояснилъ Петръ Ивановичъ. — А ужъ вы-то, я думаю, бранили меня, бранили, когда вамъ объ этомъ доложили?

— Бранила, бранила и еще бранить буду! сказала Софья.

Она опустила свое шитье и сложила на колѣняхъ руки.

Петръ Ивановичъ сидѣлъ противъ нея, облокотившись руками въ колѣни и опустивъ на ладони подбородокъ. Оба они смотрѣли другъ на друга вполнѣ дружески и говорили

совершенно спокойно.

— Отчего-же вы прожгли простыню-то? спросила Софья.

— Папиросу курилъ въ постели и задремаль съ нею, отвѣтилъ точно на допросъ Петръ Ивановичъ.

— А пепельницы развѣ нѣтъ въ комнатѣ? допрашивала Софья.

— Въ комнатѣ есть, а на постели не было, такъ-же пояснилъ онъ.

— А взять нельзя было? продолжала допрашивать она. — Развѣ это порядокъ? Лѣнь сдѣлать все, какъ слѣдуетъ, вотъ вещи и портите!

— Ужъ очень вамъ жаль этой простыни? проговорилъ Петръ Ивановичъ съ улыбкой.

— Не простыни жаль, а васъ жаль! сказала Софья. — Вѣдь если вы всю жизнь такъ жить будете, такъ весь вѣкъ только и будете добро даромъ изводить. Польза-то отъ этого кому? Купцамъ развѣ благодѣтельствовать хотите: я, молъ, добро изводить буду, а они пусть, молъ, больше продають. Такъ этакъ-то вонъ у насъ одинъ сынъ откупщика прямо бумажки жегъ: возьметъ это деньги, свернетъ въ тру-

бочку да папирасы и закуриваетъ. Хорошо? И капиталы у васъ, что-ли, наслѣдственные есть, что сегодня сорочку отмызгать въ тряпки можете, завтра простыню папиросами сжечь, тамъ галстухъ на полу гдѣ-нибудь вывалять, какъ тряпку, а потомъ на шею одѣть...

Петръ Ивановичъ расхохотался звонкимъ молодымъ смѣхомъ.

— И галстуха не забыли? воскликнулъ онъ. — Всѣ грѣхи припомнили.

— Да какъ-же не припомнить! сказала Софья. — Намедни прихожу къ вамъ, а вы мечетесь по комнатѣ. «Что, говорю, стряслось?» «Галстухъ, отвѣчаете, проклятый, затерялся, полчаса не могу найти!» Стала искать, а онъ подъ кроватью валяется. Нашли для него мѣсто!

— Грѣхи, грѣхи все, Софья Ивановна! шутиливо проговорилъ Петръ Ивановичъ, едва сдерживая свой смѣхъ.

— Да грѣхи и есть! подтвердила она серьезно. — Не приучили васъ съ дѣтства-то къ аккуратности, къ опрятности да къ порядку, вотъ вы и вышли лодыремъ. Ей Богу! Вѣдь вотъ будете своимъ домомъ жить, женитесь, такъ

жена да прислуга заплачутся съ вами. Хуже чѣмъ за самыми важными господами ходить за вами придется.

— Ну, ужь будто и такъ! смѣялся Петръ Ивановичъ.

— Да это вѣрно! утвердительно сказала Софья. — Или ходи да прибирай за вами, или въ грязи потонете да оборванцемъ ходить будете. И какъ это вамъ самимъ не надоѣстъ каждый день то то, то другое искать: сегодня карандашъ завалился куда-то, завтра книгу чуть не въ грязномъ бѣльѣ искать будете; а тамъ, глядишь, въ стаканъ воды нальете, а въ немъ пепель да окурки отъ папиросъ валяются...

— Совсѣмъ, значитъ, мужикъ неумытый? сказалъ Петръ Ивановичъ.

Софья вдругъ загорячилась.

— Ну, вы съ мужиками-то не равняйтесь! проговорила она. — Это напрасно! Много ихъ есть такихъ-то неотесовъ, что хуже свиней живутъ, такъ за это ихъ хвалить нечего да и говорить то, судя по нимъ, нельзя, что весь народъ такъ живетъ. Вы вонъ посмотрите, какъ многіе малороссы живутъ — любо-дорого:

и чистота, и порядокъ, и хатка, какъ игрушечка, бѣлая. Тоже вонъ къ молоканамъ загляните: и чистоплотный, и степенный народъ. А то-же вѣдь мужики, чай, не изъ князей вышли, не за мамушками и нянюшками росли. Да вонъ у меня сестра и по сю пору здѣсь живетъ, за мужикомъ замужемъ, а взгляните, какъ въ избѣ-то у нея все ведется, какъ дѣти ходятъ — у просвирни, когда просфоры печетъ, поди, чистоты меньше... Нѣтъ, вы поприглядитесь да поприслушайтесь, такъ и не станете хвастать, что на мужика своимъ разгильдяйствомъ похожи: мужикъ мужику рознь, а на самага лядацаго изъ нихъ походить тоже небольшая честь.

Петръ Ивановичъ молча слушалъ ее и любовался оживленіемъ симпатичной ему женщины. Онъ уже узналъ, что Софья, какъ это ни казалось странно, всегда волновалась и горячилась, какъ только заходила рѣчь о важныхъ господахъ или о простомъ народѣ: обидѣть въ разговорѣ важныхъ баръ или простыхъ мужиковъ значило вызвать цѣлую бурю со стороны этой старой служанки.

— Нѣтъ, все это оттого, что домовитости въ

вась нѣтъ, спустя минуту, продолжала Софья, — въ семьѣ вы, видно, не жили, горя съ ней не испытали...

— Ну, можетъ быть, горя-то и хватилъ на свою долю, вставилъ Петръ Ивановичъ.

— Это вы про то, что въ бурсѣ-то васъ сѣкли? засмѣялась Софья. — Такъ это горе до первыхъ новыхъ вѣнниковъ зажило. Нѣтъ, голубчикъ мой Петръ Ивановичъ, не это горе осторожнымъ, домовитымъ да осмотрительнымъ дѣлаетъ, а то горе, когда въ семьѣ хлѣба мало да когда человѣкъ приучается не крошить его даромъ да по полу не раскидывать. Вотъ вы, поди, знаете, что люди простые говорятъ дѣтямъ: «хлѣбъ даръ Божій, его грѣхъ на полъ бросать». Ну, такъ вотъ эту самую поговорку-то, вѣрно, тогда люди и придумали, когда хлѣбъ у нихъ былъ на исходѣ.

Петръ Ивановичъ не спускалъ съ Софьи глазъ, сдѣлавшихся такими задумчивыми и ласковыми, какими они не часто бывали у него. Его и подкупалъ, и удивлялъ здравый смыслъ этого простого человѣка.

— Вы забыли, видно, Софья Ивановна, что и я бѣдной матери сынъ, замѣтилъ онъ.

— Да только не у нея вы выросли; сами-же говорили, что она по людямъ жила, чтобы васъ поднять на ноги, сказала Софья. — Вотъ васъ и не научили крошекъ хлѣбныхъ на полъ не сорить... Да такъ-то и во всемъ, въ бѣдной да въ хорошей семьѣ человекъ заботливымъ да больющимъ о всякомъ добръ дѣлается, продолжала она развивать свою мысль. — Лоскуточекъ найдетъ — спрячетъ, наберется ихъ много, глядишь, и одѣяло вышло. Пришелъ домой — хорошую одежду снялъ да за трапезную надѣлъ, чтобы на работѣ даромъ не драть того, что не легко досталось. Вы вонъ пройдитесь по деревнѣ: богатую семью отъ бѣдной не сразу отличите, потому иная семья въ грязи тонетъ, а деньги въ кубышку прячетъ; хорошую-же, согласную семью сейчасъ отличите отъ дурной да несогласной: у первой и порядокъ есть, и дѣти умыты да причесаны, а во второй...

— Окурки папирось въ стаканы кладутъ? шутиливо перебилъ ее Петръ Ивановичъ съ добродушной улыбкой.

— Ну, хоть и не это, а похоже на то, съ такой-же улыбкой согласилась Софья, склады-

вая работу и поднимаясь съ мѣста. — Опять я заболталась съ вами, а все потому что учить васъ много — охъ, какъ много! — надо! Вотъ маменькѣ отпишите, что нашлась, молъ, здѣсь опекунша и наставница непрошенная для васъ...

Она неторопливо вышла изъ комнаты, оставивъ Петра Ивановича одного. Не перемѣняя своей позы, опустивъ еще ниже на ладони свою курчавую голову, онъ задумался...

Правильны или неправильны были всѣ подобные взгляды, не разъ высказывавшіеся въ той или другой формѣ Петру Ивановичу Софьей и Олимпіадой Платоновной, — дѣло было не въ томъ. Но это были взгляды безповоротно установившіеся, вошедшіе въ плоть и кровь высказывавшихъ ихъ лицъ. А у Петра Ивановича всѣ взгляды на будничную, практическую жизнь были только простыми порывами, выраженіемъ молодого задора, проявленіями неопытности и непрактичности. Княжна сказала какъ-то про него: «его всему, всему обучили, только забыли ему сказать, которой рукой надо класть въ ротъ ѣду

и какъ надо отрѣзать себѣ кусокъ мяса на тарелкѣ, и кто ему какъ это укажетъ, такъ онъ и будетъ дѣлать». И она была права. Выработавшійся и сложившійся постепенно въ сотни лѣтъ строй жизни въ барскомъ домѣ былъ гораздо сильнѣе воспринятыхъ отъ товарищей въ бурсѣ и академіи привычекъ и развившихся втеченіи какого-нибудь десятка лѣтъ вкусовъ молодого человѣка. Всякія шероховатости въ немъ сглаживалъ этотъ изо-дня въ день точно и неизмѣнно повторявшійся строй жизни, какъ морская волна сглаживаетъ шероховатости попавшаго на берегъ гольша, катая его неустанно изо-дня въ день, изъ часу въ часъ между другими прибрежными, уже принявшими извѣстную форму камнями.

Это не ускользнуло отъ вниманія Евгенія, не ускользнуло уже потому, что при немъ и тетка, и Софья нерѣдко повторяли: «А каковъ нашъ Петръ Ивановичъ сдѣлался, совсѣмъ салонный франтъ!» Миссъ Ольдкопъ тоже замѣчала: «О, у него совсѣмъ облагородились манеры». Вліяніе среды тѣмъ болѣе отражалось на немъ, что онъ съ каждымъ днемъ все

болѣе и болѣе привязывался и къ Софьѣ, и къ Олимпиадѣ Платоновнѣ, и къ Енгенію. Онѣ видѣлъ въ этихъ людяхъ много сердечной доброты, много правдивости, много здраваго смысла. Въ Евгеніи-же Рябушкина поражала недѣтская вдумчивость, крайняя любознательность и чрезвычайная, почти болѣзненная чуткость, при которой мальчикъ сразу угадывалъ настроеніе окружающихъ его лицъ. Правда, Евгеній въ послѣднее время смотрѣлъ здоровѣе, онѣ былъ веселъ, онѣ любилъ возиться съ Петромъ Ивановичемъ, который былъ не прочь пошкольничать, но онѣ продолжалъ оставаться нервнымъ ребенкомъ, былъ всегда какъ-бы «на сторожѣ», словно слѣдилъ за собою и въ минуты его самой ребяческой рѣзвости довольно было сказать ему рѣзкое слово или сдѣлать недовольную мину, чтобы онѣ сразу стихъ, какъ-бы ушелъ въ себя, подобно улиткѣ, уходящей въ свою раковину при едва ощутительномъ прикосновеніи. Съ такимъ ученикомъ не для чего было сердиться и горячиться, такъ какъ это было вовсе не нужно, чтобы онѣ слушался; съ такимъ ученикомъ нечего было опа-

саться и его назойливости въ минуты нерасположенія учителя, такъ какъ онъ угадываль по лицу, какъ настроенъ наставникъ. Миссъ Ольдкопъ называла Евгенія «деликатной натурой». Рябушкинъ называль его «человѣкомъ со смысломъ».

Уже къ концу лѣта Рябушкинъ совершенно сжился со всею семьей княжны Олимпіады Платоновны, сталъ на столько своимъ человѣкомъ, что помогаль княжнѣ сводить разные счета, иногда предлагаль ей свои услуги въ качествѣ секретаря, когда у нея случалась необходимость писать какія-нибудь дѣловыя письма или бумаги. Необходимость въ писаніи подобныхъ бумагъ встрѣчалась не рѣдко, такъ какъ бывшіе крѣпостные ея брата князя Алексѣя Платоновича часто обращались къ посредничеству княжны Олимпіады Платоновны и она очень горячо отстаивала ихъ интересы передъ братомъ или, вѣрнѣе сказать, передъ его женой, княгиней Марьей Всеволодовной, правившей дѣлами мужа. Кромѣ того въ жизни учителя въ этомъ домѣ бывали и не просто тихіе и спокойные дни сытаго существованія, но и

такія минуты, которыя остаются на долго въ памяти, говоря человѣку, что онъ былъ не чужимъ въ томъ или другомъ кружкѣ людей. Впервые понялъ ясно Петръ Ивановичъ, что его здѣсь не считаютъ чужимъ, что его любятъ искренно, что о немъ заботятся, нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ своего переселенія въ Сансуси.

Какъ-то разъ ему привезли съ почты письмо и посылку. Онъ распечаталъ письмо, сталъ его читать и его лицо озарилось ясной улыбкой:

— О, глупая, глупая! съ добродушной грубостью прогоринь онъ вслухъ, качая головой.

Въ комнатѣ былъ Евгеній и его заинтересовало это восклицаніе.

— Про кого это вы говорите, Петръ Ивановичъ? спросилъ онъ.

— Да про мать! отвѣтилъ, улыбаясь счастливой улыбкой, Петръ Ивановичъ. — Вотъ къ именинамъ шарфъ и носки сама связала!

Онъ быстро сталъ распаковывать посылку, вытащилъ длинный шерстяной шарфъ и примѣрилъ его.

— Вонъ какой красный да длинный вывя-

зала! До Сибири доѣдешь — горла не застудишь! смѣялся онъ и Евгенію показалось, что въ его глазахъ стоятъ слезы.

— Вы очень любите свою мать? спросилъ Евгеній дрогнувшимъ голосомъ, вспоминая о своей матери.

— Хорошая, хорошая старуха! отвѣтилъ быстро Петръ Ивановичъ, взглянулъ въ сторону, и поспѣшно уложилъ присланные вещи снова въ ящикъ. — Ну-съ, а какъ наши уроки? Что мы будемъ сегодня дѣлать? началъ онъ торопливо, копаясь что-то слишкомъ долго около комода, куда пряталъ присланный ящикъ. — Вы задачи-то, кажется, не рѣшили? Видно, опять Донъ-Кихотомъ долго услаждались или съ предками бесѣдовали въ портретной галереѣ? И когда это вы перестанете тревожить ихъ прахъ?

Онъ, кажется, говорилъ только для того, чтобы говорить и не думать о чемъ-то другомъ, назойливо лѣзшимъ ему теперь въ голову при воспоминаніи о старухѣ матери, о далекихъ дняхъ, быть можетъ, когда и у него было еще свое гнѣздо, своя семья, собиравшаяся вмѣстѣ въ тѣсный кружокъ отпраздно-

вать именины крошечнаго ребенка Пети.

— А ваши именины завтра? спросилъ Евгеній, не отвѣчая на вопросы учителя.

— Завтра, завтра, да дѣло не въ нихъ, а вы не отвиливайте отъ задачи; я ее за васъ рѣшать не буду, отрывисто сказалъ Петръ Ивановичъ и въ его голосъ послышалось даже раздраженіе. — Идите-ка лучше въ класную и тамъ въ тишинѣ загладьте раскаяньемъ грѣхъ непониманія!

Евгеній какъ будто только того и ждалъ: онъ быстро выбѣжалъ изъ комнаты и направился вовсе не въ класную, а къ теткѣ.

— Ma tante, милая, Петръ Ивановичъ завтра именинникъ! въ попыхахъ проговорилъ онъ, подбѣгая къ теткѣ. — Мать его прислала шарфъ красный-красный и носки въ подарокъ! Милочка, голубчикъ, какъ-же я то?

Евгеній развелъ руками, какъ бы говоря, что онъ совсѣмъ потерялъ голову, не зная, что ему дѣлать.

— Ахъ, какъ-же это никто не зналъ! взволновалась въ свою очередь и Олимпіада Платоновна. — Скрытничаетъ еще все, церемонится... И я-то тоже хороша, не спросила его,

лѣтомъ или зимою онъ имянинникъ... Пра-
чекъ и конюховъ дарю и праздники имъ
дѣлаю въ дни ихъ имянинъ, а тутъ своего
человѣка, добраго пріятеля забыла...

Старуха встревожилась не на шутку. Въ
ихъ семьѣ никогда не забывали о дняхъ имя-
нинъ даже самыхъ послѣднихъ слугъ. А тутъ
вдругъ забыли справиться, когда имянинни-
къ учитель!

— Голубчикъ, ma tante, ѣздового пошлите,
скоро и пусть купить! заговорилъ быстро
Евгеній. — Чтобы къ утру, какъ проснется...
помните, ma tante, какъ я вамъ въ ваше рож-
денъе цвѣты у постели поставилъ... вы
проснулись и ахнули... Я сейчасъ, сейчасъ ве-
лю позвать Ивана... скоро... скоро...

— Постои, постой, вьюнъ! остановила его
Олимпіада Платоновна, любовавшаяся его
оживленіемъ. — У меня есть часы... хорошіе
часы...

— И съ цѣпочкой, ma tante? быстро спроси-
лъ Евгеній, заглядывая ей въ лицо.

— И съ цѣпочкой, улыбнулась тетка на его
наивный вопросъ, открывая одинъ изъ ящи-
ковъ своего маленькаго бюро. — Вотъ они...

— И въ бархатной коробочкѣ! въ бархатной коробочкѣ, воскликнулъ мальчуганъ, хлопая въ ладоши.— Ma tante! дайте взглянуть, дайге взглянуть!.. Я самъ, ma tante, самъ положу ему на столъ... самъ... Всю ночь не буду спать и буду ждать, когда онъ проснется!

Евгеній былъ счастливъ и ходилъ весь день съ какимъ-то праздничнымъ выраженіемъ лица. Петръ Ивановичъ замѣтилъ это и сказалъ шутливо Олимпіадѣ Платовнѣ, что Евгеній кажется «выигралъ сегодня генеральное сраженіе съ математическимъ напріятелемъ». Олимпіада Платоновна, зная причину праздничнаго настроенія мальчугана, молча улыбнулась въ отвѣтъ на это замѣчаніе и подмигнула Евгению. Ее тѣшило заблужденіе учителя. Вечеромъ Евгеній, спавшій въ одной комнатѣ съ Петромъ Ивановичемъ, хотя у послѣдняго и была отдѣльная комната, находился въ какомъ-то лихорадочномъ состояніи и раза три спрашивалъ:

— Вы спите, Петръ Ивановичъ?

— Не сплю, отвѣчалъ учитель. — А что?

— Нѣтъ, я такъ, стихнувшимъ голосомъ

произносилъ Евгеній.

Петръ Ивановичъ, какъ на зло, долго не могъ уснуть. Наконецъ, въ комнатѣ послышалось легкое храпѣнье учителя и мальчикъ на цыпочкахъ подкрался къ его постели, ощупаль ночной столикъ и положилъ на него открытый футляръ съ золотыми часами. Онъ находился въ такомъ настроеніи духа, что готовъ былъ тотчасъ-же разбудить Петра Ивановича. Добравшись до своей постели, онъ далъ себѣ слово не спать всю ночь, пока не проснется утромъ учитель и, улыбаясь сладкою улыбкою, стараясь всмотрѣться въ темно, ту, черезъ пять минутъ заснулъ безмятежнымъ сномъ счастливаго ребенка.

Когда по утру онъ открылъ глаза, въ комнатѣ было уже свѣтло. Онъ быстро взглянулъ на постель у противоположной стѣны и увидалъ Петра Ивановича, сидѣвшаго на постели, спустивъ съ нея ноги и держа въ рукахъ футляръ съ часами. Мальчикъ нѣсколько мгновеній любовался этою красивою, здоровою фигурою, этимъ прекраснымъ молодымъ лицомъ съ густыми, всклокоченными и вьющимися русыми волосами. Потомъ онъ не вы-

держалъ, вскочилъ съ постели, подбѣжалъ въ одной рубашенкѣ къ Петру Ивановичу и, не давъ ему времени опомниться, обвинилъ руками его шею и звонко поцѣловалъ его.

— Поздравляю, поздравляю!.. Вы не сердитесь?.. Это вамъ ma tante... Она велѣла положить, чтобы... Да вы сердитесь?

Евгеній вдругъ смолкъ и пугливо взглянулъ въ лицо Петра Ивановича: оно было ласково и привѣтливо.

— Хорошій вы человекъ, Женя, проговорилъ Петръ Ивановичъ. — Дай Богъ, чтобы всегда были хорошимъ человекомъ.

Онъ посадилъ мальчика къ себѣ на колѣни и погладилъ его по головѣ.

— Любите, милый мой, людей, каковы-бы они ни были и сколько-бы зла они ни сдѣлали вамъ лично, проговорилъ онъ какъ-то сердечно и мягко. — Добрые порывы, добрыя чувства, все это такія сокровища, которыхъ ничѣмъ не купишь, и потому, ихъ нужно беречь. Вотъ мы до сихъ поръ жили только въ ладу съ вами, а теперь, когда я поближе узналъ, какой вы чуткій человекъ, мы совсѣмъ друзьями будемъ. Такъ? И навсегда?

— Да, да, шепталъ мальчикъ, сжимая его руку и прижимаясь къ его плечу головой.

И въ самую эту минуту вдругъ въ головѣ Петра Ивановича пронеслась какая-то не хорошая мысль, вызвавшая на его лицо совсѣмъ мрачное выраженіе. Онъ нахмурилъ немного лобъ и отрывисто проговорилъ:

— Вы, конечно, понимаете, Евгеній, что я васъ не за то благодарю, что вы мнѣ вонъ часы дорогіе подарили.

— Да, да, знаю! тихо проговорилъ Евгеній.

Петръ Ивановичъ сжалъ ему еще разъ руку и, встряхнувъ головой, бодро сказалъ:

— Ну, маршъ, теперь одѣваться, а то будить еще придутъ!

Евгеній весело побѣжалъ въ своей постели, около которой было сложено платье...

А въ столовой у прибора учителя стоялъ букетъ, за обѣдомъ прибавилось два прибора для «батюшки» и для «матушки», вечеромъ подавалось какое-то небудничное угощеніе. Олимпиада Платоновна любила устраивать подобные праздники для близкихъ къ ней людей.

Въ этотъ вечеръ, прощаясь съ Олимпиадой

Платоновной, когда уже всё разбрелись из кабинета княжны, Петръ Ивановичъ впервые поцѣловаль ея руку и проговориль:

— Спасибо вамъ!

— Ну, наконецъ-то, сказалъ спасибо! засмѣялась она ласковымъ смѣхомъ. — А то я по чину первая благодарить не хотѣла, благодарность-же такъ и вертѣлась на языкъ. Въ самомъ дѣлѣ, Петръ Ивановичъ, продолжала она уже совсѣмъ серьезно, — я очень, очень обязана вамъ: дѣти учатся хорошо, успѣхи сдѣланы большіе, но дѣло не въ томъ, такъ какъ я и брала васъ, зная васъ за человѣка съ познаніями. Но вы сдѣлали больше. Помните, вы сразу отказались быть гувернеромъ? А теперь я вижу, что вы и гувернеромъ сдѣлались, вліяете на Евгенія, развиваете его... хорошо развиваете... И за это-то я и благодарю васъ: подъ вашимъ вліяніемъ онъ можетъ вырости прямымъ и честнымъ человѣкомъ, потому что и сами вы такой человѣкъ.

Петръ Ивановичъ даже сконфузился и покраснѣлъ.

— Да вы не смущайтесь, что я васъ хвалю,

проговорила Олимпиада Платоновна, улыбаясь. — Надо-же когда-нибудь сказать прямо, какъ смотришь на человѣка, чтобы отношенія были проще. Вѣдь, признайтесь, вы тоже долго во мнѣ только «барыню» видѣли, а не просто человѣка? Ну, и я на васъ какъ на «бурсака» смотрѣла и все насто-рожъ была, чтобы вы какимъ-нибудь неприличіямъ Евгенія не научили...

— Да вѣдь я и теперь еще, пожалуй, могу его какой-нибудь неподходящей штукъ научить, разсмѣялся Петръ Ивановичъ.

— Да Богъ съ вами, учите! махнула она съ добродушной улыбкой рукою. — Одна «штука», какъ вы выражаетесь, не въ счетъ, если добраго много привѣете...

И самъ не зналъ Петръ Ивановичъ, какъ онъ въ этотъ вечеръ заговорился глазъ-на-глазъ съ княжной Олимпиадой Платоновной и о покойномъ отцѣ, и о матери-старухѣ, и о пьяницѣ дядѣ-дьяконѣ, гдѣ онъ провелъ три года дѣтской жизни, и о порядкахъ бурсы, и о трудной жизни въ академіи, обо всемъ, о чемъ онъ такъ долго не могъ поговорить откровенно ни съ кѣмъ, исключая Софьи, знавшей

уже почти всю исторію его прошлаго. И какимъ-то тепломъ, какой-то материнской лаской повѣяло на него въ этотъ вечеръ отъ этой старухи-княжны, уродливой съ виду, часто рѣзкой въ выраженіяхъ, упрямой и стойкой по характеру, какъ мужчина. Было три часа, когда Петръ Ивановичъ поднялся съ мѣста и снова поднесъ на прощаньи къ своимъ губамъ ея руку. Олимпіада Платоновна наклонилась и крѣпко поцѣловала его въ голову.

— Расчувствовались мы съ вами немножко сегодня, проговорилъ Петръ Ивановичъ и въ его голосъ зазвучала обычная нотка ироніи.

— А вамъ и стыдно теперь, потому по вашимъ книжкамъ этого не полагается? засмѣялась Олимпіада Платоновна добродушнымъ смѣхомъ.

— По какимъ это по моимъ книжкамъ? спросилъ не безъ удивленія Петръ Ивановичъ.

— Да вѣдь вы еще по какимъ-нибудь книжкамъ да живете, сказала княжна. — Это ужъ всегда такъ въ молодости. Я вотъ себя то Кларисой Гарловъ, то Элоизой воображала...

съ горбомъ-то да съ кривыми ногами!.. а что вы подѣлаете: молодость!.. Да это ничего, потому живутъ люди по книжкамъ только въ молодости, а увлекаться и восторгаться въ молодости чѣмъ-нибудь позорнымъ и постыднымъ... ну, для этого нужно быть ужъ совсѣмъ исковерканной съ дѣтства натурой!..

Съ этого дня Петръ Ивановичъ пересталъ быть простымъ наемнымъ учителемъ; онъ почувствовалъ себя другомъ этой семьи, ея членомъ. Съ этого дня сдѣлались совсѣмъ иными отношенія между нимъ и Евгениемъ. Самъ Петръ Ивановичъ, человекъ совсѣмъ юный, мягкосердечный, еще жаждавшій любви и дружбы, нашелъ въ Евгении новаго сочувствующаго ему слушателя, когда онъ, Петръ Ивановичъ, ощущалъ потребность поговорить о своей семьѣ, о своемъ прошломъ, о своихъ планахъ будущаго. До сихъ поръ ему не доставало здѣсь такого слушателя-друга. Евгенийъ въ свою очередь тоже началъ испытывать совершенно новое, отрадное чувство — чувство дружбы; онъ сталъ рѣже ходить одиноко по галереѣ, онъ не такъ усердно засиживался въ библіотекѣ, онъ полюбилъ

слушать Петра Ивановича и задавать ему те вопросы о семье, об отце, о матери, которых он не решился предлагать ни Софье, ни тетке, ни мисс Ольдкопф. Перед мальчиком открывался новый мирок — мирок «бѣдныхъ людей», полный лишений и жертвъ, вызывающій состраданіе своими заблужденіями и пробуждающій удивленіе своими добродѣтелями. Какъ человекъ этого круга, Петръ Ивановичъ говорилъ съ болѣзненною горечью о его порокахъ и съ искренней теплотой о его добрыхъ сторонахъ. Иногда онъ читалъ объ этихъ «бѣдныхъ людяхъ» полныя скорби страницы Достоевскаго, полныя желчи пѣсни Некрасова. Съ весны уже у учителя и ученика явилось мѣсто любимыхъ прогулокъ — узкая дорога черезъ паркъ, ведущая къ обрыву, за которымъ начинались необозримыя, слегка холмистыя поля и нивы. Тихо проходя эту дорогу, лежа на откосѣ обрыва, слѣдя за движеніемъ облаковъ или за работой крестьянъ на пашняхъ, молодые друзья переговорили о многомъ, много тайнъ передали другъ другу и стали понимать одинъ другого съ полуслова...

Они нашли въ своей дружбѣ именно то, чего имъ здѣсь не доставало прежде.

IV

— Письмо съ черною печатью!
Эта фраза облетѣла весь домъ, прежде чѣмъ роковое письмо дошло до кабинета Олимпіады Платоновны. Прежде чѣмъ Олимпіада Платоновна успѣла прочесть его и сообщить кому-нибудь о его содержаніи, въ домъ шли уже разныя соображенія и предположенія, люди называли гадательно тѣ или другія имена лицъ, о смерти которыхъ могла придти вѣсть изъ заграницы. На конвертѣ этого письма были иностранныя клейма; адресъ хотя и былъ написанъ по-русски, но надъ нимъ значилась французская помѣтка «Russie». Это было въ то время, когда только что подали въ столовую завтракъ и потому присутствующимъ пришлось подождать нѣсколько минутъ прихода Олимпіады Платоновны. Наконецъ, она вошла въ столовую, ея какъ бы осунувшееся лицо было невесело, хмуро и нѣсколько строго.

— У князя Алексѣя Платоновича умеръ

старшій сынъ въ Парижѣ, проговорила она глухо, не обращаясь ни къ кому исключительно, и тутъ же замѣтила Софья, стоявшей около стола:— Его привезутъ сюда хоронить, надо приготовить комнату для княгини Маріи Всеволодовны.

— Господи, какое несчастье! воскликнула Софья. — Такой молодой!.. Совсѣмъ здоровымъ мы его оставили!..

Олимпіада Платоновна вздохнула.

— Вамъ, кажется, даже не писали о его болѣзни? замѣтила миссъ Ольдкопъ.

— Онъ внезапно умеръ, отвѣтила коротко Олимпіада Платоновна.

Всѣ молчали. Тяжелое впечатлѣніе, произведенное на всѣхъ извѣстіемъ о смерти, отразилось и на дѣтяхъ. Они какъ-то пугливо прислушивались къ этой невеселой новости. Евгений тревожно спросилъ тетку:

— Его, ma tante, сюда привезутъ?

— Да, въ церковь нашу, здѣсь хоронить будутъ, отвѣтила Олимпіада Платоновна.

— Княгиня Марья Всеволодовна одна пріѣдетъ? спросила Софья.

— Одна, отвѣтила княжна.

Завтракъ прошелъ невесело, молчаливо. Олимпіада Платовна не дотрогивалась до Ъды и сидѣла, опустивъ голову. Иногда она приподнимала плечи, точно разсуждая о чемъ-то мысленно и не находя отвѣтовъ на свои вопросы. Когда всѣ стали подниматься изъ за стола, она обратилась къ Рябушкину.

— Пройдите ко мнѣ въ кабинетъ, сказала она и сдѣлала знакъ глазами Софѣ, чтобы и та шла за нею.

Они удалились всѣ трое изъ столовой.

Олимпіада Платоновна, войдя въ кабинетъ, вынула изъ кармана письмо и обратилась къ Петру Ивановичу и Софѣ.

— Я не хотѣла говорить при дѣтяхъ и при слугѣ, начала она. — Его убили на дуэли...

Софья всплеснула руками.

— Господи! несчастная княгиня Марья Всеволодовна! воскликнула она. — Мало еще было горя!

— Да, точно несчастная! вздохнула Олимпіада Платоновна. — Тутъ совершилось что то не только трагическое, но что то темное, таинственное... Вотъ прочтите.

Олимпіада Платоновна подала письмо Ря-

бушкину. Онъ сталъ читать.

Въ письмѣ мать убитаго сообщала о его ду-
эли, о его смерти и между прочимъ писала.
«Даже тебѣ я не рѣшаюсь передать въ письмѣ
всѣхъ подробностей этого дѣла, о которомъ
теперь уже толкуютъ всѣ парижскія газеты,
забрасывающія грязью всѣхъ участниковъ
этой исторіи».

— Ахъ, ты, Боже мой, что же это такое та-
мъ произошло! проговорила Софья.

— Я ничего не могу понять, но предпола-
гаю, что драма произошла изъ-за какой-ни-
будь негодяйки, сказала Олимпіада Платонов-
на. — Ни во что жизнь и честь ставятъ!.. Хоть
бы о матери-то подумалъ!.. И безъ того не
сладко живется ей!.. Ну, да пріѣдутъ, такъ все
узнаемъ, круто оборвала Олимпіада Плато-
новна свои размышленія и обратилась къ Ря-
бушкину и Софѣ. — Я васъ, друзья, просила
сюда, чтобы поручить вамъ похлопотать обо
всемъ. Вы, Петръ Ивановичъ, позаботьтесь,
чтобы въ фамильномъ нашемъ склепѣ все
приготовили. Сама я не могу, гдѣ мнѣ тамъ
ковылять! Отыщите тамъ могилу моего отца,
князя Платона Алексѣевича. Рядомъ съ нею

есть мѣсто. Пусть все приготовятъ, какъ слѣдуетъ... Выложить тамъ какъ-то это надо... Отецъ Андрей знаетъ... Присмотрите, чтобы все поскорѣе сдѣлали... Извините, что я навязываю вамъ...

— Да полноте, горячо перебилъ ее Петръ Ивановичъ, слыша въ ея голосѣ слезы. — Сдѣлаю все, устрою, только вы сами-то не волнуйтесь... на васъ лица нѣтъ!..

— Пожалуйста, голубчикъ, пожалуйста! проговорила Олимпіада Платоновна, пожимая ему руку. — Вѣроятно, скоро привезутъ... И ты, Софья, похлопочи, чтобы спальню для княгини провѣтрить... Для прислуги тоже... Ахъ, Господи, Госоподи, вотъ то не думала...

Только теперь горе начало вполнѣ захватывать сердце Олимпіады Платоновны. Она уже не могла владѣть собой и слезы сами собою текли по ея лицу.

— Вѣдь какой былъ славный мальчикъ! проговорила она. — Вотъ, какъ Женю, его любила я...

И вдругъ она обратилась къ Петру Ивановичу.

— Берегите, другъ мой, Женю, внушайте

ему честныя, хорошія правила, чтобы онъ не былъ похожъ на этихъ...

Она опять круто оборвала рѣчь и, стараясь подавить душившія ея слезы, торопливо проговорила:

— Ну, такъ хлопчите за меня, калѣку!..

Она была жалка. Грустная вѣсть страшно потрясла ее. Ей вспомнилось теперь многое изъ прошлаго. Еще такъ недавно ея сердцу былъ нанесенъ ударъ, когда она вполнѣ увидала нравственное паденіе, нравственную испорченность Владиміра Аркадьевича. Когда-то она любила и его, возлагала надежды и на его будущее. Не рѣдко тревожили ее думы объ участи дѣтей Владиміра Аркадьевича, брошенныхъ вполнѣ на ея попеченіе. Теперь новая неожиданная утрата близкаго и дорогого существа тяжело отозвалась въ ея сердцѣ и снова поднялись въ ея головѣ думы о дѣтяхъ Хрюмина. Удастся-ли ей приготовить эти дѣтямъ болѣе счастливую будущность? Удастся-ли ей сдѣлать изъ нихъ такихъ людей, которые не падали бы нравственно и не ставили бы на карту и жизнь, и честь изъ-за какихъ-нибудь пустяковъ? Какъ ихъ воспи-

тывать? Къ чему подготовлять? Проживетъ-ли она до той поры, когда они встанутъ на ноги и не будутъ нуждаться въ опорѣ? Всѣ эти мысли, всѣ эти вопросы проходили въ ея головѣ и на нихъ не находилось отвѣта. Старуха пережила нѣсколько тяжелыхъ дней, а впереди ей предстояли еще болѣе невеселые дни, встрѣча съ княгиней Марьей Всеволодовой Дикаго, похоронная церемонія...

Въ одинъ изъ знойныхъ лѣтнихъ дней коляска, посланная встрѣтить княгиню Марью Всеволодовну Дикаго, вернулась обратно къ барскому дому въ Сансуси. Изъ экипажа вышла высокая и стройная женщина вся въ черномъ и едва она успѣла ступить на крыльцо, какъ послышался голосъ Олимпіады Платоновны:

— Marie!

— Olympe! отвѣтила пріѣзжая и обѣ родственницы заключили другъ друга въ горячихъ объятіяхъ.

Онѣ долго безмолвно плакали.

Онѣ молча прошли черезъ рядъ комнатъ въ кабинетъ Олимпіады Платоновны среди почтительно раскланивавшихся съ пріѣзжею

служъ. Это была княгиня Марья Всеволодовна Дикаго. Ей было лѣтъ сорокъ пять, но она была очень моложава и стройна, какъ дѣвушка. Ея красивое, нѣсколько худощавое лицо было блѣдно и немного холодно и строго. Она часто сощуривала большіе близорукіе глаза, что придавало ея лицу выраженіе немного рѣзкой, упорной наблюдательности, точно она хотѣла заглянуть въ душу каждаго встрѣчнаго. Ея граціозныя, неторопливыя и величавыя движенія сразу говорили, что она привыкла къ свѣтскимъ гостинымъ, къ поклоненію людей, къ власти. Только слѣды какого-то утомленія, почти прозрачная блѣдность матоваго лица да двѣ три морщинки около глазъ клали на ея лицо отпечатокъ грусти, душевнаго горя.

— Ты устала?.. Хочешь отдохнуть, переодѣться? спросила ее Олимпіада Платоновна, когда онѣ вошли въ кабинетъ.

— Нѣтъ... то есть устала, но не буду ни переодѣваться, ни отдыхать теперь, отвѣтила мягкимъ и ровнымъ голосомъ Марья Всеволодовна. — Позволь посидѣть немного съ тобою, покуда тамъ у меня все приготовятъ...

вынуть вещи... Я въ послѣднее время хожу и говорю точно во снѣ, закончила она, проведя блѣдною тонкою рукою по лбу.

Объ женщины сѣли.

— Привезли его? спросила княгиня.

— Нѣтъ еще, отвѣтила Олимпіада Платоновна.

— Значить сегодня вечеромъ или завтра утромъ, проговорила со вздохомъ княгиня.

Она задумалась.

— Ты много выстрадала, съ участіемъ сказала Олимпіада Платоновна и пожалала ея руку.

— Да, да... тихо отвѣтила княгиня и вдругъ подняла голову и взглянула прямо на Олимпіаду Платоновну. — Знаешь, Олупре, я иногда не вѣрю, что можно было все это вынести, все перестрадать и ни разу не сбросить маски, ни разу не проговориться... Ты помнишь меня, когда я была еще почти дѣвочкой, веселой вертушкой на свѣтскихъ балахъ, наивной и безпечной болтуньей... Думала-ли ты тогда, что я съумѣю что-нибудь перенести безмолвно, безропотно?..

Олимпіада Платоновна тихо проговорила:

— Ты всегда была сдержанна...

— Да, да, въ этомъ была моя сила, отвѣтила княгиня. — Но если-бы кто зналъ, чего стоила мнѣ эта сдержанность!.. О, это все какой-то страшный сонъ!..

— Прости меня, что я спрашиваю... проговорила Олимпіада Платоновна. — Но эта смерть... Что за причина...

Княгиня приподняла руку, какъ-бы призывая небо въ свидѣтели своего горя, и проговорила:

— Только Богъ знаетъ, какъ я перенесла этотъ неожиданный ударъ... Ты знаешь, Nicolas былъ за-границей со мною... У меня тамъ пропали бриліанты, я дала знать полиціи, ничего не нашлось и дѣло, казалось, забылось... Вдругъ на одномъ вечерѣ... знаешь, «эти вечера молодежи съ дамами полусвѣта, съ опьяненіемъ... къ Nicolas подошелъ одинъ изъ присутствующихъ со словами: „Я понимаю, что можно отбивать любовницъ, но я не понимаю, какъ можно на содержанье этихъ женщинъ воровать...“ Онъ не успѣлъ кончить, какъ Nicolas ударилъ его въ лицо... Ты знаешь конецъ...

Княгиня на минуту смолкла. Олимпиада Платоновна боялась спросить, былъ-ли чистъ или былъ виноватъ ея племянникъ. Старухѣ было страшно тяжело думать, что еще одинъ изъ членовъ ихъ семьи наложилъ пятно на ихъ имя. Княгиня заговорила первая:

— О, какіе страшные дни пережила я, когда ко мнѣ привезли умирающаго Nicolas, когда мелкія газеты раскрыли истинную причину дуэли, когда Nicolas сознался во всемъ мнѣ... Я тотчасъ же поспѣшила возстановить его честь; я отослала одного изъ нашихъ слугъ въ Россію; я заявила полиціи, что онъ оставилъ письменное сознание въ сдѣланной имъ кражѣ; я потребовала огласки этого дѣла... Я просто думала, что я сойду съума... а потомъ мученія, смерть Nicolas...

Княгиня вздрогнула и на минуту закрыла глаза рукою, точно стараясь не видѣть представлявшіяся ей картины.

— Страдалица! вырвалось, какъ вздохъ, восклицаніе изъ груди Олимпиады Платоновны.

Бѣдная старуха едва сдерживала и глотала слезы. Она ясно представляла себѣ всѣ муки,

пережитыя женою ея брата, этою гордою женщиною, дорожившею фамильною честью, этою любящею матерью, заботившеюся неусыпно о дѣтяхъ. Но она была-бы потрясена еще болѣе, если-бы княгиня рассказала ей, какъ горько, какъ желчно осыпалъ ее передъ смертью упреками сынъ, винившій ее, свою мать, въ своей гибели! Княгиня не упомянула объ этомъ обстоятельстве, хотя именно оно-то и могло переполнить чашу ея страданій.

Наступило продолжительное тяжелое молчаніе:

— Что Алексѣй? тихо спросила наконецъ Олимпіада Платоновна про брата.

— О, все то же, все то же! отвѣтила княгиня и по ея лицу скользнула едва замѣтная горькая усмѣшка. — Развѣ онъ можетъ измѣниться!..

— Но этотъ случай... эта потеря... это должно было хоть на время заставить его задуматься, очнуться, сказала Олимпіада Платоновна.

Княгиня пожала плечами и сощурила свои глаза, взглянувъ на княжну.

— Ты видишь, его здѣсь нѣтъ... я одна,

отвѣтила она съ горечьюю.

— Но, можетъ быть, дѣла, начала было Олимпіада Платоновна.

— Дѣла! дѣла! перебила ее тѣмъ-же тономъ княгиня. — Дѣла, это значить — ему приказано присутствовать на какомъ-нибудь пикникѣ или на балу у Горовой... Усталость, это значить, что онъ провелъ нѣсколько дней подъ рядъ среди безумныхъ оргій... Недостатокъ средствъ, это значить, что онъ долженъ былъ купить новыхъ рысаковъ, новые брилліанты ей... О, это вѣчно все тоже и тоже!..

Наступило снова тяжелое молчаніе.

— Ты понимаешь, тутъ не можетъ быть уже и рѣчи о чувствѣ обманутой любви, о тайной ревности, о погибшихъ надеждахъ на семейное счастье, холодно продолжала княгиня. — Богъ мой, это все такъ давно умерло, такъ давно похоронилось! Но я не хочу быть предметомъ сожалѣнія для свѣтскихъ болтуновъ, я хочу спасти своихъ дѣтей отъ слуховъ объ ихъ отцѣ, я хочу спасти этихъ дѣтей отъ раззоренія... И вотъ я лгу, притворяюсь счастливой, разыгрывая идилію супружескаго счастья; я лгу, стараясь, чтобы дѣти уважали его,

говоря имъ о его достоинствахъ... Богъ видитъ, что эта ложь вызвана не прихотью!.. Но этого мало: никто не знаетъ, какія сцены приходится мнѣ переживать, чтобы отстоять каждый грошъ, который хотятъ бросить къ ногамъ этой женщины, отнявъ его у своихъ собственныхъ дѣтей!..

— Я думала, что онъ давно забылъ ее, сказала Олимпіада Платоновна.

На мгновенье глаза княгини вспыхнули зловѣщимъ огонькомъ и тотчасъ-же снова сдѣлались спокойными и холодными.

— О, онъ ее не забудетъ! Эти женщины умѣютъ напомнить о себѣ! проговорила она съ презрѣніемъ. — Она даже стремится напоминать о себѣ и мнѣ: она стала ѣздить въ ту же церковь, куда ѣзжу я съ дѣтьми; она становится на клиросъ противъ меня! Она заставила его абонировать ложу въ оперѣ, въ одинъ абонементъ со мною, въ одномъ ярусѣ со мною! Но Боже мой, мнѣ такъ жаль это погубленное имъ созданіе! Что будетъ съ ея несчастными дѣтьми, когда она проживетъ все? Что будетъ съ нею, если онъ ее броситъ? Въдь у нея нѣтъ не только честнаго имени, но

даже средствъ, такъ какъ она безумно тратитъ все, что беретъ съ него! Это страшная будущность!

Княгиня проговорила послѣднюю фразу тономъ такого искренняго состраданія, что онъ поразилъ даже Олимпіаду Платоновну, давно уже привыкшую ко всѣмъ добродѣтелямъ княгини Маріи Всеволодовны.

— И ты еще находишь силы жалѣть ее, проговорила Олимпіада Платоновна, — ее, отравившую всю твою жизнь!..

— Полно, Олупре! Развѣ она виновата? тихо сказала. Марья Всеволодовна. — Дочь какой-то солдатки, полубезграмотное существо, выросшее на мостовой, въ подвалѣ, въ грязи, презираемая всѣми въ дѣтствѣ, нищая, развѣ она слышала что-нибудь о нравственности, о христіанскихъ добродѣтеляхъ?

— Да, да... конечно... но все-же я на твоемъ мѣстѣ... Нѣтъ, я не могла-бы ни простить, ни примириться, сказала Олимпіада Платоновна.

Олимпіада Платоновна искренне удивлялась княгинѣ. Она, какъ мы знаемъ, не щадила никого и относилась критически ко всѣмъ,

но была одна личность, которая внушала ей что-то похожее на подобострастное удивленіе. Эта личность была жена ея брата, княгиня Марья Всеволодовна Дикаго.

Князя Алексѣя Платоновича Дикаго Олимпіада Платоновна знала давно за легкомысленнаго старца. Положеніе въ свѣтъ, вины, важныя обязанности, преклонные годы, многочисленная семья, ничто не могло исправить этого человѣка. Это былъ „сѣдоволосый вертопрахъ“, какъ называла его Олимпіада Платоновна. „О, во мнѣ такъ много жизни!“ говорилъ онъ самъ про себя. И дѣйствительно: выходки гамэна, кутежи записнаго *petit-crévé*, интриги отъявленнаго ловеласа, легкомысліе юнаго проказника — все это укладывалось въ этой сѣдой головѣ важнаго барина. Про жизнь стараго повѣсы ходили самые невообразимые анекдоты: онъ пѣлъ и танцевалъ, какъ мальчишка, на какихъ-то пикникахъ; онъ, какъ влюбленный юноша, самъ одѣвалъ въ театральную уборную свою фаворитку Гореву; онъ, съ задоромъ молодого фата, отбивалъ у юношей ихъ любовницъ; онъ, наконецъ, слылъ за человѣка, который

ни въ чемъ не можетъ отказать молодой хорошенькой женщинѣ и нѣкоторыя молодыя хорошенькія женщины боялись даже обращаться къ нему съ какими-бы то ни было просьбами, зная, какую цѣною нерѣдко нужно платить за исполненіе этихъ просьбъ. Должно быть, именно вслѣдствіе этой жизни и на самой физіономіи князя Алексѣя Платоновича лежалъ особый отпечатокъ: какъ ни старался иногда князь смотрѣть строго и величественно, его лицо все-таки оставалось пухленькимъ, розовенькимъ лицомъ херувима съ масляными глазами, съ мягкой, почти женской улыбкой; его разговоръ послѣ десяти фразъ сбивался на легкомысленные намеки, на скабрзные анекдоты, на звонкій смѣхъ; его манеры при малѣйшемъ увлеченіи дѣлались слишкомъ подвижными, слишкомъ оживленными, слишкомъ напоминающими, что эти ноги привыкли давно къ танцамъ, а эти руки лучше всего умѣютъ обнимать женскія тальи и высоко поднимать бокалы съ шампанскимъ.

— Ваh! живутъ только одинъ разъ! легкомысленно отвѣчалъ онъ на всѣ замѣчанія же-

ны и старался, какъ школьникъ, съ лукавой улыбкой, повертываясь съ юношеской быстротой на каблукахъ, пускаться отъ нея въ бѣгство.

А замѣчанія ея были часты, рѣзки, безпощадны, хотя они всегда дѣлались наединѣ. Жену не могло не возмущать такое поведеніе мужа; жена такого мужа непременно должна была быть страдальцей. Княгиня Марья Всеволодовна и была страдальцей, но страдальцей крайне своеобразной, внушавшей удивленіе всѣмъ ее знавшимъ. Княгиня Марья Всеволодовна была всегда живымъ воплощеніемъ чувства долга и такта. О чувствѣ долга и такта натвердили ей съ пеленъ, когда ей говорили, что это чувство заставляетъ помогать бѣднымъ, держать себя порядочно и прилично, скрывать свои сердечные порывы, не жаловаться ни на что и ни на кого, повиноваться отцу и матери, стараться сдѣлаться хорошей женой и хорошей матерью. Ей говорили, что она, какъ женщина, должна руководствоваться именно этими правилами, что этого требуетъ отъ нея и ея положеніе въ обществѣ, что въ этомъ заклю-

чаются и высшія христіанскія добродѣтели. Эти правила стѣсняли всякія движенія ея сердца, какъ корсетъ стѣснялъ правильное развитіе ея тѣла. Неизвѣстно, плакала-ли она въ своей спальнѣ, въ ночномъ уединеніи, когда сердце билось сильнѣе въ груди и это біеніе нужно было подавлять ради чувства долга и такта; извѣстно только то, что мало по малу она привыкла къ этимъ нравственнымъ колодкамъ, какъ ея талья привыкла къ туго стянутому корсету. Съ теченіемъ времени она даже начала внутренне гордиться собой и испытывать чувство блаженнаго наслажденія, когда ей удавалось въ трудныхъ случаяхъ жизни сохранить чувство долга и такта. Въ этихъ случаяхъ она походила на бойца, одержавшаго трудную побѣду, на изобрѣтателя, разрѣшившаго тяжелую задачу. А жизнь ея сложилась именно такъ, что этихъ прискорбныхъ случаевъ выпало на ея долю не мало. Съ первыхъ-же дней замужества она стала лицомъ къ лицу съ измѣнами мужа, съ толками о его шаловливыхъ интрижкахъ, о его кутежахъ. Чувство ревности, страхъ за проматываемое благосостояніе,

сознаніе, что дѣти могутъ узнать о продѣлкахъ отца и семейной неурядицѣ, все это должно было волновать ея кровь, выводить ее изъ терпѣнія, затруднять сохраненіе чувства долга и такта. И вотъ на сохраненіе этого чувства ушли всѣ ея силы: она употребляла всѣ усилія, чтобы только казаться спокойною и счастливою, чтобы выгораживать мужа въ глазахъ общества, чтобы незамѣтно охранять имущественные интересы семьи, чтобы внушать дѣтямъ уваженіе къ отцу и убѣжденіе, что въ домѣ царствуетъ миръ. Даже самые служебные успѣхи ея мужа зависѣли отчасти отъ ея такта: она руководила имъ въ его служебныхъ дѣлахъ, она поддерживала нужныя ему связи, она выгораживала его, гдѣ можно. Она, спасая благосостояніе дѣтей, заставила мужа перевести на ея имя всѣ его капиталы, всѣ его имѣнія. Она довела его, наконецъ, до того, что онъ сталъ бояться ее, что онъ потуплялъ глаза и опускалъ голову передъ холоднымъ взглядомъ ея сощуренныхъ глазъ, что онъ не смѣлъ переступить порога ея спальни. Она такъ увлеклась этимъ дѣломъ, такъ гордилась

своей силой въ этой борьбѣ, такъ горячо вѣрила, что она совершаетъ великій подвигъ честной женщины, честной жены, честной матери, что, можетъ быть, она почувствовала бы себя даже несчастной, если бы вдругъ все пошло гладко и ровно, если бы у нея внезапно не стало поводовъ удивляться самой себѣ и вызывать удивленіе другихъ своимъ подвижничествомъ: „Святая женщина“, „безропотная страдальца“, „личность съ замѣчательнымъ тактомъ“, говорили про нее въ свѣтъ люди, не знавшіе и половины того, что она „перестрадала“. Она не считала согласнымъ съ чувствомъ долга и такта рассказывать о своихъ страданіяхъ и дѣлала исключенія только для архимандрита Арсенія и для Олимпіады Платоновны. Эти люди знали все, что переживала она, и ихъ благоговѣнію передъ ней не было предѣловъ. Еще бы! Передъ ними княгиня Марья Всеволодовна не только не скрывала своихъ страданій, но даже стремилась изображать эти страданія самыми яркими красками, вознаграждая себя за невольное молчаніе передъ другими личностями. Говорить о своихъ

страданіяхъ, громко заявитъ о размѣрахъ своего подвижничества, насладиться удивленіемъ слушателей, — о это, было такъ сладко ей! Особенно любила она говорить съ Олимпіадой Платоновной, составлявшей такую рѣзкую противоположность съ ней и потому выслушивавшую все съ полнымъ благоговѣніемъ. Олимпіада Платоновна не понимала, какъ можно прославлять вездѣ вѣчно измѣнявшаго мужа, какъ можно сожалѣть его любовницъ, какъ можно являться съ спокойнымъ и сіявшимъ счастіемъ лицомъ, когда на душѣ „кошки скребутъ“. Она, Олимпіада Платоновна, давно бы сдѣлала въ подобномъ положеніи тысячи сценъ, тысячи безтактностей, тысячи грубыхъ, вульгарныхъ выходокъ и, наконецъ, она просто бросила бы мужа или умерла бы съ горя. Когда она удивлялась, какъ можетъ все это выносить княгиня Марья Всеволодовна, — послѣдняя скромно и благоговѣйно замѣчала:

— Оупре, я христіанка!

О, Олимпіада Платоновна никогда не смѣла сдѣлать подобнаго признанія! Про нее

столько разъ говорили, что она „какая-то волтерьянка!“ Сознавая свой грѣхъ, она смиренно преклонялась передъ княгиней Марьей Всеволодовной и считала ее единственнымъ человѣкомъ, который стоитъ неизмѣримо выше ея, Олимпіады Платоновны, не понимавшей „блаженства страданія“, возможности идти съ улыбающимся лицомъ на растерзаніе ко львамъ, способности пѣть ликующія пѣсни въ горячей печкѣ. А княгиня Марья Всеволодовна понимала все это.

Въ настоящую минуту кромѣ обыкновеннаго благоговѣнія къ этой высокой личности Олимпіада Платоновна чувствовала къ княгинѣ Марьѣ Всеволодовнѣ состраданіе, какъ къ матери, потерявшей старшаго сына, и слушала ее не прерывая, старалась выказать заботливость, стремилась хотя отчасти облегчить ея скорбь ласкою и привѣтомъ. Эта скорбь, какъ казалось Олимпіадѣ Платоновнѣ, была тѣмъ тяжелѣе, что Марья Всеволодовна по своему обыкновенію старалась не жаловаться, не плакать, „не отравлять своимъ горемъ чужой жизни“, какъ выражалась сама княгиня.

И дѣйствительно, княгиня, не смотря на свою тяжелую утрату, была со всѣми снисходительно привѣтлива, нашла для всѣхъ любезные вопросы, протянула Софѣ для поцѣлуя свою руку и спросила ее о здоровьѣ, о какой-то родственницѣ Софьи; она поцѣловала въ щеку миссъ Ольдкопъ и спросила ее, не скучаетъ-ли она въ деревнѣ; она приласкала дѣтей, поцѣловала ихъ головки, и замѣтила Олимпіадѣ Платоновнѣ: „Ils sont charmants“. Вечеромъ она даже сдѣлала свое замѣчаніе Олимпіадѣ Платоновнѣ на счетъ того, что напрасно дѣти находятся въ кругу взрослыхъ.

— Это очень вредно вліяетъ на дѣтей, говорила она. — Они преждевременно перестаютъ быть дѣтьми, они приучаются резонерствовать. Наконецъ, они многое узнаютъ, что дѣлаютъ и говорятъ взрослые и чего они не должны бы знать.

— А я думаю, что это только заставляетъ взрослыхъ не дѣлать и не говорить ничего такого, чего не должны бы знать дѣти, отвѣтила Олимпіада Платоновна. — Наконецъ, имъ было бы очень скучно однимъ.

— Но при нихъ миссъ Ольдкопъ и учитель, замѣтила Марья Всеволодовна.

— Я немножко эгоистка, Marie, сказала Олимпіада Платоновна. — Если-бы миссъ Ольдкопъ и Петръ Ивановичъ проводили вечера съ дѣтьми, мнѣ пришлось-бы сидѣть одной...

— О, я не говорю, что ихъ нужно удалять, когда никого нѣтъ, сказала княгиня. — Но ты говоришь, что дѣти всегда находятся здѣсь въ свободное время... этого не слѣдуетъ допускать для ихъ-же пользы... Годы дѣтства должны быть годами воспитанія, постояннаго наблюденія, постоянныхъ заботъ воспитателей и учителей... Ты говоришь, что присутствіе дѣтей среди взрослыхъ заставляеть взрослыхъ остерегаться, сдерживаться... Но развѣ ты заставишь всѣхъ своихъ посѣтителей поступать именно такъ? Развѣ, наконецъ, дѣти не наслушаются вообще пустыхъ толковъ, невѣрныхъ сужденій, дикихъ мнѣній?..

Олимпіада Платоновна замѣтила, какъ-бы въ оправданіе себѣ, что Евгений, впрочемъ, почти и не сидитъ по вечерамъ среди взрос-

лыхъ, а читаетъ въ бібліотекѣ.

— Развѣ тамъ есть, книги для дѣтей? спросила княгиня.

— Онъ читаетъ и перечитываетъ Донъ-Кихота, отвѣтила Олимпіада Платонова.

— Онъ? Донъ-Кихота? съ изумленіемъ спросила княгиня. — Но развѣ можно давать эту книгу ребенку? Сумасбродныя похожденія сумасшедшаго авантюриста и вульгарныя сцены его пошлаго слуги! Какое представленіе составитъ онъ объ обществѣ, о долгѣ чловѣка, объ общественной дѣятельности...

— Но это великое произведеніе, замѣтила Олимпіада Платоновна.

— Ты, конечно, считаешь и Вольтера великимъ писателемъ, однако, вѣроятно, не дашь мальчику въ руки „Философскаго словаря“, сказала княгиня. — Есть великіе люди, есть великія произведенія, но такіе, съ которыми можно знакомиться только въ зрѣломъ возрастѣ, а не въ годы дѣтства.

Затѣмъ княгиня напала говорить, какъ трудно воспитывать дѣтей вообще. Она передала, какъ она слѣдитъ за каждымъ шагомъ

своихъ дѣтей, какъ она просматриваетъ каждую попадающую имъ въ руки книгу, какъ она повѣряетъ гувернантку и учителей, какъ она справляется о всѣхъ мелочахъ жизни тѣхъ изъ своихъ дѣтей, которыя уже кончаютъ курсъ въ пансіонѣ. Она со вздохомъ вспомнила о покойномъ Nicolas, котораго она не могла воспитывать подъ своимъ непосредственнымъ наблюденіемъ, чему она и приписываетъ многія ошибки, сгубившія этого юношу.

Княгиня коснулась вопроса о дѣтяхъ не случайно и, не смотря на свое горе, не забыла о нихъ. Она вообще имѣла способность въ минуты самыхъ тяжелыхъ личныхъ невзгодъ не забывать о ближнихъ. Когда она мучилась и терзалась у постели умирающаго сына, она не забывала вести переписку по дѣламъ того благотворительнаго общества, гдѣ она состояла предсѣдательницей; „на чужихъ людяхъ не должны отзываться мои личныя страданія“, говорила она. И теперь ее заботила судьба племянника и племянницы ея мужа; она знала, какъ мало педагогическихъ способностей было у Олимпіады Платоновны,

и опасалась за этихъ дѣтей. На другойже день послѣ своего прїѣзда въ Сансуси она перешла къ вопросу, какъ думаетъ Олимпіада Платоновна распорядиться судьбою дѣтей далѣе. Олимпіада Платоновна сказала, что Олю, вѣроятно, придется отдать въ институтъ, а Евгенія... Олимпіада Платоновна еще не рѣшила, куда она его отдастъ оканчивать курсъ. Правовѣдѣніе, лицей, гимназія... нѣтъ, она вовсе еще не знаетъ, куда она потомъ пристроить мальчика. Ей такъ хотѣлось подольше не отдавать дѣтей никуда. Княгиня Марья Всеволодовна начала доказывать всю неосновательность этого желанія. Здѣсь мальчикъ растетъ одинъ, безъ товарищей-сверстниковъ, подъ женскимъ вліяніемъ и подъ вліяніемъ этого...

— Онъ изъ поповичей? вдругъ спросила она про Рябушкина.

Олимпіада Платоновна отвѣтила, что да. Княгиня сказала, что это и замѣтно, что у него „нѣтъ манеръ“.

— Кланяется и встряхиваетъ волосами, какъ гривой... Что-же ты хочешь, чтобы вышло изъ мальчика, который видитъ, какъ дол-

женъ держаться мужчина, только изъ примѣра этого поповича, изъ примѣра прислуги да изъ примѣра мужиковъ?

Она стала говорить о силѣ привычекъ, о значеніи переимчивости. О, дѣти такія обезьянки!

— Ты, Олимпре, конечно, присмотрѣлась къ мальчику, но онъ разговариваетъ и держитъ руки засунутыми за ремень блузы, замѣтила княгиня. Но все это еще не важно, отъ этого онъ отвыкнетъ со временемъ. Важнѣе всего то, что мальчикъ долженъ поскорѣе сблизиться, сдружиться съ дѣтьми „изъ ихъ круга“. Они ему могутъ пригодиться въ будущемъ, онъ долженъ сдѣлаться не чужимъ въ ихъ кругу, онъ долженъ пораньше запасться дружескими связями. Они, эти брошенные родителями дѣти, такъ бѣдны! Кто знаетъ, что ихъ ждетъ впереди! Положимъ, теперь они и счастливы, и не нуждаются ни въ чемъ, но... Княгиня Марья Всеволодовна съ искреннимъ участіемъ сжала руку Олимпиады Платоновны.

— О, мой другъ, еслибы мы могли располагать и жизнью и смертью! проговорила она

съ тяжелымъ вздохомъ.

Олимпиада Платоновна слушала съ опущенною головой эти рѣчи. Ей и самой такъ часто-часто во дни легкихъ недуговъ становилось страшно за будущность дѣтей. Что будетъ съ ними, если она вдругъ умретъ? Съ чѣмъ они останутся? Послѣднія деньги она отдала ихъ отцу. Ея крошечная земляца давно отказана ею по духовному завѣщанію ея бывшимъ крестьянамъ. Положимъ, ради дѣтей можно уничтожить это завѣщаніе и оставить эту землю дѣтямъ. Но много-ли это принесетъ имъ дохода? Этого едва хватитъ на ихъ образованіе. Она нѣсколько разъ толковала обо всемъ этомъ даже съ Петромъ Ивановичемъ. Онъ совѣтовалъ отдать Евгенія въ гимназію; онъ говорилъ, что у иныхъ дѣтей и того нѣтъ, что останется на долю Евгенія; онъ утверждалъ, что только тѣ и выходятъ истинно честными людьми, которые сами пробиваютъ себѣ путь. Но развѣ Петръ Ивановичъ знаетъ жизнь! Онъ живетъ все еще по своимъ книжкамъ! Истинно честными людьми, по его мнѣнію, бываютъ тѣ люди, которые сами пробили себѣ путь? Но не чаще-ли быва-

ють истинными подлецами именно тѣ, которымъ самимъ пришлось пробивать себѣ путь? По этому пути доходить до цѣли одинъ Ломоносовъ и тысячи кулаковъ, міроѣдовъ, откупщиковъ и ростовщиковъ, да и Ломоносовъ, можетъ быть, и былъ бы такъ искалченъ, если бы онъ не прошелъ по этому тяжелому пути...

Всѣ эти думы, мелькавшія уже не разъ въ головѣ Олимпіады Платоновны, теперь поднялись съ новою силою и злобѣщая мысль о приближающейся смерти неотступно тревожила ее. Это было, конечно, простымъ слѣдствіемъ толковъ о покойникѣ, приготовленій къ похоронамъ, ожиданія, когда привезутъ тѣло племянника, но тѣмъ не менѣе это *memento mori* безпокоило и волновало Олимпіаду Платоновну, какъ какое-то пророческое предчувствіе. Она внутренне бранила себя за беззаботность, за то, что не уничтожила и не передѣлала духовнаго завѣщанія, за то, что не пришла ни къ какому серьезному рѣшенію на счетъ будущности дѣтей.

Подъ вліяніемъ этихъ думъ въ ея душѣ от-

зывались какимъ-то упрекомъ серьезныя и ясныя замѣчанія княгини на счетъ воспитанія дѣтей вообще.

— О, воспитаніе дѣтей — это такая сложная и часто непосильная для насъ задача, говорила княгиня. — Тутъ мало одной любви, одного желанія сдѣлать добро. Тутъ нужно знаніе и умѣнье предусмотрѣть и взвѣсить всѣ мелочи. Недостаточно сдѣлать ребенка добрымъ, честнымъ и знающимъ человекомъ, — нужно подготовить ему почву, на которой онъ могъ бы дѣйствовать, нужно ознакомить его съ средой, въ которой онъ будетъ вращаться...

Княгиня вдругъ оборвала эти отвлеченныя разсужденія и обратилась прямо къ положенію Евгенія.

— Ты, Олупре, сдѣлала ошибку, ухавъ съ дѣтьми сюда, сказала она. — Здѣсь дѣти совершенно отрѣзаны отъ того круга, въ которомъ имъ придется жить. Здѣсь подъ вліяніемъ неразборчиваго чтенія и этого семинариста въ нихъ могутъ развиваться совершенно превратныя понятія о жизни. Это можетъ принести имъ въ будущемъ излишнія и бесплод-

ныя страданія...

Подъ вліаніемъ всѣхъ этихъ разсужденій Олимпіада Платоновна совсѣмъ растерялась. Въ, какія-нибудь одни сутки она словно постарѣла и опустилась; на нее было больно смотрѣть, точно тяжелая утрата молодого родственника ближе коснулась ее, чѣмъ его мать. Окружающіе ясно видѣли это и перешоптывались между собою.

— Хотя бы скорѣе все это кончилось! говорила со слезами на глазахъ Софья Петру Ивановичу.

— Да по крайней мѣрѣ и ворона уѣдетъ, грубо отвѣтилъ онъ, хмурия брови.

— Какая ворона? спросила въ недоумѣніи Софья.

— Да ваша блаженная мученица, княгиня Марья Всеволодовна, отвѣтилъ онъ рѣзко.

— Что это вы, батюшка, выдумали такое! съ упрекомъ сказала Софья. — Вы не вздумайте сказать этого Олимпіадѣ Платоновнѣ. Задастъ она вамъ!

— Да какъ же не ворона, горячо отвѣтилъ Рябушкинъ, — только и знаетъ, что каркать... Въдь Олимпіада Платоновна теперь только о

своей смерти и толкуеть... И страшно-то умирать, и надо-то умирать, и не знаешь, когда умрешь!.. Чортъ знаетъ что такое!.. Жили-жили, о живомъ думали, а теперь на-поди сами себѣ отходныя читаемъ.

Онъ сердито плюнулъ.

— Да вѣдь смерть-то не за горами, а за плечами! вздохнула Софья.

— Ну, и вы туда-же! сердито сказалъ учитель. — Чего-жь вы шьете-то, если умирать надо? Такъ и бросьте все, мы, молъ, братцы, умирать задумали!

— Ну, васъ совсѣмъ! улыбнулась Софья при этой выходкѣ учителя. — Выдумаетъ тоже!

— Да что, право, злость беретъ! Ухлопалъ себя одинъ балбесъ, а цѣлый домъ ноетъ, проговорилъ Петръ Ивановичъ. — Да еще погодите, эта ворона какой-нибудь бѣды накаркаетъ.

— Да за что вы ее браните-то? спросила Софья.

— А за то, что идолъ она, идолъ!.. Вы смотрите, какъ она говоритъ, какъ кланяется, какъ ходитъ! Вѣдь такъ и кажется, что хочетъ

сказать: что-жь вы не замѣчаете моей святости! Ладономъ отъ нея пахнетъ!

Долго еще сердился и ругался Петръ Ивановичъ, старавшійся ускользнуть отъ княгини и уводить отъ нея дѣтей. Наконецъ, желанный день приблизился: въ сельскую церковь Сансуси привезли останки князя Николая Алексѣевича Дикаго; начались панихиды, совершилось погребеніе; наступилъ и день отъѣзда княгини Марьи Всеволодовны.

Снисходительно привѣтливая, милостивая ко всѣмъ, она не забыла никого, простилась со всѣми, протянула руку для цѣлованія каждому изъ слугъ, поцѣловала головки дѣтей и на прощаньи напомнила Олимпіадѣ Платоновнѣ:

— Значить до будущаго года? Въ будущемъ году пора отдать Олю въ институтъ. Я хлопочу заранѣе...

Дѣйствительно, Олю пора было уже отдать въ институтъ и этотъ вопросъ былъ рѣшенъ окончательно. Княгиня Марья Всеволодовна, не смотря на свое собственное горе, настоятельно потребовала отъ Олимпіады Платоновны рѣшенія этого вопроса до своего

отъѣзда, говоря, что дѣвочка можетъ „выйдти изъ лѣтъ“ для поступленія въ институтъ, что надо ловить случай и время, покуда еще есть кому хлопотать о ребенкѣ, что играть участью дѣтей ради того, что жаль ихъ отдать изъ дома, есть великій грѣхъ. Олимпіада Платоновна сознавала справедливость всѣхъ этихъ мотивовъ и дала слово привезти черезъ годъ Олю въ Петербургъ. Княгиня уѣхала и всѣмъ стало какъ будто легче, хотя никто не рѣшался этого высказать, когда всѣ снова по старому сошлись вечеромъ въ кружокъ въ кабинетѣ Олимпіады Платоновны. Только Петръ Ивановичъ, взявъ книгу, чтобы продолжать прерванное этими событіями чтеніе, проворчалъ:

— Я даже и забылъ на чемъ мы остановились наканунѣ этого кошмара...

И опять полетѣли дни за днями — дни замкнутой однообразной деревенской жизни, похожіе одинъ на другой, какъ двѣ капли воды. Такіе дни люди переживаютъ, вовсе не замѣчая переменъ въ самихъ себѣ, въ своихъ отношеніяхъ, въ своей обстановкѣ, и ихъ не мало удивляетъ, когда кто-нибудь, давно не видавшій ихъ, скажетъ имъ: «о, какъ вы поздоровѣли! какъ выросли ваши дѣтки». Они глядятъ на себя въ зеркало, глядятъ на своихъ дѣтей и удивляются, какъ это они до сихъ поръ сами не замѣтили и того, что они сами пополнѣли, и того, что ихъ дѣти выросли. Такіе дни переживалъ и семейный кружокъ княжны Олимпіады Платоновны, вовсе не замѣчая происходившихъ въ его членахъ переменъ, и ему казалось, что онъ словно вчера только перебрался въ деревню. А время между тѣмъ летѣло и летѣло надъ нимъ, дѣлая свое дѣло, и старое старилось, молодое росло. Здѣсь жилось такъ тихо, такъ хорошо, что всѣ какъ будто старались умышленно обмануть себя, увѣрить себя, что такъ можно

прожить еще годы и годы, вдали отъ житейскихъ дрязгъ и тревоженій. Только Олимпіада Платоновна во дни легкихъ недуговъ нахмуривала свои брови, задумываясь объ участи дѣтей. Нельзя же вѣчно держать ихъ въ деревнѣ, нельзя же продолжать ихъ отчужденіе отъ общества, нельзя же ограничить ихъ образованіе тѣмъ домашнимъ образованіемъ, которое можно было дать имъ въ деревнѣ. Эти думы вызывали въ душѣ старухи какую-то неопредѣленную, смутную тревогу. Иногда княжнѣ казалось, что она сдѣлала сторяча непростительную ошибку, вырвавъ дѣтей изъ общества, хотя въ то же время она старалась оправдать себя, говоря, что иначе нельзя было поступить: этого требовало здоровье дѣтей, необходимость сократить расходы, потребность избавить дѣтей отъ встрѣчъ съ отцемъ и матерью. Порой при воспоминаніи объ отцѣ и матери этихъ дѣтей ей становилось жутко, когда она спрашивала себя: а легко-ли отзовется на дѣтяхъ встрѣча съ родителями теперь, когда эти дѣти понимаютъ больше, когда ихъ можетъ поразить то, что ускользнуло-бы отъ ихъ вниманія то-

гда? Бывали минуты, когда она была готова рѣшиться не ѣхать въ Петербургъ, поселиться въ Москвѣ, отдать дѣтей тамъ въ училища, чтобы только спасти дѣтей отъ всякихъ случайныхъ встрѣчъ съ отцемъ и матерью, отъ слуховъ объ этихъ людяхъ. Но развѣ можно вполнѣ застраховать ихъ отъ этихъ случайностей? Развѣ можно надѣяться вполнѣ на то, что она доживетъ до окончанія ихъ образованія и успеетъ поставить ихъ на ноги? Не слѣдуетъ ли прежде всего сблизить ихъ съ ихъ родней, найдти имъ среди этой родни защитниковъ и покровителей, открыть имъ широкій путь при помощи этой родни? Всѣ эти вопросы, пробуждавшіе въ душѣ княжны и упреки, и страхъ, и уныніе, мучили Олимпіаду Платоновну теперь все чаще и чаще и въ концѣ концовъ она постоянно приходила къ одному и тому же заключенію, что всему виной тутъ ложность положенія этихъ дѣтей. Эти тревоги становились тѣмъ сильнѣе, чѣмъ чаще, чѣмъ подробнѣе писала о дѣтяхъ княгиня Марья Всеволодовна сестрѣ своего мужа. Она вдругъ вся прониклась желаніемъ «спасти» этихъ дѣтей, доставить

имъ «положеніе въ обществѣ», обезпечить ихъ будущность. Она писала Олимпіадѣ Платоновнѣ, что именно теперь, когда у нея погибъ старшій сынъ, она вполнѣ ясно поняла всю святость обязанности матери и воспитательницы, что она въ память этого погибшаго юноши дала себѣ слово не только заботиться о своихъ дѣтяхъ, но и содѣйствовать, гдѣ только возможно, спасенію чужихъ дѣтей. Она много распространялась «о нравственной неустойчивости нашей молодежи», «о несистематичности нашего воспитанія», «о вредномъ вліяніи непризванныхъ воспитателей», «о серьезномъ направленіи въ дѣль воспитанія». При этомъ она постоянно прибавляла: «О, еслибы ты знала, Олимпре, какъ я боюсь за твоихъ маленькихъ дикарей!» Этотъ припѣвъ повторялся такъ часто, что и сама Олимпіада Платоновна начала не на шутку опасаться за участь «этихъ маленькихъ дикарей»...

А время все летѣло и летѣло впередъ...

Еще одна зима смѣнилась лѣтомъ...

Въ одинъ изъ ясныхъ дней все женское общество барскаго дома въ Сансуси собралось

въ столовой къ завтраку и Олимпіада Платоновна уже начала беспокоиться, куда пропали Петръ Ивановичъ и Евгеній, когда мимо окна столовой мелькнули ихъ фигуры верхомъ на взмыленныхъ лошадяхъ. Черезъ мину-ту Евгеній уже появился въ комнатѣ.

— Нѣтъ, ma tante, съ Петромъ Ивановичемъ невозможно ѣздить! весело заговорилъ онъ. — Онъ никогда не научится ѣздить верхомъ!

— Да у меня это наслѣдственное неумѣнье ѣздить верхомъ, со смѣхомъ замѣтилъ Петръ Ивановичъ, появляясь тоже въ столовую. — Хорошо какъ у васъ воѣ предки наѣздниками были, а мои отцы-дьяконы, можетъ быть, никогда и близко-то къ лошади не подходили...

— Однако, и ты не очень наѣздничай, еще свалишься когда-нибудь, замѣтила Олимпіада Платоновна Евгенію.

— Я? Свалюсь? воскликнулъ Евгеній. — Да развѣ я маленькій, ma tante?

Княжна Олимпіада Платоновна ласково улыбнулась и замѣтила со вздохомъ:

— Да, да не маленькій! Это и посторонніе замѣчаютъ. Вотъ и княгина Марья Всеволо-

довна объ этомъ напоминаеть...

— Посланіе, вѣрно, отъ ея сіятельства опять получили? спросилъ учитель, зорко взглянувъ на княжну и покачавъ головою при видѣ невеселаго выраженія ея лица.

— Да, отвѣтила княжна. — Княгиня напомнила, что скоро намъ надо подниматься въ путь изъ своего гнѣздышка.

Петръ Ивановичъ поморщился.

— Грустно, а дѣлать нечего, проговорила Олимпіада Платоновна. — Княгиня была такъ добра, что похлопотала объ опредѣленіи Оли въ институтъ. Дѣйствительно, дѣвочка можетъ изъ лѣтъ выйдти для поступленія въ институтъ. Надо и Евгенія пристроить. Тоже самъ говоритъ, что не маленькій...

Олимпіада Платоновна съ любовью смотрѣла на Евгенія грустными глазами. Онъ, точно, сильно возмужалъ и выросъ за послѣднее время. Это былъ уже не тотъ слабенькій и худенькій ребенокъ, которому Софья рассказывала по вечерамъ сказки про «Гусей-лебедей», про «Лягушку-царевну». Онъ былъ ростомъ съ Петра Ивановича. Его стройная фигура вполнѣ сформировалась. Его по-

крытое загаромъ розовое лицо изъ подъ густыхъ, беспорядочно вившихся и подавшихся на лобъ волосъ дышало свѣжестью и здоровьемъ. Видно было, что гимнастика, верховая ѣзда, прогулки на охоту, деревенскій воздухъ, сдѣлали свое дѣло. Это былъ одинъ изъ тѣхъ выкормленныхъ, здоровыхъ и сильныхъ барчуковъ, какіе развиваются только въ довольствѣ, на свободѣ, въ деревнѣ.

— Княгиня пишетъ, что пора познакомить дѣтей съ жизнью, ввести ихъ въ ихъ кругъ, сблизить ихъ съ ихъ сверстниками-родными, замѣтила Олимпіада Платоновна, — и она права... Она даже упрекаетъ меня, что я не сдѣлала этого раньше, и, можетъ быть, упрекаетъ не безъ основанія. Я думаю, и вы, Петръ Ивановичъ, согласны, что нельзя-же вѣчно такъ жить, внѣ общества?

Трудно было-бы рѣшить, что было-бы больше по душѣ Олимпіадѣ Платоновнѣ — отрицательный или утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Она, можетъ быть, была-бы очень рада, если-бы Рябушкинъ заспорилъ и доказалъ ей, что уѣзжать вовсе не нужно, что можно и здѣсь жить. Но Петръ Ивановичъ не

спорилъ.

— Кто объ этомъ говоритъ! сказалъ онъ. — Хочешь научиться плавать, такъ бросайся въ воду...

— Грустно, только-то, что не знаешь впередъ, дѣйствительно-ли научишься плавать, бросившись въ воду, въ раздумьи сказала Олимпіада Платоновна.

— Бываетъ тоже, что, какъ камень, ко дну пойдешь, замѣтилъ учитель. — Ну, да вѣдь всю жизнь нельзя такъ прожить, значить, и толковать нечего. Страшно, не страшно, а полѣзай въ омутъ, если внѣ его жить нельзя.. Впрочемъ, что же это мы на плаксивый ладъ настроиваемся! вдругъ перемѣнилъ онъ тонъ. — Это оттого, что жили-жили вмѣстѣ, а вотъ теперь разъѣдемся... Нѣтъ, дѣйствительно, зажились мы въ своемъ за-тишьѣ, пора и на жизнь взглянуть...

— И вѣдь какъ быстро пролетѣли эти четыре года! со вздохомъ сказала княжна. — Иногда мнѣ кажется, что мы чуть ли не вчера прибыли сюда въ своемъ ковчегѣ...

— О, счастливые дни никогда не замѣчаются, сантиментально сказала миссъ

Ольдкопъ.

— Да, вотъ также, какъ не замѣчаешь своихъ рукъ и ногъ, покуда онѣ не изволятъ заболѣть да зануть, съ улыбкой сказалъ Петръ Ивановичъ

Ему хотѣлось придать бесѣдѣ шутливый тонъ, но это у него не вышло и все общество окончило завтракъ въ невеселомъ настроеніи. Всѣмъ было тяжело сознавать, что волей-неволей имъ придется скоро подняться съ насиженнаго гнѣзда, гдѣ жилось такъ хорошо, такъ мирно. Всѣ чувствовали, что эта жизнь должна скоро кончиться и кончиться навсегда, безвозвратно. Послѣ завтрака у Петра Ивановича и Евгенія были учебныя занятія. Но Евгеній замѣтилъ Петру Ивановичу:

— Жарко и душно сегодня, Петръ Ивановичъ...

— Что-жь, пойдѣмте бродить по парку, сказалъ Петръ Ивановичъ, угадавъ сразу, что Евгенію не до занятій.

— Да... Вамъ вѣдь тоже не до книгъ, проговорилъ Евгеній.

Они вышли изъ дома на завѣтную дорогу.

Это была большая алея, тянувшаяся через весь паркъ, старый, густой, заросшій, похожій на лѣсъ. По обѣ стороны дороги стѣной стояли столѣтнія деревья, бросавшія на дорогу густую тѣнь. Сотни разъ измѣривали въ послѣдніе три года эту алею ученикъ и учитель. Здѣсь обмѣнивались они своими мыслями, чувствами, надеждами; здѣсь прочли они десятокъ книгъ, толковали о прочитанномъ, спорили и соглашались; здѣсь созрѣли и окрѣпли ихъ дружескія отношенія; здѣсь каждое мѣстечко было полно воспоминаній для Евгенія, пережившаго всѣ фазисы первой чистой и идеальной дружбы. Теперь, проходя по этимъ мѣстамъ, Евгеній какъ-бы прощался съ ними навсегда, точно отъѣздъ изъ Сансуси былъ уже назначенъ на завтра. Спутники обмѣнивались изрѣдка отрывочными фразами на счетъ погоды, на счетъ того, что въ такіе знойные дни тяжело работать въ полѣ. Разговоръ какъ-то не вязался, фразы произносились какъ-бы нехотя, были отрывочны. Казалось, обоимъ было лѣнь или не хотѣлось говорить, точно ихъ утомилъ этотъ зной лѣтняго дня. Наконецъ, они дошли до конца

парка. Здѣсь дорога круто опускалась внизъ и лентою вилась и ныряла среди холмистыхъ полей и нивъ, гдѣ шла крестьянская работа, гдѣ мелькали фигуры бабъ и мужиковъ, гдѣ поднимали столбы пыли проѣзжавшія тельги.

— Жарко тамъ, проговорилъ Евгеній.

— Что-жь, ляжемъ въ тѣни, сказалъ Рябушкинъ.

Они прилегли въ тѣни, на откосъ, у опушки парка, на спины, подложивъ руки подъ головы, и замолчали. Передъ ними разстилась широкая, необъятная даль съ волнующеюся травою, съ наливающеюся рожью, колыхавшеюся, какъ волны въ морѣ. Надъ ними, въ голубомъ небѣ, быстро бѣжали бѣлыя, тающія облака прихотливой формы. Они смотрѣли въ небо, слѣдя за этими измѣнчивыми облаками, обгонявшихъ другъ друга, таявшими въ синемъ воздухѣ.

— Да, тамъ не то будетъ! вдругъ проговорилъ Петръ Ивановичъ послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанья.

— И вы о томъ-же думали? сказалъ Евгеній, не поворачивая головы. — Я вотъ все

время объ этомъ раздумываль... Страшно мнѣ что-то, Петръ Ивановичъ... очень страшно!..

— Какъ не страшно: тамъ волки живьемъ людей на улицахъ ѣдятъ, только рожки да ножки и оставляють, насмѣшливымъ тономъ проговориль Петръ Ивановичъ.

Евгеній молчалъ, но въ его головѣ промелькнула мысль, что и Петръ Ивановичъ боится возврата въ городъ и сердится на себя, ругаетъ себя въ душѣ за эту боязнь. Евгеній давно привыкъ угадывать мысли Петръ Ивановича по выраженію его лица, по тону его голоса.

— А вотъ что мы на печи залежались да на доровыхъ хлѣбахъ заѣлись — это вѣрно! продолжалъ Рябушкинъ, все тѣмъ-же тономъ ироніи и неудовольствія. — Еще-бы годика два здѣсь пожили и совсѣмъ бы обабились да одичали. Гдѣ это — у Тургенева, кажется? — говорится о человѣкѣ, который обабился до того, что подоль сталъ поднимать, переходя черезъ грязь... Ну, вотъ и мы скоро дошли-бы до этого!.. Нѣтъ, ея сіятельство княгиня Марья Всеволодовна права, что Олимпіадѣ Платоновнѣ блажная мысль пришла переселиться

въ деревню да уединиться отъ общества. Шутка-ли, четыре года по своему прожили, а теперь привыкай опять по-людски жить!

Евгеній улыбнулся.

— А какъ-же мы-то жили, если не по-людски? спросилъ онъ.

— А кто его знаетъ, по человѣчески, должно быть, все на откровенностяхъ да на сантиментахъ проѣзжались, сказалъ Рабушкинъ, — а въ людяхъ на этомъ далеко не уйдешь. Скажи подлецу, что онъ подлець, такъ онъ тебя въ бараній рогъ согнетъ, если силы хватить!.. Вонъ попробуйте ея сіятельству княгинѣ Марѣ Всеволодовнѣ откровенно сказать, что она не святая, а ханжа, такъ она вамъ этого по гробъ не забудетъ. Вѣдь, чтобы не вооружить ее противъ себя, нужно въ душѣ ее хоть къ чорту посылать, а для виду умиляться да преклоняться передъ ней. А это тоже не легкая штука — лгать-то! Къ этому пріучиться нужно, тоже наука. Да иной и хотѣль-бы ее постигнуть, такъ не можетъ. Вонъ у меня физія такая подлая, языкъ, пожалуй, и солгалъ-бы, такъ рожа выдастъ, сейчасъ въ эту ядовитую улыбку скривится. Еще въ

дѣтствѣ мнѣ за эту улыбку доставалось. Былъ у насъ такой преподаватель иностранецъ, ехидная бестія и ничего не зналъ. Я бывало улыбнусь, когда онъ что нибудь сморозить, а онъ мнѣ сейчасъ: «Ряпушкинъ, ви знаетъ, что я не люблю улыбующійся фізіономи», и крутитъ нули...

Евгеній опять улыбнулся.

— Да, ваша улыбка всегда выдастъ васъ, если вамъ что не по душѣ, сказалъ онъ.

— Да, батенька, пріучишься улыбаться, какъ тутъ неправда да тамъ несправедливость, какъ сегодня бьютъ да завтра порятъ, сказалъ Рябушкинъ. — На мнѣ только печки не было... Тутъ поневолѣ или, какъ Демокритъ, посмѣиваться надо всѣмъ будешь, или, какъ Гераклитъ, оплакивать всѣхъ станешь... а то бываетъ и хуже: научишься съ волками жить, по волчьи и выть... Это ужъ совсѣмъ послѣднее дѣло...

— А вы еще подшучиваете, что я боюсь въ Петербургъ ѣхать! проговорилъ Евгеній.

— Ну, васъ-то тамъ это не ждетъ, ни бить, ни драть не станутъ, сказалъ Рябушкинъ.

— Знаю, что не будутъ сѣчь, проговорилъ

Евгеній. — Меня не это и пугаетъ, а то, что я совсѣмъ не знаю, что меня тамъ ждетъ...

— Ну, батенька, смертнаго часа и никто не знаетъ, шутливо отвѣтилъ Рябушкинъ. — Такой уже предѣлъ человѣку отъ Господа положенъ, что завѣса будущаго закрыта...

Евгеній перевернулся лицомъ къ Рябушкину и, приподнявшись на локтѣ, прямо взглянулъ на него.

— А вы не знаете, какъ васъ встрѣтитъ мать? спросилъ онъ.

Рябушкинъ искоса взглянулъ на него и отвѣтилъ:

— Экую штуку выдумали? Еще-бы мнѣ этого не знать.

— Ну, а вотъ я этого не знаю, проговорилъ горячо Евгеній. — Я не знаю, какъ меня встрѣтитъ мать, какъ встрѣтитъ отецъ, не знаю вообще, встрѣчу-ли я ихъ.

Петръ Ивановичъ поморщился.

— Эхъ, опять вы родителей поминаете! проворчалъ онъ. — Десятки разъ я вамъ говорилъ, что это бросить надо. Ну, развѣхались тамъ почему-либо фатеръ съ мутершей, отдали васъ тетенькѣ на воспитаніе, — ну, и от-

лично!..

— Вы совсѣмъ не то думаете, Петръ Ивановичъ, что говорите, тихо, но твердо проговорилъ Евгений, принимая прежнее положеніе.

Петръ Ивановичъ сталъ что-то насвистывать. Наступило тяжелое молчаніе. Евгений заговорилъ первый. Но онъ говорилъ такимъ тономъ, какъ будто не обращался ни къ кому постороннему и уяснялъ вслухъ самому себѣ извѣстное положеніе.

— Хуже всего то, что я о нихъ ничего не знаю. Кого ни спросишь о нихъ, всѣ или отмолчатся стараются, или солгутъ что-нибудь. Почему они такъ вдругъ уѣхали, почему бросили насъ, почему даже не пишутъ намъ, — ничего не знаю. Гдѣ они, какъ живутъ, — отвѣта ни отъ кого не добьешься. Вотъ теперь поѣдемъ въ Петербургъ, — увидимъ-ли мы ихъ, возьмутъ-ли они насъ опять къ себѣ?

— И не увидите вы ихъ, и не возьмутъ они васъ къ себѣ, потому что тоже не особенная радость съ вами имъ возиться, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ сердито. — По пусту вы только ворошите эти вопросы. Брали-бы

примѣръ съ сестры, она, я думаю, и имена-то забыла вашихъ фатера и мутерши.

— Оля — ребенокъ! отвѣтилъ Евгеній!

— А вы — мужъ, убѣленный съдинами, что-ли? Слава Богу, только двумя годочками съ небольшимъ старше ее.

— Такъ-то такъ, да вонъ ей и теперъ еще миссъ Ольдкопъ читаетъ «про неряшливаго мальчика и про чистоплотную дѣвочку», а она слушаетъ, замѣтилъ Евгеній.

Собесѣдники смолкли. Имъ было не по себѣ. Нѣсколько разъ они пробовали обмѣниваться фразами о тѣхъ или другихъ предметахъ, но разговоръ тотчасъ-же падалъ и обрывался. У обоихъ въ головѣ вертѣлся одинъ вопросъ, что ждетъ ихъ впереди. Оба они не могли дать отвѣта на этотъ вопросъ, не зная, какъ распорядится судьба ихъ участью. Куда отдадутъ Евгенія? Останется-ли и въ Петербургѣ Петръ Ивановичъ при мальчикѣ? Придется-ли Петру Ивановичу искать новое мѣсто? Поступитъ-ли Евгеній куда-нибудь на полный пансіонъ или будетъ только ходить въ какое-нибудь училище? Всѣ эти вопросы тяготили ученика и учителя.

— Да, да, байбаками мы совсьмъ сдѣлались! вдругъ проговорилъ Петръ Ивановичъ, потянувшись и поднимаясь съ мѣста. — Ужь это натура у человѣка такая подлая: дай ему пожить годика два въ холѣ да въ довольствѣ, не думая о томъ, гдѣ онъ завтра чего-нибудь пожрать добудеть;— и раскиснетъ сейчасъ человѣкъ, и страхи у него сейчасъ явятся, если въ перспективѣ онъ не видитъ готоваго угла и съ периною, и съ явствами, и со всякими благодатями!

Онъ поднялся съ мѣста.

— Нѣтъ, батенька, продолжалъ онъ, — вы благодарите еще Бога, что княгиня Марья Всеволодовна рано глаза открыла Олимпіадѣ Платоновнѣ на счетъ вашего положенія, а то бы вы тутъ мохомъ обросли въ Сансуси-то этомъ самомъ! Тоже хорошую воспитательную систему придумали: увезли дѣтей на необитаемый островъ, стали ихъ поить, кормить да холить, начали ихъ это всего оберегать да ублажать... Да этакъ только индюшекъ воспитать можно и то потому, что ихъ на убой готовятъ... А дѣти-то должны силами да выносливостью заpastись, чтобы не подстав-

лять головы подобно цыплятамъ подъ ножъ перваго попавшагося повара...

Евгеній улыбнулся. Онъ понялъ, что Петръ Ивановичъ опять сердится на себя за боязнь передъ будущимъ, за тоску о прошедшемъ мирномъ житьѣ, однимъ словомъ, за «сантименты», какъ обыкновенно выражался въ подобныхъ случаяхъ самъ Петръ Ивановичъ.

Но какъ ни храбрился Петръ Ивановичъ, а «подлая трусость» давала себя чувствовать на каждомъ шагу, тоска росла все сильнѣе и сильнѣе, неизвѣстность будущаго пугала все болѣе и болѣе. Петръ Ивановичъ ругалъ себя за «тряпичность натуры», называлъ себя «обабившимся байбакомъ», стыдилъ даже себя тѣмъ, что «только кошкѣ пристало такъ привыкать къ мѣсту, но отъ тяжелаго чувства отдѣлаться не могъ, видя приготовленія къ отъѣзду, слыша постоянные вздохи женщинъ о „покидаемомъ гнѣздышкѣ“, видя задумчивое, невеселое лицо Евгенія.

— А ужъ и унынія-же мы на себя столько напустили, что страсть! пробовалъ онъ, шутя, замѣтить Олимпіадѣ Платоновнѣ.

— Что-жь, здѣсь еще это можно, осудить

некому, отвѣтила Олимпіада Платоновна. — А вотъ въ Петербургъ пріѣдемъ, такъ тамъ такія маски равнодушія надѣнемъ, что изъ-подъ нихъ никакое чувство не проглянетъ... Тамъ, голубчикъ, люди родную мать хоронятъ да стараются потише плакать, чтобы не показаться неприличными, ну, а здѣсь... здѣсь даже и голосить можно...

— Эхъ, проговорилъ Петръ Ивановичъ, махнувъ рукой, — нынче сколько разъ ни начинай за здравіе, а все сведешь за упокой!..

Съ тѣхъ поръ какъ начались сборы къ отъѣзду, Олимпіада Платоновна все болѣе и болѣе недружелюбно относилась къ Петербургу. Онъ страшилъ ее болѣе, чѣмъ кого-нибудь изъ ея кружка. Она понимала необходимость ѣхать въ столицу, ввести дѣтей въ кругъ ихъ родственниковъ, закончить ихъ образованіе, поставить ихъ на твердую почву, но въ то же время она сознавала вполнѣ и то, что у этихъ дѣтей есть мать, живущая въ Петербургѣ, и отецъ, могущій пріѣхать въ Петербургъ, — и это страшило ее. Оставятъ-ли эти люди въ покоѣ своихъ дѣтей, не напомнятъ-ли они какъ-нибудь о себѣ этимъ

дѣтямъ, что будутъ отвѣчать эти дѣти, если ихъ спросятъ, отчего ихъ бросили родители, или если имъ расскажутъ о какихъ-нибудь продѣлкахъ этихъ родителей? Бросить дѣтей родителямъ было легко. Но не такъ легко уничтожить всякую связь между родителями и дѣтьми. Попробуйте представить кому-нибудь молодого человѣка и сказать, что это сынъ извѣстнаго вора, извѣстнаго сыщика, извѣстнаго разбойника, извѣстнаго палача, — и вы увидите, съ какимъ недоувѣріемъ взглянуть на этого юношу. Вѣдь кто его знаетъ, можетъ быть, и онъ многое унаслѣдовалъ отъ своего родителя, можетъ быть, и это яблоко недалеко укатилось отъ яблони... „Положимъ, дѣти не могутъ отвѣчать за родителей, но все же нельзя особенно довѣрять молодымъ отпрыскамъ гнилыхъ корней“... Такъ всегда разсуждаютъ люди... Олимпіада Платоновна сознавала это отлично, не даромъ же она вращалась десятки лѣтъ именно въ той средѣ, гдѣ существуетъ болѣе всего осторожности и предубѣжденій въ отношеніяхъ къ ближнимъ. Какія-то зловѣщія предчувствія наполняли душу старухи и не разъ, тяжело вздыхая,

повторяла она мысленно при видѣ Ольги и Евгенія:

— Бѣдныя, бѣдныя дѣти, что-то васъ ждетъ впереди?

VI

— **З**аймите своихъ милыхъ гостей! Покажите имъ свои книги, свой театръ маріонетокъ!

Эти фразы, сказанныя по-французски, были обращены княгиней Марьей Всеволодовой къ ея дѣтямъ, двумъ стройнымъ мальчишкамъ и хорошенькой дѣвочкѣ, дичившимся и сторонившимся отъ Евгенія и Ольги, приведенныхъ Олимпіадою Платоновною впервые съ визитомъ къ княгинѣ.

— Мы вывезли этотъ театръ изъ Парижа, обратилась на французскомъ-же языкѣ княгиня къ Олимпіадѣ Платоновнѣ. — Прелестная игрушка. Это нѣчто механическое. Пружинны тамъ такія, что все это приводится въ движеніе. Это можетъ заинтересовать даже взрослыхъ!

Потомъ она обратилась къ гувернанткѣ.

— Уведите дѣтей!

Молоденькая гувернантка, съ вѣчнымъ выраженіемъ покорности и послушанія на лицѣ, сказала дѣтямъ: «Пойдемте», и все общество дѣтей въ ея сопровожденіи двинулось на дѣтскую половину.

— У меня, Оlympe, свои взгляды на воспитаніе, свои принципы въ этомъ важномъ дѣлѣ, говорила княгиня Марья Всеволодовна, продолжая начатую рѣчь о воспитаніи дѣтей. — Я не допускаю въ этомъ дѣлѣ случайныхъ вліяній, возможности глядѣть на все сквозь пальцы, допускать, чтобы дѣло шло, какъ Богъ на душу положитъ. О, нѣтъ! такъ нельзя къ этому относиться. Тутъ должна быть строго выработанная система, твердость въ ея примѣненіи на практикѣ. Прежде всего дѣти должны быть дѣтьми, передъ ними должны только постепенно открываться болѣе широкіе горизонты. Преждевременное развитіе, ранняя возмужалость ребенка, все это, правда, можетъ щекотать самолюбіе родителей, гордящихся ребенкомъ-геніемъ, но, Боже мой, развѣ можно приносить въ жертву своему самолюбію, своему тщеславію будущность дѣтей. Эти дѣти-геніи всегда кончаютъ

преждевременнымъ старчествомъ, раннимъ пресыщеніемъ...

Олимпиада Платоновна ничего не могла возразить на это.

— Я не вдругъ доработалась до этихъ взглядовъ, продолжала княгиня. — Я много читала по вопросу о воспитаніи, я совѣтовалась за границей съ лучшими педагогами. Они всѣ признають эту систему единственно правильной и разумной. Конечно, ее не легко проводить послѣдовательно, но что же дѣлать: трудъ воспитанія — долгъ матерей и отцовъ! Мнѣ еще труднѣе справиться съ этой задачей, чѣмъ другимъ, потому что я одна должна слѣдить за всѣмъ, не отъ Алексѣя же ждать помощи...

Покуда княгиня говорила о своихъ взглядахъ на воспитаніе, о своихъ невзгодахъ, о городскихъ слухахъ, на дѣтской половинѣ совершалось знакомство ея дѣтей съ Евгеніемъ и Ольгой. Сыновья княгини, Валерьянъ и Платонъ, мальчики пятнадцати и четырнадцати лѣтъ, не дѣлали надъ собой никакихъ усилій, чтобы занять гостей. Они равнодушно и хладнокровно осматривали Евгенія и Ольгу

съ ногъ до головы, покуда ихъ гувернантка и ихъ тринадцатилѣтняя сестра Тата показывали гостямъ театръ маріонетокъ.

— Это полишинель, это коломбина, это пьеро, сообщала Тата Ольгѣ при появленіи на сценѣ дѣйствующихъ лицъ арлекинады, разыгрываемой на сценѣ театра маріонетокъ.

— Это народная итальянская пьеса, поясняла гувернантка вялымъ и однообразнымъ тономъ, точно отвѣчая урокъ въ класѣ. — Въ Италіи народъ очень любитъ арлекинады и безъ нихъ не обходится ни одинъ народный праздникъ...

Оля съ разгорѣвшимися щечками и съ блестящими глазенками слѣдила съ любопытствомъ за всѣмъ происходившимъ на игрушечной сценѣ; она до сихъ поръ не видала ничего подобнаго и, немного раскрывъ свой розовый ротикъ, искренне восторгалась при видѣ пляшущихъ на веревочкахъ куколъ.

— И еще можно, чтобы они двигались? спросила она, когда арлекинада кончилась.

— О, да! отвѣтила гувернантка.

— Вотъ погоди! Я заведу ключикомъ...
Смотри! оживленно произнесла Тата и стала

заводить машину театра. — Это, когда захочешь, тогда и двигаются они...

Евгеній стоялъ въ сторонѣ и совсѣмъ разсѣяннo, съ скучающимъ выраженіемъ лица, перелистывалъ на столѣ какую-то книгу, повидимому, даже не смотря на ея страницы, на изображенія «красной шапочки», «кота въ сапогахъ», «мальчика съ пальчикъ» и тому подобныхъ героевъ дѣтскихъ сказокъ.

— А что-же ты не смотришь на театр? вдругъ спросилъ его Валеріанъ Дикаго какимъ-то рѣзкимъ, точно сиплымъ тономъ.

— Я?.. проговорилъ Евгеній, вздрогнувъ отъ неожиданнаго вопроса, и весь покраснѣлъ. — Я... но это для дѣтей!

— А твоя сестра такая-же глупая, какъ Тата, произнесъ съ усмѣшкой Валеріанъ.

— Глупая?.. Нѣтъ, она не глупая, проговорилъ Евгеній, совсѣмъ растерявшись отъ неожиданнаго вопроса.

— Ну, да... Вотъ тоже глаза таращитъ вмѣстѣ съ Тата, какъ куклы на веревочкахъ пляшутъ... Тата у насъ тоже совсѣмъ дура...

Это говорилось рѣзко и твердо, хотя и въ полголоса.

— Нечего тутъ съ ними сидѣть, пойдѣмъ, вдругъ произнесъ рѣшительнымъ тономъ Валеріанъ и прибавилъ, обращаясь къ гувернанткѣ:— Mademoiselle, мы пойдѣмъ смотрѣть гербарій въ комнату monsieur Michaud.

Гувернантка какъ-то особенно встрепелась, покраснѣла и точно съ испугомъ замѣтила:

— Но, monsieur Michaud, сегодня на похоронахъ у своего дяди...

— Ну-съ? спросилъ Валеріанъ, нахально взглянувъ на нее какимъ-то, не то вызывающимъ, не то строгимъ взглядомъ.

Она вдругъ притихла и упавшимъ голосомъ проговорила:

— Идите... но если татап придетъ... и васъ не будетъ здѣсь...

Валеріанъ вдругъ громко расхохотался.

— А-а, ужь тогда выдумайте, что хотите!.. Мало-ли куда мы могли уйдти безъ васъ!

Онъ повернулся на каблукахъ и проговорилъ Егвенію:

— Ну, иди-же!

Всѣ три мальчугана направились въ комнату господина Мишо, гувернера князей Ди-

каго.

— Дура она у насъ, потому всего и всѣхъ боится, говорилъ дорогою Валеріанъ Евгению про гувернантку.- C'est la cendrillon de la maison, какъ ее называетъ monsieur Michaud. Ею всѣ помыкають и онъ, и рара, и тапан, и мы. Меня... она и боится меня, и чуть не молится на меня. Да мнѣ что, не люблю я кислятины, потому и обрываю ее. Только одна Тата нѣжность къ ней чувствуетъ. Ну, да Тата, извѣстно, дура. Лѣтомъ муху стала изъ паутины освобождать и лобъ себѣ расквасила, свалившись съ рѣшетки терасы. Она и сандрильону обожаетъ, потому что ту притѣсняють. Притѣсняють! А гдѣ-бы ее стали держать, если она рохля? Мапан ее ужъ только потому и держитъ, что тапан любитъ покорность, а то куда-же-бы ее въ порядочный домъ приняли...

Мальчикъ говорилъ бойко, рѣзко и нѣсколько вульгарнымъ тономъ, какъ-бы щеголяя тривиальными и ухарскими выраженіями. Въ этомъ слышалось нѣчто умышленное, напускное желаніе казаться взрослымъ, а не пятнадцати-лѣтнимъ юно-

шей.

— Ты куришь? спросилъ онъ, когда они вошли въ комнату гувернера.

— Нѣтъ, отвѣтилъ Евгенийъ.

— Горбунья запретила, вѣрно? спросилъ Валеріанъ.

— Хи, хи, хи! Горбунья! хи, хи, хи! вдругъ залился жидкимъ, пискливымъ смѣхомъ Платонъ Дикаго, прежде чѣмъ Евгенийъ успѣлъ отвѣтить на вопросъ Валеріана.

Евгенийъ быстро повернулъ голову и изумился: Платонъ, весь съежившись, сторбившись, сидѣлъ въ креслѣ, его ротъ расширился, его глаза съузились, его лицо сжалось, словно оно было сдѣлано изъ гутаперчи, его плечи вздрагивали и весь онъ тряся, продолжая громко хихикать и бессмысленно повторять: «горбунья».

— Ну, опять напустилъ на себя! сердито проговорилъ Валеріанъ. — Ты знаешь, онъ у насъ на пари по цѣлому часу можетъ такъ юродствовать, обратился онъ къ Евгению, закуривая папиросу. — Состришь что-нибудь, а онъ и захихикаетъ вотъ этакъ, какъ идіотъ... Только ты не думай, чтобы онъ это въ самомъ

дѣль: это онъ только напускаетъ на себя... Monsieur Michaud все научилъ. Скука тоже иногда такая, сидимъ-сидимъ вмѣстѣ, не знаешь, что дѣлать, ну, и куришь, и балаганишь...

Валеріанъ вдругъ махнулъ рукой.

— Ну, да теперь, слава Богу, отдали въ пансіонъ, все-же хоть на полдня изъ монастыря вырываемся, проговорилъ онъ.

— Изъ монастыря? спросилъ Евгеній.

— Ну, да, мы нашъ домъ монастыремъ называемъ, пояснилъ Валеріанъ.- Матап вѣдь совсѣмъ биготка. Это она, впрочемъ, отъ несчастной жизни.

Валеріанъ затянулся папиросой съ важнымъ видомъ взрослога человѣка, прощающаго грѣхи слабыхъ ближнихъ.

— А она несчастная? съ недоумѣніемъ спросилъ Евгеній.

— Да, у рара другая семья есть. Впрочемъ, monsieur Michaud говоритъ, что матап сама виновата въ томъ, что рара бросилъ домъ.

— Такъ онъ и васъ бросилъ? вдругъ торопливо спросилъ Евгеній, точно обрадовавшись, что онъ нашелъ еще ребенка, брошен-

наго отцемъ.

— Насъ? Нѣтъ, отвѣтилъ Валеріанъ. — Онъ только на разныхъ половинахъ теперь съ татап живетъ, а насъ — съ какой стати ему насъ бросать? Онъ у насъ веселый и балагуръ. Въ пансіонѣ намъ такія штуки про него рассказывали, что ой-ой-ой... Да и покойный нашъ братъ, разъ подкутивши, многое поразсказалъ про рара.

— Ахъ, я видѣлъ, какъ хоронили вашего брата, замѣтилъ Евгеній.

— Да его изъ-за одной камеліи убили, пояснилъ Валеріанъ.

— Убили? изъ-за камеліи? спросилъ Евгеній, недоумѣвая.

— Да. Дуэль изъ-за женщины у него вышла въ Парижъ, сказалъ Валеріанъ, пуская дымъ къ потолку.

Втеченіи всего этого разговора Платонъ молчалъ. Онъ сидѣлъ, сторбившись, въ креслѣ, какъ разъ противъ зеркала. Пососавъ немного папиросу, которая, повидимому, не приносила ему никакого удовольствія, онъ швырнулъ ее въ сторону и сталъ «строить рожп»: онъ бралъ себя за уши и оттягивалъ

ихъ въ стороны, въ видѣ раскрытыхъ ставень, расширялъ руками вѣки или суживалъ ихъ, растягивалъ пальцами ротъ, показывалъ себѣ языкъ, сморщивая при этомъ невообразимо лицо. Евгенія это беспокоило, неприятно дѣйствуя на его нервы.

— Что это онъ дѣлаетъ? тихо спросилъ онъ, наконецъ, Валеріана.

— Онъ у насъ шутъ гороховый, отвѣтилъ Валеріанъ небрежно. — Перестань, Платошка! Уродомъ останешься! строго сказалъ онъ брату.

Платонъ опять съежился и захихикалъ.

— Пожилъ-бы ты въ нашемъ домѣ, такъ и не то бы сталъ дѣлать, сказалъ Ватеріанъ Евгенію. — Отъ однѣхъ проповѣдей мама съума сойдти можно. И потребностей она никакихъ человѣческихъ не понимаетъ, какъ говоритъ monsieur Michaud. Ну, поневоля ей всѣ и лгутъ, всѣ ее и обманываютъ...

Въ эту минуту послышался стукъ въ двери и раздался голосъ гувернантки:

— Маман васъ зоветъ!

— Идемъ! отвѣтилъ Валеріанъ и торопливо направился къ письменному столу, стояв-

шему въ комнатѣ гувернера.

Онъ взялъ какую-то маленькую коробочку, вынулъ изъ нея бѣленькую лепешку и положилъ въ ротъ. Потомъ налилъ на руку изъ флакона духовъ и вытеръ губы.

— Платонъ, бери-же лепешки, а то табакомъ пахнуть будетъ, обратился онъ къ брату. — Матап не знаетъ, что мы куримъ. Тоже готова насъ до сихъ поръ въ коротенькихъ панталончикахъ à l'enfant водить! пояснилъ онъ Евгенію. — Это просто скучно!

Черезъ минуту они чинно и неторопливо въ обществѣ дѣвочекъ и гувернантки направились въ гостиную. Валеріанъ и Платонъ были неузнаваемы: это были скромные и приличные мальчики, привыкшіе говорить только тогда, когда ихъ спрашивали или когда имъ позволяли говорить.

— Ну что, видѣли театръ? спросила княгиня. — *C'est amusant, n'est ce pas?*.. Ты все разсмотрѣлъ? спросила она Евгенія. — Это стоитъ подробно разсмотрѣть. Интересный механизмъ.

— Да-съ... видѣлъ, отвѣтилъ Евгеній и покраснѣлъ.

Въ его головѣ промелькнуло сознаніе, что онъ лжетъ. Онъ лгалъ едва-ли не впервые въ жизни и ему было ужасно стыдно.

— Онъ у тебя немножко дикарь, сказала княгиня Олимпіадѣ Платоновнѣ. — Но мы его разовьемъ. Вотъ Богъ дастъ зимою попривыкнетъ къ дѣтямъ въ пансіонѣ. У насъ дѣтскіе балы бывають. Это пріучаетъ къ общественности, къ умѣнью держать себя въ гостиныхъ... А насчетъ пансіона я рѣшительно стою за училище Матросова. Онъ самъ былъ долго гувернеромъ у князя Мирскаго, у графа Долгополова, и потому знаетъ требованія нашего круга. Въ Лицей, въ Правовѣдѣніе Евгенія не легко пристроить, да ты и не хочешь отдавать его въ закрытое заведеніе, а всѣ эти гимназіи, нѣмецкія школы... Богъ знаетъ, съ кѣмъ придется сталкиваться мальчику, какихъ манеръ набратъся и притомъ тамъ пренебрегаютъ новыми языками. Наконецъ, — княгиня заговорила совсѣмъ тихо, — для Евгенія связи важнѣе всего: его положеніе въ обществѣ слишкомъ шатко, двусмысленно, чтобы пренебрегать связями, а у Матросова онъ попадетъ въ среду дѣтей, которые въ бу-

дущемъ очень и очень пригодятся ему... Я сама имѣла это въ виду, отдавая туда своихъ дѣтей: Богъ знаетъ, что ждетъ и ихъ...

Олимпиада Платоновна поднялась съ мѣста, чтобы ѣхать. Дѣти стали церемонно прощаться, расшаркиваясь и присѣдая.

— Ну, что-же вы? сказала княгиня по-французски. — Обнимитесь!

Дѣти расцѣловались другъ съ другомъ.

— О, дѣтская дружба — это такое святое чувство, оставляющее слѣды въ душѣ навсегда, вздохнула въ искреннемъ умиленіи княгиня. — Она облагораживаетъ людскія сердца. Вотъ почему я придаю большое значеніе пансіонамъ, училищамъ...

Возвращаясь съ теткой домой въ каретѣ, Оля безъ умолку съ дѣтскимъ восторгомъ болтала о театрѣ маріонетокъ, о парижской куклѣ, которая и «глаза закрываетъ», и «говоритъ папа и мама». Евгений упорно молчалъ, смотря безцѣльно въ окно кареты.

— Ну, а тебѣ театръ понравился? спросила у него Олимпиада Платоновна.

Евгений покраснѣлъ и проговорилъ:

— Мы, ma tante, въ другой комнатѣ сидѣли.

— Такъ ты и не видалъ театра? спросила Олимпіада Платоновна.

— Да... нѣтъ... такъ мелькомъ видѣлъ, отвѣтилъ Евгеній, запинаясь.

Ему опять стало очень стыдно, что онъ не можетъ откровенно передать теткѣ своихъ впечатлѣній. Но какъ-же передавать ей свои впечатлѣнія? Разсказать все, что онъ слышалъ отъ мальчиковъ; передать, что они курили, что Платонъ смотритъ какимъ-то идіотомъ, что они крайне не нравятся ему, Евгенію... Но вѣдь это значитъ осуждать другихъ, наушничать на знакомыхъ, выдавать пріятелей, курящихъ тайкомъ отъ матери? Все это было совсѣмъ не въ правилахъ мальчугана, слышавшаго постоянно отъ тетки, отъ Софьи, отъ Петра Ивановича, отъ миссъ Ольдкопъ, что нѣтъ ничего хуже сплетенъ, страсти осуждать ближнихъ, вмѣшиваться въ чужія дѣла, наушничать. Сколько разъ осмѣивались или порицались при немъ эти пороки; сколько разъ при немъ обрывала Олимпіада Платоновна всякія попытки знакомыхъ къ сплетнѣ. Правда, сама Олимпіада Платоновна очень рѣзко отзывалась о лю-

дяхъ, очень часто негодовала на нихъ, но въ этихъ рѣзкихъ отзывахъ не было и тѣни стремленія къ сплетнѣ. Это Евгеній зналъ очень хорошо. Онъ самъ высказывалъ дома свои сужденія о людяхъ и его не бранили за это, не останавливали. Но теперь — теперь онъ понималъ, что все, что онъ можетъ сказать про Валеріана и Платона Дикаго, будетъ носить характеръ обличенія, открытія ихъ тайнъ, сплетни, и онъ молчалъ. Въ то-же время Евгенію было очень, тяжело быть впервые не откровеннымъ, имѣть тайны отъ тетки, съ которой до сихъ поръ онъ говорилъ обо всемъ, что приходило ему въ голову, что волновало его. Олимпиаду Платоновну немного удивило его смущеніе, его замѣшательство, но она приписала все его за стѣнчивости и непривычкѣ быть въ обществѣ дѣтей.

— Тебѣ надо быть развязнѣе, надо сблизиться съ новыми друзьями, ласково сказала она. — Они, кажется, такія выдержанныя дѣти...

Евгеній продолжалъ упорно молчать. Онъ ужасно боялся проговориться, возразить что-нибудь теткѣ, высказать болѣе, чѣмъ

слѣдовало. Онъ чувствовалъ, что стоило ему проронить слово и съ его языка польется цѣлый потокъ разсказовъ о вынесенныхъ имъ изъ этого свиданія впечатлѣнїяхъ. Его выручила Оля, продолжавшая неумолкаемо болтать о театрѣ, о куклѣ, о книгахъ съ картинками, «которыя движутся».

— Возьмешь за ниточку, ma tante, а онѣ и двигаются, и двигаются! восхищалась раскраснѣвшаяся отъ восхищенїя дѣвочка. — И левъ въ клѣткѣ, и тигръ, и всѣ двигаются и вотъ такъ, вотъ такъ головами дѣлаютъ!

Оля показала, какъ звѣри дѣлаютъ головами.

При второй встрѣчѣ дѣтей въ квартирѣ Олимпїады Платоновны сыновья княгини Марьи Всеволодовны Дикаго обошлись съ Евгеніемъ, какъ съ старымъ товарищемъ. Валеріанъ сильно пожалъ и потрясъ его руку, какъ вполне взрослый человѣкъ. Видно было, что оба брата Дикаго давно приучены держать себя съ свѣтскою развязностью, не дичась, не сторонясь при встрѣчахъ съ своими сверстниками. Прохаживаясь по залъ съ Евгеніемъ и болтая о чемъ попало, Валеріанъ Дикаго,

между прочимъ, неожиданно спросилъ:

— Ты здѣсь съ сестрой и будешь жить у тетки?

— Да, отвѣтилъ Евгеній.

— А отецъ и мать не увезутъ васъ къ себѣ?

Евгеній мгновенно поблѣднѣлъ и глухо, точно ему вдругъ что-то сдавило горло, отвѣтилъ:

— Нѣтъ!

— Отчего татап не велѣла спрашивать у тебя объ отцѣ и матери? рѣзко спросилъ Валеріанъ.

— Не велѣла?.. Я не знаю... отвѣтилъ Евгеній, едва переводя духъ. — Тебѣ она не велѣла? спросилъ онъ, дѣлая надъ собой усиліе.

Ему казалось, что онъ вотъ-вотъ сейчасъ узнаетъ какую-то тайну о своихъ отцѣ и матери. Сердце въ его груди какъ будто перестало биться и онъ съ трудомъ переводилъ духъ.

— Да, мнѣ, отвѣтилъ Валеріанъ. — Когда вы были у насъ, я за обѣдомъ спросилъ у татап, кто твой отецъ и гдѣ онъ. Она и сказала мнѣ, что твой отецъ и твоя мать уѣхали и что не надо у тебя о нихъ спрашивать, такъ

какъ тебѣ грустно вспоминать о нихъ. Это правда?

— Да, коротко отвѣтилъ Евгеній.

Наступила короткая пауза.

— Что-же еще она говорила? спросилъ Евгеній, надѣясь еще услышать что-нибудь болѣе важное для него.

— Ничего больше не говорила, отвѣтилъ Валеріанъ. — А они куда уѣхали?

Евгеній былъ совсѣмъ смущенъ. Онъ не умѣлъ ни лгать, ни притворяться, ни ловко перемѣнять непріятные разговоры.

— Не знаю, отвѣтилъ онъ, не находя друго-го отвѣта.

— Да развѣ они и не пишутъ тебѣ? допрашивалъ Валеріанъ.

— Не пишутъ... то есть, давно не писали, совсѣмъ растерянно отвѣтилъ Евгеній, у котораго словно что-то подступало къ горлу, задерживая слова.

— Отецъ твой служить? допрашивалъ Валеріанъ.

— Да, служить...

— Такъ, вѣрно, онъ по службѣ уѣхалъ?

— Да, по службѣ...

— А онъ какое мѣсто занимаетъ?

— Мѣсто?.. я не знаю...

Платонъ тихо захихикалъ при этомъ отвѣтъ Евгенія.

— Какъ не знаешь? спросилъ съ удивленіемъ Валеріанъ.

— Онъ... онъ давно уѣхалъ...

— Да онъ военный?

— Нѣтъ...

Евгеній давалъ отвѣты какъ-бы безсознательно, наобумъ. Въ его глазахъ стоялъ туманъ, голосъ его сталъ глухимъ, сдавленныиъ, на лбу выступалъ холодный потъ. Къ счастію его княгиня Марья Всеволодовна поднялась съ мѣста и позвала дѣтей, чтобы ѣхать. Прощаясь съ Евгеніемъ и Ольгой, она замѣтила Олимпіадѣ Платоновнѣ:

— Онъ, Олупре, кажется, нездоровъ?

— Нѣтъ, отвѣтила Олимпіада Платоновна и взглянула на Евгенія.

Онъ былъ блѣденъ, какъ полотно.

— Ты боленъ? Что съ тобой? тревожно спросила она.

— Я... я... ничего... мнѣ немного дурно... прошепталъ онъ, машинально проведя рукой

передъ глазами, и вдругъ быстро отвернулся и вышелъ изъ залы.

Олимпіада Платоновна, почти не слушая замѣчаній княгини о слабости мальчика, торопилась проститься съ нею и ея дѣтьми, чтобы поскорѣе пройти къ Евгенію. Ее сильно встревожилъ этотъ неожиданный и непонятный для нея случай. Она направилась въ комнату, гдѣ былъ помѣщенъ ею Евгений, и нашла юношу въ слезахъ, сидящимъ у своего рабочаго стола съ опущенною на руки головою.

— Женья; Женья, что съ тобою? испуганно спросила княжна, наклоняясь къ мальчику.

Онъ вдругъ поднялся съ мѣста, вытянулся во весь ростъ, быстро вытеръ слезы и раздражительнымъ, настойчивымъ тономъ проговорилъ ей:

— Вы должны мнѣ, наконецъ, сказать, гдѣ мой отецъ и мать! Пора-же перестать лгать.

Олимпіада Платоновна взглянула на него растеряннымъ взглядомъ, смущенная этимъ непривычнымъ для нея рѣзкимъ, строптивымъ тономъ.

— Я хочу знать!.. Мнѣ надо знать!.. Меня

спрашиваютъ, а я не знаю... ничего не знаю, гдѣ они, почему не пишутъ, почему не берутъ насъ... Надо мной смѣяться будутъ... Мнѣ стыдно... мнѣ тяжело... а вы все молчите... не правду говорите... Такъ нельзя!.. Такъ нельзя!.. Еще будутъ спрашивать... что я отвѣчать буду?...

Эти фразы быстро слетали съ языка Евгенія и голосъ его изъ рѣзкаго и строптивого снова мало-по-малу перешель въ рыдающій тонъ. Слезы опять хлынули изъ глазъ мальчика и губы его, вздрагивая, уже едва шептали теперь отрывисто фразы:

— Я-же не дурачекъ... не маленькій... не маленькій!.. Зачѣмъ меня обманывать!..

Княжна, растерянная, испуганная, страдающая за своего любимца, ласкала и успокоивала его, какъ умѣла, не находя словъ, не сознавая, что нужно сказать.

— Полно, полно, успокойся!.. Ну, перестань... Я все скажу, все... Ахъ, да не плачь-же, не плачь! шептала она, теряя голову.

— О, j'ai le coeur gros! дѣтски наивнымъ тономъ тихо произнесъ онъ, мало-по-малу успокоиваясь отъ ея ласкъ, припавъ къ ней голо-

вой и цѣлуя ея руки.

Онъ опять смотрѣлъ совсѣмъ ребенкомъ, мягкимъ и нѣжнымъ, а не тѣмъ рѣзкимъ и строптивымъ юношей, какимъ онъ такъ неожиданно на одно мгновеніе явился за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ. Она сѣла въ кресло, онъ опустился передъ ней на колѣни.

— Вы мнѣ все скажете, все, все, ma tante? говорилъ онъ, сжимая ея руки. — Мнѣ надо знать... мнѣ стыдно не знать про отца и мать... не знать даже, кто они... меня опять будутъ спрашивать... опять будутъ смѣяться...

Она нерѣшительнымъ тономъ, подыскивая выраженія, стараясь быть мягкой и ласковой, начала ему рассказывать.

Это былъ рассказъ сыну про отца и мать, которые бросили другъ друга и своихъ дѣтей...

Евгеній и слушалъ, и перебивалъ ее...

— Значить они не любили одинъ другого?.. Значить они и насъ не любили?.. Вы говорите, любили? Но вѣдь кого любишь, того хочешь видѣть?... О, если-бы я не жилъ съ вами, я всегда, всегда бѣгалъ-бы взглянуть на васъ... Да вотъ Петръ Ивановичъ, — онъ не

у насъ теперь живетъ, а каждый день забѣжитъ посмотрѣть на насъ... А они!.. Нѣтъ, нѣтъ, ma tante, они насъ не любили... Вы говорите ихъ нѣтъ здѣсь... Но вѣдь они могли-бы написать... А что я долженъ говорить, если спросятъ о нихъ?.. Что они живутъ въ провинціи и насъ для образованія оставили здѣсь?.. Значитъ, лгать надо? Въ какомъ-же городѣ они живутъ?.. Вы не знаете?.. Что-же я долженъ говорить?.. Выдумать первый попавшійся городъ... опять лгать?..

Эти вопросы прерывали рассказъ и терзали Олимпіаду Платоновну. Она вдругъ увидела, что она вовсе не знала ни характера, ни степени умственного развитія, ни душевнаго міра Евгенія. Онъ былъ до сихъ поръ для нея «милый мальчикъ»; ей казалось, что онъ давнымъ-давно уже не думаетъ ни объ отцѣ, ни о матери; она никакъ не могла себѣ представить, чтобы онъ, мальчуганъ, дитя, могъ задать ей серьезные вопросы, на которые у нея не нашлось-бы сразу отвѣта. Особенно неловко чувствовала она себя, когда онъ говорилъ ей:

— Ma tante, дѣти обязаны любить родите-

лей?.. А родители — они, значить, могут и не любить дѣтей?

Она объяснила, что хотя и нѣтъ заповѣди, прямо повелѣвающей родителямъ любить дѣтей, но что они все-таки должны любить дѣтей и что если они не любятъ, то это просто они дѣлають грѣхъ, заблуждаются...

— Но дѣти все-таки должны любить и такихъ родителей?.. Да?.. Такъ зачѣмъ-же вы, *chère tante*, намъ не напоминали, чтобы мы писали отцу и матери, чтобы мы высказывали имъ свою любовь, чтобы мы не забывали ихъ?.. Оля вотъ совсѣмъ ихъ забыла... Они, какъ чужіе, ей теперь... она, пожалуй, и не узнаетъ ихъ, если они пріѣдутъ... Это ей вѣдь грѣхъ будетъ?..

Онъ добирался до какой-то истины, добирался жадно и болѣзненно, какъ человекъ долго въ молчаніи носившій въ своей душѣ какую-нибудь идею и получившій наконецъ право высказаться объ этой идеи, провѣрить прочувствованное, продуманное, пережитое въ тишинѣ. Оставаясь почти ребенкомъ во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, онъ дошелъ въ вопросѣ объ отношеніяхъ дѣтей и родите-

лей до такихъ глубокихъ и сложныхъ соображеній, до которыхъ люди иногда до-работываются очень поздно. Въ этомъ отношеніи онъ, такъ сказать, переросъ себя. Но какъ это случилось? Съ которыхъ поръ онъ сталъ задумываться надъ этимъ вопро-сомъ, гдѣ и у кого добивался онъ тѣхъ или другихъ отвѣтовъ на свои сомнѣнія? О, Олимпіада Платоновна ничего этого не знала. Она только сознавала теперь, что онъ пере-жилъ все то, о чемъ говорилъ теперь, что онъ додумался въ этомъ отношеніи до многого та-кого, до чего не додумываются въ его лѣта другія. Она не знала, что это явленіе часто встрѣчается въ дѣтяхъ; такъ иныя дѣти, оста-ваясь вполнѣ дѣтьми во всемъ остальномъ, являются совершенно развитыми, какъ взрос-лые, въ дѣлѣ разврата лживости, способности проводить другихъ своими хитростями. Тре-вожно слушая его вопросы, Олимпіада Плато-новна была тѣмъ болѣе смущена, что она не могла отдѣлаться отъ этихъ вопросовъ да-же обычными въ подобныхъ случаяхъ замѣчаніями, что «это праздное любопыт-ство», что «это ему еще рано знать», что «луч-

ше всего оставить этотъ разговоръ» и «вовсе не думать объ этомъ, а думать объ ученїи, объ урокахъ, о серьезныхъ предметахъ, а не объ этихъ пустякахъ». Она очень хорошо понимала теперь, что мальчика на каждомъ шагу могутъ спросить здѣсь: кто его отецъ и кто его мать, гдѣ они живутъ, почему они не держутъ у себя дѣтей? Отвѣчать на эти вопросы незнаніемъ было-бы смѣшно и странно для четырнадцатилѣтняго мальчика. Какъ это она не предвидѣла всего этого прежде! Значить къ этимъ отвѣтамъ онъ долженъ приготовиться, долженъ научиться лгать. Она понимала теперь, что его должно приготовить и къ тому, какъ онъ долженъ держать себя при встрѣчѣ съ отцемъ или матерью, какъ онъ долженъ отнестись къ какимъ-нибудь толкамъ объ этихъ людяхъ. А толки о нихъ — по крайней мѣрѣ, толки о его матери — уже стали доходить до нея. Они могутъ дойти и до мальчика... Всѣ эти мысли вдругъ нахлынули въ ея голову и на столько серьезно встревожили и смутили ее, что ужь, конечно, не она могла-бы сказать мальчику, что онъ волнуется отъ этихъ самыхъ мыслей по пу-

стякамъ: для него-то эти вопросы были еще существеннѣе, еще серьезнѣе. Она только не могла надивиться самой себѣ, какъ это до сихъ поръ она не передумала всего этого, не предвидѣла всѣхъ этихъ соображеній. Больнѣе всего ей было то, что она въ эти минуты откровенныхъ изліяній, когда онъ смотрѣлъ въ ея глаза съ такимъ довѣріемъ, должна была лгать ему, говоря, что не только его отца нѣтъ въ Петербургѣ, но и матери. Но какъ же могла она поступить иначе. Сказать, что его мать въ Петербургѣ, но что онъ не долженъ ходить къ ней. Почему? Потому что это будетъ ей непріятно? Да отчего-же ей будетъ непріятно посѣщеніе любящаго сына?... Но должно-ли знакомить ребенка съ этой стороной жизни его матери? Сказать ему, что самое лучшее забыть ее? Но какъ-же примирить этотъ совѣтъ съ предписаніемъ заповѣди? Да, ему нужно было солгать, сказать, что его мать далеко. А если онъ откроетъ ложь?.. Онъ поставилъ ее въ самое неловкое положеніе, спросивъ: богаты или бѣдны его родители и чѣмъ живетъ его мать? Она опять что-то солгала ему и ей показалось, что онъ

угадалъ, что она лжетъ... Ей было невыносимо тяжело...

О, какъ жалѣла теперь Олимпіада Платоновна о своемъ деревенскомъ затишьи, гдѣ жилось такъ мирно, гдѣ нечего было опасаться непріятныхъ встрѣчъ и столкновеній!

VII

Сожалѣлъ о Сансуси и Евгеній. Съ того памятнаго утра, когда онъ такъ долго, такъ горячо бесѣдовалъ съ Олимпіадой Платоновной объ отцѣ и матери, въ немъ произошла какая-то переменна. Онъ сталъ еще серьезнѣе, еще сосредоточеннѣе и словно выросъ. Онъ носилъ въ душѣ скорбь и вырвавшееся у него тогда восклицаніе: «oh, j'ai le soeur gros» какъ нельзя лучше опредѣляло теперь его состояніе. Да, его сердце было переполнено скорбью и ему серьезно казалось, что ни у кого нѣтъ такого горя, какое носить онъ въ сердцѣ. Имѣть отца и мать и быть брошеннымъ ими безъ всякой вины съ его стороны; сознавать, что отецъ и мать не любятъ его, своего сына, хотя онъ самъ ничѣмъ не заслужилъ этого; носить въ душѣ убѣжденіе, что отца

и мать нужно любить, и въ тоже время знать, что эту любовь онъ можетъ проявлять только однимъ способомъ: не писать имъ, не попадаться имъ на глаза, не напоминать имъ о себѣ, такъ какъ именно это напоминаніе имъ о себѣ несноснѣе всего для нихъ. Это казалось мальчику такимъ горькимъ, такимъ тяжелымъ испытаніемъ. И тѣмъ тяжелѣе становилось ему, чѣмъ шумнѣе и безпечнѣе, чѣмъ счастливѣе и веселѣе смотрѣли вокругъ него другія дѣти. О, съ какою радостью онъ убѣжалъ-бы отъ нихъ туда, въ деревенскую глушь, гдѣ жилось такъ мирно и хорошо. Да, не даромъ въ послѣдніе дни жизни въ Сансуси онъ съ такой тревогой, съ такимъ страхомъ думалъ о Петербургѣ. Именно эти дни разлуки съ дорогимъ тихимъ гнѣздышкомъ вполне ясно, вполне отчетливо рисовались въ воображеніи Евгенія, когда онъ бродилъ или сидѣлъ среди другихъ мальчиковъ и юношей въ аристократическомъ пансіонѣ Владиміра Васильевича Матросова, куда онъ поступилъ въ число входящихъ учениковъ. Каждая мелочная подробность разговоровъ, сценъ, прогулокъ, природы, всего того,

что окружало его тогда, вспоминалась ему теперь среди этой чуждой ему толпы нарядныхъ, выдресированныхъ, ловкихъ сверстниковъ, говорившихъ о непонятныхъ для него вещахъ, о чуждыхъ для него интересахъ.

Когда онъ впервые попалъ въ кружокъ юношей, кончавшихъ въ пансіонѣ Матросова образованіе, подготовлявшихся въ высшія учебныя заведенія, въ юнкера, онъ увидалъ сначала только лицевую сторону медали: юноши сидѣли на своихъ мѣстахъ въ класахъ, хотя и не безъ шума и не безъ смѣха, но все-же сидѣли; они выучивали и отвѣчали уроки, хотя и небрежно, и лѣнливо, но все-же выучивали и отвѣчали; они относились къ учителямъ, если и не безусловно покорно и не съ полнымъ уваженіемъ, то все-же, хотя по внѣшности, прилично. Смотри на все это, на официальную школьную обстановку, на официальные лица учителей, на официальные отношенія учащихъ и учащихся, онъ былъ убѣжденъ, что и здѣсь дѣла идутъ, какъ во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, о которыхъ онъ слышалъ немало рассказовъ отъ Петра Ивановича. «Школа, говорилъ Петръ Ивановичъ»

чь, — это такое мѣсто, гдѣ одни стараются поскорѣе доучить, а другіе поскорѣе доучиться — вотъ и все». Этихъ казенныхъ, если можно такъ выразиться, отношеній къ дѣлу Евгеній ждалъ впередъ и они не могли особенно удивить его, представившись ему здѣсь. Но даже эти казенныя отношенія къ дѣлу были здѣсь только «казовымъ концемъ». Пансіонъ Матросова былъ какъ будто бы созданъ именно для тѣхъ людей, которые не могли по своему развитію, по своимъ знаніямъ попасть куда нибудь въ казенныя учебныя заведенія, въ гимназіи, лицеи, военныя училища. Сюда стекалось какое-то умственное и нравственное убожество. Уже въ первые же дни класныхъ занятій его поразили нѣкоторыя замѣчанія учителей, въ родѣ слѣдующихъ: «Ну, вы опять ни въ зубъ толкнуть, да, впрочемъ, вы вѣдь по юнкерской части пойдете, такъ немного премудрости отъ васъ и потребуютъ», или: «Меньше-бы вы рысаковъ гоняли, тогда въ головѣ у васъ вѣтеръ-то и не ходилъ-бы», или: «Вѣдь если вы такъ будете учиться, такъ вы и до тридцати лѣтъ двухъ строкъ не будете въ состояніи написать

правильно». На эти замѣчанія слышались тоже не мало поражавшіе Евгенія отвѣты: «Я, Петръ Павловичъ, не въ професора математики готовлюсь», говорилъ одинъ ученикъ учителю. «Чего-же вамъ еще нужно, если я вы зубрилъ все по учебнику; кромѣ этого меня ничего на экзаменъ не спросятъ», говорилъ другой. «Хочу — буду учиться, захочу — выйду изъ училища, это мое дѣло», говорилъ еще категоричнѣ третій. Что-то странное, что-то неестественное было въ этихъ отношеніяхъ «великовозрастныхъ» учениковъ къ учителямъ: учителя какъ-будто побаивались учениковъ, ученики какъ-будто презирали учителей. Какимъ-то цинизмомъ вѣяло отъ этихъ откровенныхъ отношеній. Познакомившись ближе съ этимъ міромъ взрослыхъ юношей изъ денежной и родовой аристократіи, пріютившихся, въ качествѣ пансіонеровъ, полупансіонеровъ и проходящихъ учениковъ, въ пансіонѣ Матросова, Евгеній увидалъ чудовищныя вещи, о которыхъ ему и во снѣ не снилось прежде: все, что онъ зналъ о бурсѣ, о гимназіяхъ, о мелкихъ школахъ, блѣднѣло передъ тѣмъ, что онъ увидѣлъ

здѣсь. Вся эта молодежь дѣлилась на трупы, на кружки; въ каждомъ кружкѣ было свое крупное свѣтило, окруженное болѣе скромными звѣздочками; у каждаго кружка были свои вкусы, свои склонности, свои привычки, обуславливавшіеся вкусами, склонностями и привычками главы, свѣтила того или другого кружка.

Въ кружкѣ, составлявшемъ свиту сына комерціи совѣтника Иванова, шли толки о рысакахъ, жеребцахъ и кобылахъ съ ивановскаго завода, получавшихъ призы на бѣгахъ и скачкахъ; въ средѣ юношей, составлявшихъ хвостъ юнаго Тѣлкина, упоминались имена извѣстныхъ кокотокъ, извѣстныхъ кутиль, извѣстныхъ скандалистовъ; въ обществѣ, составлявшемъ партію сына вдовствующаго генерала Попова, не сходили съ языка разговоры о преферансѣ, ералашѣ, ландскнехтѣ и другихъ азартныхъ и неазартныхъ играхъ. Менѣе всего среди этихъ юношей, отъ пятнадцати и до двадцати лѣтъ включительно, говорилось объ урокахъ, о книгахъ, о занятіяхъ.

Эти юноши, сохранявшіе хотя внѣшнее приличіе въ отношеніи къ учителямъ во вре-

мя классовъ, относились внѣ классовъ непозволительно нахально и дерзко къ учителямъ и гувернерамъ, про которыхъ говорилось въ ихъ кружкахъ, что «Матросовъ набираетъ съ борка и съ сосенки всякую голь въ гувернеры, благо эта голь идетъ служить за гроши», и что «Матросовъ знаетъ, кого въ учителя взять для того, чтобы никто не провалился на экзаменахъ при поступленіи въ другія заведенія» И дѣйствительно, только голодные и холодные, пришибленные судьбою и страдавшіе какими-нибудь недостатками люди пристраивались въ гувернеры къ Матросову: они рады были углу, куску хлѣба и возможности добыть такъ или иначе кусокъ хлѣба, правда, не отъ Матросова, а отъ своихъ воспитанниковъ. Въ учителя къ Матросову тоже шли только тѣ люди, которые не брезгали почти даромъ получать большія деньги и брать взятки при тѣхъ или другихъ экзаменахъ.

— Je m'en vais, monsieur! говорилъ Тѣлкинъ французу-гувернеру, господину Прево, покидая пансіонъ не въ урочное время.

— Filez, filez, mon cher! Mais D'oubliez pas un cigare! любезно отвѣчалъ французъ.

Тёлкинъ дѣйствительно исчезалъ вечеромъ изъ пансіона, а утромъ подавалъ господину Прево сигару, завернутую въ бумажку... иногда пяти, иногда десятирублеваго достоинства.

— Павель Павловичъ, не лѣзьте! Мы заняты разрѣшеніемъ математическихъ задачъ! кричалъ Поповъ русскому гувернеру Алябьеву, замкнувшись съ товарищами вечеромъ въ отдаленной комнатѣ.

Павель Павловичъ отходилъ отъ дверей.

— Ну, а какъ онъ заставитъ отворить и увидитъ, что мы играемъ въ карты? замѣчалъ кто-нибудь изъ игравшихъ въ ландскнехтъ воспитанниковъ, еще не искусившійся въ обычаяхъ пансіона.

— Такъ я ему, чернильной душѣ, пуцу стуломъ въ голову! сурово рѣшалъ Поповъ. — Всякаго лакея слушать, что-ли, прикажешь?

— Геенъ зи, геенъ зи! У меня копфшмерценъ, такъ мнѣ не до васъ, пояснялъ гувернеру-нѣмцу Ивановъ, когда тотъ вечеромъ подходилъ къ его кружку, чтобы прослушать уроки.

Нѣмецъ грозилъ ему пальцемъ и отходи-

ль.

— Я его по праздникамъ по Невскому, нѣмчуру, на рысакахъ катаю и завтраками кормлю, пояснялъ Ивановъ товарищамъ, — такъ много разговаривать не будетъ. Да еслибы и сталъ разговаривать, такъ я такъ-то отцу нажалуюсь, что его въ три шеи отсюда велятъ выгнать и опять съ шарманкой ходить будетъ... Знаемъ мы ихъ, голоштанниковъ! Лопотать только по своему умѣютъ, а больше ни шиша не знаютъ.

— Ну, братъ, не выгонятъ тоже изъ за тебя, возражали ему иногда товарищи.

— Ито? Не выгонятъ? А вы знаете, сколько Матросовъ забралъ у отца денегъ? А? Нѣтъ, не знаете? Ну, такъ и не толкуйте, что изъ за меня не выгонятъ? Передо мной и самъ Матросовъ на заднихъ лапкахъ ходитъ. На прошлой недѣли былъ у меня на имяннахъ, пили, пили, до положенія ризъ у меня на половинѣ, я ему и говорю: «А вы, Владиміръ Васильевичъ, въ присядку умѣете плясать?» «Умѣю», говоритъ. «Ну, говорю, давайте плясать» И проплясалъ! А ты говоришь, изъ за меня не выгонятъ!

Разговоры объ экзаменахъ были еще откровеннѣе. Тому-то столько-то надо заплатить, этому столько-то — вотъ и выдержишь экзаменъ. Если дать Матросову хорошій кушъ — онъ и самъ дипломъ сфабрикуетъ. То же нанять можно какого-нибудь голяка за себя на время экзаменовъ. Все это говорилось съ полнымъ убѣжденіемъ, что это такъ и должно быть: на что же и деньги существуютъ, какъ не на то, чтобы при помощи ихъ обдѣлывать все, что вздумаешь.

Эти отношенія, прикрывавшіяся приличною внѣшностью пансіона, относительномъ порядкомъ во время класныхъ занятій, маскою, надѣвасемою и учителями, и учениками, доходили до невѣроятныхъ безобразій, всплывая наружу только иногда.

Матросовъ зналъ свою публику. Не даромъ же онъ долго былъ и гувернеромъ, и учителемъ въ аристократическихъ домахъ. Устраивая свой пансіонъ, онъ прежде всего билъ на внѣшность. Роскошное помѣщеніе, прекрасная мебель, небольшія спальни, на четырехъ воспитанниковъ каждая, широкая программа съ громкими фразами о воспитаніи, имена

нѣсколькихъ видныхъ покровителей, все это было пущено въ ходъ при основаніи пансіона. Матросовъ самъ не училъ, не работалъ, но онъ говорилъ и направлялъ дѣло. Отцамъ и матерямъ онъ толковалъ о необходимости хорошаго воспитанія, о манерахъ, о подготовкѣ достойныхъ своего призванія членовъ общества. Юношамъ онъ шутливо замѣчалъ, что главное дѣло не переходить границъ приличія, не афишировать своихъ слабостей и шалостей, никогда не забывать перваго правила джентльмэна: «не выносить сора изъ избы». Приглашая къ себѣ извѣстныхъ учителей, онъ, небрежно развѣсившись въ креслѣ, передавалъ имъ свои взгляды на ихъ обязанности:

— Этимъ золотымъ тельцамъ нужны дипломы или сдача экзаменовъ въ юнкера, въ казенныя заведенія — и больше ничего. Слава Богу, если имъ удастся добиться, чтобы они знали хоть то, что потребуютъ отъ нихъ по програмѣ; впрочемъ, можно похлопотать, чтобы на нихъ смотрѣли сквозь пальцы на экзаменахъ; денегъ они не пожалѣютъ: лишняго-же отъ нихъ требовать не слѣдуетъ —

это не такія головы, да и раздражать ихъ попусту лишнимъ трудомъ не слѣдуетъ. Но хорошо бы имъ читать лекціи съ широкими взглядами, въ интересномъ изложеніи, не для того, чтобы они запомнили все это, а чтобы они могли сказать въ своемъ кругу, какъ интересно у насъ читають лекціи; это притомъ и можетъ заставить ихъ терпѣливо сидѣть въ класахъ. Вообще нужно быть немного циникомъ и смотрѣть на дѣло прямо: это шалопаи — и больше ничего, ихъ нужно перетащить черезъ экзамены — вотъ и все; это непріятно, но что же дѣлать, нельзя-же въ самомъ дѣлѣ принимать къ сердцу то, что какой-нибудь золотой телець такъ и останется на всю жизнь глупымъ теленкомъ?

При этомъ Владиміръ Васильевичъ даже либеральничаль и замѣчалъ, что онъ слишкомъ мало возлагаетъ надеждъ на эту среду и не думаетъ, что она могла бы измѣниться отъ того, что ея члены станутъ немного глупѣе или умнѣе, немного ученѣе или невѣжественнѣе.

Съ гувернерами онъ былъ еще откровеннѣе. Онъ бралъ ихъ только въ томъ

случаѣ, если у нихъ не было дипломовъ, если они были голюю перекатной, если онъ зналъ за ними кое-какіе грѣшки, на которые онъ сразу могъ указать имъ. Предлагая имъ малую плату, онъ говорилъ, что они могутъ увеличить свои заработки «приватными уроками», что они могутъ «запасть у него связями», что онъ впрочемъ «не нуждается въ нихъ» и если беретъ ихъ, то только вслѣдствіе ихъ просьбъ, хотя... тутъ онъ говорилъ или о томъ, что не ловко имѣть гувернера безъ диплома, или что опасно брать воспитателя съ нѣскольکو сомнительной репутаціей, но... Въ концѣ концовъ принимаемый въ гувернеры голякъ чуть не цѣловалъ руки у Владиміра Васильевича, исполненный чувствами благодарности.

На этомъ общемъ, перекрестномъ лганьѣ и надувательствѣ держалось все училище Матросова. Эта система отражалась на каждой мелочи, въ каждомъ шагѣ. Ученики «считывали» уроки, отвѣчая ихъ учителямъ, какъ заученные; учителя дѣлали видъ, что они не замѣчаютъ обмана и ставили хорошіе балы. Матросовъ жилъ широко, чтобы показать,

что онъ богатъ, и имѣть такимъ образомъ возможность поддерживать свой кредитъ, надувая кредиторовъ. Чтобы добиться извѣстности, онъ заискивалъ среди журналистовъ и бесплатно уступалъ свою залу для разныхъ благотворительныхъ концертовъ и литературныхъ чтеній. Желая показать успѣхи школы, и онъ, и наставники являлись довольно строгими во время экзаменовъ, хотя и онъ, и они очень хорошо заранѣе знали, что они спросятъ такого-то ученика и что потребуютъ отъ другого, такъ какъ ученики спеціально подготовляли къ экзамену какой-нибудь одинъ отвѣтъ, дальше котораго они почти ничего не знали. И учителямъ, и Матросову приходилось всячески изворачиваться, чтобы официальные инспектора не открыли закулисной стороны училища и надувательство удавалось до поры, до времени. Лганье до того вошло въ плоть и кровь самаго Матросова, что про него говорили, что онъ и самъ не знаетъ, когда онъ лжетъ и когда говорить правду.

Онъ началъ сознавать потребность лгать уже съ семнадцати лѣтъ, пробивая себѣ путь

къ существованію уроками въ богатыхъ домахъ, когда нужно было казаться развязнымъ и любезнымъ въ минуты самыхъ тяжелыхъ житейскихъ невзгодъ, когда нужно было хоть по цѣлымъ недѣлямъ голодать, но все-таки шить по модѣ платье и давать на водку барскимъ лакеямъ, чтобы они не третировали учителя en canaille, когда нужно было втираться въ довѣріе къ какой-нибудь неприглядной барынѣ, даже сближаться въ нею, хотя бы она внушала только отвращеніе, и въ то же время скрывать короткость съ нею отъ ея супруга, когда нужно было «укрывать» и лѣнь, и пороки учениковъ и воспитанниковъ, чтобы не потерять выгоднаго мѣста. Эта необходимость лгать была тѣмъ рычагомъ, которымъ, по мнѣнію Матросова, можно было чуть не весь міръ перевернуть. Матросовъ зналъ, что въ качествѣ учителя въ богатыхъ домахъ, въ качествѣ собесѣдника въ богатыхъ кружкахъ, въ качествѣ человека, надѣющагося сдѣлать карьеру при помощи богачей онъ долженъ былъ маскироваться, прикидываться, пускать въ глаза пыль. Онъ не читалъ — времени у него на это не было —

ни Шекспира, ни Монтэня, но въ какой-то иностранной газеткѣ онъ выудилъ свѣденіе, что съ 1603 года въ шекспировскихъ произведеніяхъ является яснѣе философское направленіе и что это философское направленіе является полнымъ отраженіемъ идей, почти фразъ Монтэня, — Матросовъ это запомнилъ и при случаѣ, какъ бы вскользь говорилъ о философіи Шекспира, о его заимствованіяхъ у Монтэня, о томъ, что слѣды этого видны даже въ такихъ, повидимому, самостоятельныхъ произведеніяхъ великаго драматурга, какъ Гамлетъ. Также случайно, чуть-ли не съ бумажки, въ которую было что-то завернуто въ лавкѣ, удалось ему прочитатъ замѣтку о Помпеѣ — онъ не зналъ даже, что эта замѣтка была помѣщена въ журналъ министерства народнаго просвѣщенія однимъ изъ русскихъ ученыхъ — и въ этой замѣткѣ онъ прочелъ о надписяхъ на стѣнахъ Помпеи, о надписяхъ, говорившихъ, что еще наканунѣ городъ жилъ обычно своею жизнью, люди назначали другъ другу свиданія, надѣялись насладиться зрѣлищами и тому подобное — и вотъ онъ,

Матросовъ, начиналъ разговоръ о Помпеѣ, о ея жизни, объ этихъ надписяхъ, о томъ странномъ впечатлѣніи, которое онѣ производятъ на зрителя, увидавшаго ихъ черезъ сотни лѣтъ послѣ того, какъ онѣ были начерчены рукой прохожаго на уличной стѣнѣ дома. Онѣ никогда не оставлялъ непрочитаннымъ ни одного печатнаго лоскутка бумаги, случайно попадавшагося ему подъ руку; онѣ очень любилъ «энциклопедіи», книги въ родѣ разныхъ «чудесъ промышленности и искусствъ», «тысячи фактовъ изъ области наукъ и искусствъ» и т. п., онѣ особенно охотно пробѣгалъ смѣсь въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, въ разныхъ старыхъ сборникахъ и альманахахъ: все это давало ему массу матеріала для разговоровъ. Вы могли заговорить съ нимъ о войнѣ и онѣ вамъ замѣчалъ: «Да всѣ неудачи у насъ большею частью оттого и происходятъ, что мы плохо помнимъ слова старика Колиньи: „il faut commencer former le monstre par le ventre“, то есть „прежде чѣмъ воевать — ты сухарь припаси!“ Начинались-ли толки о вліяніи евреевъ на наше общество, онѣ кста-ти ввертывалъ свое слово: „Э, да этотъ вопро-

съ коротко рѣшенъ еще Шарлемъ Фурье. Ils pervertiront vos moeurs sans changer les leurs, замѣтилъ онъ про евреевъ и яснѣе этого вы ничего не скажете для опредѣленія ихъ вліянія на общество, хотъ сто лѣтъ толкуйте объ этомъ вопросѣ“. И всѣ удивлялись его начитанности и памяти, видя, что онъ знаетъ даже такія мелочи, какъ мнѣніе Фурье объ евреяхъ. Но главной его силой и его конькомъ были анекдоты: онъ дѣлался центромъ, около котораго группировалось все общество, собравшееся въ той или другой гостиной, какъ только онъ принимался за анекдоты. Вралъ онъ при этомъ безпощадно, но вралъ остроумно, весело, виртуозно и вызывалъ всеобщій хохоть, стяжавъ вполнѣ по заслугамъ названіе „души общества“. Его приглашали на перебой на разные вечера, ужины, jours fixes; здѣсь онъ чувствовалъ себя вполнѣ въ своей тарелкѣ, являлся какъ бы центромъ всего собравшагося общества и въ избыткѣ самодовольствія и благодушія выпивалъ непомѣрное количество бургонскаго и шампанскаго, заканчивая вечеръ у Палкина съ двумя-тремя друзьями среди батареи пивныхъ

хъ бутылокъ. Близкіе люди говорили, что онъ пьетъ вовсе не отъ избытка благодушія и самодовольствія, а что онъ старается хмѣлемъ заглушить мысли о завтрашнемъ днѣ; другіе предполагали, что онъ пьетъ отъ несчастной супружеской жизни: его жена, бывшая когда-то простой швеей, была не парой ему, она жила гдѣ то въ заднихъ комнатахъ и занималась только хозяйствомъ...

Попавъ въ эту школу, Евгеній почувствовалъ себя не особенно ловко: онъ былъ моложе всѣхъ своихъ однокласниковъ, онъ былъ менѣе ихъ всѣхъ развязенъ, онъ не могъ гордиться, подобно имъ, ни своимъ богатствомъ, ни своими титулами, онъ не въ состояніи былъ даже примкнуть къ какому-нибудь изъ пансіонскихъ кружковъ, не умѣя и не желая заискивать въ комъ-бы то ни было. Товарищи при его вступленіи въ школу отнеслись къ нему равнодушно и безучастно, такъ какъ его вступленію въ школу не предшествовали разговоры ни о его богатствѣ, ни о значеніи его родителей, ни о чемъ такомъ, что могло-бы сдѣлать его интереснымъ. Кромѣ того онъ былъ только проходящій ученикъ и по-

тому особенно сближаться съ нимъ или особенно нападать на него товарищамъ не представлялось ни времени, ни нужды. Его какъ будто игнорировали и только сыновья княгини Дикаго нерѣдко обмѣнивались съ нимъ разговорами и сообщали ему закулисныя тайны пансіона. Самъ Матросовъ и учителя взглянули на Евгенія какъ-то странно: съ перваго-же раза они увидали, что онъ превосходно подготовленъ, что онъ въ своей деревенской наивности принимаетъ вопросъ объ ученїи не за шутку, а за нѣчто, серьезное, что онъ имѣетъ не всегда прїятную для учителей привычку задавать вопросы, просить разъясненій. Уже послѣ двухъ-трехъ недѣль пребыванія Евгенія въ училищѣ, Матросовъ не то съ ироніей, не то съ одобреніемъ замѣтилъ ему:

— О, да вы, батенька, въ профессора проберетесь!

Эта фраза подхватила школьниками и Евгеній получилъ кличку „господина профессора“. Эта кличка произносилась съ ироніей, но тѣмъ не менѣе къ Евгенію иногда стали обращаться съ просьбами показать то-то, объяс-

нить это-то. Порой онъ сознавалъ даже, что ему завидуютъ, такъ по крайней мѣрѣ разъ онъ услышалъ, какъ говорилъ одинъ велико-возрастный юноша, готовившійся въ юнкера:

— Чортъ возьми, если-бы я вонъ столько-же зналъ-бы, сколько Хрюминъ, я ужъ давно не только юнкеромъ, а и офицеромъ былъ-бы...

Особенно завидовали ему и уважали его тѣ изъ товарищей, которыхъ родители, подобно княгинѣ Марѣ Всеволодовнѣ, имѣли непріятную привычку проэкзаменовывать своихъ дѣтей дома, не довольствуясь школьными отмѣтками и школьными экзаменами. Такіе юноши даже обращались къ Евгенію съ просьбой рѣшать имъ математическія задачи, выправляютъ ихъ сочиненія и т. п.

Мало по малу Евгеній занялъ въ пансіонѣ совсѣмъ особое положеніе: онъ стоялъ особнякомъ, онъ не сошелся ни съ кѣмъ, его едва-ли кто-нибудь любилъ, но его уважали и не трогали.

— Въ васъ, батенька, всѣ признаки, кабинетнаго ученаго; вѣчно съ книгою, вѣчно въ одиночествѣ, говорилъ Евгенію Матросовъ

при встрѣчѣ съ нимъ въ часы рекреаций въ школьной залѣ, гдѣ Евгеній имѣлъ привычку въ свободное время ходить въ сторонѣ отъ школьниковъ съ книгою въ рукахъ. — Готовьтесь, готовьтесь къ ученой карьерѣ! Все хоть одинъ профессоръ да выйдетъ изъ среды этихъ кавалеристовъ, смѣялся Матросовъ, указывая на остальныхъ школьниковъ, шумѣвшихъ въ залѣ.

Только одинъ сынъ комерціи совѣтника Иванова не придавалъ никакого особеннаго значенія знаніямъ Евгенія и замѣчалъ:

— Да не будь у меня состоянія, такъ я, можетъ быть, на версту перебѣжалъ-бы его.

VIII

— А гдѣ Женя? спрашивала княгиня Марья Всеволодовна, заѣхавъ какъ-то вечеромъ къ Олимпіадѣ Платоновнѣ.

— У себя въ комнатѣ учится, отвѣтила Олимпіада Платоновна.

Этими двумя фразами уже не разъ обмѣнивались эти двѣ женщины.

— Его совсѣмъ не видать. Ты рѣдко его присылаешь къ намъ. Онъ совсѣмъ дикаремъ растетъ, сказала княгиня, — Я никакъ не думала, что онъ такъ мало разовѣется за зиму...

— Уроки у него...

— Ахъ и у моихъ дѣтей уроки! Но Матросовъ вовсе не мучаетъ дѣтей уроками. Мои Платонъ и Валерьянъ все это кончаютъ такъ быстро. Вѣрно, Женя немного тупъ и ему трудно достается подготовка уроковъ. Не худобы, чтобы онъ пріѣзжалъ къ намъ подготавливаться къ класамъ подъ руководствомъ monsieur Michaud. Monsieur Michaud будетъ такъ любезенъ, что поможетъ и ему...

— Хорошо, я скажу Евгенію, отвѣтила Олимпіада Платоновна.

— Можетъ быть, дѣйствительно ему трудно учиться одному, сказала Марья Всеволодовна, — и притомъ это будетъ ему полезно въ нравственномъ отношеніи, а то... Я, право, боюсь, что онъ у тебя выростетъ немного черствымъ человѣкомъ. Онъ все одинъ и одинъ, сторонится отъ дѣтей. У него, кажется, нѣтъ еще ни одного друга въ пансіонѣ?..

— Право, не знаю... Онъ не любитъ какъ-то говорить о пансіонѣ...

— Ну да, онъ скрытенъ. Это понятно. Ребенокъ, растущій въ одиночествѣ, всегда склоненъ къ скрытности. Противъ этого надо бороться. Онъ долженъ быть откровеннымъ. Открытый, прямой характеръ — первое достоинство ребенка.

Княгиня говорила уже не разъ втеченіи зимы и говорила подолгу на эту тему и Олимпіада Платоновна невольно впадала въ раздумье. Да, не разъ уже она слышала отъ княгини Марьи Всеволодовны о дикости, о несообщительности, о скрытности Евгенія. Это-же говорила и кузина Евгенія, Мари Хрюмина, ненавидѣвшая въ душѣ Евгенія и открывавшая ему при теткѣ объятія, отъ кото-

рыхъ Евгеній сторонился какъ-то неловко и пугливо, точно его хотѣли задушить въ этихъ объятіяхъ. Даже благородная дама Перцова ухитрилась какъ-то замѣтить при княжнѣ Олимпіадѣ Платоновнѣ Евгенію, что онъ «словно бѣгаетъ отъ нея и взглянуть на себя не дастъ, полюбоваться собою не позволитъ».

— Я вѣдь не кусаюсь, ангелочекъ мой, не пугало я какое-нибудь, прибавляла благородная дама. — Или, можетъ быть, вы гнушаетесь мной? Такъ это не хорошо!

Но даже и безъ этихъ намековъ на дикость, непривѣтливость и скрытность Евгенія, сама Олимпіада Платоновна все болѣе и болѣе убѣждалась, что Евгеній какъ-бы чуждается людей, старается уединяться и очень рѣдко отвѣчаетъ привѣтливою улыбкою на привѣтствіе такихъ людей, какъ княгиня Марья Всеволодовна, Мари Хрюмина, госпожа Перцова. Онъ ласковъ только съ нею, съ Олимпіадой Платоновной, да съ Софьей и Петромъ Ивановичемъ, — и еще какъ ласковъ! Его ласки всегда трогали старуху: она видѣла, она чувствовала, что онъ чуть не молится на нее, что онъ весь проникнуть

желаніемъ угодить ей. Но въ тоже время она замѣчала, что и съ нею онъ не откровененъ: на всѣ ея вопросы о дѣтяхъ княгини Марьи Всеволодовны, о его школьныхъ товарищахъ, объ учителяхъ въ пансіонѣ Матросова Евгеній отвѣчалъ уклончиво, ограничивался односложными фразами, старался перемѣнить разговоръ объ этихъ предметахъ. Она начинала задумываться надъ вопросомъ: какою внутреннею жизнью живетъ ребенокъ, отчего, въ сущности, всѣ его разговоры съ нею ограничиваются одними ласками, воспоминаніями о жизни въ Сансуси, толками о Петрѣ Ивановичѣ, объ Оль, находившейся въ институтѣ, и только. А что онъ думаетъ теперь? какъ живетъ теперь? какія ощущенія выносить изъ ежедневныхъ встрѣчъ съ людьми? Этого она не знала. Это было ей тѣмъ болѣе больно, что ея чувство къ нему начало граничить съ безпредѣльной любовью.

— Ты, Софья, ничего не замѣчаешь въ Евгеніи? спрашивала старуха у своей вѣрной наперстницы.

— Ничего, а что? проговорила Софья.

— Странный онъ какой-то у насъ, точно у него тайны какія есть... Никогда ничего не говоритъ, что въ пансіонѣ дѣлается, что его удивить или обрадуетъ среди дѣтей княгини Марьи Всеволодовны, не похвалитъ никого изъ учителей или не пожалуется на нихъ... Холодность это, что-ли?.. Онъ вѣдь, кажется, не тупъ...

— Женичка-то тупъ? воскликнула Софья. — Да чего это вы не выдумаете, право!.. Онъ-то тупъ!.. Да онъ все понимаетъ, все чувствуетъ!.. Тупъ!.. Да развѣ тупые-то такъ любить, какъ онъ?.. Вы вотъ только брови нахмурите, такъ онъ уже сейчасъ: «та tante, что съ вами, милая?..» Да что вы!.. Мнѣ, мнѣ стоитъ нахмуриться, такъ онъ и меня спрашиваетъ сейчасъ: «что съ тобой, Софочка, здорова-ли ты, не случилось-ли чего?»

У Софьи даже голосъ дрожалъ отъ волненія.

— Ахъ, да что ты мнѣ рассказываешь, точно я его меньше тебя знаю и люблю! разсердилась Олимпіада Платоновна. — Вотъ тоже дура, дура, нашла за кого и передъ кѣмъ заступаться!..

— Да какъ-же не заступаться, если говоритесь: онъ, кажется, не тупъ! въ свою очередь загорячилась Софья. — Ужъ такъ-бы прямо дуракомъ и назвали!.. Еще-бы лучше было!.. Слушать-то, право, обидно... А что онъ не говорить ничего вамъ, такъ, вѣрно, радости-то немного въ этихъ разговорахъ!

Олимпиада Платоновна быстро обернулась лицомъ къ Софѣ.

— Ты что-нибудь знаешь? Онъ тебѣ, вѣрно, говорилъ что-нибудь? спросила она, глядя пристально на Софью и какъ-бы боясь, чтобы та не схитрила, не уклонила отъ прямого отвѣта.

— Ничего я не знаю, рѣзко отвѣтила Софья. — Петръ Ивановичъ, тотъ вотъ, вѣрно, что-нибудь знаетъ, потому подолгу они между собой бесѣдуютъ...

— О чемъ? спросила торопливо княжна.

Софья даже улыбнулась, такъ несообразенъ показался ей этотъ вопросъ.

— Да развѣ я съ ними сажу? сказала она. — А что не о веселомъ они толкуютъ, такъ это вѣрно. Намедни меня людишки на черта посадили, совсѣмъ я осатанѣла, въ омраченіи

находилась, а Петръ Ивановичъ отъ Женички идетъ, замѣтилъ, что я не въ своемъ духѣ, и говоритъ: «Что, видно, Петербургъ-то всѣмъ намъ солонъ достался?» — «Кому это, говорю, всѣмъ-то?» — «Да, говоритъ, и мнѣ, и Олимпіадѣ Платоновнѣ, и вамъ, и Женѣ». — «Ну, говорю, Женичка-то еще ребенокъ, что онъ видитъ!» — «А вы, говоритъ, въ душу-то его заглядывали? Можетъ быть, онъ и по больше васъ, старыхъ дѣтей, видитъ. Вы-то ко всему присмотрѣлись, а онъ — новы ему всякія мерзости... Да и пора-бы вамъ его ребенкомъ-то перестать считать... У его дѣдушки, чай, въ его годы свои ребята гдѣ-нибудь въ людской находились...» И такъ меня эти его слова точно обухомъ по головѣ ударили. — Такъ что-же онъ молчитъ! раздражительно воскликнула княжна. — А еще другомъ называется и скрываетъ!.. То-то я вижу, что они все уединяться стали... Завтра-же, завтра-же пошлю за нимъ; ужъ и побранюсь-же я съ нимъ! Знаетъ все и ничего не говоритъ!

— Да, можетъ, и говорить-то не приходится! Тоже не все можно рассказывать, что зна-

ешь, сказала Софья.

— Да вѣдь я должна все знать, что касается Евгенія! Развѣ мнѣ весело, что всѣ зовутъ его скрытнымъ, что я сама замѣчаю его неоткровенность? Нѣтъ, нѣтъ, стыдно Петру Ивановичу скрытничать! И что онъ такое знаетъ?..

А Петръ Ивановичъ, дѣйствительно, зналъ изъ внутренней жизни Евгенія много такого, чего и не подозрѣвала Олимпіада Платоновна. Съ той поры, когда семья Олимпіады Платоновны покинула Сансуси, когда Евгеній поступилъ къ Матросову, когда Оля поступила въ институтъ, Евгеній еще болѣе оцѣнилъ и полюбилъ Петра Ивановича: это былъ его единственный другъ, которому можно было говорить все, открывать всю душу. Бесѣды двухъ друзей были часты и продолжительны и Петръ Ивановичъ видѣлъ, какъ быстро росъ и развивался мальчикъ въ умственномъ отношеніи. Иногда Петра Ивановича просто смущалъ тотъ рядъ вопросовъ, который проходилъ въ головѣ юноши, додумывавшагося до такихъ вопросовъ, о которыхъ въ его годы самъ Петръ Ивановичъ и понятія не имѣлъ или о которыхъ онъ думалъ, какъ о чемъ-то

отвлеченномъ, безъ бользненной страстности, безъ сердечной боли. Особенно памятенъ былъ для Петра Ивановича одинъ вечеръ: Олимпіада Платоновна уѣхала куда-то на вечеръ; Евгеній былъ дома одинъ; Петръ Ивановичъ забрелъ къ нему часовъ въ девять и проговорилъ съ нимъ до часу ночи.

— Она вѣдь совсѣмъ большое дитя, замѣтилъ между прочимъ Евгеній про Олимпіаду Платоновну. — И Софья тоже большое дитя.

— Ну, а вы маленькій старичокъ? шутливо сказалъ Петръ Ивановичъ, добродушно улыбаясь.

— Да вы не смѣйтесь, сказалъ серьезно Евгеній. — Я говорю серьезно. Онѣ обѣ не видятъ, что у нихъ передъ глазами дѣлается. Вы прислушайтесь, когда онѣ говорятъ: всѣхъ онѣ готовы бранить, людишками называть, критиковать, но все это просто привычныя фразы и фразы. Ихъ рѣзкости не что-нибудь серьезное, а просто особый *façon de parler*. Они вотъ ругаютъ людишекъ, а эти людишки и надуваютъ, и обижаютъ ихъ, и смѣются надъ ними...

— Барство, батенька, ихъ заѣло; въ былыя времена денегъ куры не клевали, все готовое было, ну, вотъ онѣ и привыкли деньги зря бросать, окружая себя приживалками, прихлебателями да салопницами, которыхъ и бранили, и награждали, и которыя и обирали, и надували ихъ, пояснилъ Петръ Ивановичъ.

— Ужъ я не знаю, отчего онѣ такія, но знаю одно, что онѣ видятъ только то, что само въ глаза лѣзетъ, а что захотятъ отъ нихъ скрыть, то и скроютъ, сказалъ Евгеній. — Въдѣ у насъ куда ни взглянешь, вездѣ все вранье. Вонъ ваша мать мнѣ рассказывала, какъ весело проживаетъ Перцова, а взгляните на эту Перцову здѣсь: и голодна-то она, и обтрепалась-то она, и съ квартиры-то ее гонять. Она плачетъ, а Софья и та tante соболѣзнуютъ и помогаютъ, не подозрѣвая даже, что у этой дамы идутъ дома пиры да угощенья...

— Да это ужъ всегда такъ бываетъ въ отношеніяхъ благотворителей и черносалопницъ, сказалъ Петръ Ивановичъ.

— Про нее это я только такъ для примѣра сказалъ, потому не мои она деньги у та tante и у Софьи беретъ, замѣтилъ Евгеній. — Но

вѣдь у насъ и во всемъ такъ. Иногда, знаете-ли, такъ-бы и наговорилъ чуть не дерзостей ma tante, если-бы не любилъ и не жалѣлъ ее. Вотъ вы послушайте ее, что она говоритъ про дѣтей Марьи Всеволодовны: и прелестныя, выдержанныя это дѣти, и манеры-то у нихъ отличныя, и ученье-то имъ легко дается... И все это ложь, ничего этого нѣтъ! Она хочетъ, чтобы я сошелся съ ними, чтобы я былъ такимъ, какъ они... Да она, Петръ Ивановичъ, умерла-бы съ горя, если-бы я сдѣлался похожимъ на нихъ...

— А вы чего-же не скажете ей, что это шалопаи? спросилъ Петръ Ивановичъ.

— Сплетничать надо, что-ли? раздражительно произнесъ Евгеній. — Я наушникомъ не буду, Петръ Ивановичъ, никогда! А если люди до сѣдыхъ волосъ дожили, такъ должны они сами понимать тѣхъ, кого каждый день видятъ. А она не понимаетъ, ничего не понимаетъ! И не одна она, а всѣ кругомъ не понимаютъ и не хотятъ понять, что дѣлается. Monsieur Michaud — опытный гувернеръ! Отчего я не хочу учиться подъ его руководствомъ! Да онъ, Петръ Ивановичъ, просто него-

дядь. Я, Петръ Ивановичъ, съ вами четыре года прожилъ и не узналъ того, что я узналъ въ какіе-нибудь два мѣсяца отъ этихъ примѣрныхъ мальчиковъ и этого monsieur Michaud!

Евгеній вдругъ взялъ за руку Петра Ивановича и прямо взглянулъ ему въ лицо.

— Вѣдь это подло, подло, Петръ Ивановичъ, что они мнѣ стали разныя развратныя исторіи рассказывать и учить разнымъ гадостямъ? Вѣдь я-же по лѣтамъ еще совсѣмъ мальчикъ, а не взрослый! Я никогда и не думалъ прежде объ этомъ, а теперь я все знаю, все. Иногда и не хотѣлъ бы думать объ этомъ, а думаешь.

Евгеній говорилъ горячо и раздражительно съ примѣсю какой-то брезгливости.

— Подлецы! пробормоталъ Петръ Ивановичъ.

— Да, да, подлецы! повторилъ Евгеній. — Я вотъ съ вами и съ ma tante бываю у Оли въ институтъ. Они это знаютъ и говорятъ всякія мерзости про институтокъ. Зачѣмъ-же? Это скверно! Я теперь пріѣзжаю въ институтъ и мнѣ невольно иногда вспоминается все это. И

тоже про княгиню Марью Всеволодовну и про князя Алексѣя Платоновича что они говорятъ. Вѣдь она-же мать этимъ мальчикамъ, онъ — ихъ отецъ! Кого-же послѣ того и любить, если они сами издѣваются надъ своими отцемъ и матерью, а наши отецъ и мать вышвырнули вотъ насъ изъ дому?..

Петръ Ивановичъ нахмурился.

— Знаете-ли что, Женя, проговориль онъ. — Хоть наущничество и скверно, но вамъ надо объяснить все Олимпіадѣ Платоновнѣ, чтобъ отдалиться отъ этихъ негодяевъ. Хотите, я открою ей глаза...

— Полноте, Петръ Ивановичъ, сказалъ Евгеній. — Вѣдь не разойдется-же она съ ихъ семьей изъ-за меня, не возьметъ-же она меня изъ пансіона Матросова, а тамъ — да тамъ не одни Платонъ и Валеріанъ такіе, а всѣ, всѣ... Вы послушайте, что у насъ говорятъ объ этомъ пансіонѣ. И лучшее общество тамъ, и лучшіе учителя, и лучшее воспитаніе! И опять-таки всѣ говорятъ то, чего не знаютъ, чего вовсе нѣтъ! Я вотъ еще почти мальчикъ, я только и думать-то научился, благодаря вамъ, а я все вижу и понимаю, а они... Да вотъ я

вамъ что скажу: княгиня Марья Всеволодовна хвалится своими дѣтьми, хлопочеть о ихъ счастіи, говоритъ, что она имъ всю себя отдала, а они въ пансіонѣ такъ и слывутъ за попрошайекъ: у одного папиросъ займутъ, у другого денегъ перехватятъ, ко мнѣ пристають, чтобы я бралъ деньги у ma tante, благо она мнѣ ни въ чемъ не отказываетъ. «Mais c'est ta bourse, говоритъ Валеріанъ про ma tante, — il faut seulement délier ses cordons». А Платошка только хихикаетъ да, юродствуя, твердитъ: «У тетушки горбъ, а что въ горбу? — денежки!..» Они, Петръ Ивановичъ, жалкіе, жалкіе мальчики! Ихъ братъ обокралъ мать и они обокрадутъ ее, это ужъ вы увидите! А она ничего не видитъ, ничего не замѣчаетъ. И такъ у насъ и всѣ ничего не видятъ, ничего не замѣчаютъ, а всѣ говорятъ, судятъ и рядятъ, и все лгутъ, все лгутъ...

Петръ Ивановичъ прошелся по комнатѣ въ тяжеломъ раздумьи.

— Вы-то вотъ только слишкомъ рано и слишкомъ много видѣть научились, проговорилъ онъ. — Этакъ, батенька, вся жизнь каторгою сдѣлается, какъ станешь подмѣчать

вездѣ ложь и обманъ съ одной стороны и слѣпоту да глухоту съ другой.

Евгеній молчалъ. Прошло нѣсколько минутъ.

— А знаете, Петръ Ивановичъ, когда я въ первый разъ подумалъ, что ma tante большое дитя? спросилъ Евгеній.

— Нѣтъ, не знаю, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ.

— А когда намъ объявили, что пора уѣзжать изъ Сансуси, и вы стали ворчать на то, что ma tante увезла меня и Олю въ деревню на четыре года, отдалила отъ общества, отдалила отъ жизни... Вы тогда бранились, говорили, что это было сдѣлано нелѣпо, что если-бы мы еще остались жить въ Сансуси, такъ и совсѣмъ-бы одичали... У меня въ то время впервые явился вопросъ: значить, ma tante сама не понимала, что дѣлала, увозя насъ въ деревню?.. Потомъ я долго, долго думалъ объ этомъ и...

Евгеній замолчалъ, не кончивъ фразы.

— И до чего-же додумались? спросилъ Петръ Ивановичъ.

— Да что все у насъ такъ какъ-то дѣлается,

сказаль Евгеній, — вотъ какъ у Оли бывало, когда она въ куклы играла. «Теперь, говоритъ, мы въ гости поѣдемъ, а теперь я ее, говоритъ, въ институтъ отдамъ, а теперь, говоритъ, я ее изъ института въ деревню повезу...» А для чего она это, бывало, дѣлаетъ и для чего говоритъ — и сама она не знаетъ...

Петръ Ивановичъ даже остановился передъ Евгеніемъ, пристально смотря на него.

— Такъ вотъ-съ вы до чего додумались, проговорилъ онъ, — Не рано-ли, батенька, сверху внизъ на старуху смотрѣть начали? Этакъ-то вонъ и князя Дикаго на своихъ родителей смотрятъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, Петръ Ивановичъ, не такъ, не такъ! торопливо заговорилъ Евгеній. — Я не браню ma tante, не осуждаю. Я ее, Петръ Ивановичъ, очень, очень люблю... но, голубчикъ, поймите вы, поймите, что она ничего не видитъ, ничего не знаетъ... и вотъ какъ дѣти, и любитъ, и ласкаетъ своихъ куколокъ... меня и Олю, а что съ нами дѣлать — это не знаетъ...

Евгеній даже раскраснѣлся отъ волненія.

— Я вамъ всего этого объяснить никакъ не

умью, продолжалъ онъ горячо. — Все это я передумалъ, понялъ, но вотъ словъ у меня нѣтъ, чтобы все это ясно передать, чтобы и другіе все это поняли такъ, какъ я... Говорить я совсѣмъ не привыкъ... Валеріанъ — вотъ тотъ все-бы это вамъ объяснилъ отлично...

Въ этотъ-же вечеръ Евгений передалъ Петру Ивановичу всѣ подробности о ходѣ преподаванія у Матросова, о характерахъ и образѣ дѣйствій школьныхъ товарищей, о внутренней жизни Платона и Валеріана Дикаго. Изъ всѣхъ этихъ разсказовъ Петръ Ивановичъ понялъ, среди какого омута стоитъ несчастный мальчуганъ, и на прощаньи невольно замѣтилъ ему:

— Ну, Женя, не скрываютъ ничего отъ меня. Я все-же опытнѣе васъ и авось съумью быть полезнымъ вамъ при случаѣ. Вы стоите въ такомъ омутѣ, гдѣ не трудно и совсѣмъ потонуть.

— Вы знаете, что у меня нѣтъ никакихъ тайнъ отъ васъ, сказалъ Евгений. — Вамъ только я и могу говорить все.

Петръ Ивановичъ ушелъ въ раздумьи, не зная, что дѣлать: говорить или не говорить

Олимпіадѣ Платоновнѣ о всемъ слышанномъ. Онъ еще не принялъ никакого рѣшенія, когда въ одинъ прекрасный день Олимпіада Платоновна сама прислала за нимъ. Онъ удивился приглашенію, такъ какъ онъ и безъ приглашенія бывалъ у Олимпіады Платоновны почти ежедневно вечеромъ. Онъ не могъ понять, зачѣмъ его приглашали теперь утромъ.

— А, это вы! Браниться съ вами хочу!

Этими словами встрѣтила его Олимпіада Платоновна, когда онъ вошелъ въ ея кабинетъ.

— Каюсь, если въ чемъ виновать, а повинную голову и мечъ не сѣчетъ, шутливо проговорилъ онъ, пожимая ея руку.

— Да я вовсе не въ шутку сердита на васъ, серьезно сказала она. — Скрытничаете вы, вотъ что худо... Вамъ Евгеній говорилъ что-нибудь...

— О чемъ? спросилъ Петръ Ивановичъ, сядя на кресло около письменнаго стола.

— Да вообще о себѣ, о своихъ впечатлѣніяхъ, сказала она.

— Говорилъ, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ.

— Что-же вы мнѣ ничего не сказали? замѣтила старуха.

— А развѣ вы желаете, чтобы я передавалъ все, что онъ мнѣ говорить? спросилъ Петръ Ивановичъ, усмѣхаясь.

— Не все, сказала Олимпіада Платоновна, чувствуя, что она неловко приступила къ дѣлу. — Но мнѣ кажется, что у мальчика есть что-то на душѣ тяжелое. Мнѣ хотѣлось-бы знать, что именно. Можетъ быть, я могла-бы помочь.

Петръ Ивановичъ покачалъ головой.

— Едва-ли вы можете вполне помочь ему, если-бы даже и желали этого, сказалъ онъ. — Но во всякомъ случаѣ я радъ, что вы сами заговорили объ этомъ предметѣ. Я вамъ на первый разъ могу дать одинъ совѣтъ: не возите вы его насильно къ разнымъ князькамъ Дикаго, не заставляйте сближаться съ тѣми, съ кѣмъ ему вовсе не желательно сближаться, предоставьте ему...

— Ну, это пустяки! Я знаю, что онъ еще дичится знакомыхъ. Но тутъ нѣтъ ничего серьезнаго, перебила Петра Ивановича старуха. — Я васъ спрашиваю...

— Тутъ гораздо больше серьезнаго, чѣмъ вы думаете, перебилъ ее въ свою очередь Петръ Ивановичъ. — Евгеній слишкомъ чуткій и, можетъ быть, не по лѣтамъ смысленный человекъ и потому безъ серьезной причины онъ не станетъ дичиться и бѣгать отъ дѣтей.

Въ тонѣ Петра Ивановича уже звучала нота раздраженія.

— Безъ серьезныхъ причинъ?.. Да говорите вы прямо, что вы знаете! рѣзко сказала Олимпіада Платоновна.

— А то я знаю, что вы навязываете всякихъ негодяевъ въ друзья своему любимцу и удивляетесь, какъ это онъ не сдѣлается такимъ-же мерзавцемъ, вдругъ какъ отрубилъ уже совсѣмъ всплывшій Петръ Ивановичъ.

Олимпіада Платоновна раскрыла ротъ, чтобъ возражать, оборвать его, но съ его языка уже лился потокъ разсказовъ про все, что онъ зналъ. Его раздосадовало, что старуха даже и не подозрѣваетъ всего того, что дѣлается вокругъ нея. Не стѣсняясь, не щадя яркихъ красокъ, онъ съ чисто бурсацкою грубоватою откровенностью рисовалъ теперь передъ

Олімпіадою Платоновной цѣлую картину той нравственной грязи, которая окружала мальчика. Княжна ничего и не подозрѣвала изъ того, что дѣлается, что говорится въ кружкѣ разныхъ князьковъ Дикаго, разныхъ воспитанниковъ пансіона Матросова. Олімпіада Платоновна только иногда прерывала его восклицаніями:

— Да не можетъ быть! Да что вы мнѣ рассказываете!

— Что-же вы думаете, что Евгенийъ лжетъ передо мною или я выдумываю вамъ это все? возражалъ Петръ Ивановичъ.

— Да вѣдь это-же дѣти! говорила княжна чуть не молящимъ тономъ.

— Хороши дѣти — пятнадцатилѣтніе и семнадцатилѣтніе шалопаи, насмотрѣвшіеся, наслушавшіеся всякихъ мерзостей! горячился Петръ Ивановичъ. — Эти дѣти опытнѣе васъ во многомъ, они знаютъ такія мерзости, о которыхъ вы и понятія не имѣете, они продѣлываютъ такія штуки, отъ которыхъ и иной старикъ покраснѣетъ!..

И новыя подробности, новыя картины развертывались передъ Олімпіадою Платонов-

ной, которой, не смотря на ея лѣта, становилось даже неловко и стыдно отъ этихъ разсказовъ.

— Но какъ-же княгиня Марья Всеволодовна, проговорила она въ смущеніи, — неужели она ничего не подозрѣваетъ?

— Ваша княгиня — она только поклоняется себѣ и ничего не понимаетъ, ничего не видитъ, что происходитъ вокругъ нея, раздражительно сказалъ Петръ Ивановичъ.

— Но ей надо открыть глаза! говорила Олимпиада Платоновна.

— Чтобы вооружить и ее, и ея дѣтей противъ Евгенія, чтобы его назвали сплетникомъ и лгуномъ? возразилъ Петръ Ивановичъ. — Или вы думаете, что и ея сынки, и ихъ развратный гувернеръ, и Матросовъ не съумѣютъ опровергнуть все, что вы расскажете про нихъ ей? Вѣдь не медицинскую-же комисію вы снарядите въ пансіонъ Матросова для подтвержденія части разсказовъ Евгенія. Не формальное-же слѣдствіе устройте для оправданія объясненій нашего мальчика?.. Можетъ быть, именно потому-то Евгеній вамъ и не говорилъ ничего, не желая заслу-

жить репутацию клеветника и лгуна. Вѣдь обличая всю эту грязь, вы должны будете порвать связи съ семействомъ своего брата, вы должны будете взять Евгенія изъ пансіона, гдѣ ему житья не будетъ, а что потомъ?..

Олимпиада Платоновна была страшно встревожена.

— Хуже всего то, что въ душѣ Евгенія начинается подрываться вѣра въ людей, сказалъ Петръ Ивановичъ. — Онъ мальчикъ честный и чистый, среди грязи онъ сумѣетъ устоять нравственно неиспорченнымъ. Но вѣрить въ людей... ну, это довольно трудно тому, кто знаетъ, что съ дѣтства его бросили на произволъ судьбы отецъ и мать, что другіе отцы и матери заслуживаютъ только презрѣніе и злобу своихъ дѣтей, что близкіе къ нему и дорогіе ему люди постоянно ошибались, что другіе окружающіе его вѣчно лгали. Вы вотъ постоянно расхваливали при немъ и княгиню Марью Всеволодовну, и ея дѣтей, и пансіонъ Матросова, а онъ въ эти минуты — вы меня извините — смотрѣлъ на васъ какъ на доброе старое дитя, которое легко обмануть на каждомъ шагу... Вы, можетъ быть, и

не подозрѣвали, что каждой своей похвалою этимъ людямъ вы подрывали въ его глазахъ свой собственный авторитетъ... Вотъ, можетъ быть, главная причина его скрытности, его замкнутости: какихъ совѣтовъ могъ онъ просить у окружающихъ, когда эти окружающіе или ничего не видятъ въ своей наивности, или лгутъ на каждомъ шагу вслѣдствіе своей испорченности...

Княжна поднялась съ мѣста и своей невѣрной, ковыляющей походкой начала ходить въ волненіи по комнатѣ. Ея брови сдвинулись, лицо нахмурилось и смотрѣло сурово. Она не говорила ни слова, покусывая нижнюю губу. Прошло нѣсколько минутъ тяжелаго молчанія.

— Не сердитесь, что я, можетъ быть, былъ немного рѣзокъ, началъ Петръ Ивановичъ, прерывая молчаніе. — Но, право...

— Ахъ, перебила его раздражительно княжна какимъ-то ворчливымъ тономъ, — тутъ идетъ дѣло о спасеніи ребенка, а онъ извиняется передо мной, что въ попыхахъ душой меня назвалъ!.. Нашелъ время для церемоній!.. Скажи, батюшка, что дѣлать то,

что дѣлать? Вотъ въ чемъ весь вопросъ теперь...

— Оставьте покуда въ покоѣ Евгенія, сказалъ Петръ Ивановичъ, — не заставляйте его ѣздить къ вашимъ роднымъ, пусть онъ доучится этотъ годъ у Матросова — вѣдь и всего-то мѣсяцъ до каникуловъ остался — а тамъ пристройте его въ гимназію, не порывая круто связей съ княгиней Марьей Всеволодовной, не заявляя, что случилось что-то, заставляющее спасать мальчугана отъ ихъ круга... Я вамъ и прежде говорилъ о гимназіи, тамъ все-таки лучше, правильнѣе поставлено дѣло, чѣмъ въ этихъ вертепахъ педагогическихъ плутней...

— Да вѣдь не потому я не отдала его въ гимназію, что я ужъ совсѣмъ не вѣрю въ эти заведенія, проговорила Олимпіада Платоновна. — А сами знаете, какое значеніе я придаю родственнымъ связямъ Евгенія съ семьей моего брата. Все думала: умру — не останется на мостовой, не погибнетъ съ голода. Вотъ почему хотѣлось упрочить эту связь дружбой Евгенія съ дѣтьми князя...

— Эхъ, Олимпіада Платоновна, бросьте вы

мысли о смерти! сказалъ Петръ Ивановичъ. — Живы — ну, и думайте о жизни, а умрете — ну, я останусь, авось ужъ не совсѣмъ негодяемъ окажусь и кое-какъ поддержу Евгенія...

— Свои еще рты хлѣба просятъ, пробормотала Олимпіада Платоновнѣ.

— Найдется лишній кусокъ и на Евгенія, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ. — Да что это мы опять о смерти заговорили! Уныніе только напускаете вы на себя. И не умрете вы до окончанія Евгениемъ ученія, и не останется онъ нищимъ, потому все-же хоть кое-какія крохи послѣ васъ останутся...

— Ничего, ничего не останется, все прожито, все на вѣтеръ брошено! проворчала старуха. — Благодарительница вѣдь я!.. Вонъ тамъ цѣлая стая салопницъ, всѣмъ вѣдь надо дать, чтобы отстали!.. Олимпіада Платоновна вѣдь добрая, какъ-же ее не обирать!..

Она махнула рукою.

— Да, серьезно проговорилъ Петръ Ивановичъ, — я радъ, что вы заговорили объ этомъ предметѣ... Не мое дѣло вмѣшиваться въ ваши денежныя дѣла, но вы раздаете деньги

немного безъ разбора и нѣсколько...

Петръ Ивановичъ затруднялся въ выборѣ выраженій.

— Ну, глупо, глупо! Чего вы выраженія-то подыскиваете! сердито перебила его княжна. — Что вы думаете, что я этого не понимаю сама! Отлично понимаю, а что-же дѣлать, если люди нагло лѣзутъ съ ножемъ къ горлу, а я... ну, я платье снять съ себя готова, лишь бы отдѣлаться отъ ихъ плача и воя... Эхъ, голубчикъ, правду вы сказали, что я старый ребенокъ, правду... счета сегодня сводила, такъ даже страшно стало, столько денегъ уходитъ, сама не знаю, куда уходитъ... Опять и Софья задолжала, и кое что заложила...

Княжна какъ-то безнадежно вздохнула.

— Опекуну, опекуну надо мной назначить бы надо! проворчала она. — Старая мотовка и больше ничего!

Она была жалка и комична со своими рѣзкими и въ то же время добродушными обличеніями самой себя. Петръ Ивановичъ ушелъ отъ нея въ невеселомъ настроеніи духа. Только теперь понималъ онъ вполнѣ, въ какомъ положеніи очутится Евгеній, если

вдругъ умереть Олимпіада Платоновна: у мальчика не останется почти ничего, онъ можетъ попасть въ руки княгини Марьи Всеволодовны или, что нисколько не лучше, будетъ взятъ отцемъ и что изъ него выйдетъ подь вліяніемъ этихъ людей, это трудно сказать, но вѣрно только то, что хорошаго ничего не можетъ изъ него выйти въ рукахъ этихъ людей. Невесело было настроеніе и княжны. Ее заботило положеніе Евгенія, ее мучили теперь мысли о ея неумѣньи жить, ей досаждали теперь воспоминанія о разныхъ мелкихъ долгахъ, которые она уже успѣла надѣлать, поддаваясь на разныя просьбы и мольбы и Мари Хрюминой, и Перцовой, и десятка другихъ бѣдныхъ родственницъ и приживалокъ. Среди этихъ думъ у нея возникали планы начать болѣе расчетливую жизнь, затворить двери отъ разныхъ попрошоекъ, уединиться съ Евгеніемъ въ Петербургъ, затворить двери отъ гостей и ограничить число прислуги. Но рядомъ съ этими планами явились вопросы: какъ-же отказать Никитѣ Ивановичу, который прослужилъ въ домъ съ дѣтства до сѣдыхъ волосъ? какъ отдѣлаться отъ много-

численной родни, которая найдетъ ее вездѣ? какъ устоять передъ слезами и письмами Мари Хрюминой, Перцовой и всѣхъ этихъ попрошакъ, осаждающихъ матушку-благодѣтельница? наконецъ, какъ лишить пенсій тѣхъ людей, которые получаютъ эти пенсіи отъ нея съ незапамятныхъ временъ? Ея положеніе было по истинѣ траги-комичнымъ и ей при воспоминаніи о всей этой шайкѣ обираль приходилось только воскликнуть: «куда убѣгу отъ глазъ твоихъ?» Но болѣе всего ее заботилъ Евгеній, ей хотѣлось приласкать и ободрить его, дать ему понять, что скоро для него начнется другая жизнь безъ необходимости вращаться въ кругу опротивѣвшихъ ему дѣтей. Она не выдержала и въ этотъ-же день замѣтила ему:

— А знаешь, Женя, что я придумала. Не нравится мнѣ пансіонъ Матросова. Съ осени, я думаю, лучше перевести тебя въ гимназію...

Евгеній удивился.

— Ты, голубчикъ, все скрытничаетъ, продолжала княжна, — а тебѣ, кажется, самому не нравится это училище?..

— Ma tante, мнѣ все равно, отвѣтилъ

онъ, — я ни съ кѣмъ не схожусь изъ товарищей...

— И богъ съ ними, богъ съ ними! торопливо проговорила княжна. — Дѣлай, какъ тебѣ лучше, какъ тебѣ покойнѣе... Я бы и теперь взяла тебя оттуда, но начнутъ толки: почему и зачѣмъ? Нѣтъ, ужь лучше потерпи мѣсяць, тамъ придетъ лѣто, каникулы и будетъ время все обдумать.

Евгеній очень обрадовался и поцаловалъ руку княжны.

— Похудѣлъ ты у меня за зиму, поблѣднѣлъ, проговорила она, любуясь имъ. — Ну, да лѣтомъ поправишься, Богъ дастъ, поѣдемъ въ Сансуси...

— Ma tante, развѣ вы не знаете?.. почти съ испугомъ спросилъ онъ.

— Что?

— Туда ѣдетъ на лѣто княгиня Марья Всеволодовна... Ma tante, мы вѣдь не поѣдемъ съ ними?..

Въ его голосѣ слышалось боязливое ожиданіе отвѣта.

— Нѣтъ, нѣтъ, поспѣшила сказать княжна, — если они ѣдутъ — мы не поѣдемъ... Я не

знала, что они туда ъдутъ...

Евгеній вздохнулъ свободнѣе.

— Ты очень не любишь Платона и Валерьяна? спросила неожиданно княжна.

Евгеній прямо взглянулъ ей въ глаза.

— Ma tante, вамъ это Петръ Ивановичъ сказалъ? спросилъ онъ, не отвѣчая на вопросъ.

— Никто мнѣ этого не говорилъ, сказала княжна, не желая выдавать разговора съ Петромъ Ивановичемъ, — но это сейчасъ видно...

— Не люблю, отвѣтилъ Евгеній.

— Зачѣмъ-же ты не сказалъ мнѣ этого раньше? Я не заставляла-бы тебя ъздить къ нимъ, не приглашала-бы ихъ сюда...

Евгеній опять взглянулъ ей прямо въ глаза.

— Ma tante, нельзя-же гнать всѣхъ, кого я не люблю, сказалъ онъ.

Она разсмѣялась.

— А ты развѣ многихъ не любишь? спросила она.

— Всѣхъ, ma tante, кромѣ васъ, Оли, Софочки и Петра Ивановича, отвѣтилъ онъ. — Да, всѣхъ, всѣхъ!..

Онъ опустился, какъ въ былые дни, на скамейку у ногъ княжны.

— Иногда, *ma tante*, мнѣ хотѣлось-бы не видать никого, никого, заговорилъ онъ ласковымъ голосомъ, — и быть только съ вами, съ Олей, съ Софочкой, съ Петромъ Ивановичемъ въ глухой деревнѣ, среди мужиковъ, среди крестьянскихъ ребятишекъ и чтобы кругомъ было такъ тихо, такъ спокойно. Я какой-то странный, *ma tante*: то мнѣ кажется, что я совсѣмъ взрослый, что я понимаю все лучше всѣхъ, а то я дѣлаюсь такимъ смѣшнымъ, какъ маленькій ребенокъ... Вотъ третьяго дня я ходилъ къ Олѣ. Вы помните, какой чудесный день былъ третьяго дня — и солнце, и тепло, и весной, пахло. Я вышелъ отъ Оли изъ Смольнаго и пошелъ въ Невѣ, тамъ уже началось такое движеніе, мужики на баркахъ, лодки снуютъ, пароходы мелькаютъ, зелень начинается появляться, все солнцемъ залито, среди говора народа откуда-то пѣсни рабочихъ слышатся... Я присѣлъ, засмотрѣлся на все это, заслушался и вдругъ потянуло меня туда, къ намъ, въ Сансуси, въ нашъ покинутый рай... Я, *ma tante*, расплакался...

Олимпиада Платоновна ласково провела рукою по волосамъ Евгенія и проговорила:

— Бѣдный, бѣдный мой мальчикъ! Иногда у меня сердце сжимается за тебя. Вотъ и теперь тянетъ тебя туда, въ деревню, а между тѣмъ самому-же тебѣ приходится просить не ѣхать туда...

Евгеній какъ-то особенно оживился.

— Полноте, ma tante! Это все пустяки! заговорилъ онъ. — Избаловался я, изнѣжился, — вотъ и все. Мало-ли людей и совсѣмъ никогда не ѣздятъ никуда и не такъ еще живутъ, какъ я. Отъ этого отвыкать надо, а то, какъ вѣрно говоритъ Петръ Ивановичъ, вѣчно привередничать будешь, что все есть, а птичьего молока достать не можешь. Это вѣдь ужъ совсѣмъ гадко. Я все стараюсь отучить себя...

— Отъ чего? спросила Олимпиада Платоновна.

— Да вотъ отъ этой привычки съ каждой своей болячкой носиться... Я очень радъ, что около меня стоитъ Петръ Ивановичъ. Онъ нѣтъ-нѣтъ да и подшутитъ надъ моими привередничаньями, какъ онъ называетъ всѣ эти

охи да вздохи о себѣ и своихъ горестяхъ...

Въ голосѣ Евгенія звучала какая-то новая нотка; было видно, что въ немъ начинается какая-то внутренняя ломка; онъ начиналъ сердиться на себя за свое малодушіе, за свою слабость, за свою привычку думать только о своихъ мелкихъ невзгодахъ и неудачахъ. Въ этомъ замѣчалось сильное вліяніе Рябушкина. Но Евгенію не легко было помириться съ философіей Петра Ивановича, заключавшейся, повидимому, въ очень простомъ и логичномъ правилѣ. «Сыты вы, ну, такъ и нечего хныкать, что судьба васъ еще разными сластями не ублажаетъ», говорилъ Петръ Ивановичъ, стараясь разсѣять мрачное настроеніе юноши. Иногда Петръ Ивановичъ даже подшучивалъ надъ нимъ довольно ѣдко: «ну, это вы заѣлись, несвареніемъ желудка, вѣрно, страдаете отъ объѣденія, потому и кукситесь да жалуетесь, что и товарищей-то у васъ нѣтъ, что и фатеръ-то съ мутершей васъ не любятъ, что и окружаетъ-то васъ всякая дрянь. Нѣтъ, а вотъ поголодали-бы нѣсколько времени, такъ все-бы это съ васъ соскочило и стали-бы вы объ одномъ думать, какъ-бы по-

жрать!» Евгений хотѣлъ вѣрить этому, онъ сталъ, если можно такъ выразиться, ловить себя на мѣсть преступленія, то есть на жалобы на мелкія непріятности, онъ началъ сдерживаться и напоминать себѣ слова Петра Ивановича: «ваши невзгоды — булавочные уколы, съ которыми сто лѣтъ прожить можно; вотъ у кого ни крова, ни хлѣба нѣтъ, — а, такой человѣкъ точно можетъ пожаловаться на судьбу, тутъ и недѣли не проживешь, если кто-нибудь не спасетъ». Евгению хотѣлось вѣрить, что это правда; онъ былъ убѣжденъ, что самъ Петръ Ивановичъ давно увѣровалъ въ истину этого взгляда. Но дѣйствительность то и дѣло колебала твердую рѣшимость Евгения признать свою долю самую счастливою долею и вмѣсто ропота благодарить судьбу за готовый уголь, за готовый обѣдъ, не требуя ничего больше, не тоскуя «по роскоши жизни», какъ называлъ Петръ Ивановичъ хорошій семейный союзъ, хорошія дружескія связи, отсутствіе непріятныхъ столкновеній съ людьми и тому подобное. Самое тяжелое испытаніе пришлось пережить Евгению въ концѣ весны, ко-

гда онъ уже мечталъ только о наступленіи каникулъ, о выходѣ навсегда изъ пансіона Матросова, о поступленіи въ гимназію, про которую Петръ Ивановичъ всегда говорилъ ему: «и тамъ не рай, но все-же дѣло поставлено и прочнѣе, и правильнѣе, и цѣлесообразнѣе, чѣмъ въ этомъ вертепѣ».

Однажды, сидя въ пансіонѣ въ кружкѣ товарищей съ Валерьяномъ и Платономъ Дикаго, Евгеній былъ пораженъ неожиданнымъ вопросомъ сына комерціи совѣтника Иванова. Ивановъ съ самаго поступленія Евгенія въ пансіонъ относился къ юношѣ недоброжелательнѣе, нѣмъ кто-нибудь другой изъ товарищей, то съ ироніей, то съ завистью, то съ оскорбительнымъ презрѣніемъ; онъ зналъ, что Евтеній не богатъ, что Евгеній брошенъ отцемъ и матерью, что Евгеній считается лучшимъ ученикомъ школы, что Евгеній не якшется съ товарищами и неодобрительно относится къ ихъ образу жизни; этого было достаточно для Иванова, чтобы питать и презрѣніе, и ненависть къ Евгенію. Нѣсколько разъ дѣло доходило у нихъ до крупныхъ и рѣзкихъ колкостей и пере-

бранокъ, изъ которыхъ Евгеній выходилъ побѣдителемъ, благодаря находчивости и той доли мѣткой ѣдкости, которая все болѣе и болѣе развивалась у него въ училищѣ. Иногда онъ, припоминая все сказанное имъ Иванову, думалъ: «такъ-бы, вѣрно, отвѣтилъ ему и Петръ Ивановичъ». На этотъ разъ Евгеній ждалъ тоже какой-нибудь непріятной сцены, увидавъ, что Ивановъ подошелъ къ кружку, среди котораго находился онъ, Евгеній.

— А твой отецъ, Хрюминъ, въ Крутогорскѣ теперь живетъ? спросилъ его неожиданно Ивановъ.

Евгеній всегда терялся, когда его спрашивали объ отцѣ и матери. И теперь онъ не хотя сквозь зубы отвѣтилъ: «да», спѣша заговорить о чемъ-нибудь другомъ съ окружавшими его товарищами, чтобы остановить дальнѣйшіе распросы Иванова. Но Ивановъ Продолжалъ:

— Такъ онъ у тебя мошенникъ-то не изъ послѣднихъ!

Это было сказано рѣзко, грубо, съ наглымъ смѣхомъ и притомъ совершенно неожиданно для Евгенія. Евгеній поблѣднѣлъ и поднялся съ мѣста.

— Подлецъ! крикнулъ онъ. — Какъ ты смѣешь... какъ ты смѣешь...

Онъ задыхался, приближаясь къ Иванову съ сжатыми кулаками. Онъ едва-ли самъ сознавалъ, что онъ говоритъ.

— Чего не смѣть-то?.. Мошенникъ такъ мошенникъ и есть! говорилъ Ивановъ. — О немъ въ газетахъ...

Но ему не удалось кончить этой фразы. Евгеній, блѣдный, какъ полотно, повидимому, близкій къ обмороку, бросился на Иванова. Онъ вцѣпился ему руками въ шею, быстрымъ движеніемъ ноги сбиль его на полъ и, прежде чѣмъ кто-нибудь изъ товарищей успѣлъ опомниться, Ивановъ здоровый и плотный, но не особенно поворотливый и ловкій юноша, лежалъ уже на полу подъ Евгеніемъ, душившимъ его за горло и кричавшимъ въ бѣшенствѣ:

— Какъ собаку, задушу тебя! Извиняйся, мерзавецъ! Извиняйся!

Ивановъ лежалъ весь красный, съ расширенными зрачками и уже не защищался, а только неловко барахтался и хрипѣлъ:

— Дьяволъ... дьяволъ... пусти!..

Въ залѣ всѣ притихли. Всѣ были охвачены какимъ-то паническимъ страхомъ, потому что Евгенийъ былъ дѣйствительно страшенъ, подобно человѣку въ припадкѣ бѣшенства. Губернеръ, прибѣжавшій въ комнату, не нашелся, что сдѣлать, и, махая руками, закричалъ:

— Воды, воды!.. Онъ съума сходитъ!..

Кто-то опрометью побѣжалъ за водой, кто-то торопливо и сбивчиво началъ сообщать губернелю, въ чемъ дѣло, но не прошло и двухъ-трехъ минутъ, какъ Евгенийъ уже опомнился. Онъ тяжело поднялся съ пола, толкнулъ съ отвращеніемъ ногою Иванова и отеръ платкомъ съ своего синевато-блѣднаго лица катившійся ручьемъ потъ. Ивановъ медленно поднимался съ полу, едва переводя духъ и оправляя воротъ рубашки, душившій ему горло. Онъ уже не ругался, не храбрился и смотрѣлъ растеряннымъ, блуждающимъ взглядомъ, точно человѣкъ, спасшійся по счастливой случайности отъ неминуемой смерти, угрожавшей ему за минуту передъ тѣмъ. Удаляясь изъ залы, не задерживаемый никѣмъ, Евгенийъ смутно слышалъ за собою

неясный говоръ.

— Чѣмъ-же я виноватъ, въ газетахъ писали вчера, говорилъ Ивановъ отрывистымъ и плаксивымъ тономъ. — Ну, я и сказалъ... а онъ накинулся... дьяволъ точно... задушилъ было... дьяволъ...

— Постойте... куда-же вы... Владиміру Васильевичу надо доложить! крикнулъ Евгенію гувернеръ.

Но Евгеній, не оборачиваясь, не отвѣчая, вышелъ изъ залы, вышелъ изъ училища, прошелъ нѣсколько улицъ, добрелъ до своей квартиры, позвонилъ у дверей и... Что было дальше онъ этого не помнилъ. Потомъ ему говорила тетка, что онъ упалъ въ обморокъ, что послѣ онъ твердилъ въ бреду: «мошенникъ... мошенникъ... въ газетахъ пишутъ...» Олимпіада Платоновна, испуганная, растерявшаяся, послала за докторомъ, за Петромъ Ивановичемъ, попросила Софью съѣздить въ школу, чтобъ узнать, что случилось, и вообще пережила нѣсколько часовъ такой тревоги, какой ей еще не приходилось испытывать никогда. Она суетилась, бѣгала изъ комнаты въ комнату, посылала кого-то куда-то, не

зная, зачѣмъ, и все забѣгала взглянуть, живѣли Евгеній. Къ вечеру Евгеній пришелъ совсѣмъ въ себя, поднялся съ постели, пришелъ, хотя и не безъ труда, не безъ усилія надъ собой, къ чаю въ столовую, гдѣ сидѣли встревоженные и смущенные Петръ Ивановичъ и Олимпиада Платоновна, которымъ уже были извѣстны всѣ подробности несчастной исторіи въ пансіонѣ.

— Простите, ma tante, что я, съумасшедшій, опять встревожилъ васъ, проговорилъ Евгеній упавшимъ, но довольно спокойнымъ голосомъ., дѣлая надъ собой усиліе, чтобы улыбнуться.

Онъ поцаловалъ ея руку и сжалъ дружески руку Петра Ивановича.

— Но, право, отъ такихъ неожиданностей съума сойдти можно, прибавилъ онъ, садясь къ столу. — Ужъ лучше-бы батюшка предупредилъ насъ, что ему вздумалось какія-то мерзости дѣлать, а то такъ сюрпризомъ вдругъ слышишь, что твой отецъ мошенникъ и что объ этомъ даже въ газетахъ пишутъ...

По его лицу скользнула горькая ироническая улыбка, его голосъ звучалъ какой-то по-

давленной, глухой желчью. Онъ былъ не узнаваемъ, онъ словно похудѣлъ и осунулся за эти нѣсколько часовъ.

— Вотъ, Петръ Ивановичъ, опять я забылъ ваше правило о возсыланіи благодарностей судьбѣ за то, что хоть не голодаю, обратился онъ къ Петру Ивановичу. — Захотѣлось еще роскоши жизни, чтобы моего отца мошенникомъ не смѣли при мнѣ называть!.. Нѣтъ, видно, у вашей философіи одна нога деревянная, потому она и хромаетъ...

Онъ видимо дѣлалъ надъ собой страшныя усилія, чтобъ ироніей, шуткой заглушить какія-то другія чувства.

— Вы, ma tante, вѣроятно, все уже знаете? сказалъ онъ Олимпіадѣ Платоновнѣ.

— Да, да, отвѣтила она печально. — Я пропустила вчера въ газетахъ эту корреспонденцію... Подлогъ векселей... растрата чужихъ денегъ... плутни въ банкѣ... я, право, ничего не поняла...

— Что-же его судить будутъ? спросилъ какъ-бы вскользь Евгеній.

— Да... онъ арестованъ...

— Значить теперь хоть что-нибудь да бу-

демь о немъ узнавать каждый день, проговорилъ Евгеній и вдругъ обернулся къ Петру Ивановичу: — Вотъ когда хорошо-бы убѣжать на край свѣта и забыть, что есть газеты, что есть люди, читающіе газеты!..

Прислушиваясь къ его словамъ, къ его голосу, видно было, что онъ все говоритъ не то, что хотѣлъ-бы сказать, что онъ напускаетъ на себя топъ какой-то холодной насмѣшливости; но это едва-ли было ломанье, рисовка своимъ горемъ. Нѣтъ, юноша, кажется, просто боялся разрыдаться, впасть въ отчаяніе, дойти опять до полнаго упадка силъ, до нервнаго припадка. Онъ чувствовалъ, что ему было какъ-будто легче, когда онъ шутилъ, иронизировалъ. Ему теперь вспоминались слова Петра Ивановича: «что поневолѣ будешь улыбаться, когда и сегодня бьютъ, и завтра колотятъ».

— Ты болѣе не ѣзди въ пансіонъ, сказала Олимпіада Платоновна. — Переѣдемъ поскорѣе куда-нибудь на дачу... подальше отсюда... Можетъ быть, все это такъ кончится... Я завтра-же наведу справки на счетъ его, хлопотать надо, можетъ быть...

Въ эту минуту раздался звонокъ въ передней.

— Софья, Софья, скажите, что я не принимаю... больна... дома нѣтъ... скорѣе! быстро проговорила Олимпіада Платоновна.

Софья торопливо направилась въ переднюю.

— Это графиня Марья Всеволодовна прїѣзжала, доложила она черезъ нѣсколько минутъ. — Говорить, по важному дѣлу...

Въ передней послышался новый звонокъ. Потомъ еще.

— А! всѣ уже узнали! проговорила Олимпіада Платоновна, и въ ея голосъ послышалась нотка злости.

— Въ Выборгъ, говорятъ, хорошо жить, вдругъ проговорилъ Петръ Ивановичъ. — Природа тамъ спокойная, здоровая... люди... Ну, да вѣдь вы по чухонски не знаете, значить люди тамъ всѣ хорошіе...

— Что-жь... въ Выборгъ, значить, можно ѣхать, машинально отвѣтила Олимпіада Платоновна.

— Я тоже на лѣто освобожусь отъ уроковъ, махну туда съ вами, продолжалъ Петръ Ива-

новичъ. — И отъ Питера недалеко, и глушь благодатная, а главное люди хорошіе, по русски не говорятъ...

Петръ Ивановичъ долго еще ораторствовалъ въ этомъ тонѣ, но его едва-ли слушали и понимали...

На слѣдующій день въ газетахъ появились обстоятельные рассказы о поддѣлкѣ какихъ-то счетовъ и кражѣ общественныхъ денегъ въ крутогорскомъ банкѣ Владиміромъ Хрюминымъ; на третій день въ домѣ Олимпіады Платоновны было отказано, по крайней мѣрѣ, десятку посѣтителей, съ соболѣзнованіями справлявшихся, здоровали, не заболѣла-ли княжна; прошелъ еще день и въ газетахъ появилось сообщеніе, что Владиміръ Хрюминъ былъ только исполнителемъ воли цѣлой шайки банковскихъ мошенниковъ и что онъ самъ личность мелкая и ничтожная, не способная даже на ловкое мошенничество; въ домѣ Олимпіады Платоновны опять приходилось отказывать сочувствующимъ старухѣ роднымъ и знакомымъ...

Но къ княжнѣ Олимпіадѣ Платоновнѣ воровалась все таки Мари Хрюмина, вся

раскраснѣвшаяся, взволнованная, въ слезахъ.

— Что-же это такое, ma tante! Мы опозорены, наша фамилія замарана! воскликнула, всхлипывая, отцвѣтающая дѣва. — Чѣмъ-же другіе-то виноваты, чѣмъ я виновата, что онъ негодяй, что онъ что-то укралъ...

— Да кто тебя, мать моя, обвиняетъ! съ злостью воскликнула княжна.

— Но вѣдь я ношу туже фамилію! воскликнула Мари Хрюмина, рыдая. — Всѣ спрашиваютъ: это, вѣрно, вашъ близкій родственникъ? Всѣ смотрятъ какъ-то двусмысленно, точно сторонятся...

— Ну и ты сторонись! раздражительно посовѣтовала княжна.

— Но вѣдь я, ma tante, дѣвушка! воскликнула Мари Хрюмина.

Княжна посмотрѣла на нее, не то съ удивленіемъ, не то съ ироніей.

— Ахъ, да неужели ты еще не привыкла къ этому, проговорила она.

Но Мари Хрюмина была серьезно встревожена мыслью, что ее, ради ея родственныхъ связей съ воромъ и мошенникомъ, могутъ обойдти женихи.

Въ это время Петръ Ивановичъ и Евгеній неслись уже по желѣзной дорогѣ въ Выборгъ искать дачу.

— Берите, что попадетъ, лишь-бы скорѣе отсюда выѣхать, говорила имъ на прощаньи Олимпіада Платоновна.

— Петръ Ивановичъ, это какая птица подъ крыло голову прячетъ, когда ей грозитъ опасность? спрашивалъ Евгеній у Петра Ивановича.

— А чортъ ее знаетъ, какая! ворчливо! отвѣтилъ Петръ Ивановичъ. — Вамъ-то что до нея?

— Да такъ, потому вотъ, что мы съ ma tante чуть что случится, сейчасъ свои головы подъ крыло прячемъ...

Конецъ II-й книги.

КНИГА ТРЕТЬЯ НА ПОРОГЪ КЪ ЖИЗНИ

I

Неподвижныя ели и сосны, гигантскія глыбы гранита, обросшія сухимъ мохомъ, цѣлое море песку, безчисленные морскіе заливы, множество безлюдныхъ уголковъ лѣса и побережья, изрѣдка встрѣчающіеся суровые и молчаливые финны, полное затишье, по цѣлымъ часамъ не нарушаемое ничѣмъ, ни говоромъ человѣка, ни пѣніемъ птицы, вотъ что охватило со всѣхъ сторонъ кружокъ Олимпіады Платоновны, когда она съ своей семьей и съ Петромъ Ивановичемъ перебралась на лѣто въ Выборгъ. Нанятый ею отдѣльный домикъ, потонувшій въ саду на берегу залива, стоялъ далеко отъ города, на краю форштадта. Купанье въ заливѣ, прогулки до сосѣднему парку барона Николаи, поѣздки на пароходѣ по Саймскому каналу въ Юстилу, въ Ратти-Ярви, катанье на лодкѣ и рыбная ловля, все это наполняло досуги се-

мыи въ эти дни ея уединенной, тихой жизни вдали отъ всякаго шума. Сухой воздухъ, безоблачное небо, лѣтнее тепло, полный покой дѣлали свое дѣло, успокоивали нервы, подавляли тревоги, навѣвали что-то въ родѣ умственной спячки. Здѣсь невольно клонило ко сну, манило прилечь гдѣ-нибудь въ тѣни и смотрѣть дремотными глазами куда-то въ даль, безъ цѣли, безъ мысли. Иногда, въ тихій безвѣтряный день, отправившись на рыбную ловлю и забравшись на лодкѣ на середину соннаго залива, Петръ Ивановичъ и Евгеній проводили въ безмолвіи цѣлые часы и только изрѣдка обмѣнивались отрывочными замѣчаніями, что «нынче тепло», что «сегодня хорошо ловится рыба». Только изрѣдка среди этого искусственно созданнаго затишья вдругъ проскальзывали какія-то горькія фразы, говорившія ясно, что и въ этомъ затишьѣ въ душѣ Евгенія далеко не все успокоилось и улеглось. Иногда онъ замѣчалъ:

— А что, Петръ Ивановичъ, неужели мнѣ всю жизнь придется такъ спасаться отъ людей, какъ въ Сансуси, какъ здѣсь?

— Да, пожалуй, что и такъ, если вы не при-

мкнете къ другому кругу людей, если вздумаете вѣчно жить среди разныхъ Хрюминыхъ, Дикаго, съ одной стороны, и разныхъ Перцовыхъ, съ другой.

— Да, но вѣдь это та среда, съ которой сжилась ma tante...

— Олимпіада Платоновна доживаетъ свой вѣкъ, а вы начинаете жить. Вамъ нечего надѣяться жить такъ, какъ она. Вамъ надо забыть, что всѣ эти Дикаго, всѣ эти Хрюмины ваши родные. Вы имъ не ко двору. Въ ихъ кругу вы будете постоянно играть двусмысленную роль бѣднаго родственника, въ ихъ кругу вы вѣчно будете наталкиваться на вопросы о вашихъ фатерѣ и муттершѣ, а вамъ самое лучшее позабыть обо всемъ этомъ.

— Не такъ-то это легко сдѣлать, какъ говорить, вздыхалъ Евгеній и перемѣнялъ разговоръ или смолкалъ.

Порою, когда приносились газеты, онъ не безъ горечи замѣчалъ:

— Посмотримъ, нѣтъ-ли поучительнаго чтенія...

Петръ Ивановичъ зналъ, что называлъ Евгеній «поучительнымъ чтеніемъ», и сердил-

то ворчалъ:

— Очень нужно всякую чепуху читать.

— Какъ-же не полюбопытствовать сыну, что пишутъ про его родителя, говорилъ Евгеній. — Вѣдь говорятъ, что младшіе должны идти по стопамъ старшихъ, ну, вотъ я и хочу знать, какъ рара совершалъ свои дѣянія...

Порой это бѣсило Петра Ивановича, которому казалось, что Евгеній начинаетъ немного рисоваться своими сердечными невзгодами, и онъ начиналъ говорить рѣзкости:

— Да что вы рисуетесь, что-ли, тѣмъ, что вѣчно толкуете о своемъ почтенномъ родителѣ? Ну, проворовался онъ, идетъ надъ нимъ слѣдствіе, да вамъ-то что до этого? Вы отрѣзанный ломоть. Вы его не знаете почти, любви особенной питать къ нему не можете, ну такъ нечего о немъ и думать! По меньше-бы вы на себя напускали этой блажи, такъ лучше-бы было. Сказали-бы разъ навсегда, что родитель вашъ для васъ умеръ и баста! А то точно съ больнымъ зубомъ съ нимъ носитесь: охаете, а вырвать его не хотите.

Евгеній грустно улыбался въ отвѣтъ на за-

доръ Петра Ивановича и смолкалъ. Онъ не возражалъ, не спорилъ и чего-то ждалъ, твердо увѣренный, что время покажетъ Петру Ивановичу, кто правъ. Но черезъ нѣсколько дней Петръ Ивановичъ съ негодованіемъ говорилъ ему:

— Это чортъ знаетъ что такое! Опять онъ пишетъ о деньгахъ. Откуда ему возьметъ Олимпиада Платоновна? Все перезаложено, вездѣ займы подѣланы, а онъ разливается въ слезныхъ просьбахъ, чтобы его спасли, что и тамъ, и тутъ подмазать нужно, что и тому, и другому заплатить нужно, что и погибнетъ-то онъ безъ помощи. Да и пропадай онъ пропадомъ, — ей то что за дѣло!..

— Да вы о комъ это говорите Петръ Ивановичъ? серьезно спрашивалъ Евгеній.

— Да о родитель вашемъ, рѣзко отвѣчалъ Петръ Ивановичъ.

— Да полноте вы толковать о немъ, вѣдь это больной зубъ: вырвали мы его, ну, и конецъ!

— Ну, чего вы ломаетесь-то, комедію-то играете, съ злобою чуть не кричалъ Петръ Ивановичъ.

Евгеній улыбался и качаль головой.

— Нѣтъ, Петръ Ивановичъ, замѣчалъ онь, — мы только ролями съ вами помѣнялись: теперъ ужъ не у васъ, а у меня «улыбующаяся» физиономія сдѣлалась. Помните, вы мнѣ говорили, что если тутъ бьютъ да тамъ порятъ, такъ по неволѣ, заплакавъ всѣ слезы, улыбаться станешь. Вотъ я и посмѣиваюсь... Ей Богу, голубчикъ, я хоть и моложе и васъ, и *ma tante*, а я яснѣе васъ понимаю, что мы живемъ наканунѣ какой-то бѣды... Вотъ мы убѣжали отъ людей, которые могли досаждать намъ толками объ отцѣ, но намъ стали приносить вѣсти о немъ газеты. Вы сказали мнѣ, что глупо носиться съ толками о немъ и что надо не читать газетныхъ извѣстій о немъ, но онъ началъ самъ писать о себѣ... Вы скажете, что не слѣдуетъ посылать ему денегъ... Но *ma tante* никогда не проститъ себѣ этого, если ей кто-нибудь скажетъ, что его могла спасти ея помощь и что онъ погибъ вслѣдствіе ея отказа. Я знаю хорошо *ma tante*... Да кромѣ того... Вы знаете, что онъ можетъ отплатить ей, взявъ у нея насъ...

— Ну, очень весело ему будетъ няньчиться

съ вами!

— А вы хорошо знаете его характеръ?

— Чортъ знаетъ, что изъ всего этого вый-детъ! вмѣсто отвѣта восклицалъ Петръ Ива-новичъ.

Дѣйствительно, трудно было сказать, что будетъ дальше. Съ тѣхъ поръ, какъ газетные корреспонденты впервые извѣстили о ка-кихъ-то мошенничествахъ, произведенныхъ Хрюминымъ въ крутогорскомъ банкѣ, про-шло не мало дней. Дѣло начало выясняться и роль Хрюмина въ крутогорскихъ банков-скихъ мошенничествахъ начала принимать болѣе комическій, чѣмъ возмутительный ха-рактеръ. Хрюминъ, какъ его описывали коре-спонденты, былъ только легкомысленнымъ кутилой, пустоголовымъ щеголемъ, неумѣлымъ дѣльцомъ, попавшимъ въ лапы болѣе умѣлыхъ и болѣе серьезныхъ мошен-никовъ. Онъ былъ только жертвой этихъ лю-дей. За нимъ ухаживали, онъ игралъ и вид-ную роль въ Крутогорскѣ, онъ катался какъ сыръ въ маслѣ, не замѣчая, что ловкіе плуты дѣлаютъ ему всякія поблажки, чтобы имѣть возможность за кулисами обдѣлывать гряз-

ныя дѣла. Онъ занималъ въ банкѣ хорошее мѣсто и получалъ большое содержаніе, но все, чего отъ него требовали за это, заключалось въ одномъ: «будьте любезны, не вмѣшивайтесь въ дѣла и подписывайте бумаги, не вникая въ нихъ, не читая ихъ». Рассказывая о крутогорской исторіи, корреспонденты изоцряли свое остроуміе надъ Хрюминымъ, замѣчая, что онъ знаетъ гораздо болѣе толку въ женскихъ туалетахъ, чѣмъ въ банковыхъ операціяхъ, что онъ и въ банкѣ попалъ не вслѣдствіе знакомства съ биржей, а вслѣдствіе близкаго знакомства съ будуаромъ одной вліятельной барыни, что онъ былъ гораздо серьезнѣе занятъ завивкой своихъ волосъ и цвѣтомъ своего лица, чѣмъ состояніемъ банковскихъ счетовъ, что онъ удивительно храбро и надмѣнно умѣлъ играть въ обществѣ роль провинціальнаго льва, не понимая, вслѣдствіе своей недалекости, что онъ не больше не меньше, какъ мышенокъ, съ которымъ играютъ кровожадныя кошки. Судя по этимъ отзывамъ газетъ, можно было надѣяться, что на судѣ Хрюмину вынесутъ оправдательный приговоръ, разумѣется,

при извѣстной ловкости адвоката, при извѣстныхъ закулисныхъ компромисахъ и сдѣлкахъ съ цѣлой шайкой людей, которымъ приходилось фигурировать на судѣ въ этомъ дѣлѣ. Повидимому, на это надѣялся и Хрюминъ. По крайней мѣрѣ, такъ писалъ онъ въ письмахъ къ Олимпіадѣ Платоновнѣ, прося ея помощи. Боже мой, что это были за письма! Въ нихъ были и униженныя мольбы, и желчныя жалобы на судьбу, и громкія фразы о томъ, что ему нужно оправданіе не для себя, а для дѣтей, на которыхъ онъ не можетъ, наложить пятна, которыхъ онъ хочетъ избавить отъ горькаго позора слыть дѣтьми мошенника. Олимпіада Платоновна не знала, что дѣлать: не отвѣчать на эти письма, отказывать на просьбы племянника, высказывать ему горькую правду? но какъ-же это сдѣлать: вѣдь онъ отецъ Евгенія и Ольги? его могутъ обвинить безъ ея помощи? онъ можетъ изъ злобы на нее потребовать къ себѣ дѣтей? Въ головѣ старухи былъ какой-то сумбуръ, какая-то путаница и она совсѣмъ терялась, не зная на что рѣшиться. И откуда взять денегъ для помощи? Продать тотъ клочъ земли, ко-

торый она думала завѣщать Евгенію и Ольгѣ или своимъ бывшимъ крестьянамъ, смотря по тому, какъ сложатся обстоятельства? Да, другого исхода не было. А съ чѣмъ останутся дѣти, если она умретъ раньше, чѣмъ они встанутъ на ноги? Ради чего она лишитъ этой помощи своихъ бывшихъ крестьянъ? Она и раздражалась и падала духомъ. Ея и безъ того нѣсколько странный, сумасбродный характеръ сталъ еще болѣе неровнымъ. Она совѣтовалась и съ Софьей, и съ Петромъ Ивановичемъ и въ концѣ концовъ раздражительно замѣчала имъ: «ахъ, вы ровно ничего не понимаете!» Петръ Ивановичъ, знавшій все дѣло, призываемый княжною на совѣщанія, поддерживалъ ее въ настойчивомъ отклоненіи просьбъ Хрюмина о крупной помощи.

— Да не лѣзть-же вамъ въ самомъ дѣлѣ изъ за него въ петлю, говорилъ онъ, — Спасите мошенника отъ обвиненія, а отнимите средства или у дѣтей, или у мужиковъ.

— А какъ онъ потребуеть дѣтей къ себѣ? возражала Олимпіада Платоновна. — Отъ него всего можно ждать.

— Ну, у васъ есть связи, отстоите дѣтей. Да и не потребуетъ онъ ихъ.

— Ахъ, вы его не знаете, голубчикъ, на все онъ способенъ, на все! Совсѣмъ сумасшедшій человекъ. Семейное это у насъ, вѣрно! вздыхала княжна, — Я, право, готова бѣжать съ дѣтьми за границу. Пусть тамъ розыскиваетъ.

— Что-жъ, въ крайнемъ случаѣ и это можно будетъ сдѣлать, соглашался Петръ Ивановичъ, — Покуда-же, право, вы преувеличиваете опасность. Просто въ васъ родственное чувство говоритъ и вамъ жаль его...

— Мнѣ жаль его! Да вы съ ума сошли! Господи, да я-бы была рада, если-бы его Богъ знаетъ куда услали! Родственное чувство! Нашель о чемъ говорить! Давно я чужая этому человеку, давно! Но я знаю, что пока онъ живъ, я не буду покойна, онъ не отстанетъ отъ меня...

И точно, Хрюминъ долго не отставалъ отъ нея: то она получала письмо съ просьбой выслать ему рублей двѣсти, то пріѣзжалъ къ ней какой-то уполномоченный адвокатъ Хрюмина, господинъ Анукпнъ, съ просьбой при-

слать Хрюмину триста рублей и при этомъ съ судейскимъ краснорѣчіемъ описывалось страшное положеніе несчастнаго узника.

— Ахъ, что вы мнѣ рассказываете! раздражалась Олимпіада Платоновна. — Зачѣмъ пошелъ, то и нашелъ!

— Но онъ-же не виноватъ! возражалъ ей господинъ Анукинъ. — Онъ былъ слишкомъ довѣрчивъ, можетъ быть, легкомысленъ, но наказаніе слишкомъ жестоко! Наконецъ, вѣдь онъ такъ близокъ вамъ...

— Ну, близость нашихъ отношеній — это наше личное дѣло, замѣчала Олимпіада Платоновна. — Вы пріѣхали по дѣлу, такъ и будете говорить о дѣлѣ.

Затѣмъ шелъ торгъ: она предлагала сто рублей вмѣсто трехсотъ, онъ сбавлялъ пятьдесятъ рублей съ трехсотъ; она накидывала еще пятьдесятъ къ предложенной сотнѣ, онъ скидывалъ еще двадцать пять рублей. Наконецъ, она совсѣмъ раздражалась.

— Ну, что-же вы хотите, чтобы я себя для него заложила, послѣднее платье продала? говорила она.

— Но вѣдь его положеніе еще ужаснѣе!

замѣчалъ адвокатъ. — Другія лица, попавшіяся по этому дѣлу, богаты, успѣли на-грабить, а онъ не имѣетъ ничего. Они будутъ употреблять всѣ средства, чтобы свалить все на него и потопить его. Если я и взялъ на себя его защиту, то только ради интереса, представляемаго самимъ дѣломъ... Но безъ денегъ вести дѣло нельзя, вашъ племянникъ можетъ погибнуть...

— Да мнѣ-то что за дѣло до него? перебивала княжна. — Понимаете-ли вы, что я не хочу его знать?

— Полноте, ваше сіятельство, вы женщина, вы добры! мягко говорило довѣренное лицо Хрюмина.

— Господи! да когда-же все это кончится! восклицала княжна. — Ну, берите, все берите, только не мучьте меня!

Господинъ Анукинъ пересчитывалъ брошенные на столъ деньги, пряталъ ихъ въ бумажникъ и вѣжливо откланивался. Значительная доля всѣхъ этихъ денегъ, посылаемыхъ Хрюмину и выдаваемыхъ другимъ подсудимымъ, оставалась въ рукахъ у подобныхъ довѣренныхъ лицъ. Они, какъ піявки, окру-

живъ всѣхъ подсудимыхъ по дѣлу Крутогорскаго банка, сосали кровь изъ этихъ несчастныхъ, разѣзжая на ихъ счетъ изъ Петербурга въ Крутогорскъ, изъ Крутогорска въ Петербургъ, содѣйствуя сокрытію капиталовъ и имѣній попавшихся дѣльцовъ, нагрѣвая себѣ руки всѣми правдами и неправдами. Деньги вытягивались на устройство какихъ-то «компромиссовъ», на «замазыванье какихъ-то ртовъ», на «устраненіе какихъ-то усложняющихъ дѣло обстоятельствъ», на какіе-то разѣзды, подачки, взятки, однимъ словомъ, чуть не на плату за дарованіе подсудимымъ права дышать воздухомъ во время ареста. Сами подсудимые походили очень на крысъ, попавшихъ въ мышеловку. Они совсѣмъ потеряли головы отъ трусости, они метались изъ стороны въ сторону, они были готовы на все, лишь-бы отдѣлаться отъ «мѣсть не столь отдаленныхъ», отъ «потери всѣхъ особенныхъ правъ состоянія» и отъ разныхъ тому подобныхъ прелестей, служащихъ вѣчнымъ финаломъ всякихъ слишкомъ смѣлыхъ банковскихъ операцій. Трудно представить, какая масса денегъ утекала теперь въ руки разныхъ

ходатаевъ, присяжныхъ повѣренныхъ, юристовъ-дѣльцовъ. Самый послѣдній сторожъ въ тюрьмѣ и тотъ почуялъ добычу, увидаль ту мутную воду, въ которой можно ловить рыбу. Тутъ брали всѣ, кто могъ взять; тутъ давали всѣмъ, кто только протягивалъ руку за подачкой; тутъ несчастнѣе всѣхъ считалъ себя не тотъ, кто былъ виновнѣе всѣхъ, а тотъ, кто не имѣлъ средствъ давать всѣмъ и каждому, давать стоцько, сколько давали другіе. Въ такомъ несчастномъ положеніи былъ Хрюминъ, жившій до сихъ поръ изо дня въ день, не скопившій ничего, кромѣ долговъ, дававшій теперь только то, что получалъ отъ княжны, единственной его помощницы. Господинъ Анукинъ только и говорилъ ему, что «его потопятъ», что «на него свалятъ все», что «онъ явится козломъ отпущенія», — и все это ради недостатка денегъ, подмазываній, любовныхъ сдѣлокъ. А деньги можно было добывать покуда только отъ княжны. Немудрено, что эту помощницу бомбардировали письмами, что ее осаждали посѣщенія довѣреннаго лица. Она такъ привыкла къ этимъ письмамъ, къ этимъ визитамъ довѣреннаго лица,

что ее не мало удивила небрежно сказанная фраза господина Анукина во время его послѣдняго посѣщенія.

— Вѣроятно, вамъ болѣе не придется тратиться на вашего племянника, такъ какъ мнѣ, какъ кажется, удастся уладить дѣло иначе.

Олимпиада Платоновна очень, удивилась: неужели нашлись еще благодѣтели, кромѣ нея, рѣшившіеся помогать ея племяннику, или ужь не согласились-ли разные адвокаты и ходатаи защищать его безвозмездно?

— Нѣтъ, замѣтилъ господинъ Анукинъ. — Вращаясь, по своему положенію въ обществѣ, въ самыхъ разнообразныхъ кружкахъ, я случайно столкнулся съ супругой Владиміра Аркадьевича. Она теперь находится въ отличномъ положеніи...

— На содержаніи у какого-нибудь богача, рѣзко вставила свое замѣчаніе Олимпиада Платоновна.

— Да, она сошлась съ очень богатымъ и уважаемымъ человѣкомъ, серьезно произнесъ господинъ Анукинъ. — Она еще молода, хороша собой, ловка и ей трудно было-бы по-

гибнуть. Вотъ съ ней-то я и уладилъ почти дѣло. У нея двое дѣтей, кромѣ тѣхъ, которыя живутъ у васъ. Они записаны на имя Владиміра Аркадьевича. Конечно, ей желательно, чтобы онъ не отрицалъ законности этихъ дѣтей. Кромѣ того, ей было-бы не особенно пріятно, если-бы его обвинили на судѣ и выслали куда-нибудь съ ограниченіемъ нѣкоторыхъ правъ. Онъ все-таки ея законный мужъ и имѣеть на нее права...

— Вы о какихъ-то сдѣлкахъ говорите, о какомъ-то торгѣ, вспылчиво замѣтила княжна, угадавшая что-то грязное во всемъ этомъ разсказѣ.- я надѣюсь, что Владиміръ не на столько...

— Онъ вполне согласенъ на предложенныя ею черезъ меня условія, закончилъ господинъ Анукинъ невозмутимымъ тономъ. — Когда корабль тонетъ;- тутъ смѣшно разсуждать, кто протягиваетъ руку помощи. Это было-бы, если не донъ-кихотствомъ, то во всякомъ случаѣ повтореніемъ басни о метафизикѣ: если надо выбраться изъ ямы, то нечего толковать о томъ, что значитъ веревка.

Олимпиада Платоновна не нашлась даже,

что сказать, точно съ нею говорили на какомъ-то невѣдомомъ ей языкѣ.

— Теперь я въ послѣдній разъ безпокою васъ, продолжалъ защитникъ Хрюмина. — Владиміру Аркадьевичу нужны деньги сейчасъ — бездѣлица, двѣсти-триста рублей, не болѣе. Конечно, я могъ-бы прямо взять эти деньги у Евгеніи Александровны, но въ выгодахъ Владиміра Аркадьевича нужно переждать немного и не идти на первыя предложенія. Ея гражданскій мужъ можетъ предложить гораздо болѣе, а Владиміръ Аркадьевичъ теперь долженъ дорожить каждымъ лишнимъ рублемъ...

— Извините, у меня нѣтъ болѣе для него денегъ, сухо сказала Олимпіада Платоновна.

Господинъ Анукинъ хладнокровно началъ доказывать, что, во-первыхъ, у княжны, конечно, есть возможность достать эти деньги, что, наконецъ, если ей угодно, то эти деньги будутъ ей возвращены, что все это дѣлается ради выводъ и интересовъ Владиміра Аркадьевича, что напрасно княжна такъ рѣзко и строптиво относится къ нему, къ защитнику Владиміра Аркадьевича.

— Повѣрьте, ваше сіятельство, что мнѣ во-
все не пріятны всѣ эти разговоры и перегово-
ры съ вами, ѣдко закончилъ адвокатъ. — Я ис-
полняю только свои долгъ и мнѣ кажется, что
вы, какъ родная тетка подсудимаго, долж-
ны-бы только благодарить меня за заботы
объ его интересахъ. Вѣроятно, ни вамъ, ни ва-
шей роднѣ, ни дѣтямъ Владиміра Аркадьевича
не было-бы особенно пріятно обвиненіе
его на судѣ, а я только и бьюсь изъ-за того,
чтобы снять пятно съ его чести... Вы изволи-
ли очень грубо выразиться о средствахъ,
при помощи которыхъ я надѣюсь спасти
Владиміра Аркадьевича. Но, Боже мой, кто-же
мѣшаль вамъ и вообще роднымъ Владиміра
Аркадьевича устранить необходимость
прибѣгать къ этимъ средствамъ: вы, конечно,
могли-бы при нѣкоторыхъ жертвахъ съ своей
стороны доставить своему племяннику болѣ
чистыя средства для спасенія, у васъ, након-
ецъ, такія связи, но вы покуда не потрудились
ничего сдѣлать для спасенія этого человѣка,
для избавленія его отъ разныхъ не особенно
красивыхъ сдѣлокъ, а его дѣтей отъ несчастія
быть дѣтьми признаннаго мошенника...

Господинъ Анукинъ говорилъ сдержанно, почтительно, немного наставническимъ и презрительнымъ тономъ. Онъ вполне сознавалъ, насколько выше княжны стоитъ онъ и въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніяхъ. Княжнѣ ужасно хотѣлось выгнать его вонъ. Но она удержалась отъ всякихъ грубостей.

— Вы говорите, что теперь нужна моя помощь въ послѣдній разъ? коротко спросила она.

— Да, отвѣтилъ онъ.

— Хорошо, я достану денегъ, сказала княжна. — Но помните, что я болѣе не стану читать его писемъ и не вступлю болѣе въ переговоры съ вами.

Господинъ Анукинъ пожалъ плечами. Она позвонила. Вошла Софья.

— Пригласи Петра Ивановича, сказала княжна.

Петръ Ивановичъ явился.

— Съездите, Петръ Ивановичъ, въ Петербургъ и заложите или продайте серебро. Нужно триста рублей передать вотъ этому господину. Велите Софьѣ собрать все, что можно.

Вечеромъ Петръ Ивановичъ ѣхаль съ мѣшкомъ серебра, ножей, ложекъ, вилокъ.

— Скажите, пожалуйста, эта княжна всегда была такимъ мужланомъ и... глупа она, что-ли? съ ироніей говорилъ дорогою господинъ Анукинъ Петру Ивановичу.

— Еще-бы не глупа, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ. — Сотни рублей подлецу передавала въ какіе-нибудь три мѣсяца. Знаете, теперь такія дуры даже на рѣдкость. Теперь глупъ-глупъ человѣкъ, а все-таки за шиворотъ умѣетъ вытолкать мошенника, когда тотъ въ его кошелекъ лѣзетъ, ну, а княжна... Да неужели вы только сегодня замѣтили, что она глупа? вдругъ обратился съ вопросомъ къ адвокату Петръ Ивановичъ.

— Да, она странная, непріятная женщина, коротко сказалъ адвокатъ. — Она никакъ не хочетъ понять моей роли и дѣлаетъ сцены мнѣ, сердясь на племянника.

— Да, ваше положеніе крайне непріятное, съ улыбкой согласился Петръ Ивановичъ. — Вы вѣдь, вѣроятно, по назначенію защищаете этого негодяя, потому что вѣдь по доброй волѣ едва-ли кто рѣшился-бы стоять

за такихъ подлецовъ, какъ эта шайка банковскихъ мошенниковъ.

Довѣренному лицу Хрюмина разговоръ съ Петромъ Ивановичемъ становился еще болѣе непріятнымъ, чѣмъ переговоры съ Олимпіадой Платоновной, и оно, не отвѣчая на слова Петра Ивановича, только вскользь вѣжливымъ и мягкимъ тономъ спросило:

— Вы въ семинаріи воспитывались?

— А что? спросилъ Петръ Ивановичъ.

— Такъ, я люблю провѣрять, вѣрны или невѣрны мои наблюденія, отвѣтилъ адвокатъ.

— Въ семинаріи, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ.

— Я такъ и думалъ, закончилъ адвокатъ и отвернулся къ окну вагона:— Какая жалкая и блѣдная природа у насъ здѣсь на сѣверѣ. Стоитъ взглянуть на нее, чтобы сразу угадать и жизнь, и характеръ живущаго здѣсь народа... Да, здѣсь лучше чѣмъ гдѣ нибудь можно провѣрить взгляды Бокля на вліяніе природы на человѣка. Это положительно великіе взгляды...

Потомъ отъ философскихъ толковъ о при-

родъ онъ перешель къ разсказу о политическомъ процесѣ, гдѣ онъ защищаль нѣсколькихъ подсудимыхъ. Въ числѣ ихъ оказался одинъ семинаристъ товарищъ Рябушкина и Петръ Ивановичъ заинтересовался подробностями этого процесса. Адвокатъ расхваливаль своего кліента и сильно либеральничаль. На бѣлоостровской станціи онъ довольно просто и радушно предложилъ Петру Ивановичу выпить и послѣ второй рюмки уже совсѣмъ дружескимъ тономъ замѣтилъ ему:

— А я сразу угадалъ, что вы никогда не занимались юридическими науками.

— Да не занимался, сказалъ Петръ Ивановичъ.

— Если бы вы занимались ими, вы не обвиняли бы меня за то, что я защищаю не только какихъ-нибудь политическихъ преступниковъ, но и такихъ лицъ, какъ этотъ мерзавецъ Хрюминъ, сказалъ господинъ Анукинъ. — Что такое и политическіе преступники, и эти простые мошенники Хрюмины? Продукты и жертвы времени, современнаго общественнаго строя, одинаково

заблуждающіеся люди, жалкіе въ своихъ заблужденіяхъ. Не кара ихъ важна для общества, а важно устраненіе причинъ, вслѣдствіе которыхъ они являются. Вотъ та точка зрѣнія, на которой долженъ стоять каждый изъ насъ. Да еще одинъ изъ нашихъ величайшихъ писателей замѣтилъ: это еще вопросъ, кто кого тутъ убилъ: жена-ли мужа или мужъ жену. Это онъ замѣтилъ, по поводу убійства въ семьѣ герцоговъ дю-Пралэнъ или въ семьѣ Лафаржей, не помню теперь. Но дѣло не въ лицахъ, а въ глубокомъ смыслѣ этой фразы. Дѣйствительно, чѣмъ виноватъ какой-нибудь Хрюминъ, что все, воспитаніе, обстановка, среда, вело его къ легкомысленному отношенію къ своимъ обязанностямъ? Онъ гадокъ, низокъ, пороченъ, но казните же и тѣхъ, кто его сдѣлалъ такимъ, казните ихъ прежде, чѣмъ казнить его. Вотъ-съ та истинно гуманная точка зрѣнія, на которой долженъ стоять каждый адвокатъ.

Потомъ, закуривъ сигару уже въ вагонъ и небрежно откинувшись на диванъ, господинъ Анукинъ продолжалъ:

— Кромѣ того, въ дѣлѣ Хрюмина есть

нѣсколько чисто юридическихъ вопросовъ, которые крайне важно разъяснить въ интересахъ общества. Наши банки стоятъ еще на шаткихъ основаніяхъ, многое въ нихъ еще спутанно и неясно, произволу разныхъ членовъ правленія, разныхъ директоровъ данъ слишкомъ большой просторъ. Путемъ судебного слѣдствія, путемъ судебного разбираательства надо разъ и навсегда разъяснить, что законно и что незаконно въ поступкахъ тѣхъ или другихъ изъ банковскихъ дѣльцовъ. Вотъ хоть бы этотъ Хрюминъ: онъ былъ только орудіемъ въ рукахъ ловкихъ заправиль. Представляется теперь вопросъ: имѣль-ли онъ право не исполнять ихъ требованій? поступаль-ли онъ не законно, исполняя незаконныя приказанія и требованія начальствующихъ лицъ? какимъ путемъ могъ онъ пресѣчь ихъ незаконныя дѣйствія?

Онъ пустиль струйку дыма, граціозно потянулся и проговориль:

— Вы, конечно, не стоите за доносы? Ну-съ, а между тѣмъ при современныхъ порядкахъ въ банковскомъ, да и во всякомъ другомъ дѣлѣ въ томъ положеніи, въ которомъ стояль

Хрюминъ, онъ долженъ былъ или бросить мѣсто, или доносить... Конечно, вы скажете, что онъ долженъ былъ бросить мѣсто. Но, батенька, спросите себя откровенно: всегда-ли вы бросали мѣсто, видя, что вы или даромъ берете деньги, или что вы не такъ дѣлаете дѣло, какъ слѣдуетъ... Вы учитель, кажется?

— Да.

— Вѣроятно, преподаете русскій языкъ или исторію?

— И то, и другое.

— Прекрасно. Ну-съ, то-ли вы говорите на урокахъ исторіи, что вы думаете, или то, что вы должны, что вы имѣете право говорить въ предѣлахъ данной программы и данного направленія?..

— Я...

Господинъ Анукинъ не далъ Петру Ивановичу времени отвѣтить.

— Вы во всякомъ случаѣ говорите только половину истины, если не лжете, сказалъ онъ. — А половина истины... вы простите меня за откровенность... половина истины хуже лжи. На урокахъ русской словесности что вы читаете? Державина и Ломоносова, которыхъ

вы ни цѣните ни въ грошъ для современной жизни, и молчите о Некрасовѣ, котораго вы ставите очень высоко, молчите, потому что не находите удобнымъ говорить о немъ, какъ о поэтѣ, не входящемъ въ програму? Преподавать такъ — конечно, вы сознаетесь въ этомъ въ глубинѣ души значитъ толочь воду въ ступѣ и вы ее толчете, толчете изо дня въ день, изъ года въ годъ... Жрать, батенька, надо, жрать!

Поѣздъ подѣзжалъ къ Петербургу.

— Знаете что. Поѣдемъ къ Палкину! скажаль господинъ Анукинъ. — Иногда бываютъ минуты, когда готовъ напиться до зеленаго змія, потому что наша жизнь...

Онъ безнадежно махнулъ рукою...

— И жизнь подлая, и мы всѣ подлецы!

Петръ Ивановичъ хотѣлъ забросить сакъ съ серебромъ къ своей матери и уже потомъ ѣхать къ Палкину, но господинъ Анукинъ не далъ ему и слова выговорить.

— Чего вы старуху то тревожить будете; нежданно, негаданно, на ночь глядя, приѣдете, сказалъ онъ, — Забросьте мѣшокъ ко мнѣ, поѣдемъ потомъ къ Палкину, переночуете послѣ у меня, — я вѣдь на холостую ногу живу, — а тамъ завтра и обдѣлаете дѣло. Мы, батенька, русскіе сердечные люди, такъ намъ нечего церемоніи разводить. Я самъ сердечный человѣкъ и люблю сердечныхъ людей.

Петръ Ивановичъ согласился. Онъ тоже былъ сердечный человѣкъ и любилъ сердечныхъ людей, особенно послѣ двухъ-трехъ рюмокъ вина. Правда, онъ былъ человѣкъ «съ хитрецей», но какіе-же русскіе сердечные люди, особенно изъ бурсаковъ, бываютъ «безъ хитрецы»? Черезъ полчаса оба сердечные человѣка сидѣли у Палкина за бутылкой и вели оживленную бесѣду, предварительно вы-

пивъ по рюмкѣ водки и закусивъ у буфета. Господинъ Анукинъ былъ у Палкина своимъ человѣкомъ: онъ называлъ буфетчика Махаиломъ Ивановичемъ, его слуги называли Николаемъ Васильевичемъ. Петра Ивановича особенно интересовала исторія родителей Евгенія и господинъ Анукинъ, сообщивъ прежде всего въ приливъ откровенности, какъ онъ тоже въ юности всякой грязи нахлѣбался, какъ онъ потомъ «мытарствовалъ въ качествѣ помощника присяжнаго», какъ ему удалось «слезами пронять судей и одного подлеца оправдать», какъ съ этого подлаго дѣла «онъ жить началъ», перешель затѣмъ къ исторіи, Хрюминыхъ. Это была интересная и новая для Рябушкина исторія.

— Евгенія Александровна, разставшись съ своимъ благовѣрнымъ, сошлась съ Михаиломъ Егоровичемъ Олейниковымъ, тоже у насъ присяжнымъ повѣреннымъ былъ, говорилъ Анукинъ. — Сошлась она съ нимъ за неимѣніемъ лучшаго любовника и пошла по клубамъ. Я ее еще на первыхъ порахъ ея свободнаго житія видѣлъ: хорошенькая бабенка была, теперь только немного толстѣть нача-

да, да на русскую купчиху смахиваетъ, а то просто французской кокотой выглядѣла. Ста-
ла она въ клубахъ играть въ водевиляхъ да
въ живыхъ картинахъ позировать, ну, и на-
шла покупателей на этой выставкѣ.
Вѣтрогонства, правда, у нея много было, такъ
не сразу она въ настоящую колею попала.
Разъ, помню, увлеклась она какимъ-то алек-
сандринскимъ лицедемъ; такъ себѣ — херу-
вимъ съ вербы, не за нимъ, не передъ нимъ
ничего нѣтъ, а лицо смазливое, ребячье, ну, и
врѣзалась она въ него; въ живыхъ картинахъ
съ нимъ Венеру и Адониса изображать взду-
мала. Баронеса фонъ-Шталь и баронъ — это
наши маклера по амурной части — просто ру-
кой махнули, когда узнали объ этомъ: «ниче-
го, моль, путнаго эта бабенка не сдѣлаетъ, ей
капиталы въ руки лѣзутъ, а она сантимента-
ми занимается...»

— А что-же Олейниковъ? спросилъ Петръ
Ивановичъ.

— Олейниковъ, батенька, человекъ стран-
ный, свихнувшійся, сказалъ господинъ Анук-
инъ. — Мы всѣ ждали, что изъ него дѣлецъ-
кулакъ выйдетъ, сухой, жесткій, прошколен-

ный жизнью, и ошиблись. Во всемъ онъ таимъ и былъ, но какъ дѣло касалось Евгеніи Александровны, такъ и становился онъ тряпкой. Да вотъ вамъ примѣръ. Когда увлеклась она этимъ александринскимъ херувимомъ и Венеру съ этимъ Адонисомъ изобразить рѣшилась, Олейниковъ волосы на себѣ рвалъ, убѣжалъ изъ клуба, нарѣзался, какъ сапожникъ, здѣсь у Палкина, перебилъ дома зеркала и только объ одномъ и сокрушался, что она его бросить. «Пусть, говоритъ, измѣняетъ, но только не бросаетъ!» Это, знаете, что-то роковое: впервые, видите-ли, онъ встрѣтилъ такую разнузданную да страстную женщину, которая съумѣла расшевелить и разжечь даже его сухую и черствую натуру, ну, и не хватало у него силъ разойтись съ ней. Просто, и смѣшно, и жалко было смотрѣть на него въ это время ея первой измѣны: вздумалъ онъ ее бросить, а черезъ недѣлю, отощальный и униженный, явился къ ней и у ногъ ея себѣ-же прощенье вымаливалъ. И вѣдь что вы думаете, самъ-же себя призналъ виновнымъ: и мало то онъ ей выказываетъ ласки, и недостаточно то онъ заботится о ея комфортѣ, и муча-

еть-то онъ ее ревностью, все на себя принялъ. Ну, простила, плакала вмѣстѣ съ нимъ, медовый мѣсяцъ примиренья опять пережили, а тамъ... Онъ дѣло какое-то подлое взялъ защищать ради большого гонорара, а она съ какими-то офицерикомъ пантомимъ любви опять разыграла и опять не особенно выгодно, такъ какъ получила въ подарокъ только сомнительные векселя. Олейниковъ опять напился у Палкина, но дома уже не бушевалъ, а покорно вынесъ головой за то, что онъ «вдобавокъ ко всѣмъ прелестямъ еще и пьетъ!..»

Господинъ Анукинъ осушилъ стаканъ.

— Да-съ, батенька, людская натура полна противорѣчій, замѣтилъ онъ докторальнымъ тономъ. — Никакіе Шекспиры, никакіе Гюго не знаютъ этого такъ хорошо, какъ мы, адвокаты, передъ которыми выворачивается на изнанку вся душа человѣка. Вотъ этотъ юный кулакъ по натурѣ, практикъ во всей предшествовавшей жизни, заплясалъ подъ дудку смазливой бабенки, пить началъ съ горя, грязныя дѣла сталъ обдѣлывать, дошелъ до того, что промоталъ ввѣренныя ему деньги и теперь исключень даже изъ состава присяж-

ныхъ повѣренныхъ. А она, — это тоже курьезный экземпляръ, — глупая бабенка, поддающаяся только вліянію своей распущенности, живущая порывами своего темперамента, обдѣльываетъ дѣлишки: одного любовника заставляеть содержать своихъ дѣтей, другого заставляеть разоряться на содержаніе ея особы, третьяго довела до пьянства и держитъ при себѣ, какъ собаченку, которую можно и ласкать, и бить во всякое время. Теперь она захватила въ свои лапы одного финансоваго туза въ почтенныхъ лѣтахъ и въ почтенномъ чинѣ и говоритъ ему: «посмотри, какъ похожъ на тебя нашъ Коля», — такъ зовуть-съ ея сына, на содержаніе котораго платитъ какой-то богатый офицерикъ! Это, я вамъ скажу, просто комедія!

— Этотъ-то, вѣрно, финансовый тузъ и дасть ей теперь деньги на спасеніе господина Хрюмина? спросилъ Петръ Ивановичъ.

— Да, отвѣчалъ Анукинъ, — во первыхъ нежелательно имъ, чтобы она была женою осужденнаго на ссылку мошенника, во-вторыхъ желательно имъ, чтобы дѣти Евгеніи Александровны такъ и остались законными

дѣтьми. При ней ихъ еще двое и въ скоромъ времени будетъ третій, этотъ уже положительно признается роднымъ сыномъ со стороны финансоваго туза, приходящаго въ умиленіе при мысли, что и у него теперь есть потомки. Мнѣ даже сдается, что Владиміру Аркадьевичу заплатятъ деньги за разводъ, такъ какъ финансовый тузъ не прочь и жениться на ней, чтобы ввести ее въ лучшій кругъ общества.

— Ну! съ сомнѣніемъ проговорилъ Петръ Ивановичъ. — Кто-же приметъ такую-то въ лучшій кругъ.

— Что-съ? со смѣхомъ произнесъ Анукинъ, смотря на Рябушкина, какъ на неопытнаго ребенка. — Да вы, батенька, значить, не знаете нашего общества. Не первая она и не послѣдняя изъ такихъ-то, попадающая въ салоны, гдѣ только сливки общества собираются. Она-съ и теперь уже роль играетъ. Просто это нынче дѣлается. Записалась она въ три благотворительныя общества членомъ, сдѣлала крупныя пожертвованія, сперва попала распорядительницей на какой-то благотворительный базаръ, потомъ въ какомъ-то

маскарадъ у колеса alegrі съ филантропической цѣлью стояла, далѣе выбрали ее гдѣ-то въ комитетъ, ну, и пошла въ ходъ въ качествѣ барыни-патронесы. Черезъ нее у финансоваго туза выхлопатываютъ разныя концесіи, находятъ протекціи, дѣлаютъ займы... Да она, батенька, теперь съ разборомъ и гостей-то принимаетъ, говоритъ тоже про разночинцевъ: «это люди не нашего круга». Нынче, батенька, такія времена, смѣшеніе языковъ происходитъ. Вы прислушайтесь-ка, что выясняется на крупныхъ мошенническихъ процессахъ: тутъ и какая-нибудь солдатская дочь или цыганка фигурируетъ, и какой-нибудь такой крупный индюкъ является, что даже и ушамъ не вѣришь. Да-съ, все это перемѣшалось въ одну кашу, такъ что и не разберешь, съ кѣмъ имѣешь дѣло, въ какомъ кругу находишься.

Анукинъ еще выпилъ.

— Впрочемъ, госпожа Хрюмина, какъ она сама постоянно напоминаетъ, и безъ того принадлежитъ къ лучшему кругу общества, продолжалъ онъ съ ироніей. — Шутка-ли: дочь дѣйствительнаго статскаго совѣтника,

жена Владиміра Хрюмина, родного племянника князя Алексѣя Платоновича Дикаго, будущая жена одного изъ самыхъ видныхъ тузовъ финансоваго міра... Да чего-же вамъ еще надо?.. Правда, ея жизнь, ея поведеніе сомнительнаго свойства, но во-первыхъ, кто-же имѣеть право вмѣшиваться въ частную жизнь, а во-вторыхъ... «о, она была такъ несчастна въ замужествѣ», восклицаютъ барыни... Знаете, она даже рада, что ея супругъ попался въ крутогорской исторіи. Это подтолкнетъ съ одной стороны финансоваго туза устроить ея разводъ и жениться на ней, а съ другой — это дастъ ей еще болѣе вѣскій аргументъ для доказыванья своей несчастной супружеской жизни...

— Экая мерзость-то творится кругомъ! проворчалъ Рябушкинъ. — А я вѣдь до сихъ поръ думалъ, что эта барыня такъ и погибла, что ее выбросили отвсюду за бортъ...

— Нѣтъ-съ, такихъ не выбрасываютъ, отвѣтилъ господинъ Анукинъ наставительно. — Ихъ и ругаютъ-то только до той поры, пока онѣ не оперятся, а она, батенька, такъ оперилась, что до нея теперь скоро и рукой не

достанешь. Да вы ее никогда не видали?

— Нѣтъ, отвѣтилъ Рябушкинъ.

— Жаль, стоитъ взглянуть, сказалъ господинъ Анукинъ. — Ей ничего не дано: ни яркой красоты, ни сильнаго ума, ни серьезнаго образованія. Только воспитанье ей-дали послѣдовательное, прочное: заставили ее разъ и навсегда затвердить, что женщина тогда только и можетъ жить, когда она нравится мужчинамъ, что вслѣдствіе этого женщина должна дѣлать всевозможное, чтобы нравиться мужчинамъ, что каждая женщина можетъ нравиться мужчинамъ, если только захочетъ, и съ этими наставленіями стали вывозить ее на балы, и въ клубы, и въ театры, и въ маскарады на показъ мужчинамъ, для ловли жениховъ. И много она глупостей натворила, много ошибокъ надѣлала, но великихъ принциповъ женскаго воспитанія никогда не забывала: и старалась нравиться мужчинамъ и нравилась имъ. Чѣмъ? спросите вы. Да какъ вамъ это объяснить! Прическа въ лицу, платье къ лицу, стремленіе выхолить тѣло, открыть шею, потому что именно шея у нея соблазнительна, показать зубки, такъ ка-

къ и зубки ей дала природа особенно красивые, говорить мягкимъ и пѣвучимъ голоскомъ, ходить легкой походкой, чтобы казаться моложе, вотъ тѣ нехитрые приемы, до которыхъ она додумалась чуть не съ колыбели. Быть ласковой со всѣми, чтобы слыть женственною и доброй, вторить каждому, подобно вѣрному эхо, чтобы никто не раздражался ея противорѣчіемъ и чтобы всѣ считали ея душу сродни своимъ душамъ, вотъ еще нехитрые приемы, которыми побѣждались тѣ, которые плѣнялись ея наружностью и сближались съ ней. Я, право, не знаю такого человека, который, пожелавъ сблизиться съ нею, потерпѣлъ бы неудачу. Да вотъ на что ужь враждебенъ ей Владиміръ Аркадьевичъ, а вздумай онъ приволокнуться опять за ней и она станетъ кокетничать съ нимъ: онъ вѣдь мужчина, а мужчинамъ нужно нравиться. Вы скажете: это развратъ! Помилуйте: ее просто обманывали мужчины, она ошибалась въ нихъ — вотъ и все! Этотъ ее обмануль, имѣя дурной характеръ, а прикидываясь мягкимъ. Тотъ обмануль ея, сойдясь съ нею и не подумавъ о средствахъ для ея содержанія. Третій...

но развѣ она виновата, что онъ клялся ей въ любви, а имѣлъ на содержаніи французенку-кокотку? Наконецъ, не слѣдуетъ забывать главнаго обстоятельства, что «мы всѣ невинны отъ рожденья и нашей честью дорожимъ, но вѣдь бываютъ столкновенья, что просто нехотя грѣшимъ». Этимъ и объясняется, и оправдывается все, если ни другихъ объясненій, ни другихъ оправданій и подыскать нельзя. Коварство мужчины и слабость женщины, минутное увлеченіе и судьба, эти-мъ, батенька, отъ каждаго грѣха оправдаешь-ся. И вы думаете она лжетъ? Нѣтъ. Она сама вполне вѣритъ, что она честная женщина. Она, видите-ли, только слишкомъ добра и довѣрчива и притомъ у нея «такой темпераментъ» — вотъ и все.

Кончивъ рассказъ о жизни Евгеніи Александровны, господинъ Анукинъ перешелъ къ разсказу о томъ, въ какомъ положеніи находится дѣло, по которому онъ взялъ на себя хлопоты.

— Теперь, заговорилъ онъ дѣловымъ тономъ, — дѣло все въ томъ, чтобы устроить разводъ. Нужно будетъ уговорить Владиміра Ар-

кадьевича не отрицать законности дѣтей Евгениі Александровны и принять грѣхъ на себя, чтобы она могла развестись съ нимъ и выйти замужъ. Конечно, надо изо всѣхъ силъ постараться, чтобы она побольше заплатила супругу отступного.

— Да вы на чьей-же сторонѣ стоите? спросилъ Рябушкинъ.

— Я?.. я за обѣ стою, отвѣтилъ Анукинъ. — Тутъ вѣдь ссоры и тяжбы никакой нѣтъ, тутъ просто идетъ полюбовная сдѣлка. Во-первыхъ, безъ денегъ я не выиграю дѣла Владиміра Аркадьевича; значитъ, нужно добыть денегъ; во-вторыхъ, смотря по количеству заплаченныхъ Евгению Александровною денегъ, я получу болѣе или менѣе приличное вознагражденіе за всѣ эти хлопоты и переговоры, значитъ, нужно взять денегъ побольше. Во всякомъ случаѣ, я удовлетворю желанія обѣихъ сторонъ, а если Евгениі Александровнѣ или, вѣрнѣе сказать, ея покровителю придется нѣсколько больше выдать презрѣннаго метала, такъ это, право, для него ничего не значитъ, потому что не мнѣ онъ выдастъ эту сумму, такъ гдѣ-нибудь у модист-

ки ихъ оставить, въ какомъ-нибудь ресторанѣ на пикникъ бросить. Вѣдь была-бы па-
даль, а вороны все равно слетятся.

— Ну, и циникъ-же вы, какъ я посмотрю!
проворчалъ Петръ Ивановичъ.

— Будешь, батенька, циникомъ, какъ
жрать хочешь да знаешь, что только то и
останется у тебя, что силой сорвешь съ лю-
дей, отвѣтилъ господинъ Анукинъ и сильно
оживился. — Вы взгляните-ка въ современ-
ную жизнь поближе, — что увидите? Вся она,
не у насъ однихъ, а во всей Европѣ, построена
на правилѣ — кто палку взялъ, тотъ и ка-
праль. Разсмотрите всѣ професіи и вездѣ вы
увидите одно и тоже: кто беретъ силой, на-
храпомъ, кто кричать о себѣ умѣетъ, кто не
упускаетъ того, что плыветъ въ руки, тотъ
только и можетъ жить и процвѣтатъ. Скром-
ное труженничество, добросовѣстная работа,
все это не кормить и развѣ-развѣ даетъ воз-
можность едва сводить концы съ концами да
перебиваться съ гроша на грошъ. Честный
человѣкъ, батенька, это лежацій камень,
подъ который и вода не течетъ. Да, впрочемъ,
теперь этихъ честныхъ-то людей и днемъ съ

огнемъ не сыщешь. Теперь всѣ хвостомъ ви-
ляють и всѣ продаются, разница только въ то-
мъ, что одинъ въ родѣ васъ, чтобы имѣть ку-
сокъ хлѣба, о величїи державинскихъ одѣ-
толкуеть, умалчивая о лермонтовскихъ и
некрасовскихъ идеяхъ, а другой, у котораго
апетитъ получше да вкусы поразборчивѣе,
концесїи себѣ разныя выхлопатываетъ да на
директорское мѣсто въ банкѣ гдѣ-нибудь про-
бирается, ничего не смысля въ банковскомъ
дѣлѣ. Иначе, батенька, и жить теперь нельзя:
съ одной стороны дороговизна васъ донима-
еть, а съ другой — видите вы безпечальное
жизнье сотенъ и тысячъ своихъ собратьевъ,
ну, и завидно, и досадно глядѣть на нихъ и хо-
чется самому развернуться, разгуляться, пока-
таться, какъ сыру въ маслѣ. Доходы-то ни у
кого не увеличиваются почти, ни съ земли,
ни изъ заработковъ, ни изъ жалованья, а рас-
ходы растутъ не по днямъ, а по часамъ. Съ
тѣхъ поръ вотъ какъ мы цивилизовались и
желѣзныя дороги завели, и банки учредили,
и на биржѣ играть стали въ Петербургѣ,
напримѣръ, только одинъ предметъ
потребленія и подешевѣлъ — арбузы стали

дешевле. Ей Богу! Я на что хотите пари держу, что другого подешевѣвшаго предмета не найдете. Плата за квартиры поднялась вдвое да втрое, хлѣбъ да говядина тоже поднялись на столько-же въ цѣнѣ, къ одеждѣ приступу нѣтъ, обученіе какой-нибудь дѣвченки или какого-нибудь мальчишки и то стоитъ теперь вдвое да втрое дороже прежняго. Ну-съ, а потребности? Теперь мы вѣдь по европейски жить начинаемъ: хочется и въ театръ, и въ собраніе, и въ кафе завернуть и газету почитать и какой-нибудь юбилейный обѣдъ устроить въ честь своего начальника или общественнаго дѣятеля. Вы скажете: а ты въ собраніе не ходи, театровъ не посѣщай, газетъ не выписывай, на обѣды не подписывайся и квартиру ищи безъ проведенной воды и безъ прочихъ удобствъ... Такъ-съ, такъ-съ!.. Зналъ я этакого одного чудака: честный былъ малый, получалъ гдѣ-то въ департаментѣ пятьдесятъ рублей жалованья и рѣшился жить на него, взятокъ, моль, братъ не буду, долговъ дѣлать не стану, не видя возможности отдать. Рѣшился онъ это не жениться, чтобы не плодить нищихъ; нанялъ комнатку

отъ жильцовъ «безъ прочихъ удобствъ» за десять рублей въ мѣсяцъ съ прислугой и съ мебелью, сталь ѣсть въ кухмистерскихъ за тридцать копѣекъ обѣдъ, только два раза въ день чай съ хлѣбомъ пилъ, самый дешевый табакъ курилъ, ни вина, ни пива, ни картъ, ничего этого даже и въ заводѣ не было у него; кажется, можно-бы концы съ концами сводить, такъ нѣтъ-съ: платья-то двѣ пары, сидя вѣчно надъ писаньемъ, протрешь за годъ, зимнее и лѣтнее пальто нужны, безъ сапогъ, безъ калошъ, безъ шапки да безъ бѣлья не станешь ходить да бѣлье-то еще и отдать въ стирку нужно. Глядишь, нѣсколько мѣсячныхъ жалованій и уйдетъ на все это и въ итогѣ, если не дефицитъ, то необходимость и отъ папиросъ отказаться. Жилъ онъ такъ, жилъ два-три года, потупляя глаза передъ хорошенькими женщинами да стараясь не слышать, какъ пахнутъ настоящія гаванскія сигары, да въ одинъ прекрасный день и оставилъ слѣдующую записку: «Кончаю съ жизнью, потому что, серьезно обсудивъ свое положеніе, самъ я не понимаю, изъ-за чего я бился и сносилъ ее до сихъ

поръ».

— Ну, тоже примѣръ взяли! сердито возразилъ Петръ Ивановичъ. — Это человѣкъ, пришедшій къ сознанію, что онъ и общественной пользы не приноситъ и...

— А вы-то сознаете, что приносите ее, разбирая Державина да Ломоносова? перебилъ его господинъ Анукинъ. — Нѣтъ, батенька, вы, или хитрите съ собою, стараясь не задавать себѣ вопроса, велика-ли приносимая вами общественная польза, или тянете эту канитель, называемую честной трудовой жизнью бѣдняка, потому что у васъ — ну, положимъ, семья любимая на рукахъ, которую вамъ и жаль, и стыдно бросить, разомъ покончивъ со своимъ существованіемъ, при которой и дешевыя папиросы не всегда смѣешь курить и мимо хорошенькихъ женщинъ нужно проходить съ потупленными глазами, чтобы не соблазниться. Нѣтъ-съ, бѣдняки-то, влачащіе такую жизнь или спиваются съ горя съ кругу, или кончаютъ самоубійствомъ, или идутъ во всяческія сдѣлки, чтобы, наконецъ, выбиться на дорогу, жить, какъ другіе живутъ, не рассчитывая весь вѣкъ, что и этого

нельзя, и то запрещено, и третье недоступно. А вы вот погодите: влюбитесь вы, женитесь какъ-нибудь скоропостижно, заведутся дѣти — посмотримъ, что вы тогда запоете, какъ нужно будетъ и кормить, и одѣвать, и лѣчить и жену, и дѣтей: чорту душу, батенька, продадите, только-бы выбиться изъ нищеты!

Господинъ Анукинъ безнадежно махнулъ рукой.

— И что это монтіоновскія преміи, что-ли, у насъ или гдѣ-нибудь въ Европѣ даютъ за дѣвственную честность? проговорилъ онъ съ желчной ироніей. — Да вполнѣ честнымъ-то человѣкомъ только помыкають: и не ко двору-то онъ на житейскомъ базарѣ, и неумытымъ-то онъ да оборваннымъ является на житейскій пиръ. Съ нимъ или неудобно, потому что съ нимъ каши не сварить, или противно, потому что и грязь, и рубище, и блѣдное лицо, все это напоминаетъ какое-то *temeuto mori*, когда другимъ жить хочется. Вы всмотритесь въ жизнь: есть-ли у честнаго бѣдняка друзья, кромѣ такихъ-же голодающихъ, какъ онъ? можетъ-ли онъ въ случаѣ

несчастья рассчитывать на что-нибудь, кромѣ кровати въ больницѣ или мѣста въ богадѣльнѣ? относится-ли кто-нибудь, болѣе высокопоставленный или болѣе счастливый чѣмъ онъ, съ уваженіемъ къ нему? не затрутъ-ли его вездѣ, не оттолкнутъ-ли его вездѣ, куда онъ сунется въ своемъ потертомъ платьѣ? не увидитъ-ли онъ, что всюду распахиваются двери, сгибаются спины не передъ бѣдною честностью, а передъ богатою ловкостью? Да что тутъ говорить: нѣтъ у васъ приличной одежды, такъ васъ, хотъ вы идеаломъ честности будьте, и на публичное гулянье не пустятъ, и на какомъ-нибудь торжественномъ обѣдѣ въ честь какого-нибудь проповѣдника правды мѣста не дадутъ, и изъ партера театра попросятъ удалиться. Вы, можетъ быть, и честны да видѣ-то у васъ карманника, подозрителенъ онъ что-то... Вы опять заговорите о сознаніи приносимой вами общественной пользы? Батенька, не честные люди, а ловкіе люди общественными дѣлами-то ворочаютъ, а честные люди это солдаты, призванные только къ одному: молчаливо и покорно исполнять чужія

приказанія и умирать на полѣ общественны-
хъ битвъ. Честные бѣдняки — а кто безуслов-
но честенъ, тотъ всегда будетъ бѣденъ —
вездѣ и всегда во всякомъ дѣлѣ играли и игра-
ютъ одну роль — роль «рукъ» и больше ни-
чего: правящіе умы, создающія головы,
распоряжающіяся воли вербуются не изъ ихъ
пришибенной среды.

Рябушкинъ пожалъ плечами. Его бѣсила
циничная философія господина Анукина.

— Да, не даромъ вашу братью софистами
прозвали, замѣтилъ онъ.

— Можетъ быть, можетъ быть, проговари-
лъ господинъ Анукинъ. — Но я людей дѣлю
въ вопросѣ о честныхъ людяхъ на три класса:
на простаковъ — эти бываютъ нерѣдко без-
условно честными; на фарисействующихъ
трусовъ — эти идутъ на компромисы съ жиз-
нью, стараясь обмануть и себя, и другихъ
увѣреніями, что въ компромисы они не всту-
паютъ, что собой они не торгуютъ, что чест-
ность свою они берегутъ, какъ святыню; на-
конецъ, на откровенныхъ дѣльцовъ — эти
прямо говорятъ, что ихъ честность давно ли-
шилась своей дѣвственности, но что они ни-

когда еще не переступали той границы, за которой начинается уголовщина и кончается право человека не считаться открыто «мошенником». Будущее принадлежит только людям послѣдней категоріи... Однако, заболтались-же мы, вдругъ проговорилъ господинъ Анукинъ, допивая послѣдній стаканъ и потягиваясь. — Пора на боковую.

Онъ позвалъ лакея и потребовалъ счетъ. Просматривая счетъ, господинъ Анукинъ накинулся на лакея, доказывая послѣднему, что онъ не ѣлъ «бутербродовъ съ свѣжей икрой» и что «платить за нихъ онъ не станетъ».

— Такъ и скажи Михаилу Ивановичу! Такъ и скажи! Это чортъ знаетъ что такое! Вѣчно что-нибудь прибавите!

Лакей покорно выслушалъ брань и также покорно проговорилъ:

— Слушаю-съ, Николай Васильевичъ!

Черезъ двѣ минуты онъ принесъ новый счетъ и господинъ Анукинъ опять сталъ его просматривать.

— Ага! Бутерброды-то убрали! проговорилъ онъ. — Меня, братъ, не проведешь! На другихъ насчитывай, а не на меня!

Затѣмъ онъ выбросилъ на столъ нѣсколько бумажекъ и всталъ. Лакей началъ торопливо рыться въ карманъ, чтобы дать пять рублей сдачи, но господинъ Анукинъ, не обращая на него вниманія, уже направлялся къ выходу. Лакей кланялся сзади его. Два другіе лакея бѣжали отворить передъ нимъ двери.

— А знаете что, проговорилъ Рябушкинъ. — Съ вашей философіей невольно повторилъ ваши-же слова, что и жизнь наша подлая, и всѣ мы подлецы.

— А вы раньше-то до этого не додумались? съ усмѣшкой спросилъ господинъ Анукинъ. — Вы-бы вонъ спросили хоть этого лакея: могъ-ли-бы онъ существовать, если-бы не прикидывалъ къ счету лишней порціи закуски да лишней рюмки водки, или не гнулся-бы въ дугу передъ тѣми посѣтителеми, которые даютъ больше на водку, — и онъ-бы вамъ сказалъ, что не покривишь душой — жрать нечего будетъ.

На третій день послѣ приїзда Петра Ивановича въ Петербургъ вечерній поїздъ финляндской желѣзной дороги снова уносилъ молодого человѣка обратно въ Выборгъ. Петръ Ивановичъ чувствовалъ непривычную усталость, тяжесть въ головѣ, у него, какъ будто послѣ болѣзни, ныло все тѣло. Уснуть, однако, онъ не могъ. Ему вспоминались событія двухъ прошедшихъ дней, какъ какой-то глупый и тяжелый сонъ, неизвѣстно почему и для чего приснившійся. Вечеръ, проведенный съ господиномъ Анукинымъ у Палкина, потомъ обѣдъ съ господиномъ Анукинымъ у Бореля, далѣе попойка и кутежъ съ господиномъ Анукинымъ въ обществѣ какихъ-то неизвѣстныхъ мужчинъ и женщинъ, все это проходило передъ глазами Рябушкина, какъ какой-то кошмаръ. Порой Рябушкинъ съ озлобленіемъ бормоталъ: «и какой чортъ дернулъ меня хороводиться съ нимъ!» Порой по его лицу скользила усмѣшка при воспоминаніяхъ о разныхъ выходкахъ и безобразіяхъ господина Анукина и Петръ

Ивановичъ мысленно говорилъ: «а все-таки интересный субъектъ!» Дѣйствительно, господинъ Анукинъ былъ субъектъ интересный. Онъ походилъ на опьянѣвшаго на пиру дикаря, почувствовавшаго, что у него въ карманѣ есть груда денегъ, на которыя онъ можетъ купить все, что вздумаетъ. Онъ еще спорилъ, увидавъ въ трактирномъ счетѣ прибавленный лишній «бутербродъ съ свѣжею икрой», и въ то же время бррсалъ по пяти рублей «на водку» слугѣ. Онъ еще хвасталъ имѣвшимися въ его карманѣ деньгами, какъ мальчишка, впервые имѣвшій въ рукахъ большія деньги, и въ то же время умѣлъ уже кутить и прожигать деньги не хуже самаго опытнаго кутилы. Онъ говорилъ, какъ крайне разсчетливый человѣкъ, что «онъ беретъ у Олимпіады Платоновны деньги потому, что своихъ денегъ на дѣло Хрюмина вовсе не желаетъ тратить, такъ какъ онѣ, положимъ, и возвратятся навѣрное Евгеніею Александровною, но вѣдь она можетъ внезапно умереть и тогда простишь со своими деньгами», но въ то же время, смотря, повидимому, такъ практически на дѣло, дѣйствуя такъ осторожно, онъ бро-

салъ деньги зря во время попойки и чуть не закуривалъ папиросы кредитными билетами, твердя въ пьяномъ видѣ всѣмъ и каждому: «душка, бери у меня деньги!» Онъ высокомѣрно и небрежно толковалъ о своихъ высокихъ связяхъ, о своихъ крупныхъ дѣлахъ и въ тоже время наивно замѣтилъ Петру Ивановичу, встрѣтивъ ночью на улицѣ какую-то подозрительную личность: «вотъ одинъ изъ нашихъ кормильцевъ; я съ защиты такого вотъ жулика жить началъ; плакалъ, батенька, защищая его, ну, и пронялъ одного комерсанта-мошенника, сообразившаго, что если я даромъ такъ плакать умѣю, такъ за деньги всю камеру слезами затопить могу». Изъ того, что видѣлъ и слышалъ Петръ Ивановичъ въ эти два дня онъ вынесъ какое-то новое впечатлѣніе: передъ нимъ былъ мѣщанинъ, только что попавшій въ дворянство, бѣднякъ, только что дорвавшійся до денегъ, голодный, только что продравшійся къ столу со всевозможными яствами и винами; наглое самомнѣніе, безпредѣльная хвастливость, пусканье пыли въ глаза и задоръ выскочки смѣшивались здѣсь съ безшабашностью, съ

необузданностью и размашистостью широкой русской натуры; когда эта личность говорила: «всѣ, батенька, жрать хотятъ», — въ головѣ невольно шевелилась мысль, что такіе люди чѣмъ больше жрутъ, тѣмъ больше чувствуютъ аппетита, — волчьего, неуголимага, безпредѣльнаго аппетита. Неизвѣстно почему, при воспоминаніи объ этой личности въ головѣ Петра Ивановича мелькнули воспоминанія о совершенно противоположныхъ знакомыхъ ему личностяхъ — о нѣсколькихъ товарищахъ и однокашникахъ, ярыхъ спорщикахъ въ семинаріи, страстныхъ искателяхъ полезнаго дѣла, людяхъ, ходившихъ чуть не безъ сапогъ и менѣе всего думавшихъ именно о томъ, что они ходятъ почти безъ сапогъ. Что общаго между ними и господиномъ Анукинымъ? Развѣ только то, что и они были горячими спорщиками, что и они проповѣдовали цѣлый философскія системы, что и они вдавались теоретически въ такія-же крайности, какъ господинъ Анукинъ, съ тою только разницею, что все казавшееся господину Анукину бѣлымъ они, вѣроятно, признали-бы чернымъ и все казав-

шеяся имъ бѣлымъ непременно было-бы названо имъ чернымъ; наконецъ, была у нихъ и у господина Анукина еще одна общая черта: господинъ Анукинъ думалъ, что будущее принадлежитъ людямъ его сорта; они думали, что будущее принадлежитъ имъ или, вѣрнѣе сказать, тѣмъ бѣднякамъ, вопросъ о которыхъ болѣе всего занималъ ихъ. Размышляя такимъ образомъ, перескакивая съ предмета на предметъ, Рябушкинъ невольно пожалъ плечами и подумалъ: «послѣ этихъ безобразій чортъ знаетъ какая ерунда лѣзетъ въ голову». Но тѣмъ не менѣе его голова продолжала работать все въ томъ-же направленіи и помимо его воли возникали вопросы, какъ онъ самъ устроить свою жизнь, куда примкнетъ въ будущемъ, затянется-ли въ этотъ омутъ безшабашнаго прожиганія жизни, увлечется-ли до самозабвенія какой-нибудь высокой идеей, на служеніе которой отдастъ всѣ силы, всего себя, всѣ личныя радости и наслажденія или потянетъ лямку жизни, какъ ее тянутъ тысячи людей, стараясь сохранить хотя пассивную честность, заботясь свить себѣ уютное гнѣздо

на заработанный упорнымъ трудомъ грошъ, наслаждаясь семейнымъ счастьемъ и прилагая всѣ старанія, чтобы вырастить добрыхъ, честныхъ и способныхъ къ труду дѣтей? Какой-то внутренней голосъ подсказывалъ ему, что онъ недостаточно циникъ для исключительнаго служенія мамону и недостаточно вѣрующій для подвижничества во имя идеи, и тотъ-же голосъ иронически нашептывалъ ему: «ужь гдѣ вамъ, мѣщанамъ, подняться выше мѣщанскаго счастья!..» Петръ Ивановичъ сердито хмурился и ругалъ въ душѣ встрѣчу съ господиномъ Анукинымъ. «Вѣчно такъ, перепьешь, а потомъ и во рту горько и въ головѣ сумбуръ. Еще хорошо, что я рукъ ему, кажется, не цѣловалъ, а то вѣдь всегда чортъ знаетъ до какихъ нѣжностей допьешься!» ворчалъ онъ съ неудовольствіемъ, подѣзжая къ Выборгу.

Онъ довольно коротко объяснилъ княжнѣ, что онъ исполнилъ ея порученіе, перекинулся парюю словъ съ Евгеніемъ и поспѣшилъ добратъся до постели, отлагая всѣ рассказы и бесѣды до слѣдующаго дня. За то на слѣдующій день онъ очень долго бесѣдовалъ

съ княжною, передавъ ей всѣ подробности разсказа господина Анукина объ Евгеніи Александровнѣ. Отправившись на прогулку съ Евгеніемъ, Петръ Ивановичъ замѣтилъ вскользь и юношѣ, что теперь навѣрное и Владиміръ Аркадьевичъ, и Евгенія Александровна никогда не потревожатъ болѣе своихъ дѣтей.

— Вы узнали что-нибудь и о моей матери? спросилъ быстро Евгеній.

— Да, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ. — Живетъ она себѣ отлично въ Петербургѣ, ни въ чемъ не нуждается, у нея новая семья, значитъ, ей не до васъ...

— Ну, такъ и Богъ съ ней!.. проговорилъ Евгеній и прибавилъ:— Я очень радъ, очень радъ, что она такъ живетъ... Я совсѣмъ мечтателемъ какимъ-то живу, гдѣ-то въ облакахъ ношусь... Знаете, Петръ Ивановичъ, что меня всегда мучило? Мнѣ все казалось, что она погибаетъ въ нищетѣ, что она страдаетъ, что она не смѣетъ явиться къ намъ... И такъ мнѣ было тяжело, когда приходили въ голову эти мысли... Это все сказки да романы навѣяли... Ну, а счастлива — и слава Богу!..

Наступила пауза.

Черезъ минуту Петръ Ивановичъ заговорилъ снова наставительнымъ, серьезнымъ тономъ о томъ, что пора и Евгенію и ему самому, Петру Ивановичу, серьезнѣе подумать лично о себѣ и не метаться изъ стороны въ сторону. Онъ говорилъ на эту тему довольно пространно и довольно долго, подсмѣиваясь надъ думами и заботами Евгенія «о папашѣ и мамашѣ, которые плевать на него хотѣли», и бичуя очень сильно самого себя за неустойчивость, за неумѣнье устроиться прочно, за отсутствіе энергіи. Это было не то лекція, не то покаяніе, закончившееся продолжительнымъ молчаніемъ съ обѣихъ сторонъ.

— А славная сегодня погода, жаль что мы Олю не прихватили съ собою, проговорилъ наконецъ Петръ Ивановичъ.

— Воротимтесь за нею, предложилъ Евгеній. — Мы съ вами точно заговорщики все вдвоемъ ходимъ, а она, бѣдняжка, все одна около *ma tante* въ саду...

— Ну, она нигдѣ не скучаетъ, сказалъ Петръ Ивановичъ. — Вездѣ найдетъ кого-нибудь, къ кому приласкаться можно или съ

къмъ посмѣяться можно...

— Вотъ, Петръ Ивановичъ, когда она вырастетъ, женитесь на ней, проговорилъ Евгеній.

Петръ Ивановичъ расхохотался.

— Съ чего это вамъ пришло въ голову? Ха, ха, ха! Въ сваты записался!.. И кого сватаетъ: меня и Олю! Ха, ха, ха!

— А что, развѣ вы не женились-бы на ней? спросилъ, улыбаясь, Евгеній. — Она хорошенькая!

— Да отстаньте вы, мнѣ никогда и въ голову не приходила такая чепуха, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ, пожимая плечами.

— А жаль, Петръ Ивановичъ, вы такой добрый и честный, Оля тоже добрая, она васъ знаетъ и вы ее хорошо знаете, уже серьезно говорилъ Евгеній. — Вы были-бы счастливы и ma tante...

— Что это вы ребячетесь! уже немного раздражительно перебилъ его Петръ Ивановичъ. — То вы, какъ старикъ, разные высокіе вопросы поднимаете, то, точно малолѣтокъ, разные глупости болтаете.

— Отчего-же это глупости? настойчиво

приставаль Евгеній.

— А оттого, что Оль о куклахъ еще нужно думать, а не о женихахъ, отвѣтилъ Рябушкинъ.

— Пусть она и думаетъ о куклахъ, сказалъ Евгеній, — я вѣдь это не ей, а вамъ сказалъ.

— Ну, и хорошо, и хорошо! нетерпѣливо сказалъ Рябушкинъ. — Довольно объ этихъ пустякахъ!

Въ эту минуту они подходили къ дому. Оля завидѣла ихъ и побѣжала къ нимъ на встрѣчу. Это была уже довольно высокая, стройная и полненькая дѣвочка съ румянымъ здоровымъ лицомъ, съ большими голубыми глазами, съ густыми темнорусыми волосами, заплетенными по-русски въ одну косу, съ улыбающимися губками, съ живыми движеніями.

— Зачѣмъ вернулись? Что забыли? Говорите, говорите, я принесу! кричала она, сбѣгая съ терасы къ брату и Петру Ивановичу.

— Мы за тобой вернулись. Пойдемъ въ садъ барона Николаи, сказалъ Евгеній.

— Душка, душка! крикнула она брату и скороговоркой прибавила:- Пойдите, ка-

къ-же... мнѣ надо руки вымыть... Сейчасъ пересаживала свои жасминъ... Червякъ тамъ былъ, длинный, длинный такой, надо было землю переменить... вотъ и перепачкала руки... Впрочемъ...

Она взглянула на свои руки, растопыривъ пальцы передъ своими глазами.

— Впрочемъ, ничего, проговорила она рѣшительно. — Я такъ ихъ вытру... платкомъ... это вѣдь земля только...

Она быстро начала вытирать руки платкомъ.

— Ma tante, вѣдь мнѣ можно идти? крикнула она княжнѣ, сидѣвшей на терасѣ съ вязаньемъ въ рукахъ.

— Иди! отвѣтила Олимпіада Платоновна.

— Ну, въ путь, въ путь! крикнула Оля и уже пошла изъ сада, но вдругъ остановилась: — А какъ-же я безъ зонтика?.. Я сейчасъ, сейчасъ!

Она, какъ серна, понеслась къ дому, взбѣжала по лѣстницѣ терасы, въ воздухѣ слышался горячій поцѣлуй и черезъ минуту Оля, громко смѣющаяся, уже стояла рядомъ съ братомъ и Петромъ Ивановичемъ.

— А зонтикъ? спросилъ Евгеній.

— Ну его! Глаза еще кому-нибудь выколю! засмѣялась Оля. — И такъ ужь совсѣмъ загорѣла!

— Зачѣмъ-же ворочалась?

— А я та tante поцѣловала! отвѣтила дѣвочка. — Ахъ, Петръ Ивановичъ, хоть-бы вы развлекали та tante. Вы такой умный! Какая она скучная, скучная стала! Какъ я взгляну на нее, такъ мнѣ плакать и хочется...

— Потому-то ты, вѣрно, все и хохочешь, замѣтилъ Евгеній.

— Да, да, потому! отвѣтила быстро Оля, — Вѣдь такъ и надо, Петръ Ивановичъ, не правда-ли? Пусть та tante развлекается, пусть не тревожится, что и всѣ кругомъ нея скучаютъ, пусть хоть улыбнется, слыша смѣхъ...

— Ну, въ философію пустилась! сказалъ Евгеній. — Просто потому смѣешься, что не можешь не смѣяться.

Ольга взглянула на брата и расхохоталась.

— Ну да, ну да, не могу не смѣяться! вдругъ проговорила она и, крикнувъ «побѣжимъ», потащила его за собою.

Ея громкій смѣхъ раздавался въ чистомъ

воздухъ.

— Петръ Ивановичъ, что-жь вы-то? кричала она Рябушкину. — Догоняйте!

Волей-неволей онъ побѣжалъ за шалуньей, увлекшей за собой брата.

Набѣгавшись и заставивъ набѣгаться своихъ спутниковъ, Оля отдыхала съ ними въ паркѣ барона Николаи на берегу залива и болтала безъ умолку.

— А я думаю скучно становится, какъ объ институтѣ вспомните, куда надо скоро отправиться? замѣтилъ между прочимъ Петръ Ивановичъ.

— Нисколько! нисколько! возразила она. — Меня въ институтѣ всѣ любятъ, всѣ любятъ... И потомъ чинно такъ, серьезно сидишь и занимаешься всѣ дни и ждешь пріемнаго дня: придетъ онъ и начинаешь выжидать *ma tante*, Женю, васъ... Ахъ, какъ сердце бьется, бьется, когда скажутъ: «бутошка, къ тебѣ пришли!..» Меня, Петръ Ивановичъ, «бутошкой» зовутъ... это, Петръ Ивановичъ, уменьшительное отъ слова «бутонъ»... У насъ у всѣхъ свои клички: «козявкой» одну зовутъ... класную даму одну зовутъ

«привидѣніе»...

Оля вдругъ захохотала.

— Петръ Ивановичъ, и вамъ дано у насъ названіе, сказала она.

— Мнѣ? спросилъ съ улыбкой Петръ Ивановичъ.

— Да! Васъ сперва «Аполономъ» назвали, потому что вы хорошенькій — и въ васъ одна моя подруга влюблена, а я сказала, что Аполонъ былъ такой большой, большой и носъ у него прямой, прямой, точно онъ въ трубу трубить, и назвала васъ «Кудрявичемъ»... знаете, у Кольцова есть пѣсня Лихача Кудрявича, вотъ я васъ въ честь его и назвала, потому что вы на него какъ двѣ капли воды похожи...

— А вы его видѣли? спросилъ, смѣясь, Рябушкинъ.

— Не видѣла, а знаю, что онъ такой... Ужъ это вѣрно.

— А меня какъ прозвали? спросилъ Евгеній.

— Я никому не позволила дать тебѣ кличку и сама, сама назвала тебя моимъ «рыцаремъ». Такъ тебя и зовутъ!.. Оля шаловливо провела рукой по лицу Евгенія и вдругъ совсѣмъ

серьезнымъ голосомъ заговорила:- Ахъ, а какъ я сердилась, какъ я плакала, когда ma tante дѣвицы назвали «Croquemitaine»! Я одной, Мари Кошевой, всю руку изщипала, пока она не отказалась отъ своихъ словъ и не попросила пощады. Ma tante никогда, никогда не была croquemitaine. Это Богъ такъ сдѣлалъ, что у нея такая фигура, а она не виновата... О, грѣхъ смѣяться надъ людьми за то, что они некрасивы, мы всѣ будемъ некрасивы потомъ, подъ старость... Да ma tante совсѣмъ и не некрасива... Вы, Петръ Ивановичъ, замѣчали, какіе у нея глаза, когда она ласкаеть: добрые, добрые и такъ и заглядываютъ въ тебя... Ахъ, еслибы у меня были такіе глаза! вздохнула Оля.

Всѣ разсмѣялись.

— Нѣтъ, право! возразила Оля. — А что у меня? — голубые кружки, точно вотъ когда соберутся тучи, а изъ нихъ и выглянетъ синій кружочекъ неба... Нѣтъ, у ma tante чудесные глаза: разсердится она — и потемнѣютъ они, какъ ночь... А я...

Оля вдругъ нахмурила лицо.

— Ну! какіе у меня теперь глаза? спросила

она.

— Все такіе-же, отвѣтилъ Петръ Ивановичъ.

— Смѣющіеся, сказалъ Евгенийъ.

Оля вздохнула.

— Да, вотъ даже и разсердиться не умѣю! проговорила она съ наивною грустью.

Не прошло и минуты, какъ она уже тормошила брата и Петра Ивановича, приглашая ихъ побѣгать.

Она была совершеннымъ ребенкомъ, живымъ, шаловливымъ, съ неисчерпаемымъ запасомъ веселости и ласки. Не даромъ Евгенийъ говорилъ про нее: «Счастливая Оля, она не знаетъ еще никакого горя. Она давно забыла, что насъ бросили отецъ и мать; она, кажется, забыла даже, что они когда-то существовали. И хорошо, что она въ институтъ, туда къ ней, вѣроятно, не дойдутъ никакіе слухи, никакіе толки о нихъ». Петръ Ивановичъ, говоря про нее, сравнивалъ ее съ чистою страпщею, на которой можно написать все, что угодно. Они были правы: Оля попала въ домъ княжны очень маленькой, ни о чемъ еще не думавшей дѣвочкой; первыя куклы и первыя ласки

въ домъ княжны вытѣснили изъ ея памяти всякія воспоминанія о жизни въ родительскомъ домѣ; находясь постоянно среди женщинъ, занимаясь менѣе серьезно, чѣмъ ея братъ, ласкаясь ко всѣмъ и обласканная всѣми, она жила той дѣтской жизнью, которая наполняется гораздо больше игрушками, чѣмъ серьезными думами. О Евгеніи, который былъ и старше, и впечатлительнѣе, и болѣзненнѣе сестры, больше заботились, съ нимъ больше разсуждали, а на нее больше смотрѣли, какъ на ребенка: ей дарили игрушки, ее цаловали, гладили по головкѣ и говорили: «ну, теперь ступай играть!» И она играла, училась, росла, какъ растетъ дерево на хорошей почвѣ, подъ грѣющими лучами солнца. Сперва съ нею не говорили объ отцѣ и матери просто потому, что она сама не заговаривала, не вспоминала про нихъ; потомъ, видя ея беззаботное счастье, близкіе люди начали заботливо избѣгать всякихъ разговоровъ объ этихъ личностяхъ уже потому, что имъ было и совѣстно, и жалко смутить этотъ чистый миръ дѣтской души. Развитіе Оли было далеко не такимъ, какъ развитіе Евгенія. Когда

онъ читаль Донъ-Кихота, она играла въ куклы; когда Петръ Ивановичъ перечитываль съ Евгеніемъ Пушкина, Лермонтова, Некрасова, — она слушала изъ устъ гувернантки нравственные рассказы «о неряшливомъ мальчикѣ и благовоспитанной дѣвочкѣ»; когда Енгеній задумывался надъ вопросомъ: «можно-ли вѣрить въ людскую любовь, когда даже отцы и матери не любятъ своихъ дѣтей?» — Оля бросалась всѣмъ и каждому на шею, потому что всѣ открывали ей объятія, говоря: «какое это прелестное дитя!» Енгеній всегда очень любилъ Ольгу — не даромъ-же она дала ему названіе своего рыцаря! — но только въ послѣднее лѣто онъ вполнѣ сознательно почувствовалъ, какое благотворное вліяніе оказываетъ она на него: она была единственнымъ существомъ, напоминавшимъ ему, что и онъ почти еще ребенокъ, что въ его возрастъ нужнѣе всего безпечныя игры, веселый смѣхъ. Она умѣла растормошить его, отвлечь отъ думъ и отъ книгъ, затянуть въ игру, заставить его бѣгать въ горѣлки, играть въ серсо. Инстинктивная потребность быть ребенкомъ еще не умерла окончательно въ

Евгеніи, не смотря на всю ложность хода его развитія, но въ тоже время въ самомъ Евгеніи все рѣже и рѣже, безъ посторонняго толчка, появлялись эти порывы шаловливости ребячества, беззаботной веселости, и тутъ-то и являлась Оля со своими неисчерпаемыми шалостями, шутками, играми. Евгеній отдыхалъ съ нею и все сильнѣе и сильнѣе привязывался къ ней.

Особенно часто началъ онъ проводить цѣлые часы съ нею въ послѣднее время, какъ-то инстинктивно ощущая потребность оторваться отъ думъ объ отцѣ, о матерѣ, о разныхъ Дикаго и Хрюминыхъ. Въ немъ все сильнѣе и сильнѣе пробуждалось желаніе увѣрить самаго себя, что ему нѣтъ никакого дѣла до всѣхъ этихъ людей, что онъ отрѣзанный отъ нихъ ломоть, что и въ будущемъ они не придутъ къ нему, если онъ самъ съумѣетъ избѣжать ихъ, не вспоминать о нихъ. Въ описываемый нами день, эта мысль еще сильнѣе утвердилась въ головѣ Евгенія, когда онъ узналъ, что его отецъ не будетъ болѣе беспокоить княжну и что его мать ни въ чемъ не нуждается, живетъ счастливо и

совсѣмъ забыла о немъ, о своемъ сынѣ. Съ этого дня, еслибы присмотрѣться поближе къ Евгению, можно было бы замѣтить въ юношѣ какую-то перемену: онъ словно ожилъ, сталъ веселѣе, искалъ веселья и чаще всего говорилъ о будущемъ — о гимназiи, о посѣщенiяхъ. Оли въ институтѣ, о визитахъ къ Петру Ивановичу, о томъ, что онъ хотѣлъ бы бывать чаще въ театрѣ зимою, о чемъ и думалъ попросить тетку. Въ немъ явилось инстинктивное желанiе забыть все прошлое и жить будущимъ; какой-то тайный голосъ шепталъ ему: «твоя жизнь впереди и надо думать о ней». По странной случайности въ эти же дни и у Петра Ивановича въ душѣ происходила извѣстная тревога: два дня кутежа и бесѣдъ съ господиномъ Анукинымъ не прошли даромъ для Рябушкина. Мы уже сказали, какiя странныя мысли роились въ головѣ молодого человѣка, когда онъ, усталый и невыспавшiйся, возвращался изъ Петербурга въ Выборгъ. Внезапный кутежъ встряхнулъ его и навелъ на мысль: «съ чего это я пропьянствовалъ два дня и съ кѣмъ еще, съ первымъ встрѣчнымъ пошлякомъ?» За этой мыс-

лью послѣдовала другая: «да и вообще съ чего я дѣлаю то или другое?» Петръ Ивановичъ какъ-то невольно, подѣ вліяніемъ покаянія за кутежъ, а можетъ быть, и подѣ вліяніемъ толковъ господина Анукина о честныхъ людяхъ вообще и о немъ, Петръ Ивановичъ, въ особенности, задумался надъ вопросомъ: «какъ онъ живетъ, куда стремится, какимъ путемъ идетъ къ своей цѣли?» Отвѣтъ вышелъ крайне печальный. До сихъ поръ Петръ Ивановичъ жилъ изо дня въ день и плылъ впередъ, какъ лодка безъ кормчаго и безъ руля, по теченію, по вѣтру. Почему онъ взялъ первое попавшееся частное мѣсто гувернера и учителя у княжны, не подумавъ, что лучше пристроиться менѣе выгодно, но болѣе прочно? почему потомъ онъ опять таки взялъ первое-попавшееся казенное мѣсто учителя, не заботясь объ увеличеніи заработковъ, о какихъ нибудъ связяхъ, о какомъ нибудъ болѣе широкомъ и болѣе полезномъ приложеніи своихъ знаній? Во всемъ этомъ вовсе не было какого нибудъ безкорыстія, а была простая распущенность, было какое-то разгильдяйство: что само плыветъ въ руки, то и берется,

а за чѣмъ надо самому протянуть руку, то и проплываетъ мимо. Такъ далеко не уйдешь: ни другимъ не принесешь пользы, ни себѣ не принесешь выгоды. Таже самая распущенность и тоже самое разгильдяйство было и въ нравственномъ отношеніи: Петръ Ивановичъ самъ по себѣ не былъ ни развратникъ, ни кутила, ни пьяница, но онъ могъ и развратничать, и кутить, и пить, если подвертывался сердечный человѣкъ, склонный и къ разврату и къ кутежу, и къ пьянству. «Зайдемъ, братъ, выпить!» съ этой фразы начинались экскурсіи съ какимъ нибудь сердечнымъ человѣкомъ въ «злачныя мѣста», въ «мѣста, гдѣ раки зимуютъ», въ «мѣста утоли мои печали,» въ мѣста, куда безъ сердечнаго человѣка Петръ Ивановичъ могъ, безъ всякаго насилія надъ собой, не заглядывать по цѣлымъ мѣсяцамъ. Послѣ этихъ экскурсій, потративъ много денегъ, чувствуя тяжесть въ головѣ, ощущая какую-то нравственную гадливость, Петръ Ивановичъ обыкновенно если не каялся, то дулся на себя и даже не безъ ѣдкой ироніи, приглаживая передъ зеркаломъ волосы, замѣчалъ мысленно: «хороша ро-

жа сдѣлалась, истинно гоголевскаго педагога физию пріобрѣлъ!» Но «рожа» принимала черезъ день старое, обычное выраженіе, мысль поглащалась будничными интересами, жизнь принимала обычное теченіе — и экскурсія со всѣми ея мерзостями забывалась до новаго «прорыва». Теперь было не то: слишкомъ ужъ гадокъ былъ встрѣтившійся сердечный человѣкъ, слишкомъ ужъ внезапно было сближеніе съ нимъ. «Этакъ вѣдь, пожалуй, первый встрѣчный карманникъ пригласилъ бы, такъ я и съ нимъ, благо, первую рюмку въ глотку опрокинулъ, на брудершафтъ пошелъ бы», озлобленно думалъ Рябушкинъ. «И еще на его счетъ кутиль-то и пьянствовалъ, такая мерзость!» продолжалъ онъ бичевать себя. «Правду Софья Ивановна говорила, что неряха я, — неряха и есть во всѣхъ отношеніяхъ». Отъ этихъ мыслей какъ-то невольно перешелъ Петръ Ивановичъ къ думамъ о томъ, что пора начать жить посерьезнѣе, построже относиться къ себѣ, болѣе дѣятельно, болѣе активно идти къ цѣли, а то, пожалуй... И въ головѣ промелькнула мысль, что ужъ если онъ самъ уже со-

шель или случайности столкнули его съ того пути, по которому идутъ вполнѣ безкорыстные служители идеи, великіе подвижники, отдающіе себя всецѣло одному служенію ближнимъ, то нужно, по крайней мѣрѣ, не забирать все дальше и дальше въ ту трясиину, гдѣ по горло въ грязи вырываютъ лично для себя и только для себя клады разные господа Анукины. «Хоть бы на золотой серединѣ-то удержаться, думалось Петру Ивановичу, — а если зря идти куда вѣтеръ дуетъ, такъ и съ этой дорожки собьется». Вѣроятно, подвліяніемъ этихъ мыслей, корда Евгеній началъ заговаривать съ Петромъ Ивановичемъ о гимназіи, объ ученьи, Петрр Ивановичъ отвѣчалъ ему:

— Да, да, батенька, подтянуться надо! Распустились мы съ вами! Сансуси въ насъ еще сидить!.. Истинно мы русскіе люди, теплоты въ насъ сердечной много до расплывчивости... Вотъ вы зубрить начнете, а я тоже за работу примусь. Вертится въ головѣ этакій планъ работишки ученой. Она, можетъ быть, и не важная выйдетъ, а все таки не бесполезная для общества. Матерьялецъ вотъ соберу,

оборудую все, какъ слѣдуетъ, и тисну. Тоже не боги же горшки-то обжигали. Отчего и намъ въ писательство педагогическое не пуститься?

И Петръ Ивановичъ развивалъ планъ своей работы. И Евгеній, и онъ мечтали, каждый по своему, каждый во имя своихъ особенныхъ мотивовъ, о новой жизни для себя.

IV

Судьба, казалось, сжалилась надъ Евгениемъ и его, жизнь потекла болѣе мирно, ровно и правильно. Княжна Олимпіада Платоновна наняла въ Петербургѣ очень небольшую квартиру, отдала Евгенію въ гимназію и при первомъ-же посѣщеніи княгини Маріи Всеволодовны довольно рѣзко и твердо замѣтила, что Евгению нѣтъ времени ѣздить по гостямъ, что онъ сильно занятъ уроками и что вообще она, княжна Олимпіада Платонова, находитъ, что ея мальчику нужнѣе всего привыкать къ скромной и небогатой жизни, не сближаясь съ тѣмъ кругомъ, къ которому въ будущемъ онъ, вѣроятно, не будетъ принадлежать.

— Онъ слишкомъ бѣденъ, чтобы

пріучаться къ роскоши и блеску, замѣтила княжна. — И сверхъ того, послѣ продѣлокъ его отца ему просто неудобно возвращаться въ томъ кругу, гдѣ люди постоянно могутъ задѣть его самолюбіе, напомнивъ ему объ этой исторіи.

Княгиня заспорила, но княжна была на этотъ разъ какъ-то особенно суха, говорила холодно и не поддавалась ни на какіе доводы.

— Что-же ужъ не думаешь-ли ты сдѣлать изъ него какого-нибудь санкюлота, или... какъ ихъ нынче называютъ?.. нигилиста? сказала княгиня. — Вѣдь съ кѣмъ-нибудь да долженъ-же онъ сойдтись: ну, не сойдется съ нашимъ кругомъ, такъ попадетъ въ кружокъ какихъ-нибудь господъ въ родѣ... какъ его зовутъ, этого семинариста, что жилъ у тебя?..

— И слава Богу, по крайней мѣрѣ, ни развратникомъ, ни воромъ не сдѣлается, замѣтила коротко княжна.

— Изъ него что-нибудь худшее могутъ сдѣлать. Теперь время такого броженія умовъ. Какія идеи ему внушатъ! сказала княгиня и прибавила со вздохомъ:— Ахъ, Олутре, я вижу, что ты плохая воспитательница. Погу-

бишь ты мальчика!

Олимпиадѣ Платоновнѣ очень хотѣлось высказать рѣзко и прямо все, что она думала о воспитательныхъ способностяхъ самой княгини, но она благоразумно удержалась отъ этого и свиданіе двухъ родственницъ окончилось холодно, но мирно. Княгиня уѣхала съ грустнымъ выраженіемъ лица, скорбя въ душѣ о будущей неизбѣжной гибели Евгенія и сожальѣя, что она не могла ничего сдѣлать для его спасенія. Спасать всѣхъ и каждого — это была житейская задача, миссія княгини Маріи Всеволодовны; такъ, по крайней мѣрѣ, думала сама княгиня. Но княжна — это всѣ знали — была упряма и съ ней было трудно сладить, когда она на что-нибудь рѣшилась. На время вслѣдствіе этого и княжну, и Евгенія оставили въ покоѣ.

Для Евгенія настало лучшее время его жизни: онъ учился, читалъ, посѣщалъ Петра Ивановича; иногда онъ ѣздилъ съ теткой и Рябушкинымъ въ оперу, въ ложу; порою онъ и Рябушкинъ забирались просто въ театръ «на верхи». Мало-по-малу въ домѣ Рябушкина и въ гимназіи у Евгенія завязались знакомства

среди юношей, съ грѣхомъ пополамъ проби-
вавшихъ себѣ дорогу. Среди молодежи вѣяло
иною жизнью, инымъ духомъ, чѣмъ въ
кружкѣ разныхъ богачей и баловней
пансіона Матросова. Здѣсь такъ или иначе,
ошибочно или вѣрно, шли толки о литера-
турѣ, о разныхъ вопросахъ, уже волновав-
шихъ и интересовавшихъ эту молодежь. Тол-
ки о кокеткахъ, рысакахъ и оргіяхъ, все то,
чѣмъ занимались юноши въ пансіонѣ Матро-
сова и въ кружкѣ князьковъ Дикаго, отошли
здѣсь на самый задній планъ. Бѣдность и
трудъ волей-неволей наводятъ на болѣе суще-
ственные, болѣе плодотворные вопросы, кого
тѣснятъ и давятъ, кругомъ кого вѣчно слы-
шатся жалобы, тотъ невольно задумывается
надъ вопросами: «отчего и почему?» Если не
вся молодежь, окружавшая теперь Евгенія,
была безупречна и серьезна, то во всякомъ
случаѣ у него явилась теперь возможность
выбора товарищей, чего не было у него въ то
время, когда онъ волей-неволей долженъ бы-
лъ сходиться съ тѣми, съ кѣмъ встрѣчался въ
домѣ княгини Марьи Всеволодовны и въ
пансіонѣ Матросова. Теперь иногда Евгеній

засиживался до поздней ночи у Петра Ивановича, прислушиваясь къ оживленнымъ спорамъ молодежи или выслушивая длинные и интересные для него рассказы матери Рябушкина о житейскихъ невзгодахъ. Онъ началъ узнавать будничную жизнь съ ея тревогами и несчастіями и мало-по-малу эта жизнь начала ослаблять въ немъ привычку вѣчно думать только о себѣ, няньчиться только со своими личными печалями. Онъ увидалъ, что другимъ живется еще хуже, что эти другіе очень бодро выносятъ горе и еще находятъ силы думать и заботиться о счастіи и благѣ ближнихъ, общества, народа. Разъ выслушавъ рассказъ старушки Рябушкиной о томъ, какъ приходилось ей и полы мыть, и бѣлье стирать, чтобы поддержать семью, онъ замѣтилъ:

— Какъ вы это все вынесли!

— Ну что я! простодушно проговорила она. — И умерла-бы, такъ не большая была бы потеря. Хотѣлось вотъ только дѣтокъ-то на ноги поставить, ихъ отъ горькой доли спасти хотѣлось. Я-то о себѣ тогда и не думала, обтерпѣлась.

Онъ удивлялся этой самоотверженной любви и думалъ: «вотъ настоящая мать! только материнское чувство и можетъ дать силы на такой подвигъ».

Но въ другой разъ онъ слышалъ простой рассказъ одного студента; студентъ рассказывалъ о сестрѣ своего товарища, которая, кончивъ курсъ въ институтѣ, пошла въ сельскія учительницы и вотъ уже четвертый годъ живетъ въ глуши, терпитъ и холодъ, и нужду, сама стряпаетъ, шьетъ, стираетъ свое бѣлье и ни жалобы, ни упрека на свою судьбу.

— Я налюбоваться на нее не могу, что за энергичная женщина изъ нея вышла, замѣтилъ студентъ. — Вся отдалась ребятишкамъ, народу и ни разу не пошатнулась на избранной дорогѣ. Это своего рода подвижничество.

— Да, и много безкорыстной любви къ ближнимъ и твердой вѣры въ пользу своей работы нужно имѣть, чтобы выносить такую жизнь, сказалъ Петръ Ивановичъ.

Евгеній глубоко призадумался и надъ этимъ явленіемъ, уже совершенно новымъ для него, и въ его головѣ мелькали мысли: «а гдѣ

та любовь къ людямъ въ немъ самомъ, которая дала бы ему силы принести себя всего на жертву ближнимъ, гдѣ то дѣло, въ которое онъ могъ бы повѣрить такъ, чтобы не замѣчать своихъ личныхъ невзгодъ, одушевляясь одной задачей, одной цѣлью служить другимъ?» Въ такія минуты передъ нимъ вставалъ снова знакомый ему образъ рыцаря печальнаго образа, добродушнаго Донъ-Кихота. Тотъ тоже вѣрилъ въ свое дѣло и отдалъ всего себя этому дѣлу. Что-же и это Донъ-Кихоты? Да, можетъ быть. Забыть все личное, забыть себя ради извѣстной идеи, ради извѣстнаго дѣла можно только тогда, когда сдѣлаешься хотя отчасти Донъ-Кихотомъ. Разница между этими людьми и рыцаремъ печальнаго образа только въ томъ, что эти люди воюють не съ вѣтряными мельницами. Иногда слушая рассказы объ этихъ самоотверженныхъ людяхъ, Евгеній впадалъ въ уныніе, упрекая себя въ эгоизмъ, въ черствости, въ недостаткѣ любви къ ближнимъ; порой, напротивъ того, эти толки подбадривали его и ему казалось, что и онъ самъ въ концѣ концовъ выработается въ человекъ, который

найдетъ высокую цѣль въ жизни и съумѣетъ послужить ближнимъ. Въ такія минуты свѣтлыхъ надеждъ онъ говорилъ себѣ, что онъ имѣетъ всѣ средства къ тому, чтобы сдѣлаться полезнымъ членомъ общества. Еще бы! онъ жилъ безъ стѣсненій; онъ могъ учиться всему, чему угодно; онъ могъ идти тѣмъ путемъ, какой ему понравится; много-ли людей стоитъ въ такомъ счастливомъ положеніи, какъ онъ! О, какъ онъ былъ благодаренъ княжнѣ, какъ высоко онъ цѣнилъ ея отношенія къ нему, полныя теплоты и довѣрія! А отецъ? А мать? Что ему за дѣло до нихъ; они болѣе не вернутся къ нему; они болѣе не вернутъ его къ себѣ! Онъ надѣялся на это, онъ вѣрилъ въ это, онъ заставлялъ себя не думать болѣе о нихъ. И каждый новый день все болѣе и болѣе утверждалъ его въ этомъ убѣжденіи, такъ какъ ни объ отцѣ, ни о матери не было ни слуху, ни духу. Какъ-то Петръ Ивановичъ въ минуту шутливаго расположенія духа, съ насмѣшливой улыбочкой замѣтилъ Евгению, мечтавшему о будущей дѣятельности:

— А можетъ быть, фатеръ съ мутершей не

позволять вамъ идти туда, куда вздумается,
— Ахъ, Петръ Ивановичъ, мертвые изъ
могиль не встають, отвѣтилъ, смѣясь,
Евгеній. — Они такъ счастливы въ своемъ
раю, что имъ некогда думать о насъ
грѣшныхъ.

— Наконецъ-то вы додумались до этого, ве-
село сказалъ Петръ Ивановичъ.

— Да, да, именно «наконецъ-то!» сказалъ
Евгеній. — Если-бы я могъ до этого додумать-
ся раньше, было-бы лучше. А то ради нихъ я
только со своей персоной и возился, только о
ней и думалъ...

Собесѣдники перемѣнили разговоръ и
Евгенію самому казалось даже странно, что
теперь напоминаніе объ отцѣ и матери не
пробуждало въ его сердцѣ ни боли, ни скор-
би. «Слава Богу, теперь я, дѣйствительно,
отрѣзанный ломоть», говорилъ онъ мыслен-
но. «Отрѣзанный ломоть», — да, онъ точно
былъ отрѣзаннымъ ломтемъ и въ отношеніи
отца и матери, и въ отношеніи разныхъ Мари
Хрюминыхъ, князей Дикаго и тому подобны-
хъ людей.

Мари Хрюмина, захавъ однажды къ

Олимпіадѣ Платоновнѣ, очень удивилась, увидавъ Евгенія въ измятой коломянковой блузѣ и съ руками, на которыхъ были слѣды мѣдныхъ опилокъ.

— Извините, кузина, что не подаю руки: сейчасъ точилъ мѣдъ и выпачкалъ руки, сказалъ ей Евгеній.

— Что это ты въ кузнецы готовишься? спросила она съ гримасой.

— Отчего-же и нѣтъ, отвѣтилъ онъ. — Не всѣмъ-же готовиться въ гвардію.

Она поморщилась и спросила Олимпіаду Платоновну, для чего это Евгеній «что-то тамъ пилить и точить». Княжна коротко объяснила, что при сидячей гимназической жизни физическій трудъ полезенъ.

— Но онъ какимъ-то мужикомъ начинаетъ выглядѣть, сказала Мари Хрюмина.

— Я очень рада, что у него такой здоровый видъ, отвѣтила еще болѣе сухо княжна.

Въ другой разъ Евгеній встрѣтился съ князьками Дикаго въ курительной комнатѣ русской оперы. Онъ былъ въ той-же коломянковой блузѣ, потому что сидѣлъ съ товарищами «на верхахъ», гдѣ очень жарко. Князьки

удивились наряду кузена, удивились тому, что онъ сидитъ въ райкѣ, удивились, что онъ видѣлъ ихъ и не зашелъ къ нимъ въ ложу.

— Ты, вѣрно, стѣсняешься, что ты такъ одѣтъ, тономъ взрослога сказалъ Валеріанъ Дикаго. — Но у насъ ложа съ аванложей и тебя никто не замѣтитъ...

— Да для чего-же я пойду туда? спросилъ Евгеній.

— Но тамъ тамап, внушительно отвѣтилъ Валеріанъ. — Она будетъ недовольна, что ты не зашелъ въ ложу, зная, что мы здѣсь...

— Я думаю, ей нѣтъ ровно никакого дѣла до меня, сказалъ Евгеній. — А впрочемъ, можете ей засвидѣтельствовать мое почтеніе.

Онъ засмѣялся и прибавилъ:

— Ну, а вы все по старому носите личину смиренномудрія и кутите на сторонѣ, надувая почтенную княгиню?

Платонъ захихикалъ глупымъ смѣхомъ, а Валеріанъ серьезно замѣтилъ небрежнымъ тономъ:

— Нельзя-же откровенничать, если она не понимаетъ потребностей молодости!

Родственники раскланялись и разошлись.

Была еще одна встрѣча Евгенія съ князьками Дикаго, но Евгеній постарался просто ускользнуть отъ нихъ, сдѣлавъ видъ, что онъ ихъ не видалъ. Ему все сильнѣе и сильнѣе хотѣлось порвать со всѣми этими людьми всякую связь; ему страстно хотѣлось уничтожить, забыть все, что напоминало объ этой связи съ отцомъ, съ матерью, съ Хрюмиными, съ Дикаго. Въ его поведеніи, въ его способѣ объясняться, въ его манерахъ, начало слегка проглядывать даже что-то такое утрированно угловатое, что-то неестественно грубоватое. Это былъ какъ-бы протестъ противъ той благовоспитанности, прикрывающей всякія мерзости, къ которой его хотѣли приучить въ кругу его родныхъ. Онъ уже не былъ тѣмъ чистенькимъ и приличнымъ мальчикомъ, который умѣлъ такъ ловко расшаркиваться и такъ вѣжливо отвѣчать на вопросы. Немножко рѣзкости, немножко грубости, немножко небрежности было примѣшано теперь ко всему и къ туалету, и къ разговорамъ, и къ манерамъ. Но странное дѣло! ни княжна, ни Софья, эти строгія блюстительницы приличій, не замѣчали этого и ихъ любимецъ казался

имъ все такимъ-же прелестнымъ юношей, какимъ онъ былъ прежде. Это происходило, можетъ быть, вслѣдствіе того, что они смотрѣли на него сквозь очки горячей любви къ нему, а можетъ быть, и потому, что, не смотря на напускную грубоватость, на напускную небрежность, Евгенийъ оставался по прежнему и милъ, и привлекателенъ. Есть люди, которые въ самомъ плохомъ нарядѣ кажутся щеголеватыми, которые при всей своей небрежности носятъ на себѣ печать изящества, которые, какъ-бы они не повернулись, остаются граціозными и ловкими: въ этихъ людяхъ подъ одеждой бѣдняковъ вы узнаете баръ, какъ въ иныхъ людяхъ подъ самыми роскошными нарядами вы тотчасъ-же узнаете лакеевъ. Евгенийъ принадлежалъ по натурѣ, по воспитанію, по характеру именно къ числу такихъ нравственно благородныхъ личностей, грязь къ нему приставала также медленно, какъ медленно она отмывается отъ человѣка, выросшаго, купавшагося среди всякой грязи съ самой колыбели. Но если Олимпіада Платоновна и Софья не замѣчали совершавшейся въ Евгении переменны, то это

замѣчали другіе. Мари Хрюмина говорила, что онъ становится настоящимъ мужикомъ; княгиня Марья Всеволодовна замѣчала, что неприлично пускать Евгенія въ театръ въ раекъ и притомъ въ такомъ костюмѣ, въ которомъ онъ долженъ прятаться отъ родныхъ и знакомыхъ; потомъ княгиня сдѣлала замѣчаніе, что Евгенія ея сыновья встрѣтили на улицѣ въ такой компаніи, что даже онъ самъ сконфузился и сдѣлалъ видъ, что не видитъ своихъ кузеновъ; далѣе княгиня спросила съ ироніей, не по обѣту-ли Евгеній пересталъ стричь волосы; черезъ нѣсколько времени слухи начали принимать даже тревожные размѣры, такъ какъ княгиня иначе не называла товарищей Евгенія, какъ санкюлотами и нигилистами, съ которыми очень опасно имѣть сношенія. Правда, она ихъ не знала, она ихъ даже никогда не видала, но... но «Платонъ и Валеріанъ говорили ей, что у нихъ даже длинные сапоги надѣты и вотъ такіе, какъ у поповъ, волосы!..» Княжна ничего и слушать не хотѣла: Евгеній отлично учился, онъ поздоровѣлъ, онъ былъ веселъ — чего-же ей еще было желать? Да она сама ожила съ

той поры, какъ Евгеній въ гимназіи: у нея въ домѣ смѣхъ слышится, Евгеній пѣть началъ, разъ онъ до того разыгрался, что чуть не закружилъ ее, увѣряя, что онъ еще танцовать съ ней будетъ. Только теперь она увидала, что Евгеній начинаетъ жить полною жизнью, — жизнью, свойственною его возрасту: то учится, то дурачится, то спорить съ товарищами о серьезныхъ вопросахъ, давнымъ-давно рѣшенныхъ взрослыми, то увлекается какой-нибудь комедіей, оперой, книгой. И ей еще говорятъ, что онъ стоитъ на опасномъ пути, что онъ испортился, что онъ огрубѣлъ! О, глупое, пошлые людишки! Если-бы они знали, какъ умѣть быть нѣжнымъ и ласковымъ этотъ огрубѣвшій человѣкъ!

Олимпіада Платоновна и Софья, а съ ними вмѣстѣ и Петръ Ивановичъ, даже приувеличивали всѣ добрые порывы и склонности Евгенія, возводя чуть не на степень подвиговъ всѣ мелкіе поступки, говорившіе о его добромъ сердцѣ, о его готовности служить близкимъ людямъ. Евгеній очень любилъ математику, она ему давалась легко и онъ шель

по этому предмету однимъ изъ первыхъ въ классѣ. Вслѣдствіе этого, какъ это всегда бываетъ между товарищами, болѣе слабые въ математикѣ ученики обращались къ нему за помощью. Онъ очень охотно помогаль имъ, а въ послѣднее время передъ экзаменами буквально даваль private уроки нѣсколькимъ товарищамъ, собиравшимся къ нему по вечерамъ. Княжна была въ восторгѣ, твердо убѣжденная, что на такую готовность помогать товарищамъ только ея мальчикъ и способенъ. Еще большее умиленіе вызвало другое обстоятельство. Среди этихъ товарищей былъ одинъ, нѣкто Полунинь, сынъ какого-то мелкаго мастерового. Посѣтивъ разъ этого юношу, Евгений былъ пораженъ обстановкою мальчика: тѣсныя и грязныя каморка и кухня служили квартирой семьѣ Полунина; здѣсь работаль его отецъ, занималась шитьемъ мать и копошились младшіе сестренки и братишки юноши, попавшаго въ гимназію, когда его семья находилась еще въ болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, и доучившагося теперь съ грѣхомъ пополамъ, платя за себя при помощи уроковъ и переписки.

Хорошо учиться среди такой обстановки было не легко. Евгений понял это сразу и предложил Полунину хотя на время экзаменов перебраться к нему. Полунинъ стѣснялся, но Евгений очень горячо доказывалъ ему, что стѣсняться нелѣпо, что прежде всего нужно думать о томъ, какъ-бы выдержать экзаменъ, что экзаменъ будетъ сданъ едва-ли благополучно, если мальчикъ будетъ работать среди своего домашняго хаоса, гдѣ нѣтъ даже угла, куда-бы можно было приткнуться съ книгой.

— Но вѣдь ты не самъ по себѣ живешь, а у тетки, возразилъ Полунинъ.

— О, она для меня больше, чѣмъ мать, сказалъ Евгений, — Она будетъ рада, если ты переберешься к намъ.

И точно, Олимпіада Платоновна была рада: весь вечеръ того дня, когда Евгений объявилъ, что къ нему переѣдетъ бѣдный товарищъ, княжна и Софья хлопотали об устройствѣ уголка для бѣдняка и потихоньку шептались о «золотомъ сердцѣ» Евгения, точно онъ и дѣйствительно совершилъ какой-то подвигъ. Но это было совершенно понятно: обѣ старыя дѣвы страстно любили «своего

мальчика» и радовались всему, что было хорошаго въ немъ; кромѣ того, эти хорошіе порывы служили живымъ опроверженіемъ того, что говорили громко или шепотомъ про Евгенія разныя княгини Дикаго, Мари Хрюмины, Перцовы, все болѣе и болѣе ненавидѣвшія Евгенія, или все сильнѣе и сильнѣе убѣждавшіяся, что онъ находится на краю пропасти. Но не одни восторги вызывало добродушіе Евгенія въ старыхъ дѣвахъ, причинило оно имъ разъ и не малыя тревоги за здоровье Евгенія. Это было въ самый разгаръ экзаменовъ. У Евгенія въ числѣ товарищей былъ одинъ сынъ отставнаго капитана Терешина. Старикъ Терешинъ былъ вдовецъ, жившій съ старшимъ сыномъ гимназистомъ и съ двумя маленькими дѣтьми. Семья жила одной пенсіей и едва сводила концы съ концами. Вдругъ, среди экзаменовъ, молодого Терешина поразило неожиданное горе: его старикъ отецъ слегъ. Везти его въ больницу было опасно, нанять сидѣлку не было средствъ, ходить за больнымъ днемъ еще могла кое-какъ его старая сестра, но ночью онъ оставался почти безъ помощи, тогда какъ нужно было

сидѣть около его постели перемѣнять ледъ, давать лѣкарство. Молодой Терешинъ совсѣмъ растерялся.

— А мы-то на что? сказалъ Евгеній, услышавъ его разсказъ. — Ну я, еще кто-нибудь изъ товарищей, будемъ чередоваться, вотъ старикъ и не будетъ одинъ. Господа, согласенъ кто-нибудь помочь Терешину ухаживать за его отцемъ? спросилъ онъ товарищей.

Многіе изъявили полную готовность. Дѣло было рѣшено. Пять человѣкъ гимназистовъ распредѣлили между собою дежурства у постели больного и принялись за дѣло. Евгеній оказался самымъ ревностнымъ изъ «фельдшеровъ», какъ онъ шутя называлъ себя и своихъ товарищей. Кромѣ своихъ личныхъ услугъ, онъ могъ принести Терешину и нѣкоторую денежную помощь, предложивъ ему осторожно займы нѣсколько десятковъ рублей. Но болѣзнь старика развилась сильнѣе, чѣмъ предполагали сначала, и затянулась надолго. Экзамены уже пришли къ концу, гимназистамъ приходилось разъѣзжаться по дачамъ и молодому Терешину грозило впереди совершенно одинокое

ухаживаніе за больнымъ старикомъ, такъ какъ даже старуха тетка сбилась съ ногъ и не могла болѣе помогать ему. Евгеній очень твердо рѣшилъ, что онъ не поѣдетъ до тѣхъ поръ на дачу, покуда не минуетъ необходимость его услугъ въ домѣ товарища.

— Но не лучше-ли нанять сидѣлку? осторожно замѣтила Олимпіада Платоновна.

— Терешинъ не изъ тѣхъ, которые будутъ брать подачки, отвѣтилъ Евгеній. — Онъ и займы стѣснялся взять то, что я ему предложилъ.

— Ну дай ему еще также займы, посоветовала княжна.

— Онъ не возьметъ, потому что его беспокоитъ и этотъ долгъ... Онъ мнѣ на дняхъ замѣтилъ: «хорошо брать займы, когда надѣешься отдать, а брать, зная, что отдать будетъ не изъ чего, это ужъ совсѣмъ подло».

Княжна попробовала возразить еще что-то, но Евгеній рѣшительно замѣтилъ, что иначе нельзя сдѣлать и что онъ останется въ городѣ: княжна продолжала трусить за него, но возражать болѣе не рѣшилась. Она съ Олей и Петромъ Ивановичемъ переселилась

въ Петергофѣ, а Евгеній на время остался въ Петербургѣ, приѣзжая на дачу только на нѣсколько часовъ раза два-три въ недѣлю. Онъ немного утомился въ эти дни, ухаживая за больнымъ старикомъ, его лицо нѣсколько осунулось и поблѣднѣло, по никогда еще онъ не чувствовалъ въ себѣ такого хорошаго и бодрого расположенія духа, какъ теперь. Онъ впервые сознавалъ, что онъ кому-то нуженъ, что онъ полезенъ, что онъ «можетъ быть» полезнымъ. До этого времени его болѣе всего мучила мысль именно о томъ, что онъ даже и не можетъ быть никому полезнымъ, что онъ какой-то лишній человекъ, котораго если кто-нибудь и любитъ, то такъ, безъ всякой причины, безъ всякихъ заслугъ съ его стороны. Онъ развивалъ мысль на эту тѣму до послѣдней крайности и смотрѣлъ на себя чуть не съ презрѣніемъ.

Теперь было не то: онъ сознавалъ, что онъ можетъ и сѣумѣетъ служить другимъ, и это ободрило его, подняло его духъ. Какъ это всегда бываетъ въ юности, онъ утрировалъ теперь свои обязанности: онъ не спалъ даже и тогда, когда было вполне возможно спать;

онъ чаще, чѣмъ это было нужно, оправлялъ на больномъ одѣяло и щупаль, не растаялъ-ли ледъ въ пузырь; онъ ходилъ на цыпочкахъ даже и тогда, когда можно было ступать полною ступней. Въ этомъ было много комичнаго, но все это было мило и прелестно, потому что было искренно и честно. Конечно, ни Олимпіада Платоновна, ни Софья, ни Петръ Ивановичъ не замѣчали этой комичной стороны, когда Евгеній пріѣзжалъ, на дачу и съ озабоченнымъ видомъ посматривалъ на часы, чтобы не опоздать къ больному; они видѣли только хорошаго, добраго юношу, который вмѣсто гуляній и веселья сидитъ по доброй волѣ по цѣлымъ днямъ и ночамъ у постели больного старика, и не могли налюбоваться на него. Оля-же, сильно выросшая, замѣтно развившаяся за послѣдній годъ, смотрѣла на брата чуть не съ благоговѣніемъ и, съ чувствомъ сжимая руку Петру Ивановичу, чуть слышно шептала:

— Взгляните, взгляните, какой онъ душка!

— Можешь себѣ представить, Олимпре, съ кѣмъ я познакомилась? говорила княгиня Марья Всеволодовна, смотря сощуренными глазами на Олимпіаду Платоновну. — Ты никакъ не угадаешь! Съ матерью Евгенія, съ Евгеніей Александровной.

Княжна нахмурилась и вспылила.

— Ну, это знакомство особенной чести никому не принесетъ! проговорила она. — Какая-то кокотка, une femme perdue, авантюристка...

— Олимпре, Олимпре, развѣ такъ можно выражаться! воскликнула съ упрекомъ княгиня Марья Всеволодовна. — Это несчастная женщина, выстрадавшая такъ много, испытывавшая все... Мы, Олимпре, христіанки, мы должны прощать...

Олимпіада Платоновна глядѣла изумленными глазами на княгиню. Она сразу не могла догадаться, какія причины заставили княгиню сойтись съ этой женщиной.

— Ты, конечно, знаешь, что Владиміръ оправданъ, продолжала княгиня.

— Мнѣ-то что за дѣло! проговорила княжна. — Я всѣми силами стараюсь забыть, что этотъ человѣкъ еще существуетъ...

— Онъ выхлопоталъ разводъ съ женою и уѣхалъ лѣчиться за границу, продолжала невозмутимо княгиня.

— Надо-же гдѣ-нибудь скрыть свой позоръ, вставила княжна съ презрѣніемъ.

— Теперь Евгенія Александровна свободна и, вѣроятно, скоро состоится ея свадьба съ Ивинскимъ, продолжала княгиня. — Я рада за нее, это дастъ ей возможность вполнѣ возстановить свою репутацію въ глазахъ свѣта, это дастъ ей средства добрыми дѣлами и честной жизнью загладить ошибки молодости. Ивинскій такая почтенная личность и такъ богатъ, пользуется такимъ вѣсомъ въ обществѣ, что его жена можетъ сдѣлать многое. Къ тому-же сама по себѣ она изумительно добрая женщина, готовая всегда на помощь ближнимъ; она состоитъ теперь членомъ многихъ нашихъ благотворительныхъ Обществъ и я не могу передать тебѣ, до чего доходитъ ея щедрость, ея готовность. Я ей очень благодарна за ея готовность служить осно-

ванному мною «Обществу»...

— Бросяť своихъ дѣтей, пустятся въ развратъ, подцѣпятъ богатаго любовника, начнутъ благотворить изъ чужого кармана — вотъ и право зачислиться въ кандидатки страдалицъ и святыхъ! раздражительно проговорила княжна. — Я, право, перестаю тебя понимать, Marie, какъ ты можешь, не говорю уже сблизаться съ подобными личностями, а просто хладнокровно говорить о нихъ.

— Я думаю, Олупре, что долгъ каждой честной женщины и истинной христіанки помочь тѣмъ, которыя заблуждались и хотятъ загладить прошлое, сказала княгиня. — Если я хлопочу объ устройствѣ пріютовъ для самыхъ жалкихъ падшихъ женщинъ, то почему-же я должна оттолкнуть женщину, которая, можетъ быть, и ошибалась, но ошибалась потому, что она была молода, неопытна и несчастна. Ахъ, Олупре, мы сами много передъ ней виноваты: мы не поддержали ее, во время; мы игнорировали ее, а вѣдь это наша родственница!.. Вотъ ты говоришь, что она бросила дѣтей, а если бы ты знала, какъ ее мучаетъ теперь воспоминаніе о нихъ, о томъ,

что они растутъ, не зная ее...

Княжна горячо замѣтила:

— Я совѣтовала бы ей лучше не вспоминать о нихъ вовсе, потому что они, слава Богу, совсѣмъ успѣли ее забыть!

— Olympe, Olympe! съ чувствомъ замѣтила княгиня и въ ея голосъ зазвучалъ упрекъ. — Вспомни, что религія заставляетъ дѣтей любить и уважать родителей! Дѣтямъ надо внушать любовь къ родителямъ, каковы бы ни были эти родители! Дѣти не могутъ и не должны быть судьями своихъ отцовъ и матерей. Вѣдь не хочешь-же ты, чтобы Евгеній и Оля выросли черствыми безбожниками, неисполняющими заповѣдей... Я и такъ опасуюсь, что Евгеній...

— Marie, оставимъ этотъ разговоръ! нетерпѣливо перебила ее княжна. — Я вовсе не желаю ни спорить, ни ссориться съ тобою. Я вижу, что мы на многое смотримъ различно и потому лучше не касаться этихъ вопросовъ. Я прошу тебя объ одномъ, забудь сама о существованіи этихъ дѣтей и постарайся внушить этой женщинѣ, что и она, если въ ней еще сохранилась хоть капля материнскаго

чувства и честности, сдѣлаетъ лучше, оставивъ ихъ въ покоѣ. Она давно потеряла права матери, она умерла для нихъ и будетъ лучше, если она не воскреснетъ передъ ними въ образѣ падшей, погибшей женщины.

Княжна говорила такъ, что видно было, что она не пойдетъ ни на какія сдѣлки и уступки.

Этотъ разговоръ происходилъ въ половинѣ октября, недѣли черезъ три послѣ возвращенія княгини Марьи Всеволодовны изъ деревни. Онъ не мало встревожилъ Олимпіаду Платоновну, Софью и Петра Ивановича, но всѣ они, обсудивъ дѣло, рѣшились даже не намекать ни Евгенію, ни Оль о желаніи матери послѣднихъ увидѣть своихъ дѣтей. Петръ Ивановичъ даже замѣтилъ княжнѣ, что, вѣроятно, Евгенія Александровна вовсе и не думаетъ о дѣтяхъ, что всѣ эти толки о трогательной встрѣчѣ матери съ дѣтьми есть плодъ фантазіи княгини Марьи Всеволодовны, обращающей грѣшницу на путь спасенія. Рябушкинъ не выдержалъ и порядочно рѣзко ругнулъ княгиню. Олимпіада Платоновна уже не заступалась за

нее, какъ въ былые дни. Рябушкинъ отчасти былъ правъ: Евгенія Александровна встрѣтилась съ княгиней Дикаго случайно въ комитетъ «Общества для пособія трудящимся дѣвушкамъ». Княгиня состояла предсѣдательницей этого комитета и всячески изыскивала средства для поддержанія общества, висѣвшаго постоянно на волоскѣ вслѣдствіе полнѣйшаго недостатка средствъ. Членами «Общества» состояли важныя барыни, располагавшія сотнями тысячъ, а въ «Обществѣ» въ кассѣ вѣчно были одни гроши. Желая проникнуть въ порядочные кружки общества, Евгенія Александровна очень щедро дѣлала изъ кармана своего будущаго мужа взносы въ разныя филантропическія учрежденія и между прочимъ помогла и «Обществу для пособія трудящимся дѣвушкамъ». Ее выбрали за это въ члены комитета этого «Общества» и ей пришлось такимъ образомъ столкнуться съ княгиней. Со своимъ обычнымъ умѣньемъ впадать въ тонъ своихъ собесѣдниковъ Евгенія Александровна явилась передъ княгиней кающеюся Магдалиной и растрогала княгиню своею, скромностью,

своимъ смиреніемъ. Княгиня тотчасъ-же ухватилась за мысль обратить грѣшницу на путь истины и, увидавъ, что Евгенія Александровна изъявляетъ полную готовность къ подобному обращенію, заговорила съ ней о ея брошенныхъ дѣтяхъ, о томъ, что этимъ дѣтямъ не достаетъ материнскаго вліянія, о томъ, что у княжны они могутъ попасть Богъ вѣсть въ какой кругъ, о томъ, что Евгеній все болѣе и болѣе становится нигилистомъ. Княгиня была рада своей новой миссіи; Евгенія Александровна, мечтавшая теперь не безъ сантиментальности о новой роли дамы-патронессы, спасительницы бѣдняковъ, была рада, что она такъ легко дѣлаетъ первый шагъ въ филантропическіе кружки и свѣтскіе салоны подъ покровительствомъ такого сильнаго лица, какъ княгиня. Одни миліоны Ивинскаго не могли еще открыть ей настежь двери въ эти салоны или, вѣрнѣе сказать, эти миліоны не могли вполнѣ возстановить ея репутацію; защита-же княгини могла смыть съ нея всѣ пятна прошлой жизни. Играть роль несчастной жертвы и кающейся грѣшницы для Евгеніи Александровны было

и не ново, и не трудно: для этого нужно было только жаловаться за прошлые грѣхи на другихъ и въ доказательство раскаянья примиряться и обниматься со всѣми, на кого укажетъ княгиня. Евгенія Александровна вовсе не думала ни объ Евгеніи, ни объ Оль, но если княгинѣ хочется свести ее съ дѣтьми — отчего-же и не сойдтись съ ними; Евгеніи Александровнѣ даже начало казаться, что она ихъ всегда страстно любила, что она всегда плакала о нихъ, что мысль о нихъ отравляла всю ея жизнь, всѣ минуты счастья, — такъ, по крайней мѣрѣ, она говорила теперь. Въ домѣ княгини Марьи Всеволодовны шли въ интимномъ кружкѣ горячія совѣщанія между самой княгиней и Евгеніей Александровной о томъ, какъ устроить первое свиданіе послѣдней съ дѣтьми и было рѣшено, что она послѣ свадьбы, которая должна была состояться въ первыхъ числахъ ноября, поѣдетъ въ институтъ. Княгиня взялась устроить свиданіе матери съ дочерью не въ общей пріемной комнатѣ и заранѣе умилялась при мысли объ этой трогательной сценѣ. Княжну объ этомъ не предупреждали, ей даже не упоминали

болѣ имени Евгеніи Александровны. Сближеніе матери и дочери должно было быть сюрпризомъ для всѣхъ. Такъ оно и вышло. Какъ-то Евгеній и Петръ Ивановичъ зашли въ институтъ и удивились, что Оля выбѣжала къ нимъ взволнованная, раскраснѣвшаяся.

— Женя, голубчикъ, знаешь-ли что, быстро заговорила Оля. — Наша мама была у меня вчера!.. Я писать къ тебѣ хотѣла...

— Да вѣдь ваша мама всегда съ вами, сказалъ Евгеній, думая, что рѣчь идетъ о начальницѣ.

— Да нѣтъ-же, наша мама, твоя и моя! проговорила Оля и испугалась, увидавъ, какъ поблѣднѣлъ Евгеній.

Ей показалось, что съ нимъ опять сдѣлается обморокъ.

— Мертвецы опять воскресаютъ! пробормоталъ Петръ Ивановичъ.

— Ахъ, Женя, какъ она плакала, какъ обнимала меня! проговорила тихо Оля.

— Ну, и ты расчувствовалась, сказалъ насмѣшливо Евгеній какимъ-то сдавленнымъ тономъ.

Онъ видимо дѣлалъ усиліе, чтобы овладѣть собою и сохранить присутствіе духа.

— Нѣтъ... нѣтъ, Женя... Ахъ, мнѣ такъ стыдно, такъ стыдно теперь, заговорила раскраснѣвшаяся Оля. — Я ее сперва не узнала... потомъ сконфузилась... и... я, Женя, не знаю даже, что я говорила... Она меня обвиняетъ, плачетъ... а я все присѣдаю... Ахъ, Женя, какая я уморительная была... ни говорить не умѣла, ни ласковой быть не могла... точно съ чужою...

— Она и есть чужая, сухо сказалъ Евгеній. — И что ей надо, что ей надо отъ насъ!

— Княгиня Марья Всеволодовна говорила... начала Оля.

— А, такъ это все ея штуки! вдругъ воскликнулъ Евгеній, перебивая сестру. — Это она ее привезла! Старая ворона, ханжа!.. Ну, къ намъ она не привезетъ ее!.. И что имъ отъ насъ нужно? Вотъ только начали жить покойно, такъ опять явились...

— Ахъ, Женя, какой ты злой! сказала Оля. — Она такъ плакала и просила прощенья... Говорила, что послѣ, когда мы вырастем...

мъ, мы все поймемъ и извинимъ ее...

— Да Богъ съ ней, только-бы она насъ не трогала, отрывисто сказалъ Евгеній.

Онъ старался казаться спокойнымъ, онъ перемѣнилъ разговоръ, какъ-бы не придавая никакого значенія этому событію, но въ его головѣ шевелились какія-то мрачныя предчувствія: явленіе матери подъ предводительствомъ княгини Марьи Всеволодовны не обѣщало ему ничего хорошаго. Онъ зналъ, что княгиня косится на него, что она сердится на княжну за отдачу его въ гимназію, что она пророчитъ ему разныя несчастія въ будущемъ. Не предъявить-ли своихъ нравъ на него и на его сестру мать, руководимая княгиней? Не захочетъ-ли она отнять его и сестру у княжны? Можно-ли будетъ сопротивляться ей? Всѣ эти вопросы вертѣлись въ его головѣ и онъ не могъ рѣшить ихъ самъ, но и не хотѣлъ предлагать ихъ Петру Ивановичу. «Ну, вотъ опять приходится со своими собственными болячками няньчиться», хмуро думалъ онъ, стараясь разогнать свои мысли о матери, о встрѣчѣ съ ней, о послѣдствіяхъ этой встрѣчи. Среди этой внутренней трево-

ги, онъ сознавалъ еще одно: онъ сознавалъ, что мать дѣйствительно стала ему чужою, въ немъ, при вѣсти о ея появленіи, не шевельнулось даже простого любопытства взглянуть на нее, онъ не чувствовалъ къ ней ни любви, ни сожалѣнія, ничего. Онъ постарался припомнить ея черты: нѣтъ, и это не удалось ему. Онъ ее забылъ совершенно. Она внушала ему только страхъ, потому что она могла, можетъ быть, взять его и сестру къ себѣ — вотъ и все. Онъ сознавалъ, что онъ способенъ даже возненавидѣть ее, если она дѣйствительно сдѣлаетъ попытку предъявить на него свои права. Но онъ старался скрыть отъ другихъ именно эти чувства, чтобы не встревожить никого своими опасеніями. Возвратившись домой съ Петромъ Ивановичемъ, онъ мимоходомъ, между другими разговорами, замѣтилъ за обѣдомъ княжнѣ:

— А знаете, ma tante, вчера Олю посѣтила Евгенія Александровна.

Княжна совсѣмъ растерялась.

— Оля сконфузилась и только дѣлала реверансы, продолжалъ, шутливо, Евгеній. — Преморительно передавала она эту сцену...

Княжна не замѣтила этого шутиливаго тона и волновалась.

— Господи, не одинъ, такъ другая! Когда-же они насъ оставятъ въ покоѣ! воскликнула она сердито.

— Ma tante, чего-же вы волнуетесь! сказалъ Евгений, стараясь быть покойнымъ. — Ну, вздумалось взглянуть на любимыхъ дѣтей — что-жъ изъ этого!

— Ахъ, ты еще ничего не знаешь, сказала княжна. — Это опять желаніе вмѣшаться, впутаться въ вашу жизнь... это все княгиня Марья Всеволодовна...

— Ma tante, я думаю, что покуда мы у васъ, никто не можетъ вмѣшиваться въ нашу жизнь, сказалъ Евгений.

— Да... да... А если я умру?

— Полноте, Олимпіада Платоновна, замѣтилъ Петръ Ивановичъ, — вѣчно вы попусту тревожите себя этою мыслью...

— Да какъ-же не думать о смерти, когда являются эти люди?.. Не будь ихъ, ну, поручила-бы я послѣ своей смерти дѣтей вамъ, а тутъ... Вѣдь если являются теперь, то послѣ моей смерти и подавно явятся и заберутъ

дѣтей...

На лицо Евгенія набѣжала тѣнь.

— Ну, ma tante, можно и не пойдти, если захотятъ забрать, проговорилъ онъ сухо и отрывисто.

Черезъ минуту онъ прибавилъ:

— Знаете-ли, ma tante, мы только тогда и счастливы, и покойны, когда не вспоминаемъ о нихъ; не будемъ-же заранѣе думать о томъ, что выйдеть, если они придутъ. Придутъ — тогда и увидимъ, что дѣлать...

Онъ и Петръ Ивановичъ поспѣшили перемѣнить разговоръ.

Ни Олимпіада Платоновна, ни Петръ Ивановичъ, ни Евгеній, ни Софья, не поднимали вопроса, что дѣлать, если явится Евгенія Александровна съ визитомъ къ княжнѣ, но всѣ рѣшили въ душѣ, что въ такомъ случаѣ остается одно: не принимать ее. Софья пошла даже далѣе и приказала на слѣдующій день лакею не принимать княгиню Марью Всеволодовну, если она пріѣдетъ. Софья не ошиблась: княгиня заѣхала къ Олимпіадѣ Платоновнѣ въ понедѣльникъ, вѣроятно, желая узнать, какъ приняла княжна извѣстіе о

поѣщеніи Евгенією Александровною института, и ей было отказано.

— Извините, что я безъ спросу распорядилась, сказала Софья Олимпіадѣ Платоновнѣ. — Только разсудила я, что не для чего вамъ разстроивать себя... мигрень только нажили бы...

— И умно, и умно сдѣлала! отвѣтила княжна. — Всѣмъ отказывай, всѣмъ... На что мнѣ они... пора кончить... Родственники! кровь только портятъ... и такъ одной ногой въ могилѣ стою... и тутъ болитъ, и тамъ ноетъ... Помяни ты мое слово, уложатъ они меня въ гробъ...

Но княгиня Марья Всеволодовна не принадлежала къ числу тѣхъ женщинъ, отъ которыхъ можно такъ легко отдѣлаться: не принять ихъ къ себѣ и конецъ весь. Она была воплощенное рвеніе, когда дѣло шло о какихъ-нибудь высоко нравственныхъ, истинно христіанскихъ задачахъ. Если она во время предсмертной агоніи раненаго сына находила силы переписываться по дѣламъ своихъ благотворительныхъ обществъ, то тѣмъ болѣе силъ было у нея теперь для выполненія

своихъ высокихъ задачъ. Этихъ задачъ у нея всегда было не мало, но теперь на первомъ планѣ стояли двѣ главныя: воротить къ дѣтямъ мать, содѣйствуя этимъ самымъ спасенію души этой матери, и спасти дѣтей отъ грозящей имъ гибели, неизбежно готовящейся имъ подѣ вліяніемъ княжны Олимпіады Платоновны, «этихъ семинаристовъ» и «нигилистовъ». Княгиня Марья Всеволодовна теперь иначе не называла княжну, какъ «выжившею изъ ума старухою», «старую сумасбродкою» и выражала изумленіе, какъ не берутъ подѣ опеку подобныхъ личностей. Вопросъ о Евгеніи и Ольгѣ она раздула въ своемъ кружкѣ на степень какого-то общественнаго вопроса, Евгенію Александровну она вдругъ возвела въ мать-страдалицу, у которой отняли власть надѣ дѣтьми, которую лишаютъ даже возможности видѣть этихъ дѣтей. Евгенія Александровна никакъ не ожидала такого оборота дѣла и едва-ли была рада навязанной ей роли. Дѣти ее, въ сущности, вовсе не заботили, но теперь ей, вращавшейся въ томъ кругу, гдѣ вращалась княгиня, волей-неволей приходилось дѣлать видѣ, что ее

огорчаетъ и то, что ея дочь относится къ ней, какъ чужая, и то, что ея сынъ избѣгаетъ съ нею встрѣчи. Она попробовала выйдти изъ ловушки, въ которую попала такъ неожиданно, и какъ-то замѣтила съ горькимъ вздохомъ:

— Что дѣлать, вѣрно такъ суждено, что мои дѣти будутъ мнѣ всегда чужими!

— Да развѣ это возможно? воскликнула княгиня. — Надо употребить всѣ усилія, надо сдѣлать все, чтобы спасти ихъ. Я наводила справки о Евгеніи: онъ Богъ знаетъ съ кѣмъ сошелся, онъ въ гимназіи считается вожакомъ въ классѣ, на него уже косятся. Да я и понимаю это: я вѣдь помню, какой скандалъ онъ произвелъ у Матросова; онъ чуть не убилъ одного товарища. Это строптивый и необузданный характеръ, способный въ минуту раздраженія на все...

— Ахъ, онъ весь въ отца! вздохнула Евгенія Александровна.

— Вотъ видите, мой другъ, вы сами признаете это, быстро сказала княгиня, — такъ можно-ли такого человѣка оставлять Богъ знаетъ подъ чѣмъ вліяніемъ? Вы мать, вы

должны сдѣлать все для опасенія своего ребенка, тѣмъ болѣе, что вы знаете, въ кого онъ характеромъ и до чего довелъ подобный характеръ его отца.

Евгенія Александровна впервые въ жизни понимала, что пѣть въ тонъ другихъ людей не всегда удобно и что это иногда можетъ повести къ немалымъ *qui pro quo*. Но отступить было трудно: княгиня съ настойчивостью доброго духа, спасающаго грѣшную душу, не отступала ни передъ чѣмъ и держала крѣпко въ рукахъ свою жертву. Хуже всего было то, что не одна княгиня поднимала теперь этотъ вопросъ: въ обществѣ, гдѣ всѣ ходячія тѣмы, начиная съ оперы и кончая послѣднимъ благотворительнымъ баломъ, давно пріѣлись, давно исчерпались, люди всегда рады возникновенію какого-нибудь новаго вопроса въ родѣ вопроса о разводѣ графа Y. или скандалезнаго бѣгства баронесы Z. Такимъ интереснымъ вопросомъ сдѣлался и вопросъ о матери, у которой отняли дѣтей, и о дѣтяхъ, которыя гибнутъ. Большая часть людей, говорившихъ объ этихъ дѣтяхъ, не видала этихъ дѣтей ни разу въ жизни, вовсе не понимала,

въ чемъ заключается ихъ гибель, не имѣла никакихъ основаній волноваться по поводу ихъ, но тѣмъ не менѣе это былъ «вопросъ». Интереснѣе всего было то, что всѣ вдругъ вспомнили про княжну, про ея сумасбродный характеръ, про то, что она тогда-то и тогда-то наговорила рѣзкостей тому-то и тому-то, про то, что она въ послѣднее время отшатнулась совершенно отъ общества. Ей даже поставили въ упрекъ, что она живетъ въ какой-то маленькой квартирѣ, гдѣ-то въ Коломнѣ и принимаетъ у себя Богъ знаетъ кого. Мари Хрюмина сама видѣла разъ у княжны «такое, такое общество, что она покраснѣла».

— Но мало того, что она устраиваетъ какія-то вечеринки для гимназистовъ, у нея являются на эти вечеринки даже какія-то дѣвушки... шерстяныя платья, короткіе волосы... и тамъ что-то читаютъ...

Мари Хрюмина сдѣлала премилую гримаску и прибавляла:

— Это онъ называетъ баломъ съ литературнымъ чтеніемъ.

Онъ означало Евгеній, такъ какъ Мари Хрюмина иначе не называла теперь этого

злоумышленника и заговорщика.

— А та tante, продолжала Мари Хрюмина. — Нѣтъ, я просто начинаю сомнѣваться въ ея умственныхъ способностяхъ... та tante играетъ у нихъ роль тапѣрши!..

Беѣ ужасались и ахали.

Но какъ-бы то ни было, покуда все дѣло ограничивалось праздною болтовнею. Евгенія Александровна раза два заѣхала въ институтъ къ Олѣ съ разными бонбоньерками и успокоилась. Она была убѣждена, что дальше ея материнскія заботы и не пойдутъ, по крайней мѣрѣ, до выхода Оли изъ института и что вообще особенно волноваться по поводу этого, нѣтъ никакой причины, такъ какъ лишнія дѣти — лишнія хлопоты, а Евгенія Александровна хотѣла еще жить сама. Евгеніи Александровнѣ скоро даже начало надоѣдать, когда княгиня Марья Всеволодовна поднимала этотъ вопросъ — спрашивала, видѣла-ли Евгенія Александровна дѣтей, или сообщала, что Евгенія опять встрѣтили въ ужасной компаніи. Евгенія Александровна стала избѣгать этихъ разговоровъ и раза два сдѣлала это такъ безтактно, что даже раздра-

жила княгиню: добрый духъ увидалъ, что онъ тщетно печется о спасеніи грѣшной души, и опечалился.

— Я начинаю, кажется, убѣждаться, что Евгенія Александровна просто очень рада, что она можетъ не думать и не заботиться о своихъ дѣтяхъ, замѣтила уже съ непріязненнымъ чувствомъ княгиня въ своемъ кругу. — Конечно, это и удобнѣе и легче свалить хлопоты и заботы на другихъ, а самимъ умыть руки. Господи, и это матери!

Это была первая капля масла, попавшая на потухавшій огонь. Донесла эту каплю масла до Евгеніи Александровны Мари Хрюмина.

VI

Если вамъ случилось сиживать въ какомъ-нибудь буфетѣ желѣзнодорожнаго вокзала или общественнаго сада, то вы, конечно, замѣчали не разъ собаченокъ, останавливающихся передъ тѣми столами, за которыми кто-нибудь пьетъ чай или закусываетъ. Кто сидитъ за этими столами — до этого собаченкамъ нѣтъ дѣла; онѣ слѣдятъ только за однимъ — за которымъ столомъ ѣдятъ. Онѣ останавливаются передъ столомъ и начинаютъ пристально и какъ-то жалобно смотрѣть въ глаза закусывающему человѣку, изрѣдка повилывая хвостомъ; этотъ человѣкъ можетъ ихъ отогнать, если онѣ надоѣдятъ ему, онѣ обойдутъ съ другой стороны и остановятся съ тѣмъ-же самымъ выраженіемъ глазъ, съ тѣмъ-же самымъ повиливаньемъ хвостомъ. Въ концѣ концовъ, имъ бросаютъ подачку. Такъ онѣ живутъ всю жизнь: у нихъ нѣтъ хозяевъ, нѣтъ жилья, нѣтъ мѣста, которыя онѣ сторожатъ, исполняя свои обязанности, нѣтъ; такъ сказать, данной имъ роли, но онѣ кормятся и кормятся иногда очень не дурно. Если

и есть что-нибудь неприятное въ ихъ жизни, такъ это-то, что ихъ могутъ гонять отвсюду и что на нихъ могутъ поднимать палку всѣ. Участь такихъ собаченокъ выпадаетъ на долю цѣлой массѣ такъ называемыхъ барышень-бѣлоручекъ, не имѣющихъ ни капиталовъ, ни занятій и скитающихся отъ стола къ столу въ кругу богатыхъ родныхъ и знакомыхъ. Мари Хрюмина принадлежала къ числу такихъ созданій. Вѣчно она ночевала или оставалась гостить гдѣ-нибудь «у тети», «у кузины», «у подруги», возвращаясь въ неудобную комнату къ своей матери во вдовьемъ домѣ только на нѣсколько часовъ по необходимости переѣхать бѣлье, платье. Чаше и дольше всего она гащивала въ былые дни у княжны Олимпіады Платоновны, эксплуатируя послѣднюю, насколько было можно; она даже мечтала незамѣтнымъ образомъ совсѣмъ поселиться у княжны и захватить кое-что изъ наслѣдства княжны, въ случаѣ смерти Олимпіады Платоновны. Но пріемъ послѣднею на воспитаніе дѣтей племянника разрушилъ всѣ планы Мари Хрюминой: ея отношенія къ княжнѣ стали холодны и ей

снова пришлось скитаться по разнымъ родственницамъ и знакомымъ. Эти скитанія были не легки, не веселы, наносили не мало уколловъ самолюбію дѣвушки и при каждой непріятности въ душѣ Мари Хрюминой возникали упреки «этимъ противнымъ нищимъ», вытѣснившимъ ее изъ дома княжны. Правда, «нищіе», то есть Евгенийъ и Оля, были вовсе не виноваты въ томъ, что Мари Хрюмина стала сначала рѣже гостить у княжны, а потомъ не поѣхала съ княжной въ Сансуси, не желая «похоронить» себя въ деревнѣ. Но тѣмъ не менѣе Мари Хрюмина ненавидѣла этихъ нищихъ, ненавидѣла ихъ отца, ихъ мать. Однако судьба сыграла съ ней странную шутку: при первой-же встрѣчѣ съ Евгенией Александровной, Мари Хрюмина была изумлена ласками Евгени Александровны. Евгения Александровна цѣловала всѣхъ и каждого, кого можно было цѣловать: не обошла она и Мари Хрюмину.

— Душечка, какъ жаль, что мы не были знакомы раньше! воскликнула Евгения Александрова своимъ щебечущимъ голосомъ. — Владиміръ скрывалъ меня отъ всѣхъ родны-

хъ, не сблизилъ ни съ кѣмъ... Я увѣрена, что мы были бы давно друзьями, если бы я васъ узнала раньше.

Затѣмъ послѣдовали поцѣлуи и приглашенія къ себѣ запросто, гостить, вмѣстѣ ѣздить въ театръ, въ маскарады. У этихъ двухъ женщинъ явились вдругъ даже свои маленькіе секреты.

— Ахъ, что это за родные, говорила Мари Хрюмина про князей Дикаго, — хуже, чѣмъ чужіе. Черствость и эгоизмъ, вотъ все, чѣмъ надѣлила ихъ судьба. Конечно, я небогатая дѣвушка, во мнѣ нечего искать, потому я и встрѣчаю только холодность!

— Душа моя, развѣ я этого не понимаю! съ чувствомъ воскликнула Евгенія Александровна. — Я сама испытала все это. Меня знать не хотѣли, покуда я была женой Владиміра, когда я столько перестрадала.

— Да, да, тогда про васъ Богъ знаетъ, что говорили, замѣчала Мари Хрюмина. — А теперь не знаютъ, гдѣ посадить, какъ принять!

— Неужели вы думаете, что я не понимаю, за что меня ласкаютъ! вздыхала Евгенія Александровна. — Деньги, вліяніе моего мужа —

вотъ что дало мнѣ значеніе у такихъ особъ, какъ княгиня Марья Всеволодовна.

— О, это извѣстная эгоистка и лицемѣрка! раздражительно говорила Мари Хрюмина. — Вотъ теперь она няньчится съ вами, льститъ вамъ въ глаза, а за глаза... Но нѣтъ, я не должна, милая моя Евгенія Александровна, огорчать васъ!

— Ахъ, говорите, говорите все! приставала Евгенія Александровна. — Я привыкла къ людской двуличности, къ людскимъ клеветамъ.

— Нѣтъ, лучше не знать, что говорятъ люди! Зачѣмъ огорчать васъ?

— Душа моя, не бойтесь! Я такъ рада, такъ рада, что нашла, наконецъ, хоть одно существо, которое можетъ быть моимъ преданнымъ другомъ! Я прошу васъ говорить мнѣ все, все, что вы знаете!

Объ женщины обнялись, изливаясь въ преданности другъ другу.

— Вы знаете, княгиня начинаетъ распускать слухи, что вы вовсе и не желаете спасти своихъ старшихъ дѣтей, что вы заботитесь только о своемъ спокойствіи, что вы очень

легко относитесь къ вопросу о дѣтяхъ, сказала Мари Хрюмина. — И вѣчно у нея разныя театральныя фразы являются въ подобныхъ случаяхъ. Тоже говорила про васъ и воскликнула: «Господи, и это матери!»

Евгенія Александровна уже замигала глазами и по ея щекамъ прокатились двѣ слезинки.

— Богъ съ ними, Богъ съ ними!.. Пусть клеветаютъ! проговорила она. — Что-же я могу сдѣлать, когда мои дѣти не у меня, отняты, въ чужомъ домѣ!

— Да и стоитъ-ли думать о нихъ, когда они уже безповоротно взяты княжной! возразила Мари Хрюмина. — Мнѣ тяжело говорить вамъ, какъ матери, о нихъ. Но, право, они не стоятъ вашихъ слезъ о нихъ: Оля — это какая-то пустая дѣвочка, чуть не играющая въ куклы до сихъ поръ, очень ограниченная по уму, а Евгений... Знаете-ли, что онъ не иначе называетъ васъ, какъ Евгеніей Александровной! Черствое сердце и самое вредное направленіе идей....

Евгенія Александровна плакала.

— И княгиня хочетъ еще, чтобы вы муча-

лись, стараясь передѣлать-то, что уже не поправимо! продолжала Мари Хрюмина. — Хорошо ей клеветать на другихъ, когда про нее никто не смѣетъ слова сказать: какже можно — святая христіанка...

— Но мнѣ больно, мнѣ больно, что они начинаютъ бросать въ меня грязью! волновалась Евгенія Александровна.

— Изъ магазина модистка пріѣхала, доложилъ лакей.

— Ахъ, извините меня, душа моя, я удалюсь на минуту, обратилась Евгенія Александровна къ Мари Хрюминой. — Это принесли платье къ балу въ дворянское собраніе. Этотъ балъ съ alegrіи устраивается въ пользу «общества» княгини Марьи Всеволодовны. Вы будете тамъ тоже?

— Я? сказала Мари Хрюмина съ изумленіемъ. — Гдѣ-же мнѣ! Тамъ будутъ такіе туалеты!

— Фи, стоитъ-ли объ этомъ думать! воскликнула Евгенія Александровна. — Ради Бога, поѣзжайте! Я безъ васъ буду тамъ, какъ въ лѣсу, одна. Я стою у колеса alegrіи, вы будете моимъ ассистентомъ. Нѣтъ, право, поѣзжайте!

— Но я не могу, возражала Мари Хрюмина.

— Изъ-за платья?.. Да?

— Да.

— Это пустяки! Вы поѣдете!

— Но какже!

— Вы поѣдете, душечка! Идемте къ модисткѣ!

— Но, Евгенія Александровна...

— Вы меня хотите обидѣть? Да? Значить, вы тоже только на словахъ меня любите?

— Другъ мой!

Объ женщины снова обнялись. Черезъ полчаса, въ восторгъ отъ заказаннаго платья, Мари Хрюмина уже прыгала и хлопала въ ладоши, что при ея тощей фигурѣ выходило довольно оригинально и занимательно.

Евгенія Александровна стала выѣзжать вездѣ и всюду съ Мари Хрюминой и для Мари Хрюминой настали счастливые дни. Отношенія Евгеніи Александровны къ Мари Хрюминой были похожи на отношеніе первой къ той злосчастной швеѣ, которую въ былые дни принимала Евгенія Александровна у себя, дѣлая на нее разные сборы и домашнія лотереи. Она всѣмъ и каждому говорила те-

перь:

— Ахъ, это милая дѣвушка! Это родственница моего перваго мужа. Не могу-же я ее оставить, если ей не помогаютъ болѣе близкіе родные. Меня такъ тревожитъ ея участь!

— Удивительно добрая женщина Евгенія Александровна, говорили про госпожу Ивинскую въ ея кружкѣ. — Кому только можетъ сдѣлать добро, тому и дѣлаетъ.

Злые-же языки говорили, что, стоя рядомъ съ Мари Хрюминой, Евгенія Александровна кажется еще очаровательнѣе и свѣжѣе.

Мари Хрюмина за эту доброту своей подруги платила полнѣйшею преданностью и передавала ей всѣ малѣйшіе толки, ходившіе въ кругу знакомыхъ о госпожѣ Ивинской. Евгенія Александровна знала всѣ намеки княгини Дикаго на ея счетъ, знала, что нѣкоторые изъ родныхъ княгини Дикаго косятся на нее, на Евгенію Александровну, и называютъ женитьбу на ней Ивинскаго сумасбродствомъ выживающаго изъ ума старика, знала, что кто-то замѣтилъ, что она никогда не возьметъ къ себѣ старшихъ дѣтей, чтобы никто не зналъ ея лѣтъ, и тому подобное. Всѣ

эти толки на время волновали ее и волновали довольно сильно, такъ какъ теперь она все сильнѣе и сильнѣе желала стоять на высотѣ своего положенія, заставить забыть все бывшее. Но ни одни свѣтскіе толки не возмутили ее такъ сильно, какъ возмутилъ ее рассказъ Мари Хрюминой о томъ, что говорила про нее княжна.

Однажды Мари Хрюмина заѣхала къ княжнѣ Олимпіадѣ Платоновнѣ и среди разговора замѣтила, что она сошлась съ Евгеніей Александровной, что онѣ вмѣстѣ ѣздятъ въ театры, на балы.

— Ну, мать моя, кажется, стыдиться-бы надо играть на старости лѣтъ роль героуссанта, замѣтила съ презрѣніемъ княжна.

Выраженіе и тонъ этой фразы были такъ грубы, что Мари Хрюмна вся вспыхнула и чуть не разрыдалась. Она уже давно отвыкла отъ грубостей княжны, которыя когда-то она переносила съ примѣрнымъ смиреніемъ.

— Я, ma tante, кажется, ничѣмъ не заслужила оскорбленій! заговорила она горячо. — Если я нашла подругу, если меня ласкаютъ, то

за это нельзя оскорблять меня, оскорблять тѣхъ, кого я люблю!

— Ахъ, люби кого тебѣ угодно! отвѣтила рѣзко княжна. — Къ тебѣ уже ничто не пристанетъ, слава Богу, не молоденькая! А только стыдно порядочной дѣвушкѣ, какихъ-бы лѣтъ она ни была, выѣзжать въ свѣтъ съ опозоренной личностью. Я еще понимаю, что княгиня Марья Всеволодовна, какъ покровительница всякихъ кающихся грѣшницъ, можетъ допускать къ себѣ подобную личность. Но тебѣ-то, бѣдной и честной дѣвушкѣ, стыдно выѣзжать съ этою развратницей на разныя любовныя свиданія.

— Ma tante, вы сами не знаете, что говорите! воскликнула съ гнѣвомъ Мари Хрюмна. — На какія это любовныя свиданія я выѣзжаю?

— Да сама-же ты говоришь, что ѣздишь съ нею по театрамъ и по баламъ, сказала княжна. — А для чего она ѣздитъ? Ловить новыхъ любовниковъ, вѣрно, еще желаетъ, ну, а ты ширмой служить можешь. Не дѣвочка, слава Богу, сама должна понимать все это!..

— Богъ съ вами, ma tante! Богъ съ вами!..

Ни я, ни она не заслужили этих оскорблений! проговорила со слезами въ голосъ Мари Хрюмнна, уязвленная въ самое сердце. — Очень жаль, право, что я заговорила объ этомъ. Впрочемъ, и то хорошо, что я знаю, какого вы мнѣнія объ Евгеніи Александровнѣ. Это избавитъ хотя ее отъ лишннихъ непріятностей. Она хотѣла сдѣлать вамъ визитъ...

— Что-о? воскликнула княжна, сдвинувъ брови. — Она ко мнѣ хотѣла сдѣлать визитъ? Вы тамъ всѣ съ ума сошли, кажется!.. Да если она когда-нибудь осмѣлится, такъ она услышитъ отъ меня то, чего не слыхала, можетъ быть, ни отъ кого еще! Да, да, вы тамъ, въ вашемъ свѣтѣ, нынче всѣ съ ума сошли, якшааетесь Богъ знаетъ съ кѣмъ, какихъ-то жидовъ, благо они банкиры, въ салоны принимаете, кокотокъ, благо онѣ вышли замужъ за полумныхъ богачей, въ дамы-патронесы возводите! Ну, а я стараго вѣка человекъ. Мнѣ ужъ поздно на вашъ ладъ себя передѣлывать, да и не для чего... Въ наше время такія-то личности черезъ порогъ не переступали въ свѣтскія гостиныя.

Мари Хрюмина ехидно и злорадно улыбнулась.

— Что-жь, та tante, вамъ-же хуже будетъ, если Евгенія Александровна не прїѣдетъ къ вамъ сама, а потребуеть отъ васъ дѣтей въ себѣ, злобно замѣтила она.

— Дѣтей потребуеть къ себѣ? воскликнула въ сильномъ гнѣвѣ княжна. — Да ты это изъ чего взяла? Кто ей отдастъ ихъ?

— Она мать!

— Мать, бросившая ихъ чуть не съ пеленъ! Мать, никогда не справившаяся о нихъ! волновалась княжна. — Что ты мнѣ говоришь! Какія могутъ быть у нея права на этихъ дѣтей! Да если-бы у нея и были какія-нибудь права на нихъ, такъ я, слава Богу, еще не всѣ связи потеряла, не беззащитной какой-нибудь проходимкой сдѣлалась! Да я къ властямъ обращусь, я поѣду, къ шефу... А, да что съ тобой говорить! Поглупѣла ты совсѣмъ, треплясь среди всей этой дряни...

Княжна махнула рукой и замолчала. Но она была взволнована и съ трудомъ переводила духъ.

Мари Хрюмина поднялась съ мѣста и, сухо

раскланявшись со старухой, исчезла. Она помчалась въ Евгениі Александровнѣ такъ быстро, точно она боялась, что она разразится истерическими слезами прежде времени. Къ счастью, этого не случилось: истерическія рыданія начались именно въ ту минуту, когда она сбросила съ себя шляпку и опустилась на кушетку въ будуарѣ госпожи Ивинской.

— Мари, Мари, что съ тобой, мой другъ! приставала Евгениі Александровна.

— Ахъ, что она про тебя говоритъ, какъ она тебя позоритъ! всхлипывая, твердила Мари Хрюмина.

Новыя подруги уже дошли до такой близости, что говорили другъ другу «ты».

Боже мой, какія густыя краски наложила Мари Хрюмина на рассказъ о свиданіи съ княжной, какое громадное количество этихъ красокъ потратила она на свое описаніе. Она даже сообщила, что княжна уже собирается ѣхать къ митрополиту, чтобы онъ наложилъ эпитимью на Евгению Александровну, что княжна уже справлялась у шефа жандармовъ, нельзя-ли выслать Евгению Александровну за дурное поведеніе. Рассказъ принялъ

какіе-то чудовищныя размѣры. Она описала въ подробности, что рассказала княжна дѣтямъ про ихъ мать, какъ вооружила дѣтей противъ матери. И среди всего этого хаоса чудовищныхъ извѣстій, среди рыданій, звучалъ одинъ припѣвъ; «и меня назвала старою дѣвкой!»

Надо было знать хорошо всю мелочность Евгеніи Александровны, чтобы впередъ предвидѣть, къ какимъ результатамъ можетъ привести подобное сообщеніе. Еще за какіе-нибудь полчаса Евгенія Александровна въ глубинѣ души была очень благодарна княжнѣ, что та держитъ у себя ея дѣтей и «не прикидываетъ» ей ихъ; еще полчаса тому назадъ Евгенія Александровна поморщилась-бы съ большимъ неудовольствіемъ, если-бы кто-нибудь сказалъ ей, что ея дѣти переселятся къ ней. Теперь было не то: теперь она желала только одного — отмстить этой старухѣ, показать ей свое значеніе, заставить ее раскаяться за неосторожныя слова. Покуда въ ней затрогивали чувства матери, она могла спокойно не думать, какъ живутъ ея дѣти въ чужомъ домѣ; когда, въ ней затронули чувства мелоч-

но-самолюбивой женщины, она готова была сдѣлать все, только-бы отмстить оскорбившей ее личности, хотя-бы это погубило ея дѣтей. Легкомысленная и необдуманная, какъ всегда, она уже не разсуждала о томъ, выгодно-ли, удобно-ли ей брать къ себѣ дѣтей, заботиться о нихъ, возиться съ ними, — она только видѣла необходимость отнять ихъ у княжны, заставить старуху поплакать.

— А, она думаетъ, что я все таже Евгенія Александровна Хрюмина, которую не хотѣли принимать къ себѣ родные ея мужа! говорила она въ ярости, ходя по будуару.

— Она думаетъ, что ея связи сильнѣе связей моего мужа, моихъ связей! Она забываетъ, что Владиміръ, принявъ при разводѣ всю вину на себя, отдалъ всѣ права на дѣтей мнѣ. Она думаетъ, что со мной такъ-же легко сладить, какъ съ нимъ! Меня вѣдь нельзя подкупить!.. Посмотримъ, посмотримъ! Глупая старуха! Теперь я понимаю, отчего княгиня Марья Всеволодовна охладѣла ко мнѣ, откуда идутъ всѣ толки про меня! Это она, она... Ну, что-жь, надо покончить это дѣло!..

— Нѣтъ, ты представь себѣ, говоритъ, что

я служу тебѣ ширмой! восклицала, еще всхлипывая, Мари Хрюмина.- Ъздимъ на свиданія!

— Это надо кончить, надо кончить! Она хочетъ, чтобы мой мужъ заподозрилъ меня, чтобы меня выгнали отсюда, я понимаю это! волновалась Евгенія Александровна. — Нѣтъ, довольно я молча страдала отъ нихъ, довольно!

— Къ митрополиту хочетъ ѣхать, поясняла Мари Хрюмина. — Я говоритъ, выведу все на чистую воду... Ты, говоритъ, старая дѣвка и покрываешь ее!..

Господинъ Ивинскій засталъ Евгенію Александровну въ слезахъ и крайне встревожился.

— Что съ тобой, Женя? озабоченно спросилъ онъ.

— Ахъ, Жакъ, я такъ несчастна, такъ несчастна! воскликнула томнымъ голосомъ Евгенія Александровна. — Мои несчастныя дѣти гибнутъ и мнѣ не даютъ права даже взглянуть на нихъ!

— Какія дѣти? спросилъ господинъ Ивинскій, совсѣмъ забывшій, что у его жены есть еще дѣти кромѣ тѣхъ, которыхъ онъ при-

зналъ своими.

— Евгений и Ольга, пояснила Евгения Александровна. — Меня не хотятъ даже допустить къ нимъ. Но вѣдь я мать, Жакъ! Что будетъ, если они погибнуть. Говорятъ, Евгений стоитъ на краю пропасти... Господи, неужели я еще должна пережить судъ надъ нимъ...

— Но я не понимаю, чего тутъ волноваться? проговорилъ господинъ Ивинскій, пожимая плечами. — Вели ихъ привезти сюда — вотъ и конецъ весь.

Дѣйствительно, это было такъ просто!

— А ты? спросила Евгения Александровна, обнимая мужа и ласкаясь къ нему. — Ты согласишься имъ жить у меня?

— Да мнѣ-то что? небрежно замѣтилъ Ивинскій и улыбнулся снисходительной улыбкой:— Я ихъ не увижу почти. Мнѣ нужна ты и только ты!

Онъ нѣжно поцѣловалъ жену.

— Тамъ внизу совершенно пустой этажъ. Можно отвести имъ нѣсколько комнатъ, взять гувернера или кого тамъ надо, сказалъ онъ.

— Жакъ — ты ангелъ! воскликнула Евгения

Александровна, цѣлуя его руку. — Ты возвращаешь мнѣ спокойствіе!.. Но если она ихъ не отдастъ?..

— Ахъ, Женя, какія глупости! проговорилъ мужъ съ улыбкой. — Что за особенное благополучіе няньчиться съ чужими дѣтьми! Они, я думаю, княжнѣ уже давно успѣли надоѣсть...

— О, ты ее не знаешь! Она изъ ненависти ко мнѣ не отдастъ ихъ! возразила Евгенія Александровна.

— Тогда мы велимъ отдать ихъ, многозначительно отвѣтилъ господинъ Ивинскій. — Вообще, дитя мое, ты ужасно впечатлительна. Надо-же привыкнуть смотрѣть хладнокровно на вещи. Тебя волнуетъ такой пустякъ, какъ какая-то выжившая изъ ума старуха. Ну, поупрямится и покорится необходимости. Право на твоей сторонѣ и, надѣюсь, на твоей-же сторонѣ средства заставить людей уважать это право. Надо-же, наконецъ, тебѣ понять, что ты не какой-нибудь беззащитный ребенокъ.

— А ты мнѣ поможешь, если это понадобится? ласковымъ тономъ спросила Евгенія

Александровна, заглядывая ему въ глаза.

— Я? разсмѣялся господинъ Ивинскій. — Глупенькая, тутъ вовсе и не нужно моей помощи. Въ этомъ можетъ помочь тебѣ любой изъ моихъ секретарей, изъ моихъ чиновниковъ...

Евгенія Александровна успокоилась и отдохнула отъ всѣхъ тревогъ этого дня вечеромъ въ театрѣ.

VII

«Я давно желала лично переговорить съ Вами на счетъ моихъ дѣтей, но, къ счастью, наши общіе друзья и родственники во время предупредили меня о Вашемъ нежеланіи принять меня... Это заставляетъ меня обратиться въ Вамъ письменно и просить Васъ прислать во мнѣ моего сына... Какъ мать, я крайне озабочена его участью и желала бы лично заняться его окончательнымъ воспитаніемъ... Мнѣ было бы тяжело, если бы онъ погибъ, подобно своему отцу, не будучи направленъ на хорошую дорогу... Я надѣюсь, что Вы поймете...»

Княжна читала и перечитывала эти от-

рывки полученнаго ею письма и ровно ничего не могла понять й сообразить, хотя, повидимому, въ немъ все было ясно высказано.

— Софья, Софья! позвала она свою вѣрную подругу жизни. — Прочти, пожалуйста, что это тутъ она пишетъ мнѣ... Я ничего сообразить не могу!..

Софья взяла письмо, прочла его до половины и раздражительно произнесла:

— Чего же не понять то тутъ! Женичку требуютъ къ матери! Этого только не доставало!.. Просили, забыли, а теперь, изволите видѣть, любовь восчувствовали!.. О, чтобъ ихъ не было!..

— Дура, дура! воскликнула княжна. — На что онъ ей? Что ему у нея дѣлать!.. Вотъ глупости! это мистификація какая-то! Я ея руки не знаю, можетъ быть, это вовсе и не она пишетъ!.. Это гнусная продѣлка, просто! Скажите, пожалуйста, столько лѣтъ не думала о дѣтяхъ, а теперь... Да нѣтъ, не можетъ этого быть!

— Это ея лакей принесъ, сказала Софья.

— Да она съ ума сошла! ее въ сумашедшій домъ запрятать бы нужно! горячилась княж-

на, совсѣмъ измѣнившаяся въ лицѣ. — Такъ я ей и отдамъ Женю! Смотрѣть на развратъ матери, быть прихлебателемъ въ чужомъ домѣ! Нѣтъ, они тамъ просто помѣшались всѣ!

Княжна заковыляла въ волненіи по комнатѣ, бормоча что то въ полголоса.

— Но вѣдь она имѣетъ право требовать его, тихо замѣтила Софья.

— Право! право! воскликнула раздражительно княжна. — И ты туда же! Какія такія права могутъ быть у распутной матери, бросившей своихъ дѣтей? Гдѣ это такіе законы есть?

— Но, начала Софья.

Княжна снова перебила ее въ раздраженіи.

— Пригласи сейчасъ же Петра Ивановича! проговорила она. — Надо поговорить съ нимъ. Все же мужчина!

Софья удалилась. Княжна снова взяла письмо Евгеніи Александровны. — «Наши общіе друзья и родственники во время предупредили меня о Вашемъ нежеланіи принять меня,» перечитывала снова княжна. — Скажите, пожалуйста, у насъ нашлись общіе друзья и родственники! А, это прेमило! Она и я

связаны узами родства!.. «И я не знаю, въ сущности, за что Вы питаете ко мнѣ ненависть, по, какъ мать, я не могу смотрѣть безъ тревоги на то, что мой сынъ воспитуется подъ вліяніемъ женщины, старающейся очернить меня», читала далѣе княжна. — Она не знаетъ, за что ее можно презирать! Не знаетъ! Угнетенная невинность!.. Гдѣ у этихъ женщинъ стыдъ и совѣсть!.. На кто же, однако, это передалъ ей въ такомъ случаѣ, что я ненавижу ее?.. Княгиня Марья Всеволодовна? Мари?.. Ахъ, всѣ онѣ способны на мелкую сплетню... всѣ!..

Княжна задумалась: она вспомнила все, что она говорила объ Евгеніи Александровнѣ; она поняла, какъ должно было все это раздражить Евгенію Александровну, когда та узнала мнѣніе княжны; она начала смутно сознавать, что письмо вызвано желаніемъ «насолить» ей, княжнѣ. «Мелкая душонка!» бормотала княжна въ волненіи и въ ея душѣ начинали уже шевелиться упреки себѣ за излишнюю рѣзкость, за высказыванье своихъ мнѣній о людяхъ какимъ нибудь Мари Хрюминымъ. Она уже упрекала себя за вѣчные

промахи и ошибки, за неумѣнье хитрить и быть осторожной... «Старая сумасбродка! старая сумасбродка!» шептала она, сдвигая плотно свои черныя брови.

— Батюшка, тебя то мнѣ и надо! воскликнула княжна, завидѣвъ входившаго въ эту минуту въ ея кабинетъ Петра Ивановича. — Что это еще стряслось надъ нами. Вонъ, читай, Евгенія мать къ себѣ требуетъ... Скоропостижно встревожилась объ его участи!.. Подъ дурнымъ вліяніемъ, видишь-ли, онъ воспитуется... разврата мало видитъ...

Пожавъ руку княжны, Петръ Ивановичъ наскоро просмотрѣлъ поданное ему письмо.

— Дѣло-то скверное! сказалъ онъ, качая головой.

— Да я же ей не отдамъ дѣтей! рѣшительно сказала княжна.

— Все равно, она вытребуетъ ихъ, отвѣтилъ онъ.

— Да я заявлю, что она такая женщина, что дѣти у нея не могутъ жить, волновалась княжна.

— Вы этого не можете сдѣлать, сказалъ Петръ Ивановичъ. — Владімиръ Аркадьевичъ

чь принялъ при разводѣ всю вину на себя и за нею осталось право и выйдти снова замужъ, и взять къ себѣ дѣтей.

Княжна ничего не понимала, не хотѣла понять.

— Да, наконецъ, что же это мы дѣтьми, какъ пѣшками, играть можемъ, что-ли? раздражительно говорила она. — Захотимъ — выбросимъ въ чужой уголъ, захотимъ — опять къ себѣ потребуемъ. Развѣ такъ можно. Въдѣ ты разбери сумбуръ то какой выходитъ: поссорились отецъ съ матерью и вышвырнули дѣтей; понадобились отцу ихъ деньги и сталъ онъ меня пугать, что снова возьметъ дѣтей къ себѣ; обозлилась на меня ихъ мать за неуваженіе къ ней и снова тащитъ ихъ къ себѣ. Да что же это такое? На что это похоже? Въдѣ не крѣпостные это, что-ли, холопы безправные они развѣ?

Петръ Ивановичъ сознавалъ, что старуху было не легко убѣдить въ неизбѣжности отдачи дѣтей матери.

— Это только по обоюдному соглашенію и можно уладить, попробовалъ замѣтить онъ. — Надо переговорить вамъ съ нею...

— Мнѣ съ нею? Да ни за что, ни за что! воскликнула княжна. — Со всякой негодяйкой объясняться! ужь не прикажешь-ли кланяться ей, умолять ее?.. Выдумалъ тоже!.. Да я порога къ ней никогда не переступлю и ее къ себѣ на порогъ не пущу!.. Я, батюшка, слава Богу, не проходимка какая-нибудь, чтобы якшаться Богъ знаетъ съ кѣмъ... Объясняться съ такою личностью!..

— Петръ Ивановичъ, изъ этого только худо выйдетъ, осторожно вмѣшалась въ разговоръ Софья. — Вы знаете Олимпиаду Платоновну, чего она наговоритъ Евгеніи Александровнѣ.

— И наговорю, и наговорю! строптиво воскликнула княжна. — Не стану же я за всякою кокоткой ухаживать и любезничать съ нею!

— И худо сдѣлаете, если не станете, сказалъ Петръ Ивановичъ. — Надо переломить себя!

— Ну, батюшка, стара я, чтобы себя ломать!

— А дѣтей отдать легче?

— Да что вы всѣ одно и тоже поете: дѣтей отдать, дѣтей отдать! совсѣмъ гнѣвно сказала княжна. — Я ихъ не отдамъ — вотъ и все!

Она была на себя не похожа. Ея лицо осунулось, глаза лихорадочно блестя, руки дрожали. За послѣднее время она и безъ того плохо чувствовала себя и даже о чемъ-то таинственно совѣщалась съ Петромъ Ивановичемъ по поводу своего нездоровья. Теперь же она смотрѣла совсѣмъ разбитою.

— Вели карету нанять, сказала княжна Софья.

— Куда вы? спросилъ Петръ Ивановичъ въ недоумѣніи.

— Ты ужь думаешь, у меня и знакомыхъ нѣтъ умнѣ тебя, сердито отвѣтила она.

— Не къ княгинѣ ли Марья Всеволодовнѣ за совѣтами хотите ѣхать? съ усмѣшкой спросилъ Петръ Ивановичъ.

— А вотъ увидишь, вотъ увидишь, кого на нее натравлю! бормотала княжна. — Тоже не въ странѣ башибузуковъ какихъ нибудь живемъ, найдутся и защитники для дѣтей. А то на — кому нибудь капризъ придетъ дѣтей Богъ знаетъ куда бросить, такъ и подчиняйся этому капризу. Вѣдь я знаю, что ни любви, ни привязанности къ нимъ у нея нѣтъ, что просто обозлилась она на меня, ну, и хочетъ от-

платить. Поостудить ее немножко надо... Это капризь, капризь и больше ничего!

Княжна быстро надѣвала шляпку, натягивала перчатки, торопясь ѣхать. Петръ Ивановичъ съ сомнѣніемъ качаль головой. Какія то нехорошія мысли и опасенія роились въ его головѣ. Онъ былъ увѣренъ, что княжна ничего не добьется. Болѣе всего его раздражала мысль, что вся эта исторія затѣялась дѣйствительно ради простого каприза одной взбалмошной женщины, разсердившейся на другую, тоже не менѣе взбалмошную женщину. Изъ за такихъ пустяковъ ставилась на карту участь только что начинающихъ жить людей. Къ несчастію, Петръ Ивановичъ сознавалъ, что и онъ самъ не могъ тутъ предложить своихъ услугъ: онъ явился бы плохимъ парламентаромъ, если бы ему пришлось вести переговоры съ Евгеніей Александровной.

Довольно поздно вернулась княжна домой; тяжело опираясь на руку лакея и придерживаясь за перила, поднялась она по лѣстницѣ; она прошла въ свой кабинетъ и, молча, при помощи Софьи, стала раздѣваться. Ея губы были плотно сжаты, брови сурово

сдвинуты, глаза смотрѣли какъ то странно, безцѣльно впередъ. Софья не смѣла первая заговорить съ ней, предчувствуя что-то недоброе.

— Въ инвалидную команду отчислили насъ! наконецъ проговорила княжна сквозь зубы довольно невнятно. — Еще бы!.. Что я такое?.. Какой то старый уродъ, живущій одной пенсіей!.. Отставная фрейлина!.. И княгиня Марья Всеволодовна недовольна мною, и супруга господина Ивинскаго изволить на меня гнѣваться, и кого тамъ еще обругала — всѣ восстановлены... Какъ же можно вступить за меня, вмѣшаться по моей просьбѣ въ это дѣло?.. Госпожа Ивинская теперь персона! Мужъ ворочаетъ денежными дѣлами, всѣ ему въ глаза смотрятъ, его неудобно раздражать, раздражая его супругу...

Княжна говорила, какъ во снѣ. Она, видимо, была очень нездорова.

— Вотъ и мучайся, что съ молоду не научилась душой кривить, продолжала она еще болѣе невнятнымъ языкомъ. — Теперь бы могла поѣхать къ ней, разцѣловать ее, ублажить всякими любезностями и конецъ бы

весь... Такъ нѣтъ, не могу, не могу, не могу!.. И послать некого... Петръ Ивановичъ... Да развѣ онъ сѣумѣетъ вести переговоры, тоже брякнетъ что нибудь и только испортитъ дѣло... Дураки мы, дураки!..

Она вздохнула и съ тупымъ выраженіемъ лица, поникнувъ головой, задумалась.

— Да не лучше ли всего, начала осторожно Софья, — оставить это. Пусть Женичка не идетъ къ ней. Авось она немного поуспокоится и забудетъ о немъ. Вѣдь это капризь... это пройти можетъ...

— Да, да, капризь! повторила какъ бы безсознательно княжна. — Все капризь: вотъ и я взяла дѣтей ради каприза: не отдаю ихъ ради каприза, мать бросила ихъ ради каприза, мать беретъ ихъ ради каприза... Въ игрушки играемъ... въ игрушки!.. Бѣдныя дѣти! бѣдныя дѣти!..

Княжна хотѣла подняться съ мѣста, начала какъ-то торопливо растегивать у горла душившій ее воротъ лифа и снова опустилась безъ силъ на диванъ. Ея голова и руки грузно упали, какъ у покойницы.

— Вамъ дурно? воскликнула Софья.

— А ты ду-ма-ла, хо-ро-шо? безсвязно и едва слышно пробормотала княжна заплетающимся языкомъ и ея лицо вдругъ искривилось странной и непріятной гримасой, похожей на горькую ироническую усмѣшку.

Княжна уже лежала въ постели, когда явился Евгеній и вслѣдъ за нимъ пришелъ снова Петръ Ивановичъ. У нея отнялись рука и нога, языкъ былъ тоже парализованъ, хотя она что то безсвязно и торопливо бормотала, повидимому, сильно досадуя, что окружающіе ее не понимаютъ. Она поминутно хваталась здоровой рукой за воротъ кофты, точно ее все что-то душило. Призванный къ больной докторъ не подавалъ безусловныхъ надеждъ на выздоровленіе, но и не отчаивался въ немъ окончательно, толкуя странно и наставительно объ осложненіяхъ, о необходимости спокойствія, о тщательномъ уходѣ за больной и разсуждая, что, вѣрно, все случилось отъ какого нибудь сильнаго потрясенія, отъ какихъ нибудь непріятностей и что теперь болѣе всего нужно заботиться о томъ, чтобы эти потрясенія и непріятности не повторились снова, такъ какъ это можетъ по-

влекъ второй ударъ и тогда — конецъ... Онъ былъ правъ: княжна пережила въ этотъ день не мало разочарованій, уколовъ самолюбію, раздражающихъ сценъ. На нее смотрѣли, какъ на сумашедшую тѣ люди, которыхъ она просила «образумить Ивинскую.» Ее рѣзко останавливали тѣ лица, которымъ она прямо рѣшалась называть госпожу Ивинскую «развратной женщиной,» «кокоткой.» Ей, наконецъ, благоразумно совѣтовали не ссориться съ госпожей Ивинской и попросить эту «милую и добрую особу» оставить дѣтей у нея, у княжны, хотя на время; это говорили тѣ личности, которыя, какъ полагала княжна, и на порогъ къ себѣ не могли пустить эту «развратницу.» Но хуже всего было то, что княжнѣ намекнули о сомнительномъ поведеніи Евгенія, о его вредныхъ товарищескихъ связяхъ, объ опасномъ направленіи его воспитанія. Кто-то даже замѣтилъ ей, что она или не знаетъ или не понимаетъ, какъ опасно давать мальчику полную свободу, позволять ему якшаться Богъ знаетъ съ кѣмъ, отпустить его всюду, не справляясь, гдѣ онъ бываетъ, что говорить. Княжна сердилась, говорила рѣзкости и ото-

всюду уѣзжала ни съ чѣмъ. Она ѣхала домой въ какомъ-то чаду, въ какомъ то туманѣ, не зная, что дѣлать дальше, не имѣя силъ сдѣлать самое простое: мирно поговорить съ Евгеніей Александровной. Мирный разговоръ съ этой женщиной сразу уладилъ-бы все къ обоюдному удовольствію; княжна сознавала это отлично; но въ тоже время она сознавала, что этотъ разговоръ и пяти минутъ не продолжался-бы мирно и повелъ-бы къ самому крутому разрыву. Внезапная болѣзнь окончательно уничтожила возможность этихъ переговоровъ. Всѣ въ домѣ были смущены и встревожены этою болѣзнию и какъ то особенно притихли, ожидая со страхомъ исхода недуга, возможной печальной развязки.

Среди этого общаго смущенія Петръ Ивановичъ однажды вспомнилъ, что Евгеній не знаетъ причины болѣзни княжны и что его нужно предупредить на счетъ намѣреній его матери. Вечеромъ онъ ушелъ съ Евгеніемъ въ комнату послѣдняго и осторожно передалъ ему все, что зналъ.

— Она можетъ васъ потребовать къ себѣ, сказалъ онъ Евгенію.

— Я не оставлю ma tante въ такомъ положеніи, коротко отвѣтилъ Евгеній. — Она сама пойметъ, что я не могу бросить умирающую старуху, и не захочетъ, чтобы я ускорилъ смерть ma tante.

— Эхъ, вы не знаете своей матери! сорвалось съ языка у Петра Ивановича, почему-то ожидавшаго всего сквернаго отъ Ивинской.

— Не знаю? сказалъ Евгеній съ горькой усмѣшкой. — Полноте, Петръ Ивановичъ! Не мальчикъ я и не въ лѣсу жилъ я все это время! Слухомъ земля полнится, а слуховъ про госпожу Ивинскую въ городъ ходило и ходить не мало. Ее и гимназисты знаютъ. Одинъ этотъ бракъ сколько шуму надѣлалъ!.. А бѣдный Михаилъ Егоровичъ Олейниковъ — сколько толковъ ходитъ въ кругу адвокатовъ о его нравственномъ паденіи!.. Вы помните, что я всегда избѣгалъ въ послѣднее время разговоровъ съ вами о ней — ну, это я дѣлалъ потому, что я лучше васъ знаю, что это за женщина... Говорить-то было не весело о томъ, что рассказывали о ней... да и забыть хотѣлось о ней...

— Что-же вы думаете сдѣлать? спросилъ

Петръ Ивановичъ.

— Женичка, васъ спрашиваетъ Олимпиада Платоновна, сказала Софья, входя въ комнату. — Тревожится, что васъ нѣтъ.

Евгеній поспѣшно пошелъ въ спальню княжны. Больная протянула къ нему дрожащую руку и забормотала безсвязно, едва понятно:

— Тутъ... боялась... увели... боялась!..

Ея глаза свѣтились свѣтомъ радости и въ ихъ выраженіи было что-то ребяческое; какая то дѣтская неосмысленность была теперь въ этомъ взорѣ.

— Не надо... уходить не надо! опять забормотала она и ея лицо приняло жалобное, почти плачущее выраженіе. — Уведутъ... совсѣмъ... не надо... не надо!..

— Я никуда не уйду, ma tante, отвѣтилъ Евгеній, у котораго слезы навернулись на глаза. — Будьте покойны. Не волнуйтесь. Вамъ нужно спокойствіе. Мнѣ некуда уходить. Я съ Петромъ Ивановичемъ здѣсь рядомъ въ комнату сажу.

По лицу больной опять скользнула дѣтская улыбка и было какъ то тяжело

видѣть это сморщенное, старческое лицо, бессмысленно улыбающееся одной стороною, съ немного искривленнымъ на сторону ртомъ.

Евгеній снова вернулся въ свою комнату.

— Я вамъ не отвѣтилъ, что я хочу сдѣлать, сказалъ онъ Петру Ивановичу. — Я схожу къ ней и скажу ей, что теперь я не могу переѣхать къ ней, что было-бы грѣшно отравлять послѣднія минуты *ma tante*, а что послѣ...

Онъ остановился, переводя духъ.

— А послѣ, Петръ Ивановичъ, когда умретъ *ma tante*, продолжалъ онъ въ волненіи, — о, они могутъ требовать отъ меня всего, чего имъ хочется... Мнѣ будетъ все равно...

— Ну, полноте, не умретъ Олимпіада Платоновна, задушевно сказалъ Петръ Ивановичъ. — Не волнуйтесь заранѣе.

— Я не волнуюсь... чего-же волноваться, сказалъ Евгеній глухимъ голосомъ. — Что назначено, того не обойдешь... фатально какъ-то складывается вся жизнь...

Петръ Ивановичъ ушелъ домой поздно. Евгеній остался одинъ и не спалъ почти всю ночь. Невеселыя думы роились въ его головѣ.

Ему вспоминалась вся пережитая имъ жизнь: она не была какимъ-нибудь сплошнымъ страданіемъ, какимъ-нибудь рядомъ бѣдствій; онъ не испыталъ ни голода, ни холода, ни ожесточенной вражды людей, ни послѣдовательныхъ притѣсненій, но все совершившееся съ нимъ было какъ-то случайно, безпричинно, бессмысленно, глупо; ни за что, ни про что его бросили разошедшіеся отецъ и мать; ни съ того, ни съ сего пріютила и полюбила его тетка, не выдавая его прежде ни разу въ жизни и привязавшаяся къ нему ради своей скуки, ради своего одиночества, какъ могла-бы она привязаться къ котенку, къ собаченкѣ; спасая его отъ отца, увезли его въ деревню, хотя могли точно также оставить и въ городѣ; подчиняясь совѣту первой встрѣчной родственницы, отдали его въ пошлый пансіонъ и взяли оттуда ради первой случайной передряги; безъ всякой серьезной причины, ради городскихъ толковъ и сплетенъ вспомнила о немъ мать и изъ мелкой ненависти къ его воспитательницѣ требуетъ теперь его къ себѣ. Что-то въ родѣ чувства обиды закопошилось въ душѣ юноши при

мысли, что онъ былъ весь вѣкъ игрушкою безсмысленнаго случая и плохомыслящихъ людей, что такую-же игрушкою ему предстоитъ быть и въ близкомъ будущемъ, если умретъ или если выздоровѣетъ княжна. Въ его воображеніи нарисовалась картина его встрѣчи съ матерью, жизни у ней въ домѣ. Что онъ долженъ дѣлать? Лгать передъ нею, притворяясь если не любящимъ, то, по крайней мѣрѣ, покорнымъ сыномъ? Слушать скандалезные толки людей о ея жизни и вступаться за нее или порицать ее и глумиться надъ нею вмѣстѣ съ этими людьми? «И неужели у всѣхъ складывается жизнь такъ безцѣльно и безсмысленно? шевелились въ его головѣ вопросы. — Неужели всѣ люди въ дѣтствѣ и въ юности являются только какими-то игрушками, пѣшками, которыя безъ смыслу и безъ цѣли переставляются съ мѣста на мѣсто?..» «И къ чему я приготовленъ? какой путь избралъ я окончательно? какія цѣли манятъ меня въ жизни на борьбу? изъ-за чего я рѣшусь вынести все, Чтобы только достигнуть желаемаго?» спрашивалъ онъ себя и не находилъ отвѣта. Онъ только начиналъ болѣе

серьезно развиваться, прислушиваться къ толкамъ молодежи, вникать въ то, что совершается вокругъ него. Его мысли не приняли еще никакого опредѣленнаго направленія, его сердце еще не волновалось и не замирало при мысли о томъ или другомъ призваніи, о той или другой дорогѣ. Въ его душѣ воцарились теперь какая-то пустота, какой-то туманъ, какіе-то сумерки. «Какая цѣль въ жизни была у княжны? спрашивалъ онъ себя мысленно. — Какая цѣль была у Софьи? Какая цѣль была у Петра Ивановича? Цѣль одна имѣть столько средствъ, чтобы жить, сводить концы съ концами, пить, ѣсть и спать, не обижая другихъ и не позволяя обижать себя. И только, и только? Стоитъ-ли для этого мучиться, волноваться, работать, если можно...» Евгеній вдругъ точно оборвалъ теченіе своей мысли, нахмурилъ лобъ и заходилъ по комнатѣ. Ему становилось жутко и страшно. «О, счастливы Донъ-Кихоты!» вдругъ промелькнула въ его головѣ его старая, вѣчно возникшая въ его мозгу мысль и эта голова опустилась еще ниже въ сознаніи, что ни жизнь, ни люди не воспитали въ немъ покуда той

Вѣры въ пользу какого-нибудь дѣла, въ возможность этого дѣла, въ средства сдѣлать это дѣло, которая создаетъ изъ людей Донъ-Кихотовъ. Не легко сдѣлаться такимъ Донъ-Кихотомъ тому, чье дѣтство и чья юность прошли въ думахъ только о самомъ себѣ, о своимъ собственныхъ скорбяхъ, о своихъ будущихъ невзгодахъ. Эти думы суживаютъ кругозоръ, очерствяютъ сердце, приучаютъ къ безплодному нытью о своихъ собственныхъ мелкихъ печаляхъ, не даютъ возможности проникаться страданьями другихъ людей. И гдѣ же донкихотствовать и думать о другихъ тому, кому и теперь прежде всего приходится отстаивать свою самостоятельность, изобрѣтать средства для избѣжанія житья въ домѣ полузабытой, неуважаемой, нелюбимой матери?

— Я ни на что не годный человекъ, рѣшилъ Евгений. — Вся моя задача бороться за право своего самостоятельнаго существованія, которое покуда никому не нужно и прежде всего мнѣ самому... А въ будущемъ... Да выйдетъ-ли изъ меня что-нибудь путное въ будущемъ?

Въ этихъ думахъ его засталъ невеселый

разсвѣтъ сѣренькаго весенняго дня...

VIII

Евгеній, подходя къ дому, гдѣ жила его мать, испытываль совершенно новое для него, еще неизвѣданное имъ чувство. Это была трусость, это былъ страхъ ребенка, боящагося того, что ему скажутъ старшіе, распоряжающееся и имѣющее право распоряжаться его судьбой. Можетъ быть, ему сдѣлаютъ строгій выговоръ, можетъ быть, на него станутъ кричать, можетъ быть, ему наговорятъ дерзостей. Что дѣлать? Что отвѣчать? Какъ держать себя? Онъ можетъ какой-нибудь неосторожной фразой раздражить еще болѣе мать и тогда... «Да не удержитъ-же она меня силой? Я не ребенокъ!» подбадриваль онъ себя и въ то-же время тревожно спрашиваль себя: «А если?» Онъ не зналь матери, онъ забыль ее, онъ помнилъ смутно, что она говорила капризнымъ голосомъ ему и Ольѣ: «ступайте, вы надоѣли!» Больше онъ ничего не помнилъ теперь. Кромѣ того онъ сознаваль, что мать, бросившая его, забывшая его надолго, не могла любить его. Добродушія и мягкости онъ не

могъ ждать отъ той, которая по какому-то капризу хотѣла отнять брошенныхъ ею дѣтей отъ женщины, любящей ихъ горячо, отдавшей имъ всю себя. Все это не обѣщало ему ничего добраго во время предстоявшаго ему свиданія. Правда, Оля говорила ему мелькомъ, что мать плакала и нѣжничала при свиданіи съ ней, съ Олей, но онъ даже не вслушался тогда въ эти рассказы, не желая ни думать, ни говорить о матери, и не могъ составить себѣ теперь никакого яснаго представленія о характерѣ этой женщины. До сихъ поръ онъ слышалъ смутные толки о ея поведеніи, о ея замужествѣ — объ этомъ предметѣ говорилъ весь городъ, называя старика Ивинскаго «выжившимъ изъ ума», «сумашедшимъ» за его женитьбу на этой женщинѣ, бросившей мужа, доведшей до гибели перваго своего любовника, завязывавшей интрижки съ кѣмъ попало, — но никто изъ говорившихъ про его мать не могъ ему описать ея характера и теперь это было ему досадно: онъ не зналъ, какъ ему придется себя держать съ нею, не могъ подготовиться къ отвѣтамъ. Но идти было нужно въ избѣжаніе новыхъ писе-

мъ къ княжнѣ, въ избѣжаніе какихъ-нибудь насильственныхъ мѣръ для водворенія его въ родительскій домъ. Княжна, какъ мы видѣли, очень серьезно отнеслась къ письму Евгеніи Александровны, не менѣе серьезно взглянулъ на это дѣло и Евгеній, хотя онъ и не могъ понять, зачѣмъ онъ вдругъ понадобился матери.

У него дрожала рука, когда онъ взялся за ручку двери параднаго подъѣзда въ домѣ Ивинскихъ. Онъ едва совладалъ съ собою, чтобы сказать лакею спокойно и твердо, что онъ желаетъ видѣть Евгенію Александровну, и ясно назвать свое имя.

Не прошло и пяти минутъ, какъ въ одной изъ роскошно убранныхъ гостиныхъ, заставленной тропическими растеніями, зеркалами въ золоченныхъ рамахъ и дорогими фарфоровыми бездѣлушками, стройная и высокая женщина въ локонахъ, въ черномъ бархатномъ платьѣ, съ вырѣзкой на полной шеѣ, уже прижимала къ губамъ голову юноши, восклицая мягкимъ щебецущимъ голоскомъ:

— Eugène, mon enfant!

Евгеній не могъ себѣ дать отчета:

поцѣловаль-ли онъ мать, приложилъ-ли ей къ рукѣ, сказалъ-ли ей что-нибудь. Первая фраза, которую онъ услышалъ и которая нѣсколько озадачила его послѣ привѣтственныхъ словъ, было полное восторга восклицаніе Евгеніи Александровны:

— Mais comme tu es beau!

Она прежде всего увидала въ немъ красавца, а не сына.

Онъ уже сидѣлъ на мягкомъ диванѣ подлѣ этой все еще прекрасной женщины, казавшейся такою цвѣтущею въ черномъ бархатѣ, въ обильныхъ локонахъ, разсыпавшихся по ея шеѣ, по ея спинѣ. Отъ нея вѣяло тонкимъ ароматомъ духовъ, какою-то свѣжестью выхоленнаго женскаго тѣла. Ея мягкій и гибкій голосъ переливался такими нѣжными, ласкающими нотами.

— Злой, злой, до сихъ поръ не хотѣлъ дать мнѣ возможность взглянуть на себя! говорила она, положивъ къ себѣ на колѣни его руку и глядя ея своею мягкою выхоленною рукою.

— Я не зналъ, началъ онъ въ смущеніи и въ какомъ-то чаду.

— Вѣдь Оля тебѣ говорила, что я прошу те-

бя заѣхать?.. перебила она его. — Я сама не могла. Меня не пустили-бы къ тебѣ! О, Eugène, я такъ много, много выстрадала! Но ты уже большой, ты это долженъ отчасти понимать. Когда-нибудь я тебѣ расскажу все, все! Мы вѣдь будемъ друзьями? Такъ?

— Я постараюсь, опять началъ онъ, слегка наклоняя голову.

— Ты вѣдь останешься у меня, опять заговорила, она, не слушая. — Я такъ рада...

Онъ тихо и пугливо прервалъ ее.

— Но не сегодня, сказалъ онъ. — Я именно за тѣмъ заѣхалъ къ вамъ, чтобы предупредить васъ, что я не могу на нѣкоторое время бывать у васъ часто и оставаться долго. Ma tante умираетъ.

— Умираетъ? O pauvre vieille! съ искреннимъ чувствомъ воскликнула Енгенія Александровна.

Это восклицаніе опять озадачило его: тутъ было искреннее сожалѣніе и ни тѣни злобы или нерасположенія къ старухѣ. Казалось, Енгенія Александровна была искреннѣйшимъ другомъ княжны.

— Но что съ нею? спросила Ивинская.

— У нея параличъ, отвѣтилъ Евгеніи. — Вы понимаете, что ее нельзя бросить мнѣ въ такомъ положеніи... она постоянно зоветъ меня...

— Милый мальчикъ, я узнаю въ тебѣ мое сердце! воскликнула Евгенія Александровна и сжала руку сына. — Да, да, ты долженъ быть при ней, это твой долгъ! Люди прежде всего должны слушаться голоса своего сердца...

И вдругъ она перемѣнила торжественный тонъ на шуточный.

— Ну, а наше сердчишко уже начинаетъ биться? спросила она, дотрогиваясь нѣжно до груди сына. — Я слышала, что насъ уже окружаютъ не одни юноши, а и барышни?.. Конечно, мы заглядываемся на хорошенькія личики?

Въ эту минуту въ комнату вошелъ старикъ средняго роста въ черномъ фракѣ съ офиціально подстриженными съдыми бакенбардами, съ небольшою лысиною на головѣ. Это былъ Ивинскій.

— Ты готова? спросилъ онъ Евгенію Александровну и, увидавъ сидѣвшаго рядомъ съ нею юношу, вопросительно поднялъ брови.

— Жакъ, это мой мальчикъ! съ любовью проговорила Евгенія Александровна, указывая мужу на сына. — Eugène, c'est ton beau-père!

Евгеній вѣжливо раскланялся съ Ивинскимъ. Старикъ равнодушно пожалъ ему руку.

— C'est un brave garçon! продолжала Евгенія Александровна. — И взгляни, какъ онъ милъ? Не правда-ли?.. И еще эта Марья Всеволодовна осмѣливается говорить, qu'il n'a pas des manières! Mais il est adorable!.. А знаешь, бѣдная княжна въ параличѣ!.. Мнѣ такъ больно, что это случилось тогда, когда между нами возникла маленькая пикировка... Я поѣтила-бы ее, а теперь нельзя... это ее встревожить... Мнѣ такъ досадно, такъ досадно!..

Евгеній опять стоялъ въ недоумѣннн, слушая это щебетанье «о маленькой пикировкѣ», ради которой княжна, быть можетъ, должна была сойти въ могилу.

— Что-же онъ поѣдетъ съ нами? Или ты останешься дома? спросилъ Ивинскій, взглянувъ на часы.

— Ахъ, какъ можно!.. Онъ спѣшитъ къ больной и ему не до концерта, торопливо за-

говорила Евгенія Александровна. — Онъ такой любящій ребенокъ... Но послѣ... Ты, Eugène, будешь моимъ спутникомъ вездѣ, въ театрахъ, на балахъ... Я воображаю, Жакъ, какъ всѣ будутъ говорить: «какъ прелестенъ вашъ братъ». «Братъ? Что вы! Это мой сынъ! Я уже старуха!..» Вѣдь, право, это трудно повѣрить. Взгляни, онъ даже выше меня ростомъ...

Она взяла Евгенія за руку и встала съ нимъ рядомъ передъ зеркаломъ.

— Да, да, выше! проговорила она. — Просто глазамъ не вѣрится... Да, Жакъ, я говорила тебѣ, что я старуха... ну, вотъ теперь и самъ видишь!.. Однако, пора!.. Ну, до свиданья!

Евгеній, стоявшій какъ на горячихъ угляхъ, сталъ откланиваться.

— Eh bien? сказала Евгенія Александровна сыну.- Embrassez moi sur la joue.

Она подставила Евгенію свою розовую щеку и засмѣялась.

— Онъ, Жакъ, стѣсняется со мной, какъ съ молоденькой женщиной, забывая, что я мать! проговорила она и, взявъ двумя пальцами Евгенія за щеки, поцѣловала его въ губы. —

Не извольте краснѣть и помните, что я ваша старуха-мать, а вовсе не молоденькая женщина! съ комичной строгостью сказала она и, вдругъ что-то вспомнивъ, добавила:- Ахъ, а я тебѣ и забыла показать нашихъ малютокъ... маленькія куклы!.. Но вѣдь ты скоро заѣдешь? Да?

Евгеній поблагодарилъ мать и откланялся.

Онъ вышелъ изъ дому Ивинскихъ съ какою-то пустотою въ головѣ, въ сердцѣ.

Такъ вотъ та женщина, о которой ходитъ столько позорныхъ слуховъ въ городѣ, та женщина, которая такъ бездушно бросила своихъ дѣтей, та женщина, письмо которой уложило въ постель княжну! Стоило княжнѣ приласкать ее — и никогда не вздумала-бы она брать къ себѣ дѣтей; стоило самому Евгенію десятокъ разъ поцѣловать ей ручки и губки — и она позволила-бы ему жить, гдѣ ему угодно, простила-бы ему всякіе пороки, всякія продѣлки. И именно теперь, сознавая вполне, какъ легко было войти во всякія сдѣлки съ этой женщиной, Евгеній ясно чувствовалъ, что княжна не могла ласкать ее, какъ друга, что онъ не можетъ цѣловать ее,

какъ мать. Вспоминая всѣ мелочи этого свиданія съ матерью, онъ конфузился и краснѣлъ, самъ не понимая ясно, почему. Онъ стыдился за нее.

Евгеній вернулся домой, какъ въ воду опущенный. Онъ притихъ, какъ будто принизился и съёжился. Сдвинувъ брови, опустивъ глаза и покусывая ногти, онъ просидѣлъ довольно долго въ мрачномъ раздумьи у себя въ комнатѣ и, казалось, забылъ все на свѣтъ, кромѣ своей встрѣчи съ матерью. Пришедшій въ домъ княжны Петръ Ивановичъ спросилъ Евгенія:

— Ну что, были у нея?

— Былъ, коротко отвѣтилъ Евгеній.

— На чемъ-же покончили?

— Ничего, все пустяки, я остаюсь здѣсь, разсѣянно сказалъ Евгеній.

— Значить, не очень горячились и злились.

— На нее нельзя сердиться...

Петръ Ивановичъ удивился.

— Ужь не сыновнія-ли чувства пробудились? насмѣшливо замѣтилъ онъ.

— Она жалка, коротко отвѣтилъ Евгеній.

— Ну, батенька, такихъ-то жалѣть — много будетъ. Довольно, чтобы сожалѣнья и на тѣхъ хватило, которые сидятъ безъ хлѣба...

— Ахъ да, вы все съ этой точки зрѣнія, разсѣянно замѣтилъ Евгеній.

Петръ Ивановичъ пристально посмотрѣлъ на него.

— Да что вы точно вареный или въ воду опущенный? спросилъ Петръ Ивановичъ.

— Право, не знаю... не по себѣ что-то, отвѣтилъ неохотно Евгеній.

— Смотрите, не расхворайтесь сами!

— Ну, вотъ еще!

Разговоръ не клеился.

Евгеній не испытывалъ еще никогда ничего подобнаго тому, что было теперь съ нимъ. Онъ ходилъ точно человѣкъ, потерявшій что-то. Ему не хотѣлось ни говорить, ни думать о матери. Сперва изъ отрывочныхъ слуховъ и толковъ онъ составилъ о своей матери понятіе, какъ о женщиנѣ, кутящей, какъ о личности, умѣющей обдѣлывать свои дѣла, съ которой нужно быть на сторожѣ, держать, какъ говорится, ухо остро. Теперь передъ нимъ предстало такое полное нравственное ничто-

жество, съ которымъ было невозможно даже бороться. Онъ не могъ даже представить себѣ, что онъ станетъ дѣлать, если умретъ Олимпіада Платоновна и онъ неизбѣжно попадетъ въ домъ матери. Онъ сознавалъ, что она вовсе не заботится о немъ, какъ о сынѣ, что она вовсе не была-бы опечалена, если-бы онъ жилъ не у нея, но въ тоже время онъ видѣлъ ясно, что сказавъ ей: «я не хочу у васъ жить», онъ раздражитъ ее и заставитъ ее настаивать именно на томъ, чтобы онъ жилъ у нея. Но жить у нея спокойно и безпечально можно съ однимъ условіемъ — ласкаться къ ней, льстить ей и жить ея жизнью. Она не разсердилась-бы ни за какой его разгулъ и развратъ, но она стала-бы придираться къ нему и мелочно тиранить его, если-бы онъ не сталъ цѣловать ей ручекъ, если-бы онъ вздумалъ систематически отказываться отъ катаній и разѣздовъ съ нею, если-бы онъ осмѣлился сдѣлать ей какое-нибудь замѣчаніе. Но онъ чувствовалъ, что онъ менѣе всего способенъ притворяться именно съ нею. Что-же онъ будетъ дѣлать? какъ будетъ поступать? На это онъ не могъ дать

отвѣта: онъ искалъ этого отвѣта и не находилъ; въ душѣ была какая-то пустота, одно сознаніе, что онъ несчастливъ, что онъ можетъ только презирать эту женщину и стыдиться каждаго ея шага, каждаго ея движенія, каждаго ея слова. Рядомъ съ этими тяжелыми думами шли другія думы, вызванныя угнетеннымъ состояніемъ духа. Евгенію казалось, что и онъ самъ такая мелкая, тряпичная, безсильная и безцвѣтная личность, изъ которой выйдетъ мало проку. До сихъ поръ у него бывали иногда эти минуты самобичеванія, минуты потери вѣры въ себя, но онъ, какъ говорится, подтягивался, подбадривалъ себя, старался бороться съ этимъ упадкомъ силъ. Теперь было не то: ему казалось, что его внутреннее безсиліе есть нѣчто роковое, неизбежное, неотразимое. Онъ вспоминалъ газетныя характеристики отца, какъ человѣка мелкаго, легкомысленнаго, ничтожнаго по нравственности и по характеру; онъ сознавалъ, что и его мать нисколько ни лучше, ни выше, ни сильнѣе его отца. Чѣмъ-же могли быть дѣти такихъ родителей? Могли-ли эти родители надѣлать дѣтей какой-ни-

будь силой, какими-нибудь хорошими задатками? А воспитаніе? Это была какая-то смѣсь случайностей и капризовъ. Единственно что было хорошаго въ этомъ воспитаніи, такъ это то, что оно находилось въ рукахъ добрыхъ людей. И тетка, и Софья, и Петръ Ивановичъ были добрыми людьми. Но и только, и только! И онъ, и Оля выросли тоже только добрыми дѣтьми: это была, какъ ему теперь казалось, ихъ единственная положительная добродѣтель. Они не были ни особенно умны, ни особенно свѣдуци, ни особенно трудолюбивы: они были только добрыя дѣти. Это такъ мало, съ этимъ далеко не уйдешь. Наконецъ, ему вспоминалась пословица: доброта хуже воровства. Но будетъ-ли онъ вслѣдствіе добродушія сначала сдержанъ съ матерью, чтобы не оскорбить ее; не поддастся-ли онъ потомъ по добродушію-же на тѣ или другія ея требованія, боясь уязвить ее; не затянется-ли онъ постепенно ради добродушія въ тотъ омутъ, въ который уже не разъ затягивала его мать многихъ и многихъ людей. Онъ рылся въ своей душѣ, онъ старался ясно разглядѣть свое будущее; онъ доходилъ до

утомленія, перебирая и перетасовывая всѣ эти вопросы, какъ-бы въ какомъ-то чаду, въ бреду, во снѣ. Иногда онъ вдругъ, какъ-бы очнувшись, старался отогнать эти мысли, не думать ни о чемъ, жить изо дня въ день, не подготавливаясь къ событіямъ, которыя еще не были ему извѣстны заранѣе. Но тутъ-же въ его головѣ являлась мысль: «это желаніе отогнать мысли, должно быть, наслѣдіе матери; она тоже старается ни о чемъ не думать, поступаетъ какъ Богъ на душу положить въ данную минуту; сперва выкинетъ штуку въ родѣ письма къ *ma tante*, а потомъ, когда эта выкинутая штука чуть не убьетъ человѣка, говоритъ: „*ô pauvre vieille!*“ Затѣмъ ему приходило въ голову, что такихъ людей, какъ онъ, надо воспитать въ суровой школѣ строгостей и лишеній, чтобы закалить ихъ, научить бороться, приучить быть на сторожѣ и не распускаться, не расплываться. А его воспитали какъ разъ при другихъ условіяхъ: у него все было готовое, а близкіе люди только гладили по головкѣ и старались убаюкать его. Ему теперь было даже досадно, что главнымъ его руководителемъ былъ Петръ Ивановичъ,

человѣкъ безспорно неглупый, честный и добрый, но слишкомъ юный, безхарактерный, слабый, неспособный повліять на другихъ, а самъ подчиняющійся чужимъ вліяніямъ. „Да, это точно, человѣкъ отрицательныхъ добродѣтелей и пассивной любви къ ближнимъ“, мысленно говорилъ теперь Евгеній про Петра Ивановича, вспомнивъ, что разъ въ минуту самобичеванія именно такъ назвалъ самъ себя, Рябушкинъ, прибавивъ къ этому: „И всѣ мы таковы русскіе сердечные люди и либеральные теоретики“. Такимъ-же прекраснодушнымъ теоретикомъ выйдетъ и онъ, Евгеній. Да и чѣмъ инымъ могъ онъ сдѣлаться подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ людей, про которыхъ говорилъ Петръ Ивановичъ: „всѣ мы честные люди — платковъ чужихъ не таскаемъ, потому что свои есть“, а Олимпіада Платоновна замѣчала: „еще-бы насъ не считать добрыми — сейчасъ грошъ близкимъ готовы бросить, чтобы они не надоѣдали намъ своими слезами“. Эти бесплодныя, но тѣмъ не менѣе назойливыя Grübeleien все развивались и развивались въ умѣ Евгенія, точно нить какого-то безконеч-

наго клубка, не приводя его ни къ какимъ утѣшительнымъ выводамъ и рѣшеніямъ.

Хуже всего было то, что около Евгенія не было даже человѣка, которому онъ могъ бы высказать все то, что тревожило его. Правда, онъ могъ повѣрять всѣ свои тайныя думы Петру Ивановичу, но, къ несчастію, Петръ Ивановичъ многого не понималъ въ Евгеніи, на многое смотрѣлъ слишкомъ легко. Евгенію даже начинало иногда казаться, что они становятся все болѣе и болѣе чуждыми другъ другу, смотря на вещи съ совершенно различныхъ точекъ зрѣнія. Всѣ ихъ разговоры теперь не приводили ни къ какимъ результатамъ, окончивались ничѣмъ, вызывали раздраженіе. Разъ какъ-то Петръ Ивановичъ посовѣтовалъ Евгенію поменьше утомлять себя, побольше заботиться о своемъ здоровьѣ.

— Вредно такъ насиловать себя, говорилъ Рябушкинъ.

— Ахъ, полноте!.. Вредно, вредно! проговорилъ раздражительно Евгеній. — Ну, что можетъ изъ этого выйдти?.. Умру? Ну, и слава Богу!.. Землю-то такъ коптитъ не очень весело...

— Да вы это кого своей смертью-то обрадовать хотите? спросилъ Петръ Ивановичъ насмѣшливо. — Госпожѣ Ивинской руки развязать хотите? Избавить господина Ивинскаго отъ лишняго пасынка желаете? Нашли о комъ заботиться!

— Вовсе я не о нихъ забочусь, а надоѣла эта глупая жизнь какой-то тряпки, которою всѣ помыкать могутъ, отвѣтилъ Евгеній нетерпѣливо.

— А вы попробовали измѣнить эту жизнь? задалъ вопросъ Петръ Ивановичъ. — Нѣтъ, вы трусите да малодушествуете, голубчикъ, вотъ и все.

— Вотъ то-то и скверно, что во всемъ и вездѣ до сихъ поръ все трусилъ и малодуствовалъ, отвѣтилъ Евгеній и въ его голосъ зазвучало презрѣніе къ себѣ. — Это значитъ у меня уже въ натурѣ, а съ такой натурой, лучше не жить...

— Ну, съ вами теперь и говорить-то нельзя, а то вы все сказку о бѣломъ бычкѣ повторяете: „натура дрянная, значитъ и жить нельзя; жить нельзя, потому что натура дрянная!“ сказалъ Петръ Ивановичъ, махнувъ рукой. —

Нервы это у васъ шалють... А вы вотъ постарайтесь попробовать жить да натуру-то переработать. На то у людей и мозги, чтобы переработывать свою натуру да не быть игрушкою какихъ-то стихійныхъ силъ. А такъ-то, смертью вопросъ о жизни рѣшая, только одного и дождешься, что надъ твоимъ трупомъ люди скажутъ: „дрянцо былъ человекъ, туда ему и дорога!“

— Ахъ, что мнѣ до того, что скажутъ обо мнѣ послѣ моей смерти! рѣзко проговорилъ Евгеній. — Точно я это услышу... Вы-же научили не вѣрять въ это...

— Все это вы говорите потому, что усилія надъ собой не хотите сдѣлать, замѣтилъ Петръ Ивановичъ.

— Сдѣлать усиліе надъ собой!.. повторилъ Евгеній. — Этотъ совѣтъ, Петръ Ивановичъ, еще у Дикенса, кажется, госпожѣ Домби ея родственница давала, — а госпожа Домби все-таки не вынесла родовъ и умерла...

По лицу Евгенія скользнула горькая усмѣшка.

Иногда среди этихъ разговоровъ, которые были довольно тяжелы для совершенно рас-

терявшася Петра Ивановича, не знавшаго, что дѣлается съ его любимымъ воспитанникомъ, Евгеній раздражался довольно сильно и замѣчалъ Рябушкину:

— Мы, Петръ Ивановичъ, во многомъ расходимся, многого не можемъ понять другъ въ другъ... Вы вотъ можете подшучивать, рассказывая о какомъ-то своемъ дядѣ-извергѣ и пьяницѣ, о какомъ-то его сынѣ мошенникѣ и мерзавцѣ, а я — во мнѣ все болитъ и ноетъ, когда я вспоминаю, что я сынъ вора, что я сынъ погибшей женщины... Вы вотъ часто съ шуточкой говорите, что вы со своимъ дядей-негодяемъ теперь первѣйшіе друзья, то есть что вы. спокойно принимаете этого негодяя къ себѣ и ходите къ нему, а я — мнѣ было бы противно быть даже въ одной комнатѣ съ тѣми, кого я призираю, кого я не могу любить... Я не знаю, кто изъ насъ правъ, но я знаю только одно, что я не могу понять вашихъ отношеній къ людямъ, а вы вѣрно никогда не поймете моихъ...

— Что-жъ тутъ не понять-то: брезгливости барской у меня нѣтъ, добродушно отвѣтилъ Петръ Ивановичъ.

— А у меня, Петръ Ивановичъ, вашей бур-
сацкой неразборчивости нѣтъ, проговориль
рѣзко Евгеній.

— Ну, батенька, набаловали васъ, сказалъ
Рябушкинъ. — А если очень-то станете разби-
рать, такъ и одинъ, какъ перстъ, останетесь...

— А если не очень-то разбирать, такъ и съ
головой уйдешь въ шайку негодяевъ, такъ-же
рѣзко отвѣтилъ Евгеній.

Какъ-то разъ Евгеній спросилъ Петра Ива-
новича.

— Ну, вотъ умереть ma tante, пожелаетъ
мать, чтобы я переѣхалъ къ ней, что тогда
дѣлать?

— Ну, можетъ быть, она и согласится, что-
бы вы не жили у нея, отвѣтилъ Петръ Ивано-
вичъ.

— На какомъ основаніи я, откажусь жить
или бывать у нея? Что я скажу ей въ
оправданіе своего нежеланія быть у нея,
видѣть ее? спросилъ Евгеній.

— Ну...

Рябушкинъ замялся, не зная, что сказать.
Евгеній пристально посмотрѣлъ на него,
вздыхнулъ и отвернулся. Онъ понималъ, что

отъ Рябушкина тутъ нечего ждать совѣтовъ.

— Я не думаю даже, чтобы она очень настаивала на вашемъ переѣздѣ къ ней, началъ, спустя минуту, Петръ Ивановичъ, — Что вы ей? На что нужны? Такія женщины рады только отдѣлаться отъ дѣтей. Если бы Олимпіада Платоновна тогда похладнокровнѣе отнеслась къ письму Евгеніи Александровны, переговорила бы съ ней мирно и серьезно, ничего бы этого и не вышло...

Евгеній посмотрѣлъ на Петра Ивановича и усмѣхнулся.

— Странно какъ это, Петръ Ивановичъ, сказалъ онъ:— спросишь у васъ положительнаго совѣта — молчите, а дойдетъ дѣло до теоретическихъ разсужденій да размышленій — вы первый ихъ развивать готовы...

— Ссоримся мы что-то съ вами нынче, голубчикъ, часто, добродушно замѣтилъ Рябушкинъ. — Это нервы, нервы у васъ!..

— Нѣтъ, Петръ Ивановичъ, я васъ люблю по прежнему, но...

Евгеній остановился на минуту и потомъ кончилъ начатую фразу:

— Ужь очень вы не хитро на жизнь и на людей смотрите!.. Послушаешь васъ, такъ все такъ просто, а на дѣль-то выходитъ далеко не то. Вотъ вы говорите: можетъ быть, мать и не пригласить меня къ себѣ, вѣроятно, она и согласится не видать меня... А я васъ спрашиваю: что сказать ей, если она пригласить меня къ себѣ? На это-то вы и не отвѣчаете.

— Ну, да ужь если надо непременно жить у нея или видѣться съ ней, то переломите себя, сказалъ Петръ Ивановичъ. — Убудетъ васъ, что-ли, если вы покривите немного душой и будете съ нею хоть по внѣшности любезны...

По лицу Евгенія опять скользнула улыбка.

— Какъ это все легко, какъ это все легко! проговорилъ онъ. — А до какихъ границъ надо кривить душой? На сколько нужно быть любезнымъ?

— А на столько, на сколько это нужно для достиженія своей цѣли, то есть для возможности жить, а не умирать, сказалъ Петръ Ивановичъ. — Когда нужно отстаивать свое существованіе, — всѣ средства хороши.

— Да? спросилъ Евгеній не безъ удивленія.

— Да, отвѣтилъ Рябушкинъ. — Вонъ философъ Гоббесъ поумнѣ насъ съ вами былъ да и посильнѣе, а и онъ говорилъ: „если бы меня бросили въ глубокой колодець, а дьяволъ предложилъ бы мнѣ на помощь свою козлиную ногу, такъ я, не задумываясь, ухватился бы и за нее“.

— А у этого философа, Петръ Ивановичъ, нѣтъ свѣденій на счетъ того, что вы онъ сдѣлалъ, если бы дьяволъ, прежде чѣмъ вытащить его изъ колодца, заставилъ его ежедневно втеченіи многихъ лѣтъ обнимать и ласкать его, дьявола? спросилъ Евгеній.

Петръ Ивановичъ нетерпѣливо пожалъ плечами.

— Нѣтъ-съ, этого онъ, должно быть, не предвидѣлъ, проворчалъ онъ. — Нервы у васъ, батенька, нервы растроены!..

Петръ Ивановичъ очень часто повторялъ эту фразу, но едва-ли отъ нея успокоивались нервы Евгенія...

А Олимпіадѣ Платоновнѣ почти не становилось лучше. Языкъ ея выговаривалъ слова съ большимъ трудомъ; мозгъ, повидимому, дѣйствовалъ плохо и старуха какъ будто не

вполнѣ ясно сознавала, что дѣлается вокругъ нея. Докторъ не подавалъ никакихъ надеждъ, а ограничивался глубокомысленными замѣчаніями на счетъ того, что „бѣда съ этими такъ называемыми крѣпкими натурами, крѣпки онѣ, крѣпки, а свалятся разъ, такъ потомъ и не поднимешь ихъ ничѣмъ“, и кромѣ того все настаивалъ на необходимости полного спокойствія, такъ какъ ударъ можетъ повториться и тогда конецъ всему. Но гдѣ было княжнѣ найти полное спокойствіе, когда у нея были любящія родственницы. Евгенія мучило присутствіе этихъ родственницъ, сердобольной княгини Марьи Всеволодовны и мягкосердечной Мари Хрюминой. Эти женщины, какъ онѣ говорили, забыли все и ревностно тревожили больную своими посѣщеніями, совѣтами и разговорами. Онѣ желала ей всего хорошаго и на этомъ, и на томъ свѣтѣ и потому не оставляли ее въ покоѣ. Княгиня Марья Всеволодовна толковала больной о христіанскомъ долгѣ, о покаяніи, о необходимости исповѣдаться и причаститься, такъ какъ это повредить не можетъ, а только принесетъ успокоеніе и просвѣтитъ ея душу.

Мари Хрюмина суетилась около больной и, когда той нуженъ былъ сонъ, приставала съ вопросами: „теточка, не нужно ли вамъ чего?“ Больная что-то усиленно бормотала, махала еще дѣйствовавшею рукой, дѣлала страшныя гримасы, но сердобольныя женщины не отходили отъ нея, чередовались у ея постели и въ своемъ кругу являлись съ утомленными лицами, съ рассказами о томъ, что онѣ боятся сбиться съ ногъ, ухаживая „за бѣдной больной.“ Софья злилась на нихъ, дѣлала имъ дерзости, но не принимать ихъ, не допускать ихъ къ больной она не могла — она была только служанка и больше ничего. Яснѣе, чѣмъ когданибудь, понималъ Евгенийъ, какъ не любили, какъ враждебно встрѣчали его всѣ окружавшіе княгиню родственницы. У него съ ними не выходило ни крупныхъ ссоръ, ни рѣзкихъ столкновений, но сотни мелочей раздражали его ежедневно, ежеминутно. Больная постоянно волновалась, когда онъ былъ не при ней, но быть при ней для него значило сидѣть рядомъ съ княгиней Марьей Всеволодовной или Мари Хрюминой. Если онъ случайно задѣвалъ за что-нибудь, ему

говорили:

— Ахъ, Боже мой, до чего ты не остороженъ, ты можешь ее испугать!

Если онъ, погрузившись въ свои думы, тяжело вздыхалъ, ему говорили:

— Неужели ты не понимаешь, что это для больной тяжело!

Княгиня замѣчала, видя его у постели больной:

— Я думаю, у тебя есть занятія? Нельзя-же придиратся къ случаю, чтобы ничего не дѣлать.

Потомъ она обращалась къ доктору, къ Мари Хрюминой, къ кому попало, и говорила:

— У меня Платона и Валеріана никогда и не увидишь внѣ ихъ класной. У нихъ тамъ всегда есть занятія.

Когда Евгеній, поработавъ надъ уроками, являлся въ комнату тетки и замѣчалъ Мари Хрюминой, что онъ можетъ смѣнить ее и остаться при больной, кузина говорила ему съ ироніей:

— Неужели ты думаешь, что ты можешь ходить за тетей! Тутъ нуженъ мягкій женскій уходъ!

Мелочность этихъ женщинъ доходила до смѣшного.

— Что это у тебя за привычка явилась грызть свои ногти, замѣчала съ брезгливостью княгиня. — На это противно смотрѣть!.. Я, право, удивляюсь, гдѣ ты могъ усвоить всѣ эти привычки...

Все это были мелкіе булабочные уколы, которыхъ Евгеній, занятый важнымъ для него вопросомъ о своихъ будущихъ отношеніяхъ къ матери, могъ вовсе не чувствовать и не чувствовалъ бы, если бы эти булабочные уколы не говорили ему: „вотъ тѣ люди, тѣ отношенія, которые будутъ окружать тебя не сегодня, такъ завтра.“

„Жить съ этими людьми, жить въ ихъ средѣ — нѣтъ, нѣтъ, ни за что, никогда!“ Мысленно восклицалъ онъ каждый разъ послѣ столкновенія съ этими родственницами. Но какъ же отдѣлаться отъ нихъ?.. Одна надежда оставалась: выздоровленіе княжны. Ей точно становилось какъ будто лучше въ теплые весенніе дни; ея улыбка сдѣлалась осмысленнѣе, она говорила внятнѣе, ея Лицо кривилось при этомъ меньше прежняго. Кня-

гиня Марья Всеволодовна сочла нужнымъ воспользоваться этимъ улучшеніемъ, чтобы спасти душу княжны, и въ одинъ прекрасный день явилась съ непреклоннымъ намѣреніемъ заставить больную призвать священника.

— Ты, Олупре, забыла о религіозныхъ обязанностяхъ, говорила она, — ты должна примириться со своей совѣстью!

— Хоронить... хоронить собрались! пробормотала княжна.

— О, развѣ исповѣдь ведетъ къ смерти! воскликнула княгиня, — тебѣ станетъ лучше, ты станешь покойнѣе, ты успокоишь свою совѣсть...

— Совѣсть... совѣсть!.. Я покойна... Не убивала... не грабила никого... я покойна, бормотала, волнуясь, больная.

— Олупре, мы всѣ грѣшны! настаивала княгиня. — Считать себя безгрѣшной — и это уже великій грѣхъ...

— Ну, и пусть... и пусть такъ, сердито сказала княжна. — Уйди... не надо мнѣ никого...

Княжна конвульсивно перебирала рукой одѣяло. Она, видимо, была страшно встрево-

жена. Евгеній, бывший въ той же комнатѣ, не выдержалъ и осторожно замѣтилъ княгинѣ:

— Докторъ просилъ ничѣмъ не тревожить ma tante!

Княгиня бросила на него строгій и холодный взглядъ.

— Я тебѣ совѣтую не вмѣшиваться не въ свое дѣло, сказала она. — Ступай!

Княжна сдвинула брови и сдѣлала знакъ Евгенію рукой, чтобы онъ остался.

— Уморить хотятъ... уморить! проговорила она съ тревогой. — И зачѣмъ вы здѣсь?.. Что вамъ еще надо?.. И такъ измучили... Я прошу... уйдите... уйдите...

Больная заметалась да постели. Евгеній съ злобой взглянулъ на княгиню.

— Да уходите-же, если вамъ говорятъ! тихо, но рѣзко сказалъ онъ, — Точно палачи какіе!

Княгиня чуть не лишилась чувствъ. Она хотѣла что-то сказать, крикнуть на мальчишку, но больная махала ей рукой, какъ-бы желая ее выгнать вонъ.

— Ma tante, успокойтесь... успокойтесь, милая! шепталъ Евгеній, наклоняясь къ боль-

ной.

Она хотѣла что-то сказать, хотѣла протянуть руку, но ни языкъ, ни рука не повиновались ей. Ея лицо опять перекосила страшная гримаса.

— Ступайте и скорѣе пошлите за докторомъ! рѣзко сказалъ Евгений княгинѣ. — Не видите, что-ли, до чего довели!

Княгиня испуганно направилась изъ комнаты. Съ больной дѣйствительно случился второй ударъ... Вплоть до ночи провозились съ нею окружающіе. Къ ночи Евгений, усталый и раздраженный, ушелъ къ себѣ въ комнату забыться хоть на время. Но его отдыхъ былъ не дологъ.

— Женичка, Женичка!.. Княжнѣ худо... очень худо! вдругъ раздался надъ нимъ голосъ Софьи.

Это было поздно ночью. Онъ только что забылся сномъ. Полуодѣтый, онъ вскочилъ съ постели, побѣжалъ въ комнату Олимпіады Платоновны. Она лежала въ агоніи. Онъ припалъ къ ней, схватилъ ея за руки, сталъ всматриваться въ ея исхудалое лицо. Глаза были тусклы и мутны, точно сдѣланы изъ

сѣраго стекла, губы, тонкія и блѣдныя, точно прилипли къ зубамъ, растянувшись въ какую-то гримасу, зубы были плотно стиснуты, что-то въ родѣ судороги едва замѣтно пробѣгало по губамъ, слегка вздрагивавшимъ. Евгенію казалось, что эти глаза смотрятъ на него, что эти холодѣвшія руки ещежимаютъ его руки, что эти губы вздрагиваютъ, силясь что-то ему сказать. Но вотъ и губы перестали вздрагивать, и руки перестали сжиматься. Прошло насколько секундъ, послышался легкій вздохъ, что-то въ родѣ дрожи вдругъ пробѣжало по тѣлу больной и оно внезапно немного вытянулось, потомъ все стихло, какъ бы застыло.

— Скончалась! едва слышно, какъ вздохъ, послышался надъ Евгеніемъ голосъ Софьи.

Онъ какъ стоялъ на колѣняхъ, такъ и остался стоять и только обернулъ къ Софьилице съ вопросительнымъ взглядомъ.

— Да, да, голубчикъ, все кончено! прошептала Софья въ слезахъ и наклонилась къ тѣлу княжны.

Евгеній видѣлъ, какъ Софья дотронулась рукой до лба покойницы, какъ она

поцѣловала усопшую.

Въ эту минуту въ комнату явились Мари Хрюмина и княгиня Марья Всеволодовна. Мари Хрюмина, увидавшая, что княжнѣ стало очень худо, успѣла съѣздить за княгиней. Эти женщины хлопотали такъ усердно во всѣ эти дни!

— Закройте ей глаза, голубчикъ... Пусть не чужія руки закроютъ, торопливо сказала Софья Евгенію при видѣ входившихъ въ комнату родственницъ княжны.

Евгеній всталъ машинально съ пола, поцѣловаль покойницу въ губы, безсознательно закрыль ей глаза, съ какимъ-то тупымъ выраженіемъ перекрестился и вышелъ, не глядя ни на кого...

Однообразно и ровно, немного на распѣвъ и въ носъ, съ утра до вечера и съ вечера до утра читаетъ дьячекъ у траурнаго катафалка. Вокругъ катафалка горятъ, оплывая и тая въ жаркой температурѣ, высокія свѣчи въ траурныхъ подсвѣчникахъ. Въ комнатѣ, гдѣ лежитъ тѣло покойницы, спущены тяжелыя занавѣси у оконъ, завѣшаны зеркала, стоитъ масса дорогихъ растений. Въ квартирѣ всѣ хо-

дять тихо, всѣ говорятъ въ полголоса, точно боясь кого-то разбудить. Два раза въ день квартира наполняется народомъ, приходитъ духовенство, служатся панихиды, поютъ пѣвчіе въ длинныхъ черныхъ кафтанахъ. Угаръ отъ толстыхъ восковыхъ свѣчей, запахъ ладона, страшный жаръ и духота въ комнатахъ, монотонное чтеніе дьячка и заунывное пѣніе пѣвчихъ, все это мутитъ голову, наводитъ какое-то уныніе. Люди суетятся и хлопочуть, но въ этой тревогѣ замѣчается какой-то особенный характеръ, точно всѣ что-то потеряли и ищутъ, забыли и не могутъ и помнить. Даже самый старый князь Алексѣй Платоновичъ, какъ всегда розовый и цвѣтущій, повторяетъ ежеминутно съ тяжелымъ вздохомъ: „Voilà notre vie!“ Можетъ быть, этой понравившейся ему фразой онъ хочетъ сказать: „всѣ мы смертны и потому лови, лови часы любви!“ Но эта фраза звучитъ въ его устахъ такимъ минорнымъ, плаксивымъ тономъ. Княгиня Марья Всеволодовна творитъ широкія крестныя знаменія, стоя на колѣняхъ во время панихидъ, и все мучается одной мыслью, что она „никогда, никогда не

простить себѣ того, что она не заставила Оlympe исповѣдываться“. Ей говорятъ, что вѣдь больная была все время почти безъ языка, но княгиня настаиваетъ, что можно было бы сдѣлать глухую исповѣдь. Мари Хрюмина волнуется и плачетъ: „неужели все это опишутъ и продадутъ? Ma tante всегда говорила мнѣ, что она мнѣ оставятъ на память наши фамильные вещи! Неужели она не сдѣлала никакой духовной?“ Новая панихида и новые толки. Въ домѣ разносится неожиданная вѣсть: княжна оставила духовное завѣщаніе и все, все завѣщала Евгенію и Ольгѣ, раздѣливъ все поровну между ними.

— Я удивляюсь, для чего было скрывать это! восклицаетъ Мари Хрюмина. — Что у него отняли бы, что-ли?..

— А онъ зналъ объ этомъ? спрашиваютъ ее.

— Ахъ, вѣдь не ребенокъ-же онъ!.. Конечно, онъ и настоялъ на этомъ... Ma tante давно еще хотѣла оставить все мнѣ... я, конечно, просила ее не дѣлать этого... Меня мучила мысль, что она умретъ... А онъ... Впрочемъ, я очень рада... онъ вѣдь съ сестрой ничего не

имѣть... Но меня раздражаетъ, когда я вижу скрытность въ людяхъ уже въ эти годы... И это родные!..

— Но Рябушкинъ... Кто это Рябушкинъ? спрашиваетъ, щуря глаза, княгиня. — Это тотъ поповичъ, что жилъ при дѣтяхъ?.. Онъ назначенъ распорядителемъ?.. Что за странность!

— Пожалуйста, позволь мнѣ потомъ взять на память пресъ-папье со стола ma tante, говоритъ Мари Хрюмина Евгенію. — Это такая бездѣлица, что она вѣрно тебя не разоритъ.

— Берите все, что вамъ вздумается, коротко и разсѣянно отвѣчаетъ Евгеній.

— Ахъ, какимъ тономъ ты это говоришь! Ради Бога не воображай, что я хочу тебя грабить! обидчиво восклицаетъ Мари. — Но мнѣ хочется хоть чтонибудь имѣть на память о ma tante...

Эти толки, это снованье народа, эти панихиды, все совершается для Евгенія, какъ сонъ, тяжелый и смутный. Евгеній не молится, не плачетъ на панихидахъ и стоитъ, какъ въ дремотѣ. Онъ не спрашиваетъ Петра Ивановича, когда сдѣлано было духовное

завѣщаніе, почему это было скрыто отъ него, Евгенія. Онъ не думаетъ, что онъ будетъ дѣлать дальше. Онъ видитъ только тетку, лежащую неподвижно въ гробу, и всѣхъ этихъ фарисействующихъ родственницъ, Мари Хрюмину, княгиню Дикаго, свою мать, обрадовавшуюся случаю, чтобы надѣть траурное суконное платье съ длиннымъ шлейфомъ. У нея до сихъ поръ не умиралъ еще никто изъ родныхъ и это былъ первый счастливый предлогъ для траура. Евгеній почти не смотритъ на мать. Мать же беретъ его за щеки двумя розовыми пальчиками и говоритъ:

— Какъ ты исхудалъ, мой мальчикъ! Но теперь ты свободенъ... Я скоро собираюсь на воды... Ты поѣдешь со мной!.. Тебѣ нужно развлекъся, разсѣяться...

Мари Хрюмина стоитъ тутъ-же и вздыхаетъ:

— Счастливый, поѣдетъ за границу!

— А ты тоже хотѣла бы? спрашиваетъ Евгенія Александровна.

— Еще бы!

— Что-жъ, поѣзжай съ нами!..

— Ахъ, у тебя теперь и безъ меня есть о ко-

мъ заботиться!

— Пустяки! Всѣ вмѣстѣ можемъ ъхать!

— А ты развѣ не знаешь, что мы съ Евгениемъ соперники, замѣчаетъ съ затаенной злобой и съ напускной шутливостью Мари Хрюмина.

— Ахъ, что за глупости!.. Вы могли здѣсь ссориться, а у меня...

— Я тебя буду ревновать къ нему...

Евгенія Александровна смѣется и спѣшитъ сдѣлать серьезное лицо, замѣтивъ брошенный на нее мелькомъ убійственно холодный и строгій взглядъ княгини, сознающей, что здѣсь не мѣсто для смѣха.

— Онъ злой, злой, отнимаетъ у меня всѣхъ друзей! съ дѣланной сантиментальной гримасой замѣчаетъ Мари.

— Пожалуйста, не смѣй говорить про моего beau page! шутливо говоритъ Евгенія Александровна, грозя пальчикомъ Мари Хрюминой.

„Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ“, читаетъ дьячекъ какимъ то могильнымъ голосомъ...

Евгенію дѣлается какъ-то скверно, тяжело,

скучно. „Вотъ тѣ люди, среди которыхъ суждено тебѣ жить!“ мелькаетъ въ его головѣ, отказывающейся послѣдовательно думать и разсуждать. Онъ смотритъ на все какимъ-то бессмысленнымъ взглядомъ и сознаетъ только одно, что завтра вывезутъ этотъ гробъ, что завтра все кончится и онъ... Что онъ? куда онъ пойдетъ? что будетъ съ нимъ завтра?... Но вотъ онъ слышитъ знакомый ему рыдающій голосъ и бросается впередъ, заключаетъ кого-то въ свои объятія и плачетъ, плачетъ впервые въ эти дни.

— Оля, Оля, родная!.. взгляни... вотъ... видишь, точно живая она лежитъ, отрывисто шепчетъ онъ.

И, забывъ всѣхъ и все, рядомъ съ сестрой онъ стоитъ, склонившись надъ гробомъ, ласкаетъ рукой лицо покойницы, цѣлуетъ ея руки, а слезы, крупныя и горячія слезы такъ и льются на это мертвое тѣло, на этотъ атласъ гробового наряда.

— Сведите ихъ съ катафалка! Что они дѣлаютъ!.. Они шевелятъ покойницу... гробъ срываютъ! возмущается княгиня.

Кто-то уводитъ Евгенія и Ольгу, они заби-

ваются въ уголъ и плачутъ и шепчутся въ сторонѣ отъ всѣхъ.

Но Олю увозятъ снова и опять Евгеній остается одинъ и ждетъ, что будетъ завтра.

IX

Вечеромъ, когда кончилась панихида, княгиня Марья Всеволодовна обратилась къ Софьѣ съ вопросомъ:

— Вы поѣдете провожать тѣло? Въ Сансуси уже дано знать о днѣ вывоза княжны отсюда и тамъ все должно быть уже готово. Не надо-ли вамъ на дорогу денегъ?

— Благодарю, у меня есть деньги, отвѣтила Софья, отирая заплаканные глаза.

— Мнѣ такъ грустно, что ни я, ни князь, мы не можемъ сами проводить туда покойницу, со вздохомъ сказала княгиня.

— Евгеній Владиміровичъ вѣдь тоже ѣдетъ, сказала Софья не то утвердительно, не то въ формѣ вопроса.

— Евгеній? Нѣтъ!.. У него теперь такое время, что терять еще нѣсколько дней было-бы безразсудно, сказала княгиня.

Евгеній услыхалъ свое имя и подошелъ

ближе къ разговаривавшимъ.

— Да, я ъду проводить ma tante, сказалъ онъ, обращаясь къ княгинѣ.

— Но у тебя начинаются экзамены, замѣтила княгиня.

— Мнѣ вовсе не до экзаменовъ теперь, коротко отвѣтилъ онъ.

— И ты думаешь, что это хорошо? съ ироніей въ голосъ спросила княгиня. — Я надѣюсь, что ни твоя мать, ни твой beau-père не позволятъ тебѣ такъ самовольничать и ускользать отъ занятій. Ты и такъ сдѣлалъ много упущеній.

Евгеній хотѣлъ что-то возразить, но княгиня, сощутивъ глаза, отыскала въ толпѣ Евгенію Александровну и подошла къ ней.

— Скажите, вамъ говорилъ Евгеній, что онъ хочетъ провожать тѣло княжны въ Сансуси? спросила княгиня Ивинскую.

— Нѣтъ, отвѣтила Евгенія Александровна. — А развѣ онъ ъдетъ? съ удивленіемъ спросила она и умилилась:— Pauvre enfant, онъ былъ такъ преданъ покойной княжнѣ! Это его первая утрата!

— Да, но у него теперь начинаются экзамены.

ны, замѣтила княгиня.

— Ахъ, гдѣ ему теперь экзаменоваться! воскликнула Евгенія Александровна. — Я увожу его за-границу. Вѣдь эти похороны тамъ совершатся скоро. Онъ вернется какъ разъ къ сроку, чтобы ѣхать со мною.

Княгиня нетерпѣливо пожала плечами. Ее раздражало это легкомысліе.

— Извините, я, право, не понимаю вашего взгляда на дѣло воспитанія вашего сына, сказала она сухо. — Сперва мальчика портили здѣсь, теперь вы позволяете ему уклоняться отъ занятій. Что-же изъ него выйдетъ? Нынче онъ не будетъ держать экзаменовъ потому, что хоронить тетку и ѣдетъ отдыхать за-границу; въ будущемъ году опять найдется какой-нибудь предлогъ ускользнуть отъ экзаменовъ...

— Я думаю, княгиня, я имѣю полное право смотрѣть на это дѣло, какъ я считаю нужнымъ, рѣзко отвѣтила Евгенія Александровна.

— Но я увѣрена, что вашъ мужъ вполнѣ согласился-бы со мною, сказала княгиня.

— Мой мужъ... а вотъ кстати и онъ, сказала Евгенія Александровна и обратилась къ

Ивинскому, который пробирался къ ней, чтобы пригласить ее ѣхать домой. — Мы, Жакъ, дебатирuemъ съ княгиней на счетъ Евгенія, княгиня никакъ не желаетъ понять, что нельзя лишать мальчика послѣдняго утѣшенія проводить тѣло покойной княжны до могилы...

— Когда отъ этого пострадаетъ ученье, запущенное и безъ того, докончила княгиня. — Мнѣ кажется, долгъ прежде всего. Прежде всего нужно дѣлать свое дѣло.

— Это отчасти правда, вставилъ свое замѣчаніе Ивинскій.

— Конечно, правда! сказала княгиня. — Я очень понимаю, что ему тяжела эта утрата, какъ и всѣмъ намъ, но ради этого не бросаемъ-же мы всѣ своихъ дѣлъ, своихъ занятій...

Въ эту минуту Евгеній подошелъ совсѣмъ близко къ разговаривавшимъ. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но Евгенія Александровна не дала ему выговорить ни слова и взяла его за подбородокъ.

— Взгляните, какой онъ у меня блѣдненькій! съ чувствомъ сказала она. — Гдѣ ему еще мучиться съ экзаменами! Нѣтъ,

нѣтъ, во всякомъ случаѣ — поѣдетъ онъ или не поѣдетъ провожать покойницу — экзаменоваться я ему не позволю и увезу его за-границу!

— Но, хотѣла что-то возразить княгиня и не кончила, такъ какъ ее перебила Евгенія Александровна.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы смотрите на него глазами посторонняго человѣка, а я мать — я вижу, что ему нуженъ отдыхъ и отдыхъ, сказала Евгенія Александровна. — Мнѣ тоже не хотѣлось-бы, Eugène, чтобы ты ѣхалъ за гробомъ, но потому только, что я боюсь за твое здоровье, обратилась она къ сыну. — Я не хочу, чтобы эти щечки еще болѣе поблѣднѣли и осунулись и чтобы эта мордочка смотрѣла такъ печально!

Она проговорила это своимъ сладкимъ и пѣвучимъ голоскомъ, взявъ двумя пальчиками сына за щеки.

Княгиня потеряла всякое терпѣніе и даже вышла изъ границъ того приличнаго и сдержаннаго тона, которымъ она говорила всегда. Она сознавала только одно то, что эта «глупая» и «несчастливая» мать хочетъ еще болѣе

портить своего сына, который и безъ того «загублень».

— Мнѣ очень жаль, что Алексѣй уѣхалъ, сказала она рѣзко. — Онъ, какъ дядя, конечно, имѣеть основаніе заботиться объ участи мальчика. Онъ разъяснить-бы вамъ...

Евгенія Александровна вспыхнула и не дала княгинѣ кончить начатой рѣчи.

— Мнѣ кажется, никто не имѣеть права вмѣшиваться въ дѣла моего сына, кромѣ меня и моего мужа, запальчиво произнесла она, — Ты можешь ѣхать, Eugène, обратилась она къ сыну, — но я попрошу тебя не оставаться тамъ ни одного лишняго дня, потому что я буду тебя ждать здѣсь. Я тороплюсь уѣхать изъ Петербурга. Мнѣ тоже необходимъ отдыхъ отъ всѣхъ этихъ мелочныхъ дразгъ и сценъ...

Она съ какою-то задорною гордостью подняла свою головку и обратилась къ княгинѣ небрежнымъ тономъ.

— Ахъ, кстати, княгиня, вы заговорили о долгѣ, объ обязанностяхъ. Вотъ и мнѣ ради моего нездоровья приходится отказаться отъ своихъ обязанностей. У васъ, кажется, собирается послѣ завтра комитетъ вашего общества.

Заявите, что я выхожу...

Это была мелкая вульгарная выходка. Она могла-бы вызвать на уста княгини только улыбку преврѣнія, если-бы княгиня не знала, что именно послѣ завтра на общемъ собраніи хотѣли просить Евгенію Александровну объ устройствѣ новаго займа для продолженія постройки дома «общества», организованнаго княгиней. Княгиня торопливо и почти съ испуговъ спросила:

— Вы выходите изъ нашего общества?

— Не изъ общества, а изъ комитета. Мнѣ нужно отдохнуть отъ многого и я рада, что я могу отдохнуть въ своей семьѣ, отвѣтила Евгенія Александровна, дѣлая поклонъ княгинѣ.

Она взяла подъ руку своего мужа и удалилась, пославъ прощальный поцѣлуй рукою Евгенію.

— Ай-ай, какъ мы безтактны! тономъ мягкаго упрека сказалъ Ивинскій, удаляясь съ женою изъ комнаты.

— Ахъ, она меня раздражила! произнесла Евгенія Александровна сердитымъ тономъ. — Да, наконецъ, что мнѣ въ ней? Для чего мнѣ

съ ней стѣсняться? Ты думаешь, она не придетъ ко мнѣ сама? Развѣ я не знаю, что мы ей нужны? Онѣ, эти grandes dames, устраиваютъ филантропическія общества, а, деньги... если ты, Жакъ, не дашь имъ денегъ, долго просуществоуютъ ихъ общества?

Она засмѣялась и прижалась къ нему.

— Теперь, Жакъ, я стою за каменною стѣною и не боюсь никого!

Она заглянула съ лукавою улыбкой ему въ лицо.

— Или, можетъ быть, ты хочешь, чтобы я сдѣлалась похожей на нее, grude et tirée à quatre épingles? шутливо спросила она и прибавила, словивъ его улыбку:— Нѣтъ, нужно-же приучить ихъ принимать меня такою, какою я хочу быть, какою ты любишь меня, а не такою, какою имъ хотѣлось-бы меня видѣть — покорной овечкой, которую можно стричь! Я, право, не вижу нужды лгать, принижаться и преклоняться передъ ними. Я и такъ много терпѣла отъ нихъ.

Ивинскій улыбался.

— Но можно было сдѣлать менѣе рѣзкій и болѣе тактичный переходъ, началъ онѣ.

— А она? Она съ тактомъ поступила, вмѣшиваясь въ дѣла моего сына, въ мои отношенія къ нему? перебила его Евгенія Александровна. — Я мать и, ужь конечно, не ей дѣлать мнѣ наставленія, когда у нея дѣти — одинъ воръ, убитый на дуэли, а другіе — это просто *enfants terribles*.

— Но вѣдь она правду говорила, мальчуганъ можетъ излѣниться, замѣтилъ Ивинскій.

— Ахъ, не въ профессора же онъ будетъ готовиться! воскликнула Евгенія Александровна. — Я непременно хочу, чтобы онъ былъ военнымъ. Онъ такъ строенъ и красивъ. Это будетъ просто прелесть, когда онъ будетъ военнымъ. Онъ сдѣлаетъ карьеру, помяни мое слово! Съ такой рожицей нельзя не сдѣлать карьеры.

Мысль видѣть Евгенія военнымъ привела въ такой восторгъ Евгенію Александровну, что она даже выбрала полкъ, куда долженъ будетъ поступить Евгеній; она нашла, что ему болѣе всего пойдетъ къ лицу мундиръ царскосельскихъ гусаровъ; она даже мечтала, какъ она будетъ выѣзжать съ нимъ, со своимъ

«мальчуганомъ», на котораго стануть засматриваться всѣ: ее это такъ радовало, потому что другія ея дѣти были еще «маленькіе пискуны», а мужъ — мужъ былъ вѣчно занятъ дѣлами и рѣдко выѣзжалъ съ нею, а теперь у нея будетъ прелестный спутникъ. Вся отдавшійся этимъ грезамъ, она не утерпѣла даже, чтобы не высказать ихъ комунибудь постороннему и на другой день въ ожиданіи панихиды, указывая на Евгенія, замѣтила Мари Хрюминой и какому-то гвардейцу, племяннику покойной княжны:

— А вотъ я и его скоро отдамъ въ гусарскій полкъ!

Евгеній, стоявшій рядомъ съ матерью, вопросительно взглянулъ на нее. Она не замѣтила этого взгляда.

— Онъ будетъ прелестень въ гусарскомъ мундирѣ! проговорила она съ восторгомъ.

— Значить онъ изъ гимназіи выйдетъ? спросила Мари Хрюмина.

— Ахъ, что ему гимназія! Надъ латынью сидѣть? Теперь уже всѣ признали это за глупости и пустую трату времени, небрежно отвѣтила Евгенія Александровна. — Я пони-

маю, что какому-нибудь бѣдняку по необходимости приходится подчиняться всѣмъ этимъ глупымъ требованіямъ, но мой Eugène, слава Богу, не будетъ нуждаться, покуда я жива. Для него я готова всѣмъ, всѣмъ пожертвовать.

Евгеній слушалъ все это, какъ во снѣ, и по его лицу скользила какая-то горькая усмѣшка. Ему было странно и то, что его участію распоряжались, не спросясь его, и то, что къ нему вдругъ почувствовали такую пламенную любовь.

Его пробудило отъ этого забытья пѣніе пѣвчихъ. Печальная церемонія началась: торжественная похоронная процессія, пышная и длинная заупокойная обѣдня, пѣвчіе, старающіеся заливать, какъ колокольчики, голосъ дьякона, доходящій до какихъ-то нелѣпыхъ басовыхъ нотъ и съ разстановкой, съ дрожаніемъ отчеканивающей слова, точно силясь кого-то испугать, затѣмъ отпѣваніе, прощаніе съ покойницей, все это прошло, какъ сонъ, предъ Евгеніемъ — и вотъ онъ уже не видитъ дорогого трупа, лежащаго среди шелка и цвѣтовъ, онъ видитъ простой,

неуклюжій, наглухо заколоченный черный ящикъ, который несутъ въ вагонъ: это простой багажъ, отправляемый по назначенію на такую-то станцію. Вотъ и третій звонокъ, свистокъ оберъ-кондуктора, визгъ локомотива и скрылъ колесъ тронувшася поѣзда — знакомые голоса, знакомыя лица исчезли и Евгеній среди чуждой ему, незнакомой толпы остался съ глазу на глазъ съ Софьей и вздохнулъ широкимъ вздохомъ, точно ему стало легче, вольнѣе послѣ всѣхъ тревогъ этого тяжелаго дня.

— Устали вы, измучились, голубчикъ! проговорила Софья.

— Да, да, и усталъ и измучился! машинально отвѣтилъ онъ и вдругъ улыбнулся горькой усмѣшкой. — А ты знаешь, Софочка, что изъ меня гусара хотятъ сдѣлать?

— Ну, полноте, что это вы, сказала она, недоумѣвая, кто это вдругъ вздумалъ сдѣлать его гусаромъ.

— Нѣтъ, отчего-же и не сдѣлать гусара... форма красивая... я самъ красивая куколка... Отчего-же и не нарядить меня въ гусарское платье? проговорилъ онъ. — Княгиня Марья

Всеволодовна къ дипломатической карьерѣ меня предназначчала... у тамап другіе вкусы... Вѣдь это только у меня нѣтъ ни желаній, ни вкусовъ...

Онъ говорилъ точно бредилъ. Его нервы были разстроены до послѣдней степени. Голова работала какъ-то странно, не нормально. Софья ничего не отвѣтила ему; она видѣла только, что его милое личико осунулось, и знавала, что ему нуженъ отдыхъ.

— Вы усните немного, дорогой мой, посоветовала она.

— Усну, усну! сказалъ онъ. — Мнѣ и то кажется, что я давно сплю и вижу тяжелые сны.

Онъ дѣйствительно закрылъ глаза и погрузился въ забытѣе. Софья заботливо приловчила ему подушку, накинула на его ноги пледъ. Онъ, не открывая глазъ, улыбнулся ласковой улыбкой ребенка въ отвѣтъ на ея заботы. Она грустно покачала головой, вздохнула и начала безцѣльно смотрѣть въ окно. А кругомъ разстилались поля, мелькали деревушки, вездѣ уже шла усиленная работа, весенняя жизнь вступала, въ свои права. И чѣмъ дальше уносился поѣздъ отъ столицы, тѣмъ

зеленѣе становились и лѣса, и поля, и холмы; тамъ-же, въ Сансуси, Евгеній и Софья застали чудную картину весны въ полномъ разгарѣ. Казалось, здѣсь все — каждая травка, каждая птичка, каждый человекъ — все пробудилось, все ожило, все надѣялось. Евгеній слѣдилъ за этимъ пробужденіемъ къ жизни природы и людей и словно зависть зашевелилась въ его душѣ. Только въ ней, въ этой надломленной, усталой душѣ не было ни пробужденія, ни радости, ни надежды. Безъ слезъ, почти равнодушно присутствовалъ Евгеній при погребеніи княжны въ фамильномъ склепѣ, гдѣ воздухъ былъ и сыръ, и холодень, и спертъ; онъ былъ охваченъ какими-то иными думами, не имѣвшими ничего общаго съ этими похоронными обрядами.

Онъ видѣлъ кругомъ бодрый народъ, упорно совершающій свою тяжелую работу; онъ слышалъ толки о томъ, что нынче весна хороша, что дай Богъ, чтобы только лѣтомъ засухи не было да подъ осень дожди по прошлогоднему сѣна не испортили въ сѣнокосѣ, а то все хорошо будетъ; онъ замѣчалъ, что и Софья, окруженная родными, вся отдалась ихъ

интересамъ, говорила съ ними о падежѣ скота въ прошлую осень, о необходимости прикупить еще коровенку да лошаденку, о своемъ желаніи поселиться здѣсь-же, прикупивъ землицы да построивъ новую избу около избы сестры. У всѣхъ были свои чисто реальныя заботы, говорившія о жаждѣ жизни, о надеждахъ на жизнь. Здѣсь всѣ понимали другъ друга, всѣ сочувствовали такъ или иначе понятнымъ для нихъ заботамъ ближнихъ. Онъ одинъ былъ здѣсь чужой, барчукъ, передъ которымъ привѣтливо снимали шапки мужики, но который никого не интересовалъ и ничѣмъ не интересовался и не могъ интересоваться самъ. Разспрашивая о чемъ-нибудь мужика, онъ сознавалъ, что онъ спрашиваетъ «отъ нечего дѣлать», и понималъ, что мужикъ сознаетъ это тоже и отвѣчаетъ только потому, что «отчего-же и не отвѣтить, если барчуку любопытно знать». Въ его душѣ распространялся какой-то холодъ — холодъ отъ сознанія, что онъ лишній здѣсь, что, толкуя съ мужикомъ, онъ только отнимаетъ у работника время, что, заходя въ семью Софьи, онъ только стѣсняетъ эту семью, радушно усажи-

вающую его на первое мѣсто и придумывающую, чѣмъ-бы его угостить, что даже Софья, оставаясь съ нимъ, лишаетъ себя удовольствія посидѣть лишній часовъ въ своемъ кругу, среди родныхъ женщинъ и ребятишекъ, что, наконецъ, она, Софья, напоминая ему, что имъ пора ъхать, въ сущности, рада-бы была совсѣмъ не уѣзжать отсюда и только «ради жалости» къ нему хочетъ ъхать съ нимъ, чтобы ему было не такъ скучно, не такъ тяжело. «Она, можетъ быть, и не сознаетъ, но она рада, что она освободилась, думалось ему. — Теперь она никому не станетъ служить, она не будетъ жить чужими интересами, у нея будутъ свой домъ, своя семья, свои интересы. А у меня... гдѣ мой домъ. моя семья, мои интересы?.. Гдѣ я буду жить, какъ я буду жить? У матери? Она будетъ цѣловать и обнимать меня, покуда я буду лгать и играть роль любящаго сына. Но развѣ я умѣю лгать? Развѣ меня учили этому? Нѣтъ, учили правду говорить, держали такъ, что и нужды не было лгать, а вотъ теперь безъ лжи и шагу не сдѣлаешь. И передъ отчимомъ, и передъ матерью, и передъ княгиней, передо всѣми

нужно будетъ лгать, чтобы не нажить враговъ и хоть покойно доучиться. Нѣтъ, ошибалась та tante, заботясь, чтобы я росъ правдивымъ человѣкомъ. Кто хочетъ жить, тотъ долженъ умѣть лгать. Вотъ стоитъ мнѣ замѣтить матери, что я не люблю и не уважаю ее, что мнѣ извѣстно ея прошлое и что отъ меня не скроется ея настоящее, что я не желаю купаться въ той грязи, куда она, быть можетъ, легкомысленно сама толкнетъ меня, и она сдѣлается моимъ непримиримымъ врагомъ, начнетъ мелочно преслѣдовать меня... Можетъ быть, она выгонитъ меня? Чтожъ, это было-бы хорошо. Но развѣ меня оставить тогда въ покоѣ княгиня Марья Всеволодовна? Развѣ это можетъ ускользнуть отъ слуха этой сыщицы? Да ей мать сама нажалуется на меня! И развѣ княгиня не заставитъ тогда вмѣшаться въ мою жизнь князя Алексѣя Платоновича? Еще-бы! еще-бы! ей-ли равнодушно смотрѣть, какъ гибнетъ мальчикъ, племянникъ ея мужа! Нигилистъ изъ него вырабатывается, онъ сынъ, не признающій власти матери, онъ падаетъ въ пропасть опасныхъ заблужденій. Какъ-же не вмѣшаться въ его

жизнь, не обуздать его, не направить на путь истины! Нѣтъ, нѣтъ, они меня не оставятъ, покуда не измучаютъ совсѣмъ! Онѣ вѣдь всѣ добрыя и заботливыя женщины!» Эти думы все сильнѣе и сильнѣе захватывали душу Евгенія. Въ этой душѣ была горечь, была желчь; онѣ уже не могъ думать послѣдовательно, болѣе или менѣе спокойно; онѣ волновался, раздражался и перескакивалъ отъ одной мысли къ другой. Иногда у него страшно болѣла голова, но это была какая-то тупая, давящая боль, во время которой онѣ уже совсѣмъ не могъ думать. Онѣ не могъ отдѣлаться отъ тяжелаго настроенія ни на минуту, а дни шли своимъ чередомъ. Прошло уже пять дней со дня похоронъ княжны Олимпіады Платоновны и Софья тревожилась и замѣчала Евгенію:

— Пора собираться, Женичка, въ путь дорогу! Пора!

— Да, да, пора, отвѣчалъ онѣ со вздохомъ. — Надо-же кончить чѣмъ-нибудь.

— Евгенія Александровна и такъ, я думаю, уже сердится, замѣчала Софья. — Она вѣдь совсѣмъ уже собралась ѣхать за-границу.

— Ну, и пусть-бы уѣзжала безъ меня! говорилъ Евгеній.

— Нельзя-же... теперь, голубчикъ, ужъ худо-ли, хорошо-ли, а надо подчиняться ей, жить у нея... Вотъ въ совершеннолѣтіе придете — не долго ужъ теперь ждать — тогда и будете дѣлать, что хотите...

— Не долго ждать да дождаться трудно, со вздохомъ говорилъ онъ.

— Что дѣлать, что дѣлать! И всѣмъ не сладко живется, у всѣхъ есть свое горе!

Евгеній молча выслушивалъ эти фразы. Теперь ему начинало казаться, что рѣчь идетъ о комъ-то другомъ, а не о немъ. Это самому ему казалось страннымъ, но это было такъ.

Но день отъѣзда изъ Сансуси онъ все-таки отлагалъ.

— Хочется насмотрѣться на все, подышать въ послѣдній разъ весною, говорилъ онъ Софьѣ.

По цѣлымъ днямъ онъ бродилъ по знакомому парку, по знакомымъ полямъ, вспоминая счастливые годы своего дѣтства. Разъ во время такой прогулки онъ дошелъ до того са-

маго пригорка, гдѣ когда-то онъ проводилъ цѣлые часы съ Петромъ Ивановичемъ передъ отъѣздомъ изъ Сансуси. Передъ нимъ широко раскинулись поля, залитыя весеннимъ солнцемъ; то тамъ, то тутъ чернѣлись фигуры мужиковъ и крестьянскихъ лошадей, работавшихъ въ полѣ; въ воздухѣ былъ разлитъ смолистый ароматъ распускавшихся на деревьяхъ почекъ и листьевъ. Онъ сѣлъ у опушки парка и задумался. Воспоминанія о матери, объ отцѣ, о родныхъ проходили въ его головѣ. Онъ чувствовалъ ко всѣмъ этимъ людямъ и ненависть, и презрѣніе. «Можетъ быть, и я не лучше выйду, мелькало въ его умѣ. — Также буду коптить землю и ѣсть чужой хлѣбъ... Яблоко не далеко укатывается отъ яблони. Буду шалопаемъ и праздношатающимся, какъ теперь. Вонъ хожу изъ угла въ уголь да занимаюсь размышленіями, когда другіе работаютъ до поту лица. И какъ мнѣ работать, подготовиться къ дѣятельности? Чтобы подготовиться къ ней, нужно спокойствіе, нужно отдаться вполне ученью, а развѣ въ домѣ моей матери, подъ ея вліяніемъ, среди вѣчнаго притворства передъ нею или вѣчныхъ раздоровъ и съ

нею, и съ княгиней, и со всей этой кликой, — можно быть спокойнымъ, можно думать только объ ученїи, о подготовкѣ себя къ дѣятельности, о добровольномъ избранїи дороги... Да и силы на это нужны не дюжинныя. А что я? Только и умѣю, что ныть да бездѣйствовать». Его глаза случайно упали на ружье и по его лицу скользнула усмѣшка. «Съ ружьемъ тоже, когда стрѣлять нельзя! пронеслось въ его головѣ. — Для себя, что-ли, взять?»... Онъ взялъ ружье въ руки и сталъ его разсматривать, точно онъ никогда не видалъ его прежде, а между тѣмъ онъ бралъ его ежедневно съ собою «галокъ пугать», какъ онъ самъ выражался. Мысль о смерти вдругъ назойливо, неотступно начала шевелиться въ его головѣ. «Умереть, думалъ онъ, — никого не тревожить, никому не мѣшать, никому не вредить и самому найдти полное успокоеніе, безповоротно, навсегда». Ему вспомнилось лицо тетки, когда она лежала въ гробу. «Точно спала безмятежнымъ сномъ». Ему даже стало странно, какъ это раньше не пришла ему въ голову эта мысль о самоубійствѣ. Ему показалось такъ хорошо, такъ легко умереть

здѣсь въ дали отъ всѣхъ нелюбимыхъ людей, лечь рядомъ съ теткой въ любимомъ Сансуси. «Экій просторъ-то необозримый и какое полное затишье! А небо-то глубокое, синее!» Онъ любовался природой, точно онъ наслаждался мыслью, что ему предстоитъ здѣсь жить, а не умереть. «А Оля?» вдругъ пронесся въ его головѣ вопросъ. «Да развѣ я могу чѣмъ нибудь быть ей полезенъ? Петръ Ивановичъ, Софочка лучше меня позаботятся о ней», мысленно отвѣтилъ онъ на этотъ вопросъ и вдругъ ему стало такъ жаль Софочку. «Горько будетъ плакать бѣдняжка!» «А потомъ и забудеть», тотчасъ-же закончилъ онъ мысленно. «И всѣ, всѣ забудуть! И о чемъ долго плакать? О томъ, что однимъ лишнимъ ртомъ на свѣтѣ меньше стало? О томъ, что человѣкъ успокоился?» Онъ вынулъ изъ кармана записную книжку, вырвалъ изъ нея листокъ и наскоро написалъ карандашомъ: «Софочка, прости меня и не плачь. Мнѣ такъ лучше». Онъ долго смотрѣлъ на этотъ листокъ, на эти двѣ строки. «Такъ лучше! Точно-ли лучше? А если тамъ?»... онъ не dokonчилъ мысли и махнулъ рукою: «Нѣтъ, нѣтъ, чѣмъ скорѣе кончить,

тѣмъ лучше, а то и на это не хватитъ силенки». Онъ взвелъ курокъ, привязаль собачку ружья къ ногѣ, приставиль дуло къ виску. Не прошло и двухъ минутъ, какъ раздался выстрѣль и Евгеній съ пробитой головой какъ-то судорожно весь вздрогнулъ и, какъ подстрѣленная птица, свернулся на бокъ на свѣжей душистой травѣ. Работавшіе далеко въ полѣ мужики даже не обернулись при выстрѣлѣ: мало-ли кто «палить» въ лѣсу и въ паркѣ!

Х

— Боже мой, что это за молодежь, у которой нѣтъ ни религіознаго чувства, ни сознанія человѣческаго долга, ничего, ничего, кромѣ малодушія и матеріализма! Тяжело жить, не нравится жить — взялъ ружье, спустиль курокъ и конецъ! Что ждетъ насъ съ такимъ молодымъ поколѣніемъ? Куда оно насъ приведетъ? Сегодня эти люди могутъ покончить съ собою, тяготясь жизнью; завтра они могутъ направить ударъ въ тѣхъ, кто, по ихъ мнѣнію, мѣшаетъ имъ жить и своевольничать. У кого нѣтъ ничего святого, отъ того

можно ждать всего преступнаго. Мы положительно живемъ наканунѣ какой-то страшной катастрофы!

Это говорила и повторяла на всѣ лады княгиня Марья Всеволодовна, узнавъ о смерти Евгенія и сердясь даже, что его похоронили «не гдѣ нибудь тамъ, въ сторонѣ», а въ фамильномъ склепѣ князей Дикаго. Это ей казалось оскверненіемъ святого мѣста, гдѣ покоились предки и родные ея мужа.

— Ахъ, онъ растерзалъ мое сердце!.. Я никакъ не думала, что онъ этимъ отплатитъ за мою любовь въ нему, за мои ласки, за то, что я столько лѣтъ мучилась въ разлукѣ съ нимъ! Я только что начала отдыхать, успокоиваться, надѣяться и вдругъ этотъ ударъ!.. И чего ему не доставало, что его мучило, — я ничего, ничего не могу понять въ этомъ роковомъ самоубійствѣ! Нѣтъ, онъ бѣдный мальчикъ, просто помѣшался отъ горя, потерявъ княжну. Я хочу, я должна этому вѣрить, потому что въ этой мысли все мое утѣшеніе!..

Это говорила Евгенія Александровна, истерически рыдая при вѣсти о смерти сына и торопясь уѣхать для поправленія здоровья за-

границу, куда она такъ сильно торопилась, что забыла даже заѣхать въ институтъ проститься съ дочерью. Впрочемъ, Евгенія Александровна теперь не вѣрила и въ любовь дочери, не вѣрила и въ ея благодарность.

— Всегда нужно было предвидѣть чтонибудь подобное! я никогда не ждала отъ него ничего лучшаго! лаконично восклицала Мари Хрюмина, на долю которой выпадала теперь очень пріятная и не безвыгодная роль утѣшительницы огорченной Евгеніи Александровны. Старая дѣва почувствовала теперь подъ ногами почву и не боялась, что ктонибудь ототретъ ее отъ госпожи Ивинской. Евгенія Александровна была раздражена и сердита на всѣхъ, а бранить всѣхъ и cadaго никто не умѣлъ лучше Мари Хрюминой: это связывало теперь обѣихъ женщинъ неразрывными узами дружбы.

Князь Алексѣй Платоновичъ, когда ему жена трагическимъ тономъ передала эту «ужасную новость», коротко и разсѣянно спросилъ:

— Какой такой Евгеній?

Жена объяснила ему, что это сынъ Владиміра Хрюмина, вотъ тотъ мальчикъ, ко-

торый жилъ у покойной княжны Олимпіады Платоновны.

— А, да, да, помню! сказалъ тогда князь все также разсѣянно. — Съ чего-же это онъ? спросилъ онъ равнодушнымъ тономъ потомъ.

Княгиня начала ему объяснять и рисовать въ яркихъ краскахъ испорченность Евгенія, его непокорность, его строптивость и перешла къ общему вопросу о паденіи нравовъ среди молодежи, о массѣ самоубійствъ и преступленій среди «этихъ гимназистовъ и школьниковъ».

— Деруть мало! добродушно рѣшилъ, зѣвая, князь, во всю свою жизнь никого не дравшій, вѣчно потакавшій всѣмъ своимъ дѣтямъ и кутившій постоянно съ безбородой молодежью.

Въ сущности, князя нисколько не интересовалъ Евгеній, котораго онъ даже и не зналъ почти: онъ выслушалъ и эту новость, и эти разсужденія жены, какъ выслушивалъ многое въ своемъ домѣ, — скучая и торопясь ускользнуть куда нибудь въ болѣе веселое общество, къ какой-нибудь кокоткѣ, на какой-нибудь пикникъ.

— Господи, самъ на себя руки наложилъ! Грѣхъ то какой! Грѣхъ то какой великій! Отпусти ему, Господи! За чужіе грѣхи загубилъ свою душу ангелъ, ни въ чемъ неповинный, за чужіе!.. Вонъ какой худенькій да блѣдненькій лежитъ!.. Не знаешь теперь, голубчикъ, что Софочка ручки твои цѣлуетъ! Не обнимешь ее больше, не приголубишь, ненаглядный мой! плакала Софья, цѣлуя блѣдныя, скрещенныя на груди руки Евгенія и горячо молясь о спасеніи его души.

Оля въ институтѣ безмолвно, одиноко, по ночамъ оплакивала брата.

Петръ Ивановичъ, узнавъ скорбную новость, махнулъ безнадежно рукою, проговорилъ, что «и многихъ, и многихъ жизнь до этого доводитъ», и сильно выпилъ въ этотъ день съ пріятелемъ въ трактирѣ, философствуя о жизни и о смерти, объ отцахъ и дѣтяхъ, о загубленныхъ натурахъ, причемъ съ каждой новою рюмкой вина, съ каждымъ новымъ стаканомъ пива онъ все сильнѣе и сильнѣе обвинялъ всѣхъ за гибель молодежи и не щадилъ даже себя, говоря, что «еслибы онъ, Петръ Ивановичъ, не былъ тряпкой и

размазней, такъ не погибъ-бы этотъ мальчуганъ». Затѣмъ Петръ Ивановичъ пересчитывалъ всѣ свои грѣхи и дошелъ даже до такихъ мелочей, какъ, на примѣръ, то, что онъ словно забылъ о Евгеніи во время похоронъ княжны и «не вникъ именно въ это время въ его душу», «не подбодрилъ его». Обвиненія шли все crescendo вплоть до закрытія трактира, а потомъ началось прощаніе съ пріятелемъ съ поцѣлуями и слезами, съ восклицаніями, что «и жизнь наша подлая, и всѣ мы подлецы», съ обвиненіемъ себя даже въ томъ, что «и фразы то эти не самъ онъ, Петръ Ивановичъ, выдумалъ, а у одного аблакаты подлаго заимствовалъ».

Отецъ Евгенія... но объ отцѣ Евгенія никто и не вспоминалъ, никто и не зналъ, гдѣ онъ проживаетъ жизнь, у кого живетъ на содержаніи, какъ кокотка, никто не могъ извѣстить его о томъ, что его сынъ застрѣлился. Да едва ли Владиміру Аркадьевичу и было интересно знать объ этомъ...

Толки объ этомъ событіи продолжались не долго; потомъ всѣ мало по малу забыли о Евгеніи. Да гдѣ-же и помнить обо всѣхъ нало-

жившихъ на себя руки юношахъ, ничего еще не сдѣлавшихъ замѣчательнаго, ничѣмъ особеннымъ не отличавшихся, не обѣщавшихъ въ будущемъ ничего, что бы давало право возлагать на нихъ ближнимъ и обществу болѣе или менѣе крупныя надежды? Они являются и исчезаютъ, какъ пузыри на водѣ лужь въ дождливые дни, — безъ нужды и безъ слѣда. Не разсуждать-же въ самомъ дѣлѣ людямъ о томъ, отчего эти юноши не подавали никакихъ надеждъ другимъ и ни на что не надѣялись сами, почему они были несчастны и только жили для того, чтобы тяготиться жизнью, какъ они дошли до того, что въ пору, когда все надѣется и ловить каждую минуту жизни, они стремились только покончить съ этою жизнью? Не производить-же людямъ позднія слѣдствія для разбора того, кто былъ виноватъ въ той или другой неудачной жизни, въ той или другой преждевременной смерти, за свои или за чужіе грѣхи платились эти дѣти, много ли такихъ дѣтей растетъ около насъ и нужно ли плакать объ этихъ дѣтяхъ, когда они остаются влачить свое безцвѣтное, вялое существованіе, или нужно

хладнокровно сказать вмѣстѣ съ ними, что «такъ лучше», когда они разомъ превращаютъ это существованіе, не обѣщающее въ будущемъ ни пользы обществу, ни радости имъ самимъ? Кромѣ того общество и привыкло къ этому, какъ можно привыкнуть ко всему: третьяго дня застрѣлился мальчикъ, не выдержавшій экзамена и боявшійся вернуться домой; вчера зарѣзался юноша, безнадежно влюбившійся въ дѣвушку; сегодня утопился мальчуганъ, котораго хотѣли дома за что то высѣчь; завтра, можетъ быть, покончить съ собою кто нибудь просто потому, что ему «жить скучно». Все мелкія причины, все мелкія души! Да, дѣйствительно, это мелкія причины, это мелкія души! И гдѣ-же, съ одной стороны, сосчитать, сколько этихъ мелкихъ причинъ накапливается въ жизни юноши, прежде чѣмъ ими переполнится чаша терпѣнія; гдѣ-же, съ другой стороны, прослѣдить подъ какими вліяніями, при какой обстановкѣ вырабатываются такія души, почему онѣ мельчаютъ?

Смерть Евгенія была финаломъ, закончившимъ разныя тревоги въ маленькомъ

кружкѣ дѣйствующихъ лицъ этой исторіи и затѣмъ въ этомъ кружкѣ все пошло обычной колеей, точно ничего и не случилось особеннаго. Такъ, когда въ воду падаетъ что-нибудь, на гладкой поверхности этой стоячей воды появляются рѣзкіе круги, потомъ они расходятся все дальше и дальше, дѣлаются все слабѣе и слабѣе и потомъ поверхность воды снова становится гладкою, и черезъ нѣсколько минутъ никто и не угадаетъ, что эта вода поглотила навсегда что-нибудь, упавшій въ нее камень, брошенный въ нее трупъ или погрузившагося въ ея глубину живого человѣка. О самоубійствѣ Евгенія говорили, какъ объ одной изъ сотенъ новостей, потомъ явились болѣе интересныя новости и о ней уже никто не вспоминалъ.

Интереснѣе всего было то, что всѣ забыли даже о существованіи Ольги, точно о ней забылись до сихъ поръ только потому, что она была сестрой своего брата. Это часто бываетъ въ жизни дѣвочекъ. Впрочемъ, она была въ институтъ — чего-же объ ней и думать? Пристроена — и отлично! Вотъ доучится — тогда надо будетъ выдать ее замужъ. Княгиня

Марья Всеволодовна не имѣла ни охоты, ни времени ѣздить къ дѣвочкѣ; къ тому-же дѣло шло къ лѣту, къ переѣзду въ деревню, къ отдыху отъ столичныхъ заботъ и волненій; напоминать о ней Евгеніи Александровнѣ княгиня считала не нужнымъ и даже лишнимъ, такъ какъ «такая мать можетъ только испортить то, что привьетъ институтъ». Евгенія-же Александровна, не думавшая о дочери и прежде, теперь совершенно забыла о ней, такъ какъ никто не напоминалъ ей о дочери. Кромѣ того Евгенія Александровна теперь вдругъ стала очень слаба здоровьемъ и постоянно нуждалась то въ совѣтахъ парижскихъ докторовъ, то въ морскихъ купаньяхъ во Франціи, то въ путешествіяхъ по Италіи. Она была теперь законная жена Ивинскаго и ей было возможно, не боясь ничего, и мотать его деньги, и оставлять его одного въ Петербургѣ, утѣшая его тысячами нѣжныхъ названій и миліонами поцѣлуевъ въ письмахъ. Софья, поселившись на родинѣ, изрѣдка пріѣзжала въ Петербургъ посмотреть «на свою дѣвочку», но старухѣ было уже не легко подниматься съ мѣста и тратить деньги на проѣзды. И такъ

хорошо, такъ свободно, такъ тихо жилось ей въ родномъ углу, въ родной семьѣ, что каждая ея отлучка изъ Сансуси была большою жертвой съ ея стороны. Когда она рассказывала Ольѣ, какъ тамъ въ деревнѣ плакали «ея ребяташки», отпуская ее въ Петербургъ, какъ они просили ее поскорѣе вернуться назадъ — Ольѣ становилось стыдно просить Софочку бывать почаще, гостить подольше въ, Петербургъ. Только Петръ Ивановичъ да его старушка мать по прежнему посѣщали Ольгу и одинъ Петръ Ивановичъ зналъ, что творилось въ ея душѣ.

— Скажите, Евгенія Александровна не была у васъ? спросилъ онъ какъ-то Олю.

— Нѣтъ, я думаю она даже и забыла, что я существую, отвѣтила грустно Ольга.

— А княгиня Марья Всеволодовна? спрашивалъ Рябушкинъ.

— О, она, должно быть, вполне спокойна за меня. Я заперта здѣсь, какъ въ тюрьмѣ, значить и прекрасно! отвѣтила Ольга съ горечью.

Этотъ оттѣнокъ грусти и горечи почти постоянно слышался теперь въ ея рѣчахъ. Крот-

кая, спокойная, любимая всѣми подружками, всѣми классными дамами, она начинала тоскливо заглядывать въ будущее, не обѣщавшее ей ничего отраднаго: она сознавала, что тамъ, за стѣнами института, у нея нѣтъ ни своего гнѣзда, ни близкихъ и любящихъ людей и боялась того дня, когда передъ нею распахнется настѣжь дверь къ свободѣ.

Разъ она спросила Рябушкина:

— Скажите, Петръ Ивановичъ, отчего меня всегда и всѣ забывали.

— То есть какъ это забывали? спросилъ онъ въ недоумѣніи.

— Да такъ: всѣ какъ будто думали, что мнѣ живется вполнѣ хорошо, и не заботились обо мнѣ, отвѣтила она. — У ma tante дали мнѣ куклы, увидали, что я играю ими, — и успокоились. Потомъ отдали въ институтъ, увидали, что я сыта, что меня учатъ, что сбѣжать я не могу, — и опять забыли...

— Женская доля! отвѣтилъ Петръ Ивановичъ. — На женщину всегда такъ смотрятъ: сперва думаютъ, что куклы для ея счастья достаточно, потомъ считаютъ, что достаточно ее куда-бы то ни было на полный пансіонъ

сбыть, дальше — надѣлають вамъ новыхъ платьевъ, повозятъ по баламъ и если найдется женихъ, тогда и послѣднія заботы о васъ кончатся. Впрочемъ, для васъ лично — это счастье, что о васъ слишкомъ мало заботились: Евгенийъ и теперь-бы жилъ, если-бы его также безъ хлопотъ и заботъ куда-нибудь въ Пажескій корпусъ или въ Лицей заперли, если-бы поменьше опасались и за его идеи, и за его товарищество, и за его карьеру... Очень ужъ опасались что изъ него какой-то санкюлотъ и заговорщикъ выйдетъ, вотъ и загубили. Въ васъ-же были увѣрены, что какъ-бы вы не росли, а замужъ съ хорошенькимъ личикомъ все таки выйдете, ну, и оставили васъ въ покоѣ...

— Но если-бы вы знали, какъ благодарна я вамъ, что хоть вы не бросили меня! проговорила Ольга, какъ-бы продолжая въ слухъ свои думы, и горячо сжала руку Рябушкина. — Я никогда, никогда этого не забуду...

— Да вы развѣ сомнѣвались когда-нибудь въ моей любви въ вамъ? просто и откровенно спросилъ Рябушкинъ.

Ольга вся вспыхнула и прошептала въ

смущеніи:

— Я такая дѣвочка передъ вами... глупенькая... смѣшная!

— Милая моя, что вы выдумываете! засмѣялся Рябушкинъ, пожимая ея руку. — Мы-же съ вами старые друзья!

Она вдругъ подняла на него молящій, полный слезъ взглядъ.

— Петръ Ивановичъ, прошептала она едва слышно, — ради Бога никогда, никогда, не оставляйте меня!.. Я вѣдь совсѣмъ одна на свѣтъ...

У него даже сердце защемило отъ этой мольбы.

«Бѣдная дѣвочка! думалъ Петръ Ивановичъ. — Тяжело ей придется жить у матери. Впрочемъ, выйдетъ замужъ. Долго не засидится. Хороша собой, молода!.. Да, счастливъ будетъ тотъ, кто заставитъ ее полюбить себя. Она такая чистая, такая невинная, такая кроткая! Изъ нея, какъ изъ воска, все можно вылѣпить. Только-бы не попалась въ руки какого-нибудь свѣтскаго негодяя, какого-нибудь сластолюбиваго старца! Отъ этого ее спасти надо!»

И точно, Ольга была большой, наивный ребенокъ, жаждавшій только ласки и любви. Ея душа была безмятежно спокойна и ясна и только боязнь, остаться одинокой послѣ выпуска смущала ее. Подчасъ она мечтала, что она навсегда останется въ институтѣ, какъ въ монастырѣ монахиня, что она будетъ вѣчно среди знакомыхъ классныхъ дамъ, среди знакомой обстановки и тихо, тихо доживетъ здѣсь свой вѣкъ. Иногда ей грезилось, что хорошо-бы было, еслибы мать позволила ей уѣхать къ Софьѣ, жить въ деревнѣ, учить дѣтей и тоже жить тихо, тихо тамъ, въ глуши, гдѣ ее будутъ всѣ любить и уважать, какъ добрую учительницу. Порой ей приходило въ голову, что было-бы еще лучше, если-бы тамъ былъ и Петръ Ивановичъ. «Онъ такой добрый, ласковый, думала она. — Я съ нимъ близка, какъ съ братомъ; отъ него я ничего не могу скрыть; когда онъ со мною, я счастлива и покойна». Чѣмъ болѣе приближалось время выпуска изъ института, тѣмъ страшнѣе становилась для Оли мысль о переѣздѣ въ домъ матери. Она совсѣмъ не знала мать; окружающихъ мать людей, своихъ родныхъ она не

любила; ей казалось страшнымъ переселеніе въ этотъ кругъ. Ей казалось, что она не съумѣетъ тамъ ни говорить, ни держать себя. А время летѣло быстро и пора послѣднихъ экзаменовъ, пора выпуска приближалась...

Разъ во время посѣщенія Петра Ивановича Ольга обратилась къ Рябушкину съ вопросомъ:

— Петръ Ивановичъ, вы не знаете, здѣсь ли моя мать?

— Не знаю. Если хотите, справлюсь, отвѣтилъ онъ.

— Да, надо узнать... Выпускъ скоро, сказала Ольга. — Надо-же подумать, какъ жить...

— Я съѣзжу къ ней.

— Петръ Ивановичъ, попросите ее не брать меня къ себѣ...

Петръ Ивановичъ немного удивился этой просьбѣ.

— Но какже, началъ онъ.

— Пусть меня возьметъ ваша мать, сказала Ольга. — Я буду работать... у меня, какъ вы говорите, есть доходъ съ земли, такъ я платить буду... Но я не хочу идти туда, къ своей матери... Какая я свѣтская дѣвушка!

Петръ Ивановичъ покачалъ головой.

— Она не согласится, въ раздумьи сказалъ онъ. — И кромѣ того моя мать живетъ со мной на казенной квартирѣ въ гимназіи... какъ-же вы будете у насъ жить... все-таки я холостой... это неловко...

Она подняла на него полные слезъ глаза.

— И вы не хотите взять меня къ себѣ? прошептала она съ кроткимъ укорбмъ въ голосъ.

Она показалась ему такою прекрасною, такою чистою въ эту минуту, что онъ невольно протянулъ ей обѣ руки и въ волненіи проговорилъ:

— Что вы, что вы! Развѣ я говорю, что я не хочу васъ взять, милая моя!.. я говорю, что неудобно вамъ жить у меня... у холостого...

И вдругъ ему при этой фразѣ невольно вспомнились слова, сказанныя когда-то Евгениемъ: «женитесь на Ольгѣ». Онъ даже смутился и покраснѣлъ при этомъ воспоминаніи, точно ему пришла въ голову какая-то грѣшная мысль. Она сидѣла передъ нимъ, опустивъ голову, сложивъ на колѣняхъ руки, и словно ждала чего-то покорно и робко, не смѣя болѣе просить и настаивать. Съ

минуту длилось тяжелое молчаніе. Наконецъ, Петръ Ивановичъ сдѣлалъ надъ собой усиліе и прервалъ его.

— Оля, тихо и не смѣло проговорилъ онъ, — вы могли-бы войти въ мой домъ только какъ моя невѣста, какъ моя жена... Если-бы вы захотѣли...

У нея вырвалось изъ груди какое то слабое восклицаніе и она быстро, тайкомъ и словно пугливо сжала его руки, точно хотѣла сказать: «молчите, молчите!»

— Такъ какъ-же, Оля? спросилъ онъ по прежнему тихо, но болѣе твердо.

— Да, да! въ волненіи прошептала она. — О, если-бы вы знали, какъ я счастлива!.. Но... идите... идите... здѣсь нельзя говорить...

Она быстро поднялась съ мѣста, вся розовая, вся сіяющая. Она, казалось, боялась, что она не выдержитъ и тутъ-же при всѣхъ бросится въ его объятія.

— Идите... идите къ моей матери... скажите ей все! проговорила она, задыхающимся голосомъ. — О милый, я не знала сама, какъ я люблю васъ!..

Она уже скрылась изъ залы, а Петръ Ива-

новичъ, точно оглушенный, точно ослѣпленный, все еще стоялъ неподвижно на мѣстѣ...

Петръ Ивановичъ шелъ изъ института, словно опьянѣвъ отъ счастья. Еще четверть часа тому назадъ ни онъ, ни Ольга даже и не подозрѣвали и не предчувствовали того, что съ ними случится въ это утро. «И какъ это я не догадывался, что я давно люблю ее! бормоталъ онъ съ улыбкой на лицѣ. — Раздумывалъ, за кого она выйдетъ, за свѣтскаго шелоупая или за сластолюбиваго старца!.. Да развѣ я могъ-бы спокойно уступить ее кому-нибудь? Развѣ я не потому ходилъ сюда, что я не могу жить безъ нея?.. Вѣдь на меня тоска нападала, когда я хоть одинъ пріемный день пропускалъ и не видалъ этого дѣтскаго личика... И все-таки по обыкновенію нужно было подтолкнуть, навести на мысль, чтобы я понималъ это, чтобы объяснился... Самъ никогда ничего не пойму, ни на что не рѣшусь!.. Байбакъ, право, байбакъ!.. Милая, она тоже не понимала ясно, что любить меня. Какъ просвѣтлѣло это личико отъ счастья... точно переродилась она... И какъ объяснились... гдѣ

объяснились!.. Теперь скорѣе, скорѣе нужно хлопотать обо всемъ... Ну, вотъ и къ тихому пристанищу причалимъ и конецъ тревоженіямъ. Что-жъ, и пора... и пора... чины тоже имѣемъ... ну, и на дорогѣ стоимъ... все честь честью!» Онъ и смѣялся, и рассчитывалъ, и напѣвалъ что-то, направляясь домой. Онъ дошелъ почти до своего дома и вдругъ вернулся. «Нѣтъ, прежде пойду къ ея матери, проговорилъ онъ вслухъ. — Скорѣй нужно все покончить, все выяснить... А вдругъ Евгенія Александровна за-границей... Какъ быть тогда?.. Ну, что-жъ, къ господину Ивинскому обращусь... Не волкъ тоже, не съѣстъ!»

Онъ, однако, засталъ госпожу Ивинскую дома. Его приняли. Евгенія Александровна, по обыкновенію, все еще цвѣтущая и нарядная, приняла его въ гостиной, прищурила глазки и спросила:

— Чѣмъ могу быть вамъ полезной?

Она держала себя съ достоинствомъ, немного чопорно, разыгрывая роль вліятельной женщины, привыкшей къ тому, что къ ней являются просители.

Рябушкинъ вѣжливо объяснилъ, кто онъ

и отъ кого онъ пришелъ. Она какъ будто удивилась чему-то, — можетъ быть, тому, что ей напоминають о дочери, или тому, что дочь еще помнитъ о ней, — указала ему на кресло и быстро заговорила:

— Я только что вернулась недавно изъ за-границы и еще не успѣла посѣтить Олю... Я все больна послѣ этой страшной катастрофы... въ мои годы такіе удары не проходятъ даромъ...

Она какъ будто оправдывалась отъ какихъ-то невысказанныхъ ей обвиненій.

— Ну, вамъ еще рано говорить о своихъ годахъ, замѣтилъ съ любезною улыбкой Рябушкинъ, дѣйствительно залюбовавшись ея свѣжестью и здоровьемъ. — Вы кажетесь старшей сестрой своей дочери...

— Старшей... на двадцать лѣтъ? засмѣялась Евгенія Александровна и вдругъ перешла въ свой обычный задушевный, немного фамиллярный, немного вульгарный тонъ: — Ахъ, нѣтъ, monsieur Рябушкинъ, молодость трудно сохранить, переживъ все то, что пережила я... Вы, конечно, не знаете всего, но если-бы рассказать, вы удивились-бы, какъ

выдержали все это мои нервы!.. И еще Богъ знаетъ, что ждетъ впереди... Я немного неудачница!.. Теперь вотъ начнутся заботы объ Ольѣ... Она едва-ли любить меня... мы мало знаемъ другъ друга... ее вооружили...

— Я и пришелъ собственно затѣмъ, чтобы переговорить съ вами о ней, осторожно перебилъ ее Рябушкинъ. — Вы знаете, что я по волѣ покойной княжны Олимпіады Платоновны завѣдую небольшими средствами и небольшимъ клочкомъ земли, оставленными вашей дочери княжной... Это заставляло меня не прерывать сношеній съ вашей дочерью... кромѣ того я давно успѣлъ полюбить и ее, и покойнаго Евгенія, занимаясь ихъ образованіемъ... мнѣ было жаль бросить забытую всѣми дѣвочку...

— Благодарю васъ, что вы заботились о моей бѣдной дѣвочкѣ! быстро сказала Евгенія Александровна и протянула Рябушкину руку. — Я не могла заботиться о ней, какъ бы слѣдовало... мое здоровье было разстроено и кромѣ того у меня другая семья... Ахъ, не вините меня за холодность... если-бы вы знали, вы-бы...

— Помилуйте, опять перебилъ ее Рябушкинъ, — я и не думаю обвинять васъ въ чемъ-нибудь. Напротивъ того, я пришелъ къ вамъ съ просьбой, какъ къ матери Ольги Владиміровны, какъ къ женщинѣ, вполне понимающей, что значитъ любовь, что значитъ семейное счастье...

Рябушкинъ совершенно не зналъ, какъ кончить начатую рѣчь. Такихъ объясненій съ барынями онъ никогда еще не вель. У него точно что перехватило горло.

— Вы, конечно, желаете Ольгѣ Владиміровнѣ всего лучшаго, снова заговорилъ онъ черезъ минуту, — и, разумѣется, понимаете, что величайшее счастье для нея, если она можетъ устроиться... то есть выйдти замужъ... по любви, по страсти...

Онъ перевелъ духъ, ругая себя въ душѣ за неумѣхость, за неразвязность. На его лбу выступилъ даже потъ. Въ его головѣ шевелилась мысль, что никогда онъ не объяснялся такъ глупо и такъ неумѣло.

— Она влюбилась въ кого-нибудь? быстро спросила Евгенія Александровна и весело засмѣялась:— Дитя! Онъ въ институтахъ всегда

воображаютъ, что въ кого-нибудь влюблены... въ учителя... въ швейцара...

— Нѣтъ... это не штука!.. она, то есть я... мы оба любимъ другъ друга, сказалъ Рябушкинъ, окончательно путаясь и запинаясь.

— А! она влюблена въ васъ! Поздравляю! У нея недурной вкусъ! сказала Евгенія Александровна и прищурилась, вглядываясь въ Петра Ивановича. — Но она еще совсѣмъ дѣвочка!..

— Ей семнадцать лѣтъ, сказалъ Рябушкинъ.

— Семнадцать?.. Да, да!.. Ахъ, какъ идетъ время! какъ идетъ время! воскликнула Евгенія Александровна, качая головкой.

— Я пришелъ просить ея руки, разомъ закончилъ Петръ Ивановичъ, точно сваливая тяжелую ношу.

— Что-же... мой мужъ не откажется помочь ей въ приданомъ... у него есть связи и онъ можетъ дать и вамъ хорошее мѣсто, проговорила Евгенія Александровна въ раздумья.

— Мнѣ ничего не надо... я теперь вполне обезпеченъ, поторопился сказать Рябушкинъ. — Мнѣ только нужно ваше согласіе, какъ матери... Я надѣюсь...

— Ахъ, да, да! сказала Евгенія Александровна, точно дѣло шло о какомъ-нибудь приглашеніи на балъ. — Я ничего не имѣю противъ васъ... Я желаю ей счастья и если она любитъ, то не мнѣ идти противъ ея желанія... Вѣдь вы сдѣлаете мою дѣвочку счастливою, не правда-ли? съ чувствомъ произнесла она, протягивая ему руку. — Впрочемъ, что я говорю... Вы и молоды, и хороши собою, и, вѣрно, добры, такъ развѣ она можетъ быть несчастлива съ вами!

Рябушкинъ поцѣловалъ горячо у Евгеніи Александровны руку. Евгенія Александровна поцѣловала его въ лобъ. Она была такъ расстрогана этой умилительной сценой, сознавая, что она, какъ любящая мать, устраиваетъ счастье своей дочери.

— Когда-же вы думаете устроить свадьбу? спросила она дружескимъ тономъ, держа его за руку.

— Тотчасъ послѣ выпуска Оли изъ института, отвѣтилъ онъ.

— Значить надо скорѣе торопиться все приготовить! торопливо сказала она, точно дѣло шло о приготовленіи всего нужнаго сей-

часъ-же. — Положитесь во всемъ на меня. Я хочу, чтобы моя дѣвочка вышла замужъ вполне прилично и позабочусь обо всемъ, обо всемъ сама.

— Но мы сдѣлаемъ все это какъ можно скромнѣе, замѣтилъ Рябушкинъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я все устрою! перебила она его. — Я хочу, чтобы на васъ всѣ любовались, чтобы вамъ всѣ завидовали! Вы будете прелестною парой.

У Евгеніи Александровны уже явился цѣлый планъ приготовленій къ свадьбѣ устройства свадебнаго пира, пріема молодыхъ. Она даже объявила, что она будетъ крестить ихъ перваго ребенка. При этомъ она расхохоталась самымъ задушевымъ смѣхомъ, вспомнивъ, что она будетъ скоро «бабушкой». Рябушкинъ тоже не могъ удержаться отъ смѣха и сказалъ какую-то двусмысленность. Между нею и имъ сразу завязались дружескія, искреннія отношенія.

— Вы сегодня обѣдаете у насъ, я васъ представлю моему Жаку, сказала Евгенія Александровна. — Онъ у меня немножко сухой педантъ, но добрый, милый человекъ...

— Но меня ждетъ дома мать, попробоваль отговориться Рябушкинъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, и слушать не хочу! Дайте знать старушкѣ, что вы обѣдаете у меня — вотъ и все! Я пошлю лакея съ вашимъ письмомъ! рѣшительно отвѣтила Евгенія Александровна. — А васъ не отпущу ни за что.

Она взяла изъ рукъ Петра Ивановича шляпу и спрятала ее...

Не прошло и часу, какъ Рябушкинъ уже игралъ и балагурилъ съ дѣтьми Евгеніи Александровны, смѣшилъ ее двусмысленными анекдотами и чувствовалъ себя здѣсь, какъ дома. Ивинскому Онъ былъ отрекомендованъ, какъ «будущій родственникъ». За столомъ пили за его здоровье, за его будущее счастье. Вечеромъ Евгенія Александровна увезла его на елагинскую стрѣлку, чтобы воспользоваться чудесной весенней погодой...

Когда онъ возвратился домой, онъ былъ вполнѣ очарованъ и счастливъ. Этотъ день, полный неожиданностей, прошелъ для него, какъ свѣтлый сонъ. Дома онъ далеко за полночь объяснялъ своей матери, какъ онъ любитъ Олю, какъ приняла его Евгенія Алексан-

дровна, какъ обязательно предложилъ ему Ивинскій свои услуги, если ему понадобится протекція. Старушка Рябушкина, какъ всегда, слыша, что ея сына обласкали добрыя люди, сказала съ благоговѣніемъ: «Благослови ихъ, родныхъ, Господи!»

— Вотъ я и у пристани... другая жизнь начнется... Полно закучивать да падать духомъ, теперь семья своя будетъ, прочное гнѣздо будетъ, возбужденнымъ тономъ говорилъ Рябушкинъ, ходя изъ угла въ уголь по комнатѣ. — Теперь нужно только, не лѣнясь, работать, честно и бодро работать — и все пойдетъ хорошо... не безслѣдно пройдетъ жизнь... Знаешь, мать, я теперь точно впервые на двухъ ногахъ стою, твердо и прочно стою, ничего не боюсь, не колеблюсь...

— А я то, я то, голубчикъ, какъ счастлива! говорила старушка въ восторгѣ. — Все молчала, а теперь скажу — боялась, что ты нестроишься, такъ холостякомъ и останешься... Ужь это какая жизнь: пріятели, гульба... Ты не пьяница, ни какой-нибудь забулдыга, да веселья то въ домѣ нѣтъ со мной старухой, съ книгами, не манить пустой то домъ, ну, по

неволь и пойдешь куда попало лишній разъ, а тамъ — сегодня пошелъ, завтра пошелъ — и затянетъ эта самая холостая жизнь... гульба эта безшабашная... Вотъ тоже, когда получилось письмо о смерти Женички, пришелъ ты ночью не въ своемъ видѣ: плакалъ, плакалъ, а потомъ кричать началъ: «все перебью, все! ничего не надо, все уничтожу!»... Господи, напугалась я тогда, поджилки трясутся, укладываю, ублажаю тебя, а ты жизнь проклинаешь, слова такія страшныя говоришь... а у самага икота, икота!.. Извѣстно, съ горя это было... съ горя большого!..

— Да, да, съ горя! подтвердилъ Петръ Ивановичъ и задумался, вспомнивъ про Евгенія. — Вотъ тоже умеръ ни за грошъ, ни за денежку! грустно проговорилъ онъ. — Какъ бы порадовался, еслибы теперь живъ былъ. Вѣдь онъ первый былъ моимъ сватомъ.

— Что ты! удивилась старушка.

— Да, да...

Петръ Ивановичъ разсказалъ матери, какъ его уговаривалъ Евгеній жениться на Ольѣ.

— И не зналъ онъ матери, боялся ее, проговорилъ Рябушкинъ въ раздумьи. — Наслу-

шался разныхъ толковъ о ней и сплетень, а того и не зналъ, что за добрая это душа. Ну, испортили ее воспитаніе люди, среда, провела она бурную молодость. Да кто же не заблуждался, кто же не падалъ? Нельзя же бросать въ cadaго камень за его ошибки? Это великая евангельская истина!.. Нужно умѣть прощать, нужно умѣть искать душу подъ этой житейской грязью, прилипающею на жизненномъ пути къ человѣку. Этого то онъ, дитя, и не умѣлъ дѣлать, въ крайности еще впадалъ, утрировалъ еще все...

— Не отъ міра сего, видно, человѣкъ былъ, со вздохомъ сказала старушка, — оттого и не жилецъ на свѣтъ былъ!..

Петръ Ивановичъ молча подошелъ къ окну и сталъ смотрѣть на улицу, барабаня пальцами по подоконнику. Наступало уже утро, весенняя заря уже освѣщала дома мутнымъ, болѣзненнымъ полусвѣтомъ. Въ головѣ Рябушкина роились какія то странныя мысли о себѣ, объ Олѣ, объ Евгеніи, объ Евгеніи Александровнѣ, о княжнѣ Олимпіадѣ Платоновнѣ. Онъ дѣлалъ какія то сравненія, производилъ какой то анализъ всѣхъ этихъ характеровъ.

И среди этихъ думъ, одно слово постоянно, словно невольно, неизвѣстно почему, на-вертывалось ему на языкъ, это слово «примиреніе». «Примиришься — и живешь; не примиришься — и умирай! мелькало въ его головѣ. — Не всѣ только могутъ примириться, иные требованій слишкомъ много предъявляютъ жизни. Кто хочетъ жить, тотъ долженъ быть снисходителенъ. Тоже люди не ангелы, жизнь не рай, чтобы требовать только совершенства и не допускать никакихъ компромиссовъ. Нужно дѣлать уступки. Худой миръ все же лучше доброй ссоры!» И вдругъ въ его головѣ возникъ вопросъ: «До какихъ предѣловъ нужно дѣлать уступки?» а затѣмъ вопросъ явился въ еще болѣе категорической формѣ и тайный голосъ, словно издѣваясь и глумясь надъ Рябушкинымъ, допрашивалъ его: «Ну, вотъ, напримѣръ, ты до какого предѣла будешь уступать?» Рябушкинъ вдругъ сердито встряхнулъ головой, точно что то стряхивая съ себя, и быстро проговорилъ:

— Ну, мать, пора и на боковую, а то чортъ знаетъ что начинается лѣзть въ голову!

— Усталъ ты, голубчикъ! сказала мать.

— Да, усталъ, тихо отвѣтилъ онъ.

Мать и сынъ разошлись по своимъ комнатамъ — оба утомленные, оба жаждущіе успокоенія и сна.

* * *

Что было дальше: это уже не интересно для постороннихъ, такъ какъ дальше началась идиллія примиренія, любви, поцѣлуевъ, семейнаго счастья и восторговъ. Довольно сказать, что всѣ и старушка Рябушкина, и Петръ Ивановичъ, и Евгенія Александровна, и Оля были очарованы другъ другомъ, не могли прожить другъ безъ друга ни одного дня, проектировали поселиться вмѣстѣ на дачѣ въ Павловскѣ, ѣздить вмѣстѣ на музыку, кататься вмѣстѣ по утрамъ... Даже господинъ Ивинскій былъ доволенъ: ради бракосочетанія дочери Евгенія Александровна не уѣхала снова за границу и говорила всѣмъ и каждому:

— О, я теперь впервые вполнѣ счастлива. Еслибы вы знали, до чего любятъ меня Оля и Петръ Ивановичъ, хотя, представьте, она, дуручка, ревнуетъ немного его ко мнѣ!..

Они всѣ точно пришлись по плечу другъ
другу.

КОНЕЦЪ.

1880